ЮРИКО МИЯМОТО









ЮРИКО МИЯМОТО



ПОВЕСТИ

Перевод с японского



Государственное Издательство
Художественной Литературы
Москва 1958

Составление и предисловие
В. ЛОГУНОВОЙ

Оформление художника
Л. ЯКОБСОН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Юрико Миямото родилась в 1899 году в семье известного архитектора Тюдзё.

В течение десяти лет она проводила школьные каникулы в деревне. Миямото рано поняла, что обеспеченная и беззаботная жизнь выпадает на долю немногих. Крестьяне голодали, прозябали в грязи и нищете. Возвращаясь к родителям в Токио, девушка с недоумением смотрела на окружающих: ей казалось странным, что они могут чувствовать себя счастливыми, когда кругом столько горя.

Это было время, когда лучшие представители японской интеллигенции поднимались на борьбу за светлое будущее, выступая горячими сторонниками социалистических идей. За это приходилось расплачиваться — в 1911 году были казнены руководители «Хэймин ундо» — демократического «Движения простых людей».

После первой мировой войны общественные противоречия углубились. «Рисовые бунты» 1918 года явились наглядным доказательством возросшей силы сопротивления японского народа, а рождение в 1922 году Коммунистической партии Японии говорило о том, что социалистическая идеология все глубже овладевает сознанием масс.

Юрико Миямото тоже волновала социальная несправедливость. Повести «Бедные люди» (1916) и «Блаженный Мияда» (1917) — первые произведения молодой писательницы. С присущей ей искренностью и наблюдательностью рассказала она о том, как беспросветно тяжела жизнь японской деревни.

С утра до вечера работают в поле арендатор Дзинскэ и его жена, оставив дома голодных детей. Да знает ли кто-нибудь, что значит для крестьянской детворы одна лишняя картофелина в плошке? Вот молодой парень Син-сан. Он ушел на Хоккайдо на заработки

и вернулся, пораженный неизлечимой болезнью. Кому он нужен в деревне, где и здоровому трудно прокормиться?

Мир вокруг прекрасен. Но что дает он умалишенному Дзэну, его старухе матери, его уроду сыну? Люди ли они, эти трое, ютящиеся в старом амбаре?

Крестьянин Мияда честен, трудолюбив, добр, казалось бы — он имеет полное право на свое маленькое человеческое счастье. Но помещица отнимает у него главное — землю, и надежды на лучшую жизнь покидают Мияда. Он погибает, подобно Син-сану и полоумному Дзэну.

Юная писательница была еще далека от понимания истинной природы окружавшего ее общества, источники крестьянских бед она искала в субъективных свойствах людей. Она еще не сознавала полностью значение и смысл социальных отношений в деревне. Так, в «Блаженном Мияда» простодушный и доверчивый крестьянин гибнет только потому, что помещица Эбия коварна и корыстолюбива.

Но уже одно то, что темой своих произведений Миямото избрала положение народных масс, было новым словом в японской литературе. Другим достоинством повестей молодой писательницы явился созданный ею образ нового положительного героя. Правда, она еще не видела в народе сил, способных принести ему освобождение, однако вместо традиционного честного, но сломленного, человеколюбивого, но бездеятельного героя многих японских писателей на страницах «Бедных людей» возник новый образ. Девушка из «Бедных людей» тоже одинока, она тоже теряется перед бездной горя, но она полна сил и жажды деятельности, она твердо верит, что выход будет найден, что она принесет пользу страдающим труженикам.

Неустанные поиски путей к социальной справедливости, заполнившие ранний период творчества Юрико Миямото, не встретили поддержки в мещанской буржуазной семье писательницы, и в 1924 году она порывает с семьей. Этот конфликт описан в автобиографическом романе «Нобуко».

После разрыва с семьей писательница сблизилась с представителями передовой интеллигенции, что в свою очередь ускорило и углубило ее знакомство с передовыми идеями, с марксистской наукой о природе и обществе. Юрико Миямото решила совершить поездку по Советскому Союзу. От Советской России она ждала многого. Она была убеждена, что, увидев своими глазами советскую действительность, познакомившись с советскими людьми, она поймет, наконец, какой дорогой идти ей самой.

Миямото приехала в СССР в декабре 1927 года. Она путешествовала по нашей стране, посещала фабрики, заводы, совхозы,

беседовала с партийными работниками, встречалась с Горьким. В 1929 году она совершила полугодовое путешествие по Западной Европе, вновь возвратилась в Москву и в конце 1930 года выехала на родину, став верным другом советского народа.

С 1931 года наступает новый период в творческой биографии писательницы, неразрывно связанный с судьбами пролетарского литературного движения в Японии. Юрико Миямото становится членом Союза японских пролетарских писателей, членом Коммунистической партии Японии, редактором журнала «Хатараку Фудзин». Она ведет огромную общественную работу, выступает с докладами, пишет статьи о том, что она видела и пережила в нашей стране. Одновременно Миямото формируется как талантливый литературный критик.

В 1932 году писательница стала женой известного литературного деятеля коммуниста Кэндзи Миямото. Она нашла в нем настоящего друга, союзника в революционной борьбе.

В конце 20-х — начале 30-х годов пролетарская литература в Японии делает большие успехи. Романы Токунага «Токио, город безработных» и «Улица без солнца»; повести Кобаяси «Пятнадцатое марта» и «Краболов» встречают признание далеко за пределами страны. Плодотворно работают в области критики Курахара, Накано, Ёкэмура. Появляется отряд талантливых переводчиков с русского языка — в Японии издаются произведения Серафимовича, Фурманова, Фадеева, Шолохова, в 1928 году выходит двадцатипятитомное издание произведений Горького.

Успех пролетарской литературы не мог не вызвать яростной реакции властей, готовивших в это время Японию к агрессии против Китая. На пролетарское литературное движение один за другим обрушиваются тяжелые удары. Массовые аресты коммунистов и прогрессивных деятелей в 1928—1932 годах приводят к тому, что весь руководящий состав движения оказывается в тюрьмах, внутри Союза пролетарских писателей начинается разброд. Ренегатствующие элементы вкупе с реакционными писателями объявляют поход против передовой литературной мысли, требуют отказа от марксистского мировоззрения, фальсифицируют понятие метода социалистического реализма. В течение 1934—1935 годов все литературные и культурные организации официально распускаются.

Жизнь Юрико Миямото в эти годы складывается тяжело. Начиная с 1932 года и до конца войны она пять раз подвергалась арестам, ее муж был осужден на пожизненную каторгу. Миямото преследовали не только как пролетарскую писательницу, но и как жену

«политического преступника». В 1938 году ее имя попадает в «черные списки» — власти запрещают публиковать ее произведения.

Тюремные дневники писательницы «Весна 1932 года» и «Час за часом» — произведения, характерные для пролетарской литературы тридцатых годов. Как и повесть «Жизнь для партии» (1933) Кобаяси, написанная им в годы подпольной работы, эти документы рассказывают о том, как лучшие люди Японии сопротивлялись бешеному натиску реакции.

Героиня произведений «Весна 1932 года» и «Час за часом» показана в момент тяжких испытаний, и тем не менее чувствуется, что она живет полной жизнью, дышит полной грудью. В ее мыслях и настроениях нет и намека на чувство беспомощной растерянности, которое отличало героев ранних произведений писательницы.

И это понятно. Видеть кругом людское горе и быть бессильной помочь людям — вот источник страданий девушки из «Бедных людей». Постоянный разлад между мечтой и действительностью, страх перед перспективой духовной гибели — это характерно для Нобуко в одноименном романе писательницы.

Другое дело — героиня «Весны 1932 года». Теперь Юрико Миямото знала, что на одной шестой земного шара люди воплощают идеалы в действительность. Этим идеалам посвящена и ее жизнь. Борьба трудна, связана со страданиями, с жертвами. Но иного пути нет. И как ни труден для нее сегодняшний день, он светлее, ярче и легче вчерашнего, ибо для Человека с большой буквы нет ничего страшнее сереньких, бесцветных будней, бесцельно прожитых дней.

Тюремные дневники, как и другие произведения документального характера, не удовлетворяют Юрико Миямото. Она мечтает создать законченное художественное произведение, отражающее действительность во всей доступной взору писателя широте и перспективе.

Повесть «Грудь» является попыткой осуществить этот замысел. Жизнь детского сада, собрание рабочих, сцены в тюрьме свидетельствовали о стремлении писательницы создать многоплановое произведение. Врагам народа, в частности провокатору Сираи, писательница противопоставляет образы новых людей — коммунистов Хироко, Дзюкити, Тамино.

Но повесть эта несет на себе неизгладимую печать времени. В стране бушевал террор, реакция осуществляла жесточайший контроль над словом и мыслью прогрессивного художника. О правде говорили намеком, шепотом, цензура безжалостно расправлялась с текстом. Этим в первую очередь и объясняется беглость характеристик героев повести «Грудь».

В 1942 году Юрико Миямото в пятый раз попадает в тюрьму. Летом в камере ее поражает тепловой удар, последствия которого были настолько тяжелы, что творческую и общественную деятельность она возобновляет лишь после окончания войны, в 1945 году.

Сразу же после войны для Юрико Миямото наступил период бурной общественной деятельности. Она выступила одним из организаторов Женского отдела при ЦК Коммунистической партии Японии, организатором Общества новой японской литературы. С 1949 года Миямото — активный участник движения за мир.

В своих статьях («Взвейся песня», «Политика и писатели») она призывала японских писателей объединить усилия в борьбе за передовую литературу. Многие статьи Миямото посвящены изучению наследия пролетарской литературы, в ряде других она касалась метода социалистического реализма, рассматривала его как метод, помогающий отразить «жизнь современного общества в его ведущей исторической тенденции».

В 1946 году одна за другой появились автобиографические повести «Равнина Бансю» и «Футисо».

Под именем Хироко выведена сама писательница, под именем Дзюкити — ее муж. Действие повестей происходит на фоне послевоенных событий: возрождение демократического движения, выход на волю узников фашизма. Одновременно перед читателем проходят картины прошлого обоих героев.

Положительной стороной этих произведений явилось то, что в них широко показан духовный мир и будничная жизнь действующих лиц.

Хорошо зарисованы бытовые сценки из жизни Хироко и Дзюкити. Писательница не боится раскрыть человеческие слабости, смешные стороны в людях героического прошлого. Старые раны дают себя знать, подчас омрачая радость настоящего, но насколько эти двое счастливее тех, кто, одурманенный фашистской пропагандой, до последнего дня верил в победу империи.

По-новому раскрыла Миямото и тему любви. Ей удалось убедительно показать, что для Хироко любовь неотделима от борьбы. Дзюкити никогда не простил бы жене компромисса, уступки врагу, остановки в пути. Мужественно и стойко выдерживает она все испытания. Но в своей самоотверженной любви Хироко даже не замечает, что и в Дзюкити ценит именно мужество и стойкость. Не сознает она и того, что своей верностью в любви и борьбе помогает любимому человеку продолжать героическое сопротивление в тюрьме. Ведь никогда во время свиданий она не выдает ни словом, как безрадостна, мучительно тяжела ее жизнь на воле.

Большинство произведений Миямото носит автобиографический характер. В этом духе написаны ею и романы «Два дома» (1947) и «Вехи» (1950), составляющие продолжение романа «Нобуко» и описывающие жизнь Миямото с 1924 по 1930 год.

Автобиографичность — особенность творческой манеры писательницы, во многом обусловленная влиянием распространенного в японской литературе жанра «повестей о себе». Однако творчество Юрико Миямото проникнуто большой идеей, ее личная жизнь, частный опыт неразрывно связаны с освободительной борьбой японского народа. Поэтому в «Равнине Бансю» и «Футисо» ей удается зарисовать типические картины из жизни представителей японского сопротивления в годы войны, в романах «Два дома» и «Вехи» она раскрывает один из характернейших для нашего времени процессов: рост социалистического сознания прогрессивной интеллигенции.

Многие страницы произведений Миямото отмечены задушевностью, лиризмом, тонким проникновением в душевный мир своих героев.

При всем этом творчество писательницы не лишено и недостатков, о которых не раз говорила японская критика. Временами мир собственного «я» заслоняет для нее мир других людей, автор впадает в психологизм, перегружает произведения деталями и мелочами.

Однако эти недостатки нельзя рассматривать изолированно от конкретных исторических условий, в которых жила и работала Юрико Миямото. Следует учитывать и недоразвитость в Японии традиций критического реализма и невероятно тяжелую обстановку в стране в 30—40-е годы, когда прогрессивные писатели были лишены возможности работать в полную силу своего таланта.

Юрико Миямото умерла в 1951 году. Она вошла в японскую литературу и как писатель, и как критик, и как публицист. Японский народ свято чтит память героического борца, писателя-коммунистки Юрико Миямото.

В. Логунова

ПОВЕСТИ

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

I

Около дороги, которая пересекает деревню с севера на юг, стоит крестьянский домишко. Он такой убогий, что скорее напоминает какое-то логово, а не человеческое жилье. Внутри всегда царит мрак: окон слишком мало.

Небольшие сени захламлены разным домашним скарбом. Под самым потолком устроен курятник, оттуда доносится разноголосое кудахтанье наседок. По краю стены спускается лесенка, сплетенная из круглых жердочек: она предназначена для кур. На одной из ступенек, покрытых пухом и перьями желтовато-белого цвета, замер тощий петух: кур сторожит.

В этих убогих, грязных, вонючих сенях около очага расположились трое мальчиков. На их лицах усталость ожидания: картошка так долго варится...

Один из них, вытянув подложенную под голову руку, шевелит горящей веточкой подернутые пеплом угли и вздыхает. Другой нетерпеливо притопывает ногой и бросает украдкой взгляд то на братьев, то на котелок, вода в котором все еще не закипает. Но все трое упорно молчат, и хотя мысли каждого прикованы к стоящему перед ними котелку, выдает их лишь слишком откровенный блеск глаз.

Воображение не дремлет: мальчиков неотвязно преследуют запах, цвет, вкус ожидаемой картошки. Рот

наполняется слюной, скулы сводит до боли, и, бессильные отогнать навязчивые мысли, они от времени до времени шумно заглатывают слюну.

Эти дети голодают круглый год, они и представления не имеют о том, что значит быть сытыми, чувство голода не оставляет их никогда, ни утром, ни вечером, и поэтому при виде пищи они набрасываются на нее, словно звереныши.

Каждый из мальчиков думал: «Ах, если бы вся эта картошка досталась только мне одному!» Братья, волею судьбы связанные вместе, сейчас они видели друг в друге только досадную помеху.

С головой ушедшие в свои думы, они и не замечают, что курицы, расковыряв дырку в мешке, мирно клюют рассыпавшийся рис. Драгоценный рис, который родители приказывают беречь так, чтобы не пропало ни одно зернышко.

Но ведь и кур и детей занимает только одно: как наполнить желудок.

Мирную картину нарушает бродячая собака, до сих пор спокойно наблюдавшая с порога за тем, что происходит в сенях. Ни с того ни с сего она вдруг устремляется прямо на куриц. Поглощенные едой, — ведь рис для них такая редкость, — те и не подозревают о близости врага. Какой тут поднимается переполох! Куры отчаянно кудахчут, хлопают крыльями в безнадежной попытке взлететь вверх, сени заволакивают облака пыли.

Собака, растерянная таким оборотом дела, мечется взад и вперед, обнюхивая пол мокрым носом. Язык у нее свисает, ребра торчат из-под кожи, она дрожит мелкой дрожью и задыхается.

Неожиданное происшествие заставляет мальчиков немедленно прийти в себя. Старший выхватывает из очага пылающую головешку и, недолго думая, бросает ее вслед убегающей собаке. Головешка, разбрасывая снопы искр, со стуком падает на пол, едва не задев задние ноги собаки. Жалобно взвизгнув, та на миг пригибается к земле, а затем одним прыжком выскакивает на улицу. Головешка чадит и гаснет.

Постепенно все успокаивается, но теперь время ползет еще медленнее. И вот, наконец, в котелке забулькало. Лица мгновенно светлеют, глаза оживают,

братья то и дело открывают крышку и заглядывают в котелок.

Проходит еще немного времени, и старший приносит миски, грязные еще после завтрака, и расставляет их около очага.

Вот он, долгожданный миг! Сейчас начнется дележ картошки, один запах которой может свести с ума. Старший наделяет каждого по очереди и ведет строгий счет: одна, вторая, третья, четвертая, одна, вторая, третья, четвертая.

И вдруг поддавшись непреодолимому искушению, мальчик окидывает братьев вороватым взглядом и, едва положив в протянутую миску картофелину, тут же с неимоверной ловкостью подбрасывает одну лишнюю в свою собственную. А затем как ни в чем не бывало продолжает свое дело.

— Братец! Давай и мне, — настойчиво требует второй, чья очередь получать новую порцию.

Его примеру следует третий и грозно наступает на старшего, протягивая миску.

Раздраженный собственной нерасторопностью, старший с досадой бросает в их миски по куску картошки. Однако средний, первым заметивший проделку брата, сравнивает свою картофелину с той, что положил себе старший, и вопит:

— Нет, не хочу, твоя толще!

Выхватив палочки, он пытается вытащить из плошки старшего круглую большую картофелину.

— Ах, вот как! — Рука старшего с силой опускается на лицо смельчака, звонкие пощечины раздаются одна за другой. Миг — тишину разрывает дикий вой, и младший, оскалив зубы, сжав кулаки, налетает на негодяя, «собравшегося сожрать лишнюю».

Начинается драка. С плачем и воплями мальчишки пинают, царапают и осыпают ударами друг друга. Рассвирепевшие до потери сознания, они успевают забыть как и ради чего вообще началась эта потасовка.

Но постепенно они устают, страсти затихают. Обессиленные, они все еще остаются каждый на своем месте, и хотя им явно не по себе от всего, что произошло, ни один из них не желает признать себя побежденным. Все трое сохраняют воинственный вид и в то же время

оглядывают печальные следы битвы: опрокинутую, раздавленную, засыпанную золой, дорогую сердцу картошку.

Их мучил голод, им хотелось поскорее собрать ее с полу, но ни один не двигался с места. Наконец средний, зачинщик драки, пробормотал: «А я буду есть». Он нагнулся и стал подбирать картошку. Двое других немедленно последовали его примеру.

Они начали было снова ее пересчитывать, но уже не могли сосредоточиться на этом и принялись старательно вылизывать драгоценное содержимое своих незаменимых деревянных мисок.

Вот как живут в доме арендатора Дзинскэ, работающего на полях помещика. Сам помещик живет в городе.

II

Все это случилось, когда я шла полем позади хижины Дзинскэ. Вид мальчиков сразу привлек мое внимание, я прервала прогулку и стала наблюдать за ними, скрывшись в тени большого дерева.

История с картошкой прошла перед моими глазами с самого начала и вплоть до разразившейся драки. В первый момент мне стало не по себе от всего этого, — драка возмутила меня. Затем меня охватил страх, а на смену ему пришло чувство нестерпимой жалости к детям. О, я и представить себе не могла, какое значение может иметь для них кусок картошки. Да если бы это было возможно, я накормила бы их так, что им и смотреть на нее не захотелось. В конце концов меня разобрало такое любопытство, что я была не в силах побороть в себе желание познакомиться с мальчиками поближе.

Я уже собиралась войти в дом, но чувство неловкости остановило меня. Пусть они всего лишь дети, однако врываться к ним так, ни с того ни с сего... «Хорошо, если бы кто-нибудь пришел сюда и познакомил меня с ними», — размышляла я, остановившись в нерешительности и поглядывая на мальчиков, которые, напихав полные рты картошкой, все же не забывали заглядывать друг другу в чашки.

На мое счастье как раз в эту минуту появилась ста-

руха, родственница Дзинскэ. Она жила тут же рядом и в течение дня несколько раз заглядывала в дом, оставленный на детей.

Как раз сейчас она направлялась сюда в своем безрукавом кимоно из полотенечной ткани.

Я тотчас же обратилась к ней со своей просьбой и впервые вошла в жилище Дзинскэ, показавшееся мне еще более грязным и вонючим, чем я могла предполагать, судя по его внешнему виду.

Остановившись у дверей, я осмотрела сени, а старуха тем временем принялась энергично наставлять мальчиков, которые, насторожившись, в упор разглядывали меня.

— Отец с матерью, наверно, в поле? Сидите смирно. Тогда опять пряник куплю.

Ребята не обращали на старуху никакого внимания. Как ни старалась она заставить их поздороваться, упрямцы бесстыдно разглядывали меня, не желая произнести ни звука. Мне стало неловко под их злыми взглядами.

«Может быть, напрасно я пришла сюда?» — мелькнуло у меня в голове.

Поведение мальчишек явно было не по душе старухе, и она продолжала настойчиво увещевать их, но они хранили упорное молчание, которое она пыталась объяснить тем, что «они стыдятся».

Почему же все-таки они не желают со мной говорить? Уж не собираются ли они вытолкать меня отсюда? Набравшись духу, я заставила себя улыбнуться и, обратившись к старшему, спросила:

— А где мама с папой? Наверно, вам скучно?

В этот миг прямо над моим ухом раздался такой крик, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Это была проделка второго из братьев, успевшего подкрасться ко мне сзади.

Я вздрогнула от испуга, затем чувство горькой обиды охватило меня. И все же я нашла в себе силы еще раз повторить:

— Скучно вам, наверно, одним-то...

Жалость оставалась сильнее негодования. Мне хотелось сказать им что-то ласковое, этим детям, прозябающим в такой бедности, в такой ужасной нищете. Но увы...

— Чего лезешь, куда не просят! — оборвал меня нагло грубый окрик, от которого невольно содрогнулось все мое существо. Кровь отлила у меня от лица, и на какой-то миг мне показалось, что все, что происходит, — тяжелый сон.

Растерянная, я продолжала стоять на месте, но прошла минута, другая, и во мне заговорили одновременно и негодование и стыд. Эти чувства до такой степени терзали меня, что отдавались в душе чисто физической болью.

Нет, нужно выдержать несмотря ни на что. Тщеславие давало себя знать, заставляя сохранять самообладание, свойственное людям, ощущающим хотя бы некоторое превосходство над своим противником.

Но голова была пуста, никакое решение не приходило на ум, зубы стучали.

Дело приняло настолько неожиданный оборот, что старуха совсем растерялась. Схватив мальчишек за руки, она заставила их сесть на пол и, обратившись ко мне, проговорила извиняющимся тоном:

— Лучше уходите, барышня! Что с них взять, с невеж! Будьте здоровы.

С этими словами она встала.

Конечно уходить, сейчас же, немедленно. И я пошла, ощущая на себе полные ненависти взгляды мальчишек, выстроившихся в ряд перед старухой.

Какой жалкой, трусливой, ничтожной кажусь им, должно быть, я. Мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда, и слезы огнем обожгли глаза.

Я вышла на дорогу, обсаженную криптомериями, и поплелась домой, больше всего на свете опасаясь встретиться с кем-нибудь. Вдруг... что это? Рядом пролетел камень, брошенный сзади. Он упал мне под ноги и покатился в траву у обочины. Я инстинктивно втянула голову в плечи и оглянулась. Рядом с домом Дзинскэ вертелись все те же мальчишки. Увидев, что я обернулась, старший поднял кулак с зажатым в нем камнем и угрожающе помахал им. Часто оглядываясь, я медленно шла вперед, прижимаясь к деревьям в ожидании вторичного нападения.

Толстые шершавые стволы криптомерий царапали мое тело, а из глаз капали крупные слезы.

III

«Что же это такое!» Краска стыда заливала мое лицо при одном воспоминании о случившемся. За что я должна была пережить этот позор? Что обидного было в моих словах? Ничего, решительно ничего. Наоборот, я от всей души сочувствовала им. Я действительно полагала, что им скучно, и была искренна с начала и до конца.

Их поведению нет оправдания. Именно поэтому при воспоминании об оскорблениях, которым я подверглась, негодование с новой силой закипало в моем сердце. Они не имели права поднимать на меня руку. Человек идет к ним с самыми добрыми намерениями, а в него швыряют камни. И ведь это еще не конец моим мучениям!

Я по-настоящему возненавидела сыновей Дзинскэ. Разумеется, о сегодняшнем событии узнает вся деревня, и я, маленькая, неуклюжая, стану посмешищем для этих вечно грязных крестьян. При одной мысли об этом мне хотелось растоптать ногами и самих мальчишек и все, что было связано с ними. Вернувшись домой, я даже отказалась от обеда.

А к вечеру к нам пришел крестьянин Дзинта, и мы добрых два часа беседовали с ним. Этот разговор навел меня на новые размышления. Бедняк издольщик, Дзинта работал на нашей земле, в соседней деревне в двух ри[1] отсюда. Дзинта так бедствовал, что стоило ему появиться у нас, как все сразу догадывались: конечно, он пришел что-то просить.

Глядя на этого изнуренного человека, слушая его рассуждения о том, что всякому своя судьба и тут уж ничего не поделаешь, я невольно снова вспомнила о Дзинскэ. Ведь и он такой же издольщик, как Дзинта. А его мальчики, — ведь и они всего-навсего несчастные дети издольщика. Эта мысль почему-то подействовала на меня успокаивающе, и я почувствовала, как гнев и негодование затихают во мне.

Но именно в этот момент где-то в глубине сердца зародились печальные мысли, которые впоследствии должны были стать источником мучительных размышлений.

Разве эти мальчики не успели заметить, на кого работают их родители? А к какой породе людей принад-

---

[1] Ри — мера длины, равная 3,927 км.

лежит тот, кто без малейшего сожаления, как свою собственность, забирает их мешки с рисом, их долгожданный урожай?

Нет, эти мальчики уже имеют некоторый житейский опыт, они кое-что понимают в делах взрослых, в их сердцах живет сочувствие к родителям и ненависть и недоверие к тем, кто одет в десять раз лучше, чем они, кто ест пищу в десять раз лучшую, чем они, к тем, кто отличается от них всем своим видом и умеет говорить на каком-то ином языке, чем они.

Кто приносит столько горя и слез их родителям? Разве не эти люди, умеющие говорить сладкие речи, одевающиеся в мягкие шелковые одежды, люди, служащие предметом особого внимания со стороны многих других.

Жизнь научила этих мальчиков различать за добродетелью коварство, им не раз доводилось слышать: «С этими городскими держи ухо востро». И вот перед ними появляюсь я и ласково заговариваю с ними. Да почему, на каком основании они обязаны мне верить?

«Вот они, эти сладкие речи», — проносится в их голове, и, чтобы дать немедленный отпор ненавистному посягателю, они кричат:

— Очень нужна ты со своими советами!

Да, эти мальчики понимают, что доброта на словах на самом деле вовсе еще не означает подлинную доброту. Хорошо знающие цену лишениям, они испытывают к своим родителям естественное чувство любви и сочувствия, которые тем сильнее, чем сильнее их стремление совместно отплатить ненавистному врагу.

Пусть полусознательно, но они уже соприкасаются с реальной жизнью, и как по сравнению с ними примитивны мои представления, насколько я трусливее их, как испорчена роскошью!

Да, я заблуждалась. Я не знала их, этих бедных людей.

Что же, я добра. Но доброта во мне уживается с чувством собственного достоинства, с одной стороны, и с известной долей презрения к ним, с другой. И разве я солгу, если скажу, что чем глубже я осознавала разделявшее нас расстояние, тем чаще ощущала известное спокойствие и гордость, хотя бы эти чувства и проявлялись в очень незначительной, почти неприметной сте-

пени. И разве сознание собственного превосходства так уж ни разу и не давало себя знать?

Правда, я никогда не доходила до того, чтобы сознательно кичиться перед ними, но ведь привычка делала свое дело, и я принимала как нечто должное их беспричинное заискивание и почтительность по отношению к собственной особе. И это ужасно.

Ведь и они и я — все мы люди, рожденные для жизни. Какая же разница между нами? Более того, я живу на свете, почти не зная материальных трудностей, и все, к несчастью, потому, что на их долю выпали бедность и нищета. Так какое же мы имеем право, зная это, презирать их? И как можем мы отвечать на их усталый взгляд высокомерным взглядом?

Нет, мы обязаны быть для них искренними и честными доброжелателями.

Мир устроен несправедливо. Рождение таланта сопровождается рождением куда большего числа умственно отсталых людей. Для того, чтобы горсточка людей жила в роскоши и богатстве, множество других должно умирать от голода. Это так и только так.

Именно потому, что мир несправедливо устроен, именно потому, что бедность и богатство подобны параллельным линиям, которые никогда не сойдутся, мы обязаны быть добрыми к бедным.

Если на одной стороне появляется богатый, то на другой появляются бедняки. Таков закон вселенной. И как бы ни был богат человек, он не имеет никакого права требовать от бедняка: «Уважай меня!»

Так я давала клятву сама себе. И я снова и снова раздумывала.

Нужно уничтожить, и чем скорее, тем лучше, пропасть, отделяющую меня от них, и я попытаюсь превратить ее в прекрасный цветущий сад!

IV

Мысль о том, что пришло время как-то изменить всю свою жизнь, отныне не оставляла меня. Погруженная в размышления, я невольно восстанавливала в памяти обстоятельства, в которые была поставлена волею судьбы.

Деревню К. основали мои предки. Отдаленная от столицы больше чем на сто ри, окруженная со всех сторон горами, она принадлежала к числу беднейших в префектуре Фукусима.

Начало ее существованию было положено в первые годы Мэйдзи [1] моим дедом, отдавшим половину жизни освоению новых земель в этих местах. Ее население составили переселенцы из разных районов страны. Выходцев с севера и с юга — всех их привлекало уже одно название «новые земли», и в погоне за счастьем они собрались здесь, покинув родные места. Но мечтам не дано было сбыться. Более того, отныне им приходилось трудиться еще тяжелее прежнего, а годы между тем шли своим чередом. Перебираться на новые места уже не хватало духу, оставалось одно: смириться со своей долей мелких арендаторов. Поэтому как раньше, так и сейчас нищета неотступно следовала за ними.

И только ли нищета? С тех пор как находившийся всего в одном ри отсюда город К. стал узловой станцией на дороге Ивата-Эттю, все кругом основательно изменилось. Это не могло пройти и мимо деревни.

Дух меркантилизма, столь характерный для города, все сильнее проникал в сознание крестьянина, врожденные же взгляды и привычки говорили свое. Положение, в котором оказалась ныне деревня К., никак нельзя было назвать благополучным. От старого, привычного нужно было перейти к чему-то неизвестному, новому, все это было очень сложно, и, как всегда в таких случаях, людям жилось еще тяжелее прежнего, а к нищете прибавлялись тревоги.

Мой дед умер лет восемнадцать тому назад. На его глазах в деревне один за другим стали появляться переселенцы, жизнь начинала как-то налаживаться. В общем, старик испытывал чувство удовлетворения. Построив на холме дом, он поселился там вместе с женой, приглядывал за полями, а на досуге занимался сочинением стихов. На том его и застала смерть.

Овдовев, бабушка свято хранила заветы покойного, она осталась жить в построенном им доме, следила за

---

[1] Первые годы Мэйдзи — первые годы после японской буржуазной революции 1868 года.

полевыми работами и вела очень уединенный образ жизни.

Я проводила в Токио почти весь год, но с наступлением лета обычно приезжала к бабушке и здесь на два месяца погружалась в совершенно иной мир, о существовании которого и догадаться невозможно, живя в большом городе. Меня знало почти все население деревни. Едва услышав о приезде «барышни» из Токио, крестьяне спешили ко мне с подношениями — овощами и фруктами. За это я со своей стороны должна была преподнести им всем подарки. С самого утра я слушала жалобы арендаторов, их рассуждения о том, что арендную плату рисом следовало бы снизить. У меня не хватало терпения выслушивать эти излияния, и я просто обещала крестьянам немедленно убедить бабушку сделать то, что они просят. За это они меня хвалили, считая сердобольной и жалостливой.

В деревне я становилась предметом всеобщего внимания. Дважды в день — утром и вечером — я гуляла по полям, бегала на пруд за съедобной травой куваи, уходила на прогулки в горы, словом, вела праздную, пустую жизнь, как и подобало внучке помещицы.

И сейчас мне было стыдно и неприятно думать о том, что еще недавно представляло такую ценность в моих глазах. Нет, пришла пора стать человеком, который хоть как-то, хоть чем-то может быть полезным для крестьян.

В моей голове роились различные планы, и я невольно задумывалась над самим фактом так называемого освоения новых земель. Что ж, если речь идет о землях плодородных, о землях, которые могут оправдать надежды крестьянина, тогда это действительно хорошее дело. Но зачем же собирать людей сюда, где зима длинная, а земля так мало пригодна для земледелия? Да можно ли это считать действительно полезным делом? Такие сомнения теперь не оставляли меня.

Инициаторы этого самого освоения, в общем, считали себя удовлетворенными, их многое радовало, к тому же они становились своего рода историческими личностями в таких деревнях. Да, но что выиграли от всего этого несчастные переселенцы, эти бедняки, без которых не мог бы осуществиться ни один подобный план?

Инициаторы ничего не смогли бы сделать без своих переселенцев; однако что, кроме нужды, видели эти

последние за все двадцать лет вплоть до сегодняшнего дня? Нужду, только нужду, а за ней приходила смерть.

Нет, я должна что-то сделать для этих людей, обреченных на лишения еще при жизни моего деда. О, сколько добра можно было бы принести им, но я, трусливое существо, притворялась, будто ничего не замечаю. Сознание собственной вины заставляло меня с новой силой испытывать чувство раскаяния перед крестьянами.

На следующий день после столкновения с сыновьями Дзинскэ я встала раньше, чем обычно, и сразу отправилась погулять в поле. Розовая дымка обволакивает землю, под ногами трава, словно живая, только ступишь — и брызги росы осыпают голые ноги. А этот утренний аромат цветов и листвы! Как прекрасен был мир вокруг меня!

Я вернулась домой в таком приподнятом состоянии, что служанка начала было посмеиваться надо мной, а я стала помогать ей, то суетилась у очага, то принималась чистить овощи, хотя во всем этом не было особой нужды. В это время к веранде на восточной стороне дома подошла какая-то женщина. Это была жена Дзинскэ. Меня позвали к ней. В рабочей одежде, растрепанная, босая, она, едва взглянув на меня, сразу приступила к делу.

— Доброе утро. Говорят, мои чертенята уж больно обидели вас вчера, барышня. Я привела их прощения у вас просить. А ну, выходи, кланяйся!

С этими словами она протянула руку назад и выволокла мальчугана, прятавшегося за ее спиной. Он стоял молча, опустив голову. Лицо его даже не порозовело, мальчишка оставался совершенно безучастным к тому, что говорила мать. А она, бросая искоса многозначительные взгляды на сына, повторяла все одни и те же слова: «Проси прощения, кланяйся! Мои ребята, барышня, это ведь скоты, вы хоть бы сами избили их в наказанье».

Между тем для меня всегда было тяжким испытанием выслушивать всякого рода извинения. Чем больше распинался передо мной человек, тем сильнее овладевало мною чувство стыда. Мне начинало казаться, что

в моем характере есть действительно что-то деспотическое, я терялась и в конце концов становилась похожей на то «никчемное существо», каким меня всегда считала мать.

То же самое случилось со мной и в эту минуту. К тому же именно сейчас я стремилась раз и навсегда забыть, кто из этих ребят что-то сказал или сделал мне неприятное. Право, все это меня уже совершенно не трогало, и оставаться свидетелем разыгравшейся перед моими глазами сцены становилось просто невыносимо.

Я попыталась вступиться за мальчика, но мои просьбы вызывали совсем обратную реакцию со стороны крестьянки, и она с еще большим ожесточением обрушивалась на сына.

— Им бы только жрать! Разве на что хорошее такие годятся! А ну, проси прощения. Кланяйся, я тебе говорю! Ах, да ты никак молчать собираешься?

Схватив сына за руки, мать награждала его оплеухами, пинками, но тот по-прежнему упорно молчал.

Между тем я хорошо понимала, какие соображения руководят действиями жены Дзинскэ, и уже по одному этому мне было крайне неприятно участвовать в таком представлении.

Но женщина продолжала кричать, не обращая на мои слова никакого внимания.

— Ну, так что же? А? Или, может, ты не собираешься извиняться?

И тут она с такой силой наотмашь ударила мальчика ладонью по шее, что мне показалось, она переломает ему позвонки.

— Уж простите, что ли, его, барышня,— проговорила она и, крикнув: — А ну, пошел! — наградила его тумаком еще раз.

От волнения у меня перехватило дыхание. Однако жена Дзинскэ казалась очень довольной и, слегка поклонившись, направилась к полю, промолвив на прощанье:

— Простите, что побеспокоила.

Служанка, провожая взглядом удалявшуюся фигуру крестьянки, сказала с усмешкой:

— А умная эта жена Дзинскэ. Далеко вперед смотрит.

V

На перекрестке собралась толпа. Тут и дети и взрослые с мотыгами за плечами, около них останавливаются, держа под уздцы лошадей, крестьяне из соседних деревень. Посреди толпы стоит человек, в руках у него по куску рыбы, ноги колесом, на лице улыбка. Одет он в женское кимоно, изодранное на плечах. Оно подвязано узким поясом и еле держится на нем. При каждом движении полы распахиваются, обнажая худые ноги.

Длинные волосы с набившимся в них мусором свисают неряшливыми прядями. Под глазами набухли мешки, бледно-голубые белки навыкате, словно хотят выскочить из орбит. Лиловатые губы выпячены и обнажают сильно выдвинутую челюсть с желтыми зубами. Углубления вокруг ноздрей покрыты прыщами, все воспалено, красное.

При каждом его движении от него, заглушая запах рыбы, исходит омерзительное зловоние. Это сумасшедший, которого все здесь зовут Дзэн-дурак. Дзэн сошел с ума лет шесть тому назад, с тех пор он шатается по деревне, не имея пристанища. Жилье ему заменяет циновка, раздобытая где-то во время странствий.

Иногда Дзэн облюбовывал себе где-нибудь место и тогда оставался там на несколько дней. Пристроившись под тенью дерева, он мог часами просиживать, ловя блох у бродячей собаки или выщипывая вокруг себя траву, всю, до единого стебелька.

Дзэн очень любил собак. Он отличался тихим нравом, и деревенские, едва заметив его, бросались к нему навстречу и начинали разыгрывать над убогим злые шутки.

Вот и сейчас он где-то пропадал уже несколько дней и только что возвратился в деревню. Выглядел Дзэн очень утомленным и, видимо, спешил поскорее лечь и заснуть. Но стоило ему появиться, как собака, со всех ног бросилась к нему и начала лизать лицо. Это нравилось убогому, он молча принимал ласки, не спуская глаз с собачьей морды.

— Эй, ребята, Дзэн-дурак вернулся!— раздался вдруг чей-то крик, и толпа мальчишек мигом окружила его. Нашлись и взрослые любители поиздеваться над убогим от нечего делать. Его осыпали руганью и шутками, не

стесняясь в выражениях, выдергивали из рук рыбу, натравливали на него собаку.

— Вот грязная скотина! Дзэн-дурак, ведь рыбу облизала собака, а ты опять ее ешь. Смотри, пристанет к тебе собачье бешенство.

— Что издеваешься над человеком? Он и без того бешеный! А ты еще болезнь накликаешь, ведь ему тогда две жизни понадобятся!

Толпа загоготала. К этому гоготу примешивался низкий слащавый смешок Дзэна, и было что-то неприятное в этом смешке, выделявшемся среди общего шума.

— Эй, хватит вам!

— А ты иди себе. Кто тебя тут просит? Ха-ха-ха.

— Эй, кету-то потеряешь, дурак!

— Ха-ха-ха!

Охваченные грубым любопытством, люди толкают и награждают друг друга тумаками. Все кричат. Одни уходят, их сменяют новые. Но постепенно толпа начинает расходиться. Дзэн выглядит еще более измученным. Пошатываясь, он направляется к большому дубу у обочины дороги, и кажется, что у него нет сил даже нести свою рыбу. Оказавшись в тени, Дзэн бросается навзничь, и сразу, как ребенок, засыпает, раскрыв большой рот и оглушительно храпя.

Вытянув морду, собака подползает к Дзэну и начинает есть рыбу прямо из его рук.

Между тем ребята, строя рожи и передразнивая убогого на все лады, пытаются разбудить его. Один из них щекочет ему в носу, другие толкают его, вопят, но Дзэн не просыпается. Окончательно обнаглев, они начинают раздевать спящего. Но в тот момент, когда убогий оголен почти до пояса, рядом появляется какой-то парень.

— Хватит безобразничать! Смотрите, бог-то накажет вас за это,— строго говорит он.

Ребята захвачены врасплох, они оставляют Дзэна и всматриваются в лицо незнакомца. Но вот один из них, мальчик лет пятнадцати, по всей видимости — заводила всей компании, вдруг надувает губы и дает отпор.

— А ты его знаешь, что ли? — шепотом спрашивает его другой мальчуган.

— Еще бы не знать, — отвечает первый, явно довольный, и с насмешкой продолжает: — Это сын возчицы Син-сан. Знаем мы. На Хоккайдо чуть с голоду не подох и

опять к матери вернулся. Твоя мать недавно говорила. Растяпа, а еще...

В ответ раздается дружный смех.

Но Син-сан спокойно выдерживает нападение и говорит:

— Надо думать, что делаете.

Затем он уходит прочь.

Некоторое время ребята осыпают Син-сана гнусной руганью, но шалость прервана, и они теряют к ней интерес.

— А тебя мы и знать не знаем, — кричат они по адресу полураздетого Дзэна и, дав ему напоследок пинка, разбегаются в разные стороны.

VI

Матери дурака Дзэна, по ее собственным словам, в этом году исполнилось шестьдесят восемь лет. Вместе с внуком она ютилась у одного крестьянина в пристройке вроде амбара. Денег старуха не платила; только клопов и блох было много в ее жилье, не меньше, чем в грязном свинарнике.

Старуха была отталкивающе страшна. Лицо, изрытое морщинами, седая грива волос, перекошенное вкривь и вкось туловище. В деревне ее звали «старой обезьяной», но даже и это прозвище было слишком мягким для нее: так мало общего имела семья Дзэна с человеческим родом.

Несколько лет тому назад, когда Дзэн был еще здоров, у него родился сын, но и тот оказался идиотом. Жена Дзэна недолго несла свой крест и сбежала, оставив старуху одну маяться с убогим сыном и уродом внуком.

Между тем мальчику исполнилось одиннадцать лет. Однако говорить он так и не научился, и на вид ему можно было дать не больше пяти-шести. Над тщедушным тельцем возвышалась голова вдвое больше обычной человеческой. Казалось, тоненькая шея не выдержит тяжести и вот-вот надломится. Ребенок круглый год питался только тофу — соевым творогом, даже и не подозревая о вкусе другой пищи, и знал он только одно это слово, да и то коверкал, произнося его, как «тафу».

Все в деревне были уверены, что над ребенком Дзэна тяготеет чье-то проклятие.

Да и как иначе? Несколько лет тому назад в деревне побывала гадалка, особа, пользовавшаяся большим влиянием в соседнем городе. «Старая обезьяна» тоже привела к ней внука. Взглянув на него, гадалка заявила, что древние предки мальчика занимались живодерством, и болезнь его не что иное, как дело рук мстительного духа ободранных лошадей. Гадалка обещала вылечить больного, но за это потребовала десять иен. Таких денег у старухи, конечно, не было, а уступить гадалка не соглашалась. На этом врачевание ребенка кончилось, да и сама старуха постаралась забыть обо всей этой истории.

В создавшихся условиях «старой обезьяне» приходилось думать только о том, как бы прокормиться. Она ходила по чужим домам, помогала по хозяйству, стирала. За день ей удавалось перекусить разок-другой то тут, то там, домой она возвращалась только на ночь. За это все в деревне презирали ее и всем ставили в дурной пример.

Говорили, что старуха набавляет себе годы в надежде вызвать сострадание.

Мне было жаль ее. Ведь она держалась только милостью крестьян, а им и без нее жилось несладко. Да, но другого выхода у нее и быть не могло, так за что же было презирать ее, издеваться над ней? Надвигалась безнадежная старость, а матери Дзэна приходилось попрежнему бегать по чужим домам, кормиться из чужих рук. Она вызывала сострадание.

Я придумывала для старухи работу, кормила ее, отдавала старые кимоно и другую одежду. Казалось, я расположила ее в свою пользу, но бедность ее была столь ужасна, что она успела превратиться в попрошайку, давно потерявшую и стыд и совесть, и этим доставляла мне немало неприятностей.

Когда речь заходила о еде, старуха требовала, чтобы ей отдавали даже отбросы. «Все равно сгниют, отдайте», — просила она. Если ей отказывали, она сердилась и уходила, не попрощавшись. Едва получив новое кимоно, она умудрялась тут же разорвать его.

Трудностей было много, но я не отчаивалась. «Раз взялась за дело, не отступай», — твердила я себе и

постепенно привыкала ко всему, что несет с собой бедность. Мать убогого Дзэна стала чаще бывать у меня, затем я нашла случай сойтись с другими крестьянами из числа самых бедных в деревне.

Среди них была семья бондаря: отец — пьяница, мачеха — прислужница в кабаке, дочь уже три года больна туберкулезом. Семья, спасти которую нет никакой надежды. Вот другая — муж паралитик, жена глухая. Я выслушивала их бесконечные жалобы, и во мне просыпалось сочувствие к беспросветно-мрачной судьбе этих людей.

Все, что я делала для них,— это были мелочи, и даже если бы я все свои силы отдала для того, чтобы помочь им, все равно, какое это имело бы значение для окружающего мира? Я сознавала это, и все-таки меня радовало, что в моем сердце есть место для таких людей. Теперь каждый день у меня находилось какое-то новое дело, и это приносило мне чувство удовлетворения.

Но к одному я никак не могла приучить себя: спокойно смотреть на сына убогого Дзэна. Стоит он, бывало, один-одинешенек, прислонившись к дереву у обочины дороги, взглянешь на него, и сердце сжимается от боли. Хотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь сделать для него. Но стоило мне увидеть перед собой это тщедушное тело, это уродливое лицо, как смелость оставляла меня. Проходя мимо, я еле удерживалась, чтобы не броситься прочь со всех ног.

Казалось, будто он вот-вот кинется на меня и начнет душить. И я проходила, избегая встречаться с его взглядом, хотя мою душу раздирали самые противоречивые чувства: с одной стороны — безграничный страх, с другой — сознание необходимости идти на помощь этому существу.

Может быть, есть какой-то способ пробудить разум мальчика, но никому нет до него дела, люди равнодушно проходят мимо, и только поэтому он обречен всю жизнь пребывать во мраке. Я холодела при этой мысли. Ведь не умер же он до сих пор, значит в нем скрыты жизненные силы. Десять лет — не малый срок, а если учесть, в каких нечеловеческих условиях он живет, то естественно предположить, что запас этих жизненных сил очень значителен.

Конечно, все это были мои фантазии, но временами мне казалось, что в его душе скрывается что-то свое, чего нет у других, и в этом своем он вовсе не так уж глуп.

Его отец считается сумасшедшим среди людей, но вот ведь с собаками-то он ладит, да еще как! Душа этого урода оставалась для меня загадкой, и чем загадочнее он мне казался, тем чаще мне приходило на ум: нет, тут что-то неспроста, тут что-то есть.

VII

Какое изумительно прекрасное утро! Безбрежная синева неба, мягкие серебристо-голубые очертания гор, тянущихся цепью друг за другом... Там, вдали над полями, радугой играет в лучах солнца облачко тумана. Веселым шелестом поет листва на деревьях, а как красиво разукрашена она хрустальными капельками росы!

Взгляни! Видишь ли ты, в каком сиянии предстает он, твой бог? Как прекрасно ты, лучезарное сияние жизни, какой радостью наполняешь ты мое сердце!

Доброе утро, создатель! Я вижу, ты доволен и счастлив! Слава тебе за то, что здоровой и бодрой встречаю я это утро. Прими и сегодня мой привет, великий создатель!

А ветер уже осыпает росу с деревьев, и воздух наполняется пьянящими ароматами утра. Из рощи доносится щебетанье птиц, в деревне петухи запели свою утреннюю песню. В траве у дороги алеет земляника, в чашечках шиповника, свисающего над зарослями кустов, зашевелились букашки, мокрые от росы. А вот прошуршал упавший с шелковицы лист. Где-то с шумом вспорхнула стая птиц. Все кругом просыпается, пробуждается к жизни. Какое прекрасное утро!

Переполненная радостными ощущениями, я продолжаю свою прогулку. Миновав поле, выхожу на тропинку и вскоре оказываюсь около единственной в деревне школы.

Занятия, видимо, уже начались, мне с улицы видна внутренность грубо отделанной комнаты, в которой сидит несколько маленьких смуглых ребятишек. Во дворе ни

души, я сажусь на траву и предаюсь воспоминаниям о своих школьных годах. Один за другим передо мной проплывают лица подруг и учителей. А вслед за этим мне вдруг вспоминается, как, будучи ученицей четвертого класса, я пришла сюда, вот в эту школу, просить разрешения поиграть на органе.

«Да, это происходило, кажется, вот в этой самой комнате», — думаю я и внимательно вглядываюсь в класс, где перед доской уныло стоит мальчик, видимо не знающий урока.

Память работает все лучше, и я совершенно отчетливо представляю себе сцену моего прихода в школу. На мне лиловое кимоно, вокруг головы прозрачная лента, в руках нотная тетрадь, присланная отцом из-за границы. И вот я вхожу в класс, подхожу к молодому учителю и прошу разрешения поиграть на органе.

У него круглое лицо, маленькие глазки, он кажется добродушным, этот двадцатичетырехлетний молодой человек. Учитель внимательно оглядывает меня и отвечает решительным отказом.

— Ведь если я разрешу тебе, другие тоже захотят, тогда и часу не пройдет, как мы его приведем в негодность, — старается объяснить он мне.

Но я не слушаю и продолжаю молча стоять. Молчит и учитель, но мое упрямство, видимо, начинает раздражать его.

— А ты откуда? — спрашивает он.

— Я? Я из дома Кисида...

Можно представить, с каким хладнокровием и самоуверенностью были произнесены эти слова! «Попробуй теперь отказать», — думала я и, наверно, самодовольно улыбнулась при этом.

— Ах, вот как! Тогда, пожалуйста, проходите.

Он провел меня. С каким чувством удовлетворения прикоснулась я к клавишам!

Сейчас мне от всего сердца жаль этого молодого человека и до боли стыдно за свое поведение в те минуты.

Он отказывался от своего справедливого требования, и перед кем,— перед маленькой, ничего не понимающей девчонкой! Он еще так молод, а жизнь уже научила его так легко отступать от собственного мнения. Но ведь это ужасно!

Хорошо, а что, если бы я была сейчас на его месте? Да я бы и слушать не стала, больше того, столкнувшись с подобной наглостью, рассердилась бы и не только не пустила, а отругала бы и выгнала. Слезы навернулись мне на глаза.

Да, у меня много слабостей, много недостатков, но испытывать это жгучее чувство стыда от своих собственных воспоминаний тоже нелегко.

Погруженная в грустные размышления, я глядела в окно класса и тут вдруг заметила, что на меня через голову сидящих детей смотрит человек. Лицо пухлое, красное, подбородок почти квадратной формы, сильно выдвинут вперед. Нос с толстой переносицей придает лицу добродушное выражение. Веки, почти без ресниц, прикрывают живые глаза, которым, кажется, очень неуютно на этом лице: так мало осталось для них места между припухшими веками и толстыми щеками.

Я всматриваюсь в это открытое, немного наивное лицо, и мне начинает казаться, что этот человек похож на того самого учителя, который когда-то так легко поступился передо мной своей требовательностью. Я поднялась и, улыбнувшись, вежливо ему поклонилась.

Я испытывала полное удовлетворение. Но молодой человек, видимо, был смущен и, бросив на меня какой-то странный взгляд, отошел от окна и скрылся в глубине комнаты. Может быть, ему показалось, что я сержусь на него. Наоборот, меня охватывало такое чувство, будто я наконец выполнила то, что должна была сделать перед тем учителем, который и сейчас живет где-то под одним небом, под одним солнцем со мной.

После этого на душе у меня стало сразу легче, и, возвращаясь по прежней дороге, я решила заглянуть на реку. Здесь всегда кто-нибудь рыбачил, а сегодня места рыболовов были заняты ребятами Дзинскэ. Они с головой ушли в свое дело, но им явно не везло: в сети не попадалось ничего, кроме мусора. Молча постояв, я промолвила:

— Так, кажется, ничего и не поймали?

Только тут мальчики заметили мое присутствие. Улыбнувшись, они переглянулись между собой, и средний из них вдруг повторил мои слова, произнося их, видимо из желания передразнить, на местный лад. Эта шутка развеселила меня.

«Ну, раз они так поступают, значит успели привыкнуть ко мне», — решила я и на радостях принялась их расхваливать.

Ребята, посмеиваясь, оглядели меня, а затем, схватив принесенные с собой котелок и сети, словно сговорившись, в один голос крикнули:

— Хойта! Хойта! Хойта!

При этом они разразились громким хохотом и помчались бегом, скользя по глинистой почве, изрытой следами конских копыт. Я не знала значения этого слова, но их веселый, жизнерадостный возглас продолжал звучать в моей душе.

— Хойта! Хойта! Хойта!

Вернувшись домой, я вошла в свою комнату и, стараясь подражать мальчикам, громко закричала:

— Хойта! Хойта! Хойта!

Но тут передо мной появилась удивленная, пораженная и явно недовольная бабушка.

— Что ты кричишь? Такая большая, а занимаешься глупостями!

Я и представления не имела, что «хойта» на местном наречии означало «побирушка».

VIII

Крестьянам нашей деревни некогда было раздумывать над воспитанием своих детей. Появившись на свет, дети росли, предоставленные самим себе, чтобы в конце концов превратиться во взрослых мужчин и женщин.

Безусловно, родители по-своему любили детей. Но они находились во власти весьма непосредственных чувств, и коль скоро речь заходила о ласке, могли заласкать чуть ли не до смерти. А уж если дети осмеливались ослушаться, натворить что-нибудь, тогда, как ни велика была любовь к ним, ненависть во сто крат превышала ее. Пощечины, пинки, брань — это было в порядке вещей. Случалось, наносили увечья, и это вовсе не считалось чем-то из ряда вон выходящим. В такие минуты взрослые не задумывались, что перед ними всего лишь дети, и давали полную волю гневу и негодованию.

Жизнь требовала от детей крепкого здоровья, слабые, как правило, умирали, едва дотянув до десяти лет. Ешь,

что попадется под руку, любую зелень, летом ходи голым под палящими лучами солнца, а зимой хоть ледяной водой облейся и при этом не чихни. Вот как жили люди.

В случае болезни спешили не к врачу, а к знахарю. Больных поили протухлой водой, давали им какие-то неизвестные снадобья в шариках, и не раз случалось, что дети становились жертвами родительского суеверия.

Если даже ребенок рос здоровым, родителям, трудившимся с утра до вечера в поте лица, все равно и в голову не приходило отправить его в школу. Пустая трата времени...

Девочки заменяли матерей в домашнем хозяйстве, а мальчики возились с младшими братьями и помогали родителям в поле. Родители-крестьяне и не помышляли об иной доле для своих детей, поэтому сын издольщика становился издольщиком. Так уж было заведено.

Родители дряхлели, их место занимали сыновья и дочери, чтобы своим трудом кормить господ помещиков...

Если же природа наделяла ребенка несколько отличным от остальных нравом, он до поры до времени рос, как и остальные крестьянские дети, но, став взрослым, сбегал в другие облюбованные им места.

Над судьбой слабоумных или просто идиотов никто никогда не задумывался. Они служили всего лишь забавой для деревенских озорников. Такой забавой были и дурачок Дзэн и его уродец сын. Право же, никому в голову не приходило проявлять беспокойство по поводу их судьбы. Что из того, что сынишка Дзэна не имел даже имени и круглый год питался одним тофу? Это лишь служило основанием, чтобы забрасывать его лошадиным навозом, вплетать в его волосы солому.

Шли дни, сочувствие к судьбе маленького урода росло в моей душе. Я должна найти способ сблизиться с ним! Но странная робость сковывала мои движения и мешала хотя бы подойти к нему. После нескольких тщетных попыток однажды вечером я все-таки оказалась рядом с ним. От волнения у меня спирало в груди, будто и в самом деле я собиралась свершить нечто из ряда вон выходящее.

Глядя на это отверженное существо, я мучительно раздумывала, как и о чем заговорить с ним. Да возмож-

но ли вообще привлечь его внимание? Наконец я выдавила из себя три слова:

— Ну, как ты поживаешь?

Едва пробормотав их, я тут же спохватилась. Да разве обращаются с таким вопросом к человеку, который просто сидит себе, ни о чем особенно не думает, ничего особенного не чувствует?

И пока я раздумывала, как поправить дело, он медленно повернул голову в мою сторону, как-то подался весь вперед и устремил на меня взгляд своих немигающих глаз. Я выдержала этот взгляд.

Между тем его лицо принимало какое-то мрачное, ожесточенное выражение, и вдруг мне показалось, что это выражение передается и мне и мое лицо становится похожим на его. Тут я не выдержала и бросилась со всех ног домой. Я мыла и терла свое лицо, рассматривала его в зеркало и лишь постепенно пришла в себя.

Свойственное мне воображение испортило на этот раз все дело, но я взяла себя в руки и вскоре понемножку стала привыкать к больному ребенку. Но добиться так ничего и не удалось. Мы либо молча стояли друг против друга, либо я тщетно пробовала что-то промолвить, чтобы привлечь к себе его внимание.

Что ж, если здесь была полная неудача, то зато в других делах я добилась маленьких успехов. Удалось отправить в город к врачу крестьянина с нарывом на ноге, и его вылечили. Время от времени я приносила чахоточной дочери бондаря то рыбы, то молока. Конечно, все это были мелочи, но выздоровевший крестьянин работал в поле, а ребята Дзинскэ ходили в одежде, подаренной мною. Это приносило мне много радости. С каждым маленьким успехом я испытывала новый прилив силы и бодрости.

Бедность людей была столь безгранична, что моим благодеяниям не могло быть предела. Да я и не думала об этом. Важно было сделать все, что оказывалось в моих возможностях. Правда, «моего» у меня ничего не было: ни лишней сэны, ни крупинки риса. По всякому поводу приходилось обращаться все к той же бабушке. И чем больше хотелось мне помочь крестьянам, тем чаще докучала я ей своими просьбами. Это становилось неприятно для нас обеих.

Мне хотелось быть бесконечно богатой. О, тогда бы я перевернула все в этой деревне, а добившись для крестьян сносных условий жизни, утерла бы нос тем, кто осмеливается не считать бедняка за человека.

IX

Жизнь обогащала меня все новыми впечатлениями, заставляя то радоваться, то огорчаться, а время между тем бежало безостановочно. Природа преображалась, наступал разгар лета.

Солнце нещадно палит, все толще слой белой пыли на дороге, и при каждом порыве ветра она столбом взвивается к небу.

Над полями стелется сизый дым: жгут солому. То тут, то там высоко взлетают над языками огня снопы, перебрасываемые ловкими руками, мелькают красные в отсветах пламени лица крестьян.

Пруд облепили толпы ребятишек. Залитую солнцем поверхность его то и дело бороздят загорелые руки и ноги, далеко слышны ребячьи визги, всплески воды.

А когда вечереет, роща кажется совсем черной в своем густо-зеленом наряде, четче мягкие очертания гор, играют зарницы, радуя крестьянские сердца. Вылетая из причудливо разрисовавших небо туч, они стрелой падают на горные вершины. Крестьяне говорят, что зарницы предвещают урожайный год.

Поля вокруг крестьянских домов в полном расцвете. Овощи, плоды — все налилось соками.

На поле, что видно из окна моей комнаты, уже созрели и горох, и кукуруза, и кунжут, и дыни. По небу плывут облака, и серебристые цветы гречихи то меркнут в их тени, то вновь ослепительно сверкают на солнце.

Уже созрели и абрикосы и инжир, а рядом с ними на отлого спускающейся полянке красиво желтеют тыквы, прячущиеся под широкими листьями. Наступила пора рыть картофель.

Двое крестьян рано утром вышли в поле с мешками, мотыгами, плетенными из соломы корзинами. Особенно ловко работал маленький одноглазый крестьянин. Мотыга его глубоко уходила в землю, и облепленные влаж-

ной грязью картофелины сыпались из вывороченной глыбы.

Иногда удар мотыги приходился на кротовую нору. Тогда насмерть перепуганные зверьки смешно шныряли под ногами крестьянина, чтобы в следующий миг вновь нырнуть в мягкую, влажную землю.

Босая, с подоткнутым подолом, я старательно трудилась на картофельном поле. День выдался не слишком жаркий, и работа спорилась. Я выбирала картофелины из облепившей их земли и бросала в корзинку. Вдруг мои руки наполнились чем-то ужасно неприятным, липким. Я даже вскрикнула, но по инерции продолжала шевелить пальцами. Это оказался сгнивший клубень, скользкая липкая масса которого измазала мне ладони. Зеленовато-желтая слизь издавала ужасный запах. Вне себя от этого неприятного ощущения я торопливо погрузила обе руки в землю, чтобы оттереть ее. Но слизь успела смешаться с землей и словно приросла к моим пальцам. Я готова была расплакаться. В это время ко мне с улыбкой подбежал крестьянин и, взяв щепку, стал легко соскребать грязь, словно счищал с чашки засохшие остатки каши.

— Ну вот, все в порядке, барышня. Ничего опасного для вашей жизни.

Все, кто был неподалеку от меня, рассмеялись: и мои домашние и работавшие неподалеку крестьяне.

Время не ждало, на полях все созрело, и теперь каждый день я принимала участие в крестьянских работах. Часть из нового урожая раздавали крестьянам, часть сушили, солили или просто складывали в мешки.

И вдруг у нас случилась неприятность. Мы заметили, что к нам на огород повадились воры. Правда, такое случалось и прежде, ничего диковинного тут не было, но настроение нам это портило.

Воровали не так уж много, но ведь это были плоды нашего труда и забот, и, естественно, мы негодовали. Пытались принимать меры. Стали метить тыквы, из которых теперь что ни день пропадали самые лучшие. Мы разрисовывали красные головы жирными цифрами «8» или «10». Это было достойное зрелище. Но все было напрасно, на следующее утро самые лучшие снова пропадали.

Особенно негодовала наша служанка. Стоило кому-нибудь появиться на поле, как она, не давая себе труда разобраться, кто там, поднимала крик и бросалась камнями.

Честная по натуре, она, даже присаживаясь отдохнуть, не спускала глаз с поля. Если я, совершая перед сном прогулку, останавливалась там, то и по моему адресу доносился грозный окрик:

— Эй, кто там!.. Вот сейчас тебе камнем...

Однажды выдалось туманное утро. Было, вероятно, часа четыре. Я спала крепким сном, как вдруг до меня донесся негромкий, но явно встревоженный голос бабушки:

— Вставай скорее! Слышишь? Вставай же!

Я испуганно вскочила и, еще ничего не понимая со сна, пробормотала:

— Что? А? Что случилось?

Бабушка схватила меня за руку и потянула к окну с полураздвинутым ставнем. Вначале я не могла ничего разглядеть, но постепенно сквозь туманную дымку, застилавшую стекло, различила силуэт человека, который двигался по огороду среди тыкв.

Я вздрогнула от неожиданности и, плотно прижавшись лбом к стеклу, стала внимательно следить за ним. Он крадучись шел по огороду, явно выбирая тыкву получше.

— Ведь уже утро, вот бесстрашный!

Вскоре человек поднялся во весь рост и направился к тропинке. В руках он нес большую тыкву. Он шел как ни в чем не бывало, и в тот момент, когда уже выходил на дорогу, появился силуэт нового пришельца... С первого взгляда было видно, что это женщина.

Я ахнула. Как быть, что предпринять? Сбросив ночное кимоно, я вышла на улицу. И тут... Я остановилась как вкопанная, казалось, язык мой присох к гортани. Еще бы... Понурив голову, передо мной стояла сама Дзинскэ. Красная с белыми полосами тыква лежала у ее ног. Я не хотела верить собственным глазам. Но верь не верь, к несчастью, это была она. Я робко взглянула на нее и невольно изумилась: с каким хладнокровием держалась эта женщина... Право же, она стояла совершенно спокойно, только голову опустила и искоса, словно с издевкой, поглядывала на сердитое лицо бабушки.

Мне стало страшно. Вот она стоит перед нами, но ведь мы с бабушкой сейчас скажем ей слова упрека. Ведь она хорошо знает, что мы не собираемся молчать. И тут я невольно обратила внимание на нас самих, как мы стоим перед ней, исполненные сознанием своей правоты и готовые в любую минуту подкрепить правоту силой.

Да, мы, конечно, заговорим. Наверно, будем бранить ее, выговаривать ей, как всегда это делают люди во имя собственного утешения при виде того, кто совершил так называемый плохой поступок.

Но ведь мы и без того застали ее на месте преступления. Разве одного этого не достаточно? Какую еще пользу принесут слова? Тысячи людей в негодовании повторяли избитые слова, на которые другие люди отвечали другими тысячами слов, но разве эти слова оставляли что-нибудь в их сердцах? Это избитые приемы воспитания, и от них все равно нет толку.

Нет, есть только одно средство. И я, отодвинув в сторону бабушку, которая все еще не знала, с чего начать разговор, решительно проговорила:

— Прошу вас, пожалуйста, отпустите ее! Так лучше.

— Да ты что!

— Нет, так лучше! Именно лучше, и поэтому нужно поторопиться. Скорее же.

Мое решение, видимо, пришлось бабушке не очень по душе, но она не прервала меня и только в конце добавила:

— Бери и уходи. Но чтобы другой раз этого не повторилось.

Жена Дзинскэ с невозмутимым видом, как если бы она с самого начала предвидела это, зашагала по направлению к безлюдной в этот час улице. Голову она держала опущенной, но походка ее была спокойной, а тыкву она держала так, как если бы не стащила, а просто купила ее.

В моей душе бушевали самые различные чувства: и горечь и негодование. Но, поразмыслив, я успокоилась.

«Ведь не могу же я из-за одной-единственной тыквы называть человека вором», — повторяла я про себя одни и те же слова.

X

Вся моя помощь семье Дзинскэ до сих пор ограничивалась тем, что я приносила им старую одежду, немного продуктов, немного денег. Конечно, это были пустяки, о которых не стоило и говорить.

С точки зрения посторонних людей все это казалось самым обыденным, так поступают в конце концов все, кто сколько-нибудь задумывается над подобными вещами. Нет тут ничего примечательного, ничего особенно ценного. Но я никогда и не думала о награде или благодарности за свою помощь. И все-таки поступок жены Дзинскэ огорчил меня. В этом было что-то жестокое. Однако одно обстоятельство утешало меня. Я впервые научилась владеть собой. По натуре я вспыльчива и поэтому за последнее время старалась особенно следить за собой и прилагала все усилия, чтобы оставаться терпимой и великодушной. А ведь дома, стоило только братьям досадить мне чем-нибудь, как я приходила в негодование, и в ссоре все мы быстро теряли всякое чувство меры.

Право же, я не могла не радоваться, что на этот раз все обошлось так мирно.

Мне казалось, что отныне у нас наступит тишь и благодать. Я была совершенно уверена, что теперь ни один вор никогда не появится на наших полях. Но прошел день, другой, и я убедилась, что мои надежды были не чем иным, как «пустой фантазией», «мечтами барышни».

Наоборот, кражи в саду и в огороде только участились. Без всякого стеснения ломали и вытаптывали еще не созревшую кукурузу, с корнем вырывали поросли соевых бобов, хотя до сих пор их никогда не трогали, из пруда выловили всю траву куваи.

Я совсем было приуныла. А так хотелось уладить все мирно, не причиняя никому зла. Но как добиться этого, я и представления не имела. Меня охватывало чувство страха, смятения, подобное тому, какое бывает у человека, когда он ночью в темноте торопится и не может разыскать спички и свечу.

А кроме того, после каждой новой кражи приходилось выслушивать сетования бабушки, которая теперь только и делала что ворчала.

— Нет, такого еще никогда не бывало! Право же, не бывало.

И все-таки я твердо придерживалась того мнения, что в моем поведении до сих пор не было ничего плохого. А то, что жители деревни пустились на такие дела, этому ведь тоже были свои причины.

В конце концов кто же из нас виноват? Я поступала, как подсказывал голос моего собственного сердца. Но и их поступки были продиктованы силою жизненных обстоятельств. Значит, и я и они просто не могли действовать по-другому. Возможно, что мой поступок както побудил их к этому, возможно, он был ошибкой, но быть твердо уверенной я все-таки не могу. Как не могу быть твердо уверенной в том, что виноваты прежде всего они. Словом, я не могла прийти ни к какому выводу.

Однажды вечером я сидела в своей комнате. Как обычно, я потушила свет и любовалась расстилавшимся за окном пейзажем, который кажется иным, более необычным, когда на него смотришь из темноты.

Вдруг где-то неподалеку послышался шорох. Кажется, шаги... Да, кто-то приближался, именно так шуршит трава под тяжестью человеческой ноги.

Но я не испугалась. Подкрадывался всего лишь мальчик. Его маленькая фигурка с длинным шестом в руках, казалось, плыла в потоке лунного сияния, заливавшего все вокруг. По всей видимости, он держал путь по направлению к лучшему в нашем саду абрикосовому дереву.

Тут мне все стало ясно, и, отодвинувшись от окна, я стала наблюдать за ним. Мальчик уже находился в тени дерева и из своего укрытия внимательно оглядывался вокруг, не выпуская из поля зрения наш дом, скрытый за живой изгородью. Но ведь он не обладал зрением кошки, и ему в голову не приходило, что из глубины темной комнаты кто-то наблюдает за ним.

Вот мальчик вытянул шест и, запрокинув лицо, нацелился в ветку, обсыпанную спелыми абрикосами. Кончик шеста коснулся ее, и несколько плодов упали на землю. Мальчик проделал это во второй и в третий раз. Неизменный успех явно приободрил его, и с присущим детям увлечением он с головой ушел в свое дело. В четвертый раз он тряхнул ветку шестом уже сильнее,

чем прежде. Верхушка дерева закачалась, и плоды с шумом посыпались на землю, ударяясь о лицо и плечи мальчугана. Это привело его в восторг. Изумление, радость были столь велики, что у него вырвался возглас восхищения. Но он мгновенно понял свою оплошность, и его охватил страх.

Неужели его обнаружат? Мальчик беспокойно оглянулся вокруг и вдруг помчался со всех ног по направлению к полю, забыв о всякой предосторожности.

Я не могла сдержать улыбку. Вот они, его абрикосы, валяются себе на земле, а сам он убежал, испугавшись собственного голоса. Ну можно ли на такого сердиться...

Я не знала, чей это был ребенок, но представляла себе, как он примчался домой и не может отдышаться, а в душе его осталось восхищение от абрикосового дождя, осыпавшего его, и ощущение невыносимого страха, пришедшего вслед за этим.

Ах, маленький разбойник! Спи спокойно! Завтра тоже будет солнце.

И все-таки как больно, что и он такой же опустошитель наших садов и огородов, как и остальные, доставляющие мне столько неприятностей.

XI

Однажды ко мне вдруг пожаловал бондарь с просьбой одолжить ему денег. Этот человек всегда очень бедствовал, и бабушка не раз приходила к нему на помощь, но с тех пор как заболела его дочь, бондаря остерегались подпускать близко к дому.

Выглядел он типичным алкоголиком: руки у него тряслись, лицо одрябло, кожа складками спускалась к подбородку. В пьяном состоянии бондарь шумел и разыгрывал из себя «хозяина», трезвый же походил скорее на дурачка. Жена, женщина лет на двадцать моложе его, помыкала им как хотела, и над этим потешалась вся деревня.

Бондарь явился в тот день, когда бабушка ушла на кладбище. Как он низко кланялся, как взывал к сочувствию этот взрослый человек, и все ради каких-то пяти иен! Он заявлял, что на карту поставлена чуть ли не

вся его жизнь, уверял, что никогда не забудет моего благодеяния, превозносил меня до небес так, что было тошно его слушать, и без конца повторял: «Барышня, да ради вас я готов в огонь и воду! Поверьте мне, барышня!»

Впервые лично у меня просили взаймы денег, и, увидев, до какой степени унижается передо мной человек, я, право, не знала, что мне делать — плакать или смеяться.

А бондарь не скупился на глупые похвалы и безудержную лесть, и я слушала его, хотя на самом деле была совершенно бессильна хоть чем-то помочь ему. Девчонка без гроша за душой, какой смешной и глупой могла я показаться постороннему человеку!

Между тем наша служанка не раз предупреждала меня, что продукты, которые я приносила в дом бондаря, как правило, съедали сами родители, а больной дочери так ничего и не доставалось. «Ах, в конце концов, что ни дай ему, он все равно все пропьет», — решила я про себя.

На мой вопрос, зачем понадобились ему эти пять иен, бондарь ничего вразумительного ответить не мог, и мои сомнения лишь усилились. Я пыталась ему доказать, что сама нахожусь на иждивении у других и в данную минуту ничем не могу ему помочь.

Однако бондарь истолковал мои слова по-своему и, решив, что он недостаточно кланялся и клянчил, начал вдруг так превозносить меня, нести такую чушь, что слушать его становилось просто невозможно.

Я не выдержала и расхохоталась, тут и сам бондарь смекнул, что зашел слишком далеко, и, бессмысленно улыбнувшись, побрел прочь, что-то бормоча под нос.

Конечно, вся эта история была нелепа с начала и до конца, но одно обстоятельство заставило меня призадуматься. Ведь бондарь пришел нарочно, чтобы «поклянчить», в тайной надежде, что «авось да повезет». Ну, а предположим, я выполнила бы его просьбу, разве другие не прибегли бы к таким же уловкам?

Да что же это происходит? Я стараюсь делать добро, а оно оборачивается лишь злом. С тех пор как я принялась помогать крестьянам, вокруг меня появилась масса таких попрошаек.

Под тем или иным предлогом меня навещал каждый, кто понимал, в каком невыгодном положении находится

девушка, попытавшаяся выйти из своего маленького, почти детского мира.

Шумная лесть и низкопоклонство со стороны женщин, крики и беготня по комнатам грязных босоногих детей. Никакого порядка, ни тени смущения, все поднято вверх дном, и не только я сама не знаю ни покоя, ни отдыха, но и весь дом напоминает какой-то притон гадалки, каких сейчас так много развелось в провинции.

И бабушка и все остальные обитатели дома винят во всем только меня. Я виновата в том, что на очаг опрокинули воду, и в том, что им приходится с самого утра выслушивать разные глупости...

Конечно, я по-прежнему старалась сохранять добрые чувства к крестьянам. Но не легко, когда и своих дел много, еще выслушивать на правах товарища бесконечные слухи и пересуды, которые часто были известны мне лучше, чем им.

При виде того, как они набивают себе животы чаем и сладостями, и прежде всего потому, что все это дается задаром, мне начинало казаться, что я сбилась с пути и заблудилась.

Отчаяние перемежалось с надеждами, и я чувствовала, что уже и сама не могу как следует разобраться в собственных делах.

XII

Пока жизнь вокруг меня текла своим чередом, в дамском обществе города К. возник некий план. На окраине города находилась протестантская община. Со времени ее создания прошло не так уж много времени, однако она успела привлечь внимание многих лиц.

Первым организатором ее был иностранец. Ему удалось объединить вокруг себя небольшое число искренне верующих людей, и деятельность общины протекала незаметно для остальных. Преемником иностранца оказался человек весьма жизнерадостного нрава, который, обращаясь к прихожанкам, стремился внушить им одну мысль: «Все мы люди, все грешны».

Тем самым он быстро завоевал симпатии дамского общества. «Какой приятный пастор», — решили они и стали с удовольствием посещать собрания.

Нынешний, третий по счету, глава общины был, по мнению всех, исключительно мягким, простодушным человеком, и фактически всеми делами заправляли теперь женщины.

Жизнерадостный предшественник нынешнего пастора, пользовавшийся по различным соображениям столь высоким расположением среди местных дам, умер прошлым летом. Кровоизлияние в мозг буквально в один миг унесло его в лучший мир.

Дамы, еще не слишом старые по возрасту, для которых токийские моды служили источником постоянных терзаний, использовали общину как место для своих сборищ. Во время проповеди соперницы разглядывали и оценивали наряды друг друга, а получая благословение божие, обдумывали узор нового кимоно. Словом, община удовлетворяла всем требованиям с точки зрения дамских интересов.

Двадцать четвертого августа исполнялась годовщина со дня смерти любимого пастора, и жаждавшие новизны и перемен горожанки встречали эту дату как событие совершенно исключительное. Сколько раз, слыша о пышных празднествах вроде Дня цветов, они прикидывались равнодушными, хотя у них дух замирал от одних таких разговоров, а теперь они имели возможность взять реванш, и поэтому предложение как-то по особому отметить эту дату встретило всеобщее одобрение.

После долгих обсуждений было решено организовать в этот день раздачу милостыни среди бедных крестьян деревни К., где был похоронен пастор.

Благотворительные дела всегда находили горячий отклик со стороны покойного, но чрезмерная занятость и недостаток средств помешали ему добиться успеха на этом поприще. «Кому же, как не нам, исполнить его волю?» — рассуждали дамы и с жаром взялись за дело.

Вскоре появились специально отпечатанные открытки, излагавшие просьбу пожертвовать кто сколько может. Такие открытки были разосланы всем тем, кто в этом городе удостаивался приставки «сан»[1] к своему имени.

---

[1] Сан — суффикс после имени собственного: господин, госпожа.

Те, кто получил открытки, реагировали по-разному: одни были обрадованы, других эта затея мало трогала, но их мучил страх, как бы не ударить в грязь лицом перед остальными.

Словом, город жил слухами о предстоящем событии, ведь такое случалось впервые в его истории. Здешним женщинам так редко удавалось проявить свою инициативу, что переполох на этот раз поднялся такой, будто речь шла о светопреставлении.

Однако вскоре начались всякого рода жалобы и нарекания, и это поставило участниц благотворительной компании в весьма затруднительное положение.

Так, например, к какой-то из дам обращались более вежливо, называя ее членом комитета и т. д. Тогда другая думала: «А чем я хуже ее?» В результате появилось предложение закрепить за каждой соответствующую должность, начиная от председательницы, вице-председательницы и вплоть до курьера, тогда никого не придется называть просто по имени без учета ранга. За это предложение особенно рьяно ратовали те, кто считал себя подходящей кандидатурой для поста повыше.

«Нас, женщин, не считают за деловых людей, думают, что мы лишены чувства ответственности, поэтому нужно все поставить на деловую ногу и действовать в соответствии с моментом». Такие голоса раздавались все громче и громче, и в конце концов каждая из женщин получила назначение.

Затея обретала в глазах общества все более серьезный смысл. Дамы, не имевшие шанса стать председательницей или вице-председательницей, все равно стремились во что бы то ни стало обогнать одна другую хоть на шаг. Стоило госпоже А. только подумать, как госпожа Б. уже просила, интересы сталкивались, противоречия разрастались.

Правда, внешне все обстояло благополучно, дамы вели себя со свойственной им благопристойностью, но какая борьба страстей скрывалась за этой благопристойностью! Каждая пускала в оборот свое оружие — служебное положение мужа. Да мало ли к каким другим средствам прибегали здесь, на втором этаже небольшого помещения уездной управы.

В конце концов после долгих споров и раздоров должности были распределены, и все немного успокоились. Но мир, конечно, не был абсолютным, к этому не было оснований.

Председательницей была избрана супруга начальника самой большой в городе больницы, ее так и звали: супруга начальника больницы Ямада. Нельзя сказать, чтобы эта женщина отличалась от остальных какими-то особыми достоинствами. Просто все знали, на что способна эта дама, когда ее честолюбие оказывалось задетым. Этим и объяснялось в первую очередь ее избрание.

Госпожа Ямада, женщина лет сорока, была маленького роста и невероятно толстая. Зеркало, перед которым она совершала свой туалет, едва вмещало только верхнюю часть ее фигуры. Казалось, эта дама состоит из двух разных половинок. Верхняя начиналась с пышной европейской прически, дальше шли уши и шея, покрытые сплошь веснушками и запудренные по принципу «это никого не касается». Верхняя половина заканчивалась широким поясом. В сидячем положении госпожа Ямада выглядела поистине величественно, но стоило ей подняться, как казалось, что она вот-вот рассыплется. Уму непостижимо, каким образом кривые короткие ножки выдерживали такую тяжесть.

Она имела привычку на ходу решительно двигать то одним, то другим плечом; при встрече с ней в общественном месте человек просто терялся. Можно представить себе, какой становилась госпожа Ямада в торжественные минуты! При виде этих властных поворотов головы, этого трясущегося туловища невольно смирялся любой противник.

После того как ее избрание на пост председательницы было признано всем и каждым, она успокоилась и одобрительно кивала головой, едва заметив, что с уст того или иного готово слететь почтительное слово по поводу ее несравненной особы.

Как благодарила госпожа Ямада судьбу за то, что жена мэра города К. успела умереть ровно два года тому назад! Она даже ходила тайком к ней на могилу. Не уберись та на тот свет, да разве могла бы госпожа Ямада рассчитывать на такое положение! Что ни говорите, судьба была к ней явно милостива...

Так постепенно дело, по началу задуманное скромно, обретало все более глубокий смысл и стало делом чести для каждой из участниц.

Бедному пастору теперь было уже не до молитв, ведь на нем лежала и обязанность хранить деньги и вся канцелярская работа.

— Ах, но ведь это тоже для спасения души, сэнсэй [1],— говорили прихожанки и бесцеремонно взваливали на пастора любое дело из тех, что приходились им не по вкусу. Дамы успели окончательно прибрать к рукам этого человека с редкой седой бородкой, имевшего привычку, прежде чем вымолвить слово, усиленно тереть бородавку величиной с горошину на тыльной стороне левой руки. С утра, подвязав тесемками рукава рясы из белого холста, пастор погружался в дела, не замечая, как наступает вечер.

А женщины, переглядываясь друг с другом, весело лепетали: «Простите, но все мы теперь так заняты»,— и от души смеялись, зная, что означали такие слова на их условном языке.

В общем, все были в приподнятом состоянии, как если бы собирались на пикник в горы, хлопотали и суетились, но тут вдруг возникла одна неприятность: оказалось, что к 24 августа подготовка не может быть закончена. Дамы пришли было в уныние. Успеть вовремя нет никакой надежды, в самом лучшем случае потребуется еще три-четыре дня. «Но в конце концов покойный не будет на нас за это в обиде», — рассудили они и решили выпросить у души милого покойного неделю отсрочки. Некоторое время они все еще продолжали восхвалять добродетели покойного и поспешили прийти к заключению, что его место несомненно в раю.

Последний срок приближался. В тот день, когда сбор пожертвований был прекращен, на стенах общины появились списки, извещавшие, кто и сколько пожертвовал. От любопытных не было отбоя.

— Вы только посмотрите, сколько пожертвовала эта госпожа! Ах, что ни говорите, живут же люди! — наперебой расхваливали дамы проходившую между ними госпожу Ямада, о которой списки гласили: «Пожертвовано сто иен. Ее превосходительство председа-

---

[1] Сэнсэй — учитель; здесь — почтительное обращение.

тельница». Сегодня она работала своими плечами еще усиленнее, чем когда-либо прежде, но при каждом приветствии не забывала повторять:

— Ах, ну что вы! Мне даже неловко! — а сама бросала озабоченный взгляд на слова «пожертвовано сто иен» и проходила в толпе дам, полная сознания своего величия.

XIII

Слухи о планах городских дам вскоре дошли до меня, а затем стали достоянием и всей деревни. Время шло, слухи подтверждались, и атмосфера накалялась. Теперь только и разговоров было что о предстоящем приезде горожанок.

Бедные люди отложили развлечения по случаю праздника Бон [1], и, хотя деньгами еще и не пахло, в каждом доме с жаром обсуждали будущие покупки. Многодетные семьи вызывали зависть, ведь они получат больше денег. Теперь в деревне никто не возразил бы, если бы его семейство могло вырасти за одну ночь на пять, а то и на все десять душ. А еще недавно маленькие бесенята не вызывали у взрослых ничего, кроме чувства досады.

И без того тяжеловатые на подъем, жители деревни совсем распустились, отныне им мерещилось, что все то, что достается потом и тяжелым трудом, само собой придет к ним в руки.

У нас в доме с утра до вечера толпились те, кто, раз зайдя к нам, получал хоть какую-нибудь подачку. Жаловаться, молить о сочувствии и получать милостыню стало для них чем-то вроде побочного заработка, и все потому, что они не думали или не умели думать о своем месте в жизни.

Наблюдая за ними, я размышляла: сулит ли добро предстоящая раздача пожертвований? Собственно говоря, эти сомнения относились в первую очередь ко мне самой и при этом глубоко терзали меня.

Ведь крестьян интересовало одно: лишь бы перепало что-нибудь даром. Никакая сила не заставила бы их отказаться от подачек.

---

[1] Бон — буддийский праздник поминания умерших.

Однако, едва получив новое кимоно, они тут же выбрасывали старое. Если у них в кармане заводилась лишняя иена, они тратили ее безрассудно на всякие пустяки — вроде шелкового кимоно, ботинок, шляпы, которые потом вовсе и не носили. Их привлекал в первую очередь сам факт покупки. Поэтому какие-то там пять или десять иен, в общем, ничего не значили в их жизни. Нужда давала себя знать, и купленное снова относилось в город. И деньги и вещи очень недолго задерживались в их руках. Жизнь означала нужду, лишения, и лишь память хранила смутное воспоминание о том, что тогда-то было куплено новое кимоно, тогда-то в руках оказалось столько-то денег.

За последнее время я стала все чаще задумываться над тем, как все-таки сложна жизнь. Стоило обойтись с крестьянами поласковее, они готовы были сесть тебе на голову, попробуешь быть строгой, они начинают бояться, и тогда от них не добьешься ни слова.

А вдруг эта затея горожанок увенчается успехом?

Кто знает, может быть они действительно сумеют помочь деревне? Что ж, это было бы прекрасно.

Да, а я вот крепче их связана с нашими крестьянами, в этой деревне у меня непочатый край дела, но и то малое, что удается выполнить, кажется не приносит успеха.

Эти дамы далеки от крестьян и вовсе не испытывают мучений, равных моим, нет у них и моего вдохновения. И если несмотря на это их ждет настоящий успех, какой маленькой и бесполезной окажусь я сама! Словом, совсем с иным настроением, чем окружавшие меня жители деревни, я ждала прихода «бога богатства».

Но пока меня занимали такого рода размышления, в деревне произошло событие, привлекшее к себе всеобщее внимание.

Прошел слух, что сын возчицы Син-сан стащил у матери два мешка гороху и продал их. По правде говоря, в деревне не было дома, где бы не случалось кражи. Нет-нет, а дети воровали у родителей то деньги, то вещи. О таких пустяках крестьяне не находили нужным много разговаривать. Но Син-сан считался человеком честным, а вот его мать была всем известной в деревне сплетницей и скрягой. Этим обстоятельством и объяснялся обостренный интерес к истории с горохом.

«Нет, нет, тут что-то кроется», — рассуждали крестьяне, и не было человека, который, зайдя в наш дом, не заводил бы разговора о Син-сане.

Между тем я почти не знала этого человека, и мне было трудно судить о нем. На вид Син-сан был застенчив, скромен и очень вежлив. Мне казалось, что он не причастен к краже, что он просто не способен на такой поступок. Но ведь его собственная мать при каждом приходе к нам, вся красная от гнева, кричала не своим голосом: «Чтоб он сдох, окаянный, сил моих больше нет. Слыхали, какую он штуку выкинул?!»

И она ругала сына на чем свет стоит за то, что будто бы тот продал горох и на эти деньги несколько дней гулял в публичном доме. Ведь это говорила его родная мать, неужели она могла так лгать?.. И все-таки не верилось, что Син-сан совершил нечто подобное. Словом, я следила за ходом событий, не зная кому верить.

Сам возчик умер два года назад, и с тех пор о его жене ходила дурная слава. После смерти мужа она и не подумала вызвать к себе сына, работавшего на Хоккайдо, а все дела взяла на себя. «Советчиков» у нее нашлось немало, и все в деревне, например, знали, что возчик Дэнкити из соседней деревни завладел персиковыми деревьями и прочим добром вдовы, а ныне спит и видит как бы избавиться от ее сына.

Син-сан ушел на Хоккайдо юношей, почти мальчиком, и в течение семи лет вплоть до мая этого года работал не покладая рук, лелея надежду заработать на свадьбу, вернуться в деревню, стать помощником матери, наладить хозяйство. Такому было не до гулянья.

Но судьба оказалась немилостивой к Син-сану. У него началась болезнь почек, и по настоянию врача он, наконец, вернулся на родину с восемьюдесятью иенами в кармане. «Молодой, а смотри какой уважительный»,— говорили про него в деревне, и даже моя бабушка поздравила его с приездом.

Однако мать Син-сана, доведенная чуть ли не до помешательства долгами и прочими неприятностями, готова была любому горло перегрызть из-за гроша. Поэтому, узнав, что сын болен, она его и в дом принимать не хотела.

Син-сан тяжело переживал такое отношение со стороны матери и старался оплачивать из собственного

кармана и лечение у городского врача и все остальные расходы. Кроме того, более сорока иен он отдал матери сразу же по приезде.

До меня не раз доходили слухи, что у Син-сана понемногу пропадают деньги, стоит ему по неосторожности оставить дома набедренную повязку, в которой хранились сбережения. Слыхала я также, что мать могла ни с того ни с сего наброситься на взрослого сына и осыпать его бранью и тумаками.

Поэтому все в деревне с симпатией относились к Син-сану и с глубокой неприязнью — к его матери. Сам же он из-за всего этого лишь мучился, не зная, на чьей стороне правда.

Настал день, когда Син-сан был обвинен матерью в краже гороха. Как честный человек, он до того опешил и растерялся, что от него нельзя было добиться никакого путного ответа. Он старался понять, когда, где и за что могли на него пасть такие подозрения, но не мог ничего припомнить. Син-сан жил словно в каком-то чаду, ему казалось, что земля под его ногами вот-вот разверзнется черной пропастью.

Естественно, что это событие оказалось в центре внимания всей деревни. Я толком ничего не знала и представить не могла, в чем же тут дело, но, как и всегда, в таких случаях находились дотошные люди, которые считали своим долгом разузнавать и разведывать от всех и отовсюду. Вся эта история с горохом была встречена с недоверием с самого начала, и мало-помалу люди пришли к убеждению, что она выдумана самой матерью для того, чтобы выманить у сына оставшиеся деньги... Но Син-сан отказывался верить, пытался оправдать мать и помешать распространению всяких слухов. Конечно, он тяжело переживал происходившее, чувствовал себя несчастным, и у него даже закрадывалось сомнение в том, что он родной сын своей матери.

Син-сан ходил бледный и мрачный, и, встречая его на улице, осунувшегося от переживаний, с непокрытой, несмотря на зной, головой, я искренне сострадала этому человеку. Но ведь ему уже двадцать три года, почему же он позволяет своей матери, этой безрассудной женщине, так помыкать собой? Уж как ни издевается она над ним, как ни унижает его, а он все равно ни словом

не перечит ей, да куда там — еще пытается оправдывать ее на каждом шагу.

«А ведь где-то и в чем-то Син-сан куда лучше таких людей, как я», — думалось мне, и я от всей души жалела его. Но чем помочь? Не принесешь же ему немножко пищи, как я поступала в таких случаях с другими.

При встрече с Син-саном я тепло здоровалась с ним и вежливо расспрашивала о здоровье. Всегда, даже и в те дни, когда по лицу Син-сана было видно, что он болен, я слышала неизменный ответ:

— Благодарю вас, мне стало лучше.

XIV

Занятые происшествием с Син-саном, мы и не заметили, как подошло 31-е число. День с самого утра выдался на редкость жаркий. Ленивый южный ветерок едва-едва перебирал листву на деревьях.

Я встала раньше, чем обычно, и, как всегда, пошла на прогулку по деревне. В домах уже успели позавтракать, а на площади и на перекрестках толпились ребята разных возрастов и что-то оживленно обсуждали.

Их вид поразил меня, право же, все они были одеты куда грязней и неряшливей обычного. Женщины ходили растрепанными, а их безрукавые кимоно «тян-тян», казалось, вообще ни разу не побывали в стирке. Голые босоногие ребятишки держали себя так, как если бы наступил праздник. На улицу выползли какие-то калеки и дряхлые старцы, о существовании которых, казалось, никто в деревне и не подозревал.

Даже бондарь вывел на чистый воздух свою дочь, хотя каждый знал, что он ждет не дождется, как избавиться от нее. Бондарь не постеснялся выставить напоказ грязные лохмотья, составлявшие постель больной. Что же это происходит? Я отказывалась понимать.

Деревня выглядела такой грязной, как никогда, и в то же время в ней царило небывалое доселе оживленье.

Но вскоре я поняла и ужаснулась. До какого унижения способны доходить люди! Сознание своего полного бессилия перед происходившим заставило меня вернуться домой.

А там по-прежнему царили чистота и порядок и веяло уютом от привычных вещей. Я вышла на террасу взглянуть на дорогу. Отсюда можно было видеть каждого, кто направляется в деревню из города. Приближался полдень, а никто из горожан все еще не показывался. Но вот часам к одиннадцати на дороге заклубилась пыль, и появилось много рикш, мчавшихся во весь дух. Городские дамы готовились приступить к исполнению своих обязанностей...

У въезда в деревню они сошли с колясок и во главе с председательницей отправились пешком, оживленно переговариваясь. А к ним со всех сторон уже спешили женщины и девочки с младенцами за спинами и окружали их тесным кольцом. Бедняжки не могли оторвать глаз от городских «барынь». Еще бы! В волосах — блестящие гребни, на руках у всех сверкают кольца с разноцветными камнями — красными, синими, белыми. И у каждой на руке маленький красивый мешочек. А какие оби![1] А какие белила, смотри, как ровно лежат! Ого, да у них еще и зонты!

От зависти у крестьянок кровь бросилась в голову. Разве они не такие же женщины? Им почему-то суждено до самой смерти прозябать в грязи, а вот эти — вон как наряжены, вон как бросаются деньгами!

Ах, какое великолепие! Однако... Удивление крестьянок имело свою причину. Горожанки не поскупились на украшения, но одежда на них была всего-навсего из муслина. Объяснялось это просто: ведь было принято условие: «Мы должны выглядеть скромными, ткани не дороже муслина», и рассудительные женщины честно и точно выполнили этот пункт.

Итак, дамы отправились в обход. Какое странное зрелище представляли эти зонты самых ярких цветов на фоне пыльной деревенской дороги! Процессия сделала первую остановку у дома бондаря.

Следовавшая за дамами толпа сгрудилась у дверей, задние напирали и толкали передних. В темной, спертой от духоты комнате выстроилась вся семья: сам бондарь в одних штанах, его жена в изодранном кимоно «тян-тян», и между ними дочь, скорее похожая на

---

[1] Оби — пояс-украшение.

привидение, чем на живое существо. Все трое дружно отвешивали поклоны.

Председательница начала глухим голосом в высокопарных выражениях, пересыпанных канго [1], объяснять цель своего прихода. Супруги явно ничего не поняли из ее объяснений и лишь продолжали низко кланяться. Наконец председательница подала знак, и одна из дам ее свиты положила на ярко-красный лакированный поднос конверт, перевязанный разноцветной тесьмой, и поставила его прямо перед бондарем.

Облагодетельствованные супруги готовы были прыгать от радости при виде этого, но сдержались и, пробормотав что-то в знак благодарности, принялись снова отвешивать поклоны.

Все это продолжалось довольно долго. Дамы наслаждались этим спектаклем, и бондарь готов был уже крикнуть им в сердцах: «Что человека дурачите? Пошли прочь!»

Наконец процессия двинулась. Супруги облегченно вздохнули и, не дожидаясь, пока все гостьи до одной покинут их жилище, принялись рвать конверт с двух сторон горя от нетерпения.

В конверте лежал пятииеновый билет. Оценив стоимость подарка, они чуть не захлопали в ладоши от восторга.

— Ну, теперь мы живем, — улыбаясь, промолвил бондарь.

— Еще бы, теперь я могу купить это оби, — вторила ему жена. Но едва вымолвив эти слова, она спохватилась и посмотрела на стоявшую рядом дочь. Та, еле держась на ногах от усталости, рассеянно разглядывала смятые тесемки и конверт с четкой надписью: «В знак посещения больного».

Прищелкнув от досады языком, жена бондаря что-то шепнула мужу. Тот тоже взглянул на конверт, затем поднял глаза на дочь и спокойно ответил:

— Ерунда! Чего она там понимает!

Тем временем девушка, пошатываясь, направилась в заднюю, еще более темную и сырую комнату, волоча за собой вонючую постель.

---

[1] Канго — японские слова, составленные из китайских корней.

А дамы продолжали свой обход, повторяя все одни и те же фразы, не скупились на приветствия и выражения сочувствия, но так, чтобы не слишком уронить свое достоинство.

Председательница, в обычное время имевшая привычку сопровождать наклон головы незначительными словами, вроде: «Да, так-так, конечно», сегодня молчала, ограничиваясь коротким кивком. Но душа ее ликовала: «Все прекрасно, все прекрасно...»

На всем пути своего следования дамы встречали знаки благодарности, уважения и изумления. Сначала все до одной были довольны своей работой.

— Какое приятное дело, эта раздача милостыни!

Однако приподнятое настроение постепенно сменялось чувством усталости. Скоро они были по горло сыты и этими поклонами и этими благодарностями и им самим порядком надоело выражать на каждом шагу сочувствие и объяснять цель своего прихода.

Первой подала пример сама председательница. Теперь, входя в дом, она ограничивалась одним приветствием и, сунув конверт с деньгами, устремлялась дальше. Но к этому времени и следовавшая за ними толпа тоже успела свыкнуться с присутствием гостей. Теперь до слуха дам то и дело доносились злые шутки по их адресу, пересуды по поводу их нарядов. Среди горожанок нарастало чувство негодования.

Ко всему прочему их мучила жажда, они обливались потом и приходили в ужас, видя, что их туалеты приходят в полный беспорядок. И вот, когда усталые, раздраженные они оказались у дома одного из крестьян, их встретило на дороге какое-то странное существо, сущее чудище, которое сидело прямо на земле, преграждая руками дальнейший путь.

Дамы вскрикнули от неожиданности и пытались было отступить, но чудище схватило за подол ту, что стояла ближе, и взмолилось рыдающим голосом:

— Добрые госпожи, не бойтесь меня! Сделайте милость, выслушайте! — Это была мать убогого Дзэна.

За спиной у старухи стоял сам Дзэн и его уродец сын. Дамы окончательно растерялись, а толпа разразилась громовым хохотом.

Между тем «старая обезьяна» продолжала скрипучим голосом:

— Добрые госпожи! Взгляните на моего сына, вот он, мой дурак, а вот этот урод-чертенок даже слова сказать не умеет. О госпожи! Сжальтесь надо мной, несчастной! Где вы найдете вторую такую? Не обойдите нас вашей милостью.

Дама, за подол которой ухватилась старуха, кричала, плача от страха:

— Да что это! Пусти меня! Уйди прочь! Пусти сейчас же, — и пыталась вырвать подол из рук старухи. Но та еще крепче ухватилась за него и, распростершись на земле, вопила:

— Нет, не пущу! Ни за что на свете! Сделайте милость, выслушайте меня. Да ведь такую, как я...

Тут все остальные горожанки поспешили на помощь подруге. Они пытались образумить старуху ласками и угрозами, но та вцепилась в подол намертво. Видя, что слова не помогают, дамы дружно взялись за подол, пытаясь вырвать его из рук старухи. Положение становилось явно комическим, и это приводило толпу в восторг. Откуда ни возьмись вдруг вынырнул какой-то мальчуган и, завертевшись волчком, закричал: «Эй, эй, я тебе дам!» Это был мальчишка Дзинскэ.

Не выдержали и остальные деревенские сорванцы, которые и без того еле сдерживали языки.

— Эй вы, плаксы! Да на что вы годитесь!

— Эй, вы, так и не поможете старухе, что ли!

В воздухе кружилась пыль, кругом все галдели, а сквозь этот гвалт, как тягучий припев, слышались мольбы старухи:

— Милостивые благодетельницы! Не оставьте меня, бедную! Сами взгляните, один сумасшедший и другой урод. Как мне жить с ними...

В этой суматохе дамы окончательно потеряли голову. Им хотелось все бросить и убежать, но разве можно открыто признать свое полное поражение перед этими скотами? Однако нервное возбуждение достигло такой степени, что горожанки визжали что есть силы, стоило до них дотронуться хоть пальцем. Конца их мучениям не было видно. Мальчуган Дзинскэ вдруг подбежал к стоявшему равнодушно поодаль убогому Дзэну, что-то шепнул ему, сопровождая слова несуразными жестами, и толкнул его прямо в толпу горожанок. Оказавшись среди испуганно расступившихся дам, Дзэн,

хихикая, начал вытворять нечто совершенно непотребное.

Красные от стыда и негодования, дамы прикрывали лица рукавами кимоно и, отступая назад, в ужасе восклицали:

— Как не стыдно!

— Это уж слишком!

— Да что же это такое!

Между тем животным инстинктам была дана уже полная воля, и мальчишки осыпали горожанок такими шутками, которые и взрослому было бы стыдно слушать.

Председательница словно обезумела. Не в силах сдержать слезы, она вырвала у одной из дам конверт с деньгами и, бросив его прямо в лицо «старой обезьяне», закричала:

— Уходи скорее! Это слишком, слишком ужасно. Скорее же! Это слишком...

Старуха не торопясь встала, оттолкнула сына от горожанок и как ни в чем не бывало промолвила:

— Большое вам спасибо за это. Вы спасли всех нас троих. Вовек не забуду вашу милость.

Затем она подхватила сына и внука и с довольным видом пошла прочь. Гвалт начал стихать. Горожанок охватило какое-то оцепенение, и они продолжали оставаться на месте, не зная, что делать дальше.

Наконец председательница, с трудом сохраняя чувство собственного достоинства, оглядела толпу ненавидящим взглядом и зашагала назад. За ней в полном молчании последовали остальные. О, бесславным было их отступление. Мальчишки Дзинскэ издали бросали в них старые сандалии, натравливали на них собак...

XV

Городские дамы приехали, раздали деньги и уехали. Собственно говоря, вот и все происшествие. Но в деревне после этого буквально все перевернулось вверх дном. Детвора в новой одежде, сшитой по случаю праздника Бон, с утра до вечера крутилась вокруг единственной здесь лавки со сладостями. Взрослых занимало другое: как лучше истратить полученные деньги. По

этому поводу разгорались жестокие схватки между мужьями и женами, родителями и детьми, каждый завидовал другому, и прежние добрые соседи превращались во врагов.

При всем этом наш дом не был забыт, и сегодня в нем было так же людно, как и вчера. Между прочим, посетители выглядели теперь несколько опрятнее и даже не поскупились сменить свои ужасные гэта [1].

Всех занимало одно: вчерашние события. О них рассказывали без конца, не упуская ни одной подробности. Особенно потешала жителей деревни трусость и беспомощность барынь, проявленная ими в критический для них момент.

С увлечением и даже с гордостью рассказывали они и о «старой обезьяне», догадавшейся вовремя вцепиться в подол и таким способом выманить подаяние, и о находчивости мальчугана Дзинскэ, натравившего на горожанок Дзэна-дурака.

— Старуха-то наша не смотри, что убогая, а вот каким молодцом себя показала. Знай наших! — говорили они.

Крестьяне наперебой хвастались передо мной своими трофеями.

— Я целых пять иен отхватил! — заявлял один.

— А мне, простофиле, всего трешка досталась, — вторил другой.

Но, в общем, все сходились на одном: шуму было много, а подаяние-то оказалось грошовым. Словом, вроде и благодарить-то барынь было не за что, и раздать подаяние по справедливости они не сумели... Чувство вражды к городу бушевало в крестьянских сердцах сильнее прежнего.

Среди навестивших меня людей не было ни одного, кто был бы доволен полученной милостыней.

— Нашей нужде конца не видно, барышня. Ну что нам три или, скажем там, пять иен. Хозяйка твердит — это надо купить, а хозяин на своем стоит, ну и начинаются споры да раздоры, и без потасовки дело не обходится, а деньги-то, смотришь, и уплыли. И опять мы ни при чем, и опять все та же нужда вокруг нас.

---

[1] Гэта — японские деревянные сандалии.

Это была правда. Через неделю деньги ушли туда же, откуда и пришли: в город, и крестьяне опять остались с пустыми руками.

Что ж, если заводился лишний грош, они немедленно тратили его на всякую ерунду. Главное было купить, истратить, и город получал свое с процентами.

Крестьяне не имели привычки откладывать сбережения, никто никогда не делал этого. Для них банк и почта были загадочными учреждениями, где деньги отбирают, а взамен дают какие-то книжки. И никому в голову не приходило нести сбережения в банк.

Советовать было напрасно, никто и слушать бы не стал. Они брали у нас деньги и продолжали докучать нам своими просьбами, стремясь урвать что-нибудь еще.

Мои возможности были крайне ограничены. Никогда не случалось, чтобы я могла за один раз собрать для них целую иену, да и одежду я давала всегда поношенную. Мне оставалось утешаться тем, что по крайней мере мои даяния не приносили им большого зла.

Но даже если бы я раздала каждому из них по сто иен, они предались бы праздности и лени, а истратив все до последнего гроша, вновь явились бы ко мне, в надежде на очередную подачку.

Да что ни делай для них, все равно это будет каплей в море. И если бы мне пришлось ради них совершенно разориться, они и тогда не оставили бы меня в покое и продолжали бы осаждать каждый день, уверенные, что здесь еще можно чем-то поживиться.

Затея городских дам, как и можно было предполагать, кончилась провалом, но вслед за этим передо мной встал мучительный вопрос: а на правильном ли пути нахожусь я сама?

Подобные сомнения мне уже пришлось испытывать прежде, при столкновении с Дзинскэ, но тогда во мне еще горела уверенность, я чувствовала в себе силу. А сейчас... Нет, я не могла бы утверждать, что все, что я делаю, хорошо.

Конечно, сильный иногда любит посочувствовать своему слабому собрату, оказать ему благодеяние, но разве в такие минуты в нем самом не дает себя знать, хоть в какой-то степени, его собственное честолюбие? Конечно, есть люди мудрые, все понимающие, может быть у них все по-другому, но такие, как я... Разве мы

можем творить добро, помогать людям без примеси, хотя бы самой малой, нашего честолюбия?

Взять тех же горожанок — ведь и для них филантропия всего лишь форма наслаждения собственным могуществом, возможность почувствовать силу собственных денег.

Во всяком случае, между «благодетелем» и «облагодетельствованным» существует какая-то непреодолимая стена, которая всегда дает себя знать.

Я, например, стараюсь держаться с крестьянами вежливо, скромно, но все равно в моем поведении есть что-то от «благодетеля». Все равно я не то, что они. Их можно сравнить с утопающим человеком, — вот он тонет, а я стою на берегу и протягиваю ему шест, протягиваю шест, но не бросаюсь прямо в поток навстречу утопающему.

Внешне во мне, кажется, не к чему придраться. Я работаю на поле, помогаю им убирать урожай, сочувствую им, откликаюсь на их жалобы и все равно я не то, что они.

Если бы только я нашла в себе силы ринуться в этот поток... Тогда бы я, наверно, не удовлетворилась одним созерцанием, конечно нет, и прежде всего ради собственного же спасения.

По правде говоря, меня уже не удовлетворяло мое положение. Мне было мало стоять на берегу и протягивать шест. Но захлебываться грязной водой, корчиться и метаться от страха и в конце концов исчезнуть под водой... Какой печальный жребий! Ведь живешь только раз...

И вот я стараюсь быть вежливой, скромной, но как избавиться от этого чувства неудовлетворенности, от этого страха? Горько, больно. И вместе с тем какой-то внутренний насмешливый голос говорит во мне: «Ну что, как твой пышный сад? Он, кажется, уже расцветает?»

Но я не принадлежу к тем, кто легко смиряется. Нет, я не умею склонять головы перед жизненными обстоятельствами, чтобы в следующую минуту забыть все, что волновало меня перед этим. Не умею, как другие, убеждать себя, что так уж устроен мир и тут ничего не поделаешь. Недовольство собой, печальные мучительные думы, они всегда со мной, и за это я встречаю

какое-то странное сочувствие со стороны «мудрых людей».

Потому-то и сейчас я не могла найти утешения в рассуждениях, что я еще просто слишком мала, молода...

Да, я еще мала, и мой тоненький голос напоминает скорее лепет, но меня никогда не оставляет одна мысль: быть может, уже в следующую минуту я смогу сделать что-то действительно очень хорошее. Быть может, это дело ждет своих хороших рук, а я могу пройти мимо и ничего не заметить... И я вглядываюсь вперед, прислушиваюсь, ощупываю все перед собой в поисках чего-то такого, о чем я лишь смутно подозреваю.

Но пока меня обуревали новые мечты, новые надежды, деревня, прежде чем вернуться к своему обычному беспросветному существованию, переживала взрыв буйного веселья.

На окраине ее стояла винная лавка. До сих пор дела там шли не очень хорошо. Но за последние дни не стало отбоя от посетителей. По вечерам туда заходили крестьяне, возвращавшиеся с поля, к ним немедленно присоединялись бондарь, по прозванию «Винный Бочонок», и домочадцы крестьянина Дзинскэ.

Перед лавкой ставили скамьи, зажигали курения от комаров, и начиналось веселье с песнями и плясками. Пользуясь вечерней прохладой, на улицу выходили женщины и, стоя поодаль, наблюдали за происходившим. Одним из любимых развлечений было напоить дурака Дзэна и раззадорить его.

И сегодня в кабаке было людно. Отмахиваясь веерами от комаров, слетавшихся на запах вина, крестьяне, развалясь, восседали на скамьях. Странное дело, в этой компании находился и Син-сан.

Его собутыльники пили напропалую, закусывая соленьями, и, как обычно, злословили и несли всякую чушь про горожанок. Син-сан держался в стороне и безучастно смотрел на чашечку с сакэ, в которой плавал комар.

— Да, Син-сан, где ты там? — вспомнил кто-то. — Больно ты тих, парень, забыли про тебя. Да ты выпей! Выпьешь, и все нипочем станет.

Однако Син-сан не притрагивался к вину. Но теперь все вдруг заговорили с ним и о нем, словно каясь, что до сих пор не замечали его присутствия. Одни стара-

лись ободрить его, советуя забыть злосчастную историю с горохом и жить в свое удовольствие, другие ругали его мать, советуя избить чертову бабу, забывшую сына родного.

Размахивая кулаком, крестьянин Дзинскэ даже заявил:

— Раз уж ты, Син-сан, приуныл, так тогда я не потерплю!

Винный Бочонок, до сих пор молча потягивавший вино, вдруг воспользовался паузой в разговоре и тоже попытался вставить свое слово:

— Вот что, Син-сан. Ты свою мать вроде как за бога или там за Будду принимаешь, и в этом твой первый промах. Что твоя мать, что все другие — это же ведь бабы. А баба есть баба, хоть весь свет перевернись. Только случись беде... Стал им помехой, живо в шею получишь.

— Может, и так. Но я не могу идти против матери. Лучше смолчу, глядишь — и все само собой уладится. Не хочу я бранить ее.

— Ну, значит, ты святой. Ведь родятся же такие... Говоришь ты точь-в-точь как твой покойный отец.

— Посмотреть на тебя, ну чистый ты распутник, Винный Бочонок, — вмешался снова Дзинскэ.

— Правильно! А что ждет таких распутников, дело известное.

— И что это вам сегодня меня чернить вздумалось? Да вы сами посмотрите, ад-то ведь со мной рядом, ну куда я от него денусь? — И с этими словами Винный Бочонок обнял свою жену, прислужницу в кабаке, которая сидела рядом с ним, угощаясь соленьями.

Все расхохотались.

— Вот утешил! А то этими разговорами только страху нагнали, — промолвила женщина.

— Еще бы! Когда и душу отвести, как не на этом свете? А после смерти, кто знает, что там с нами будет.

Превратишься после смерти,
Может, в горы, может, в поле,
Может...

Э-э, ситтёйся, ситтёйся! [1]

---

[1] Ситтёйся — ритмический припев.

— Во, здорово!

— Вот это да! Сплясать бы! Отец!

И сын Дзинскэ, пошатываясь, поднялся было со скамьи. Но как раз в этот момент компания заметила приближавшегося к ней подвыпившего Дзэна-дурака.

Веселье вспыхнуло с новой силой. Все наперебой звали Дзэна и предлагали ему вина.

— Ведь мы тебе, Дзэн, друзья-товарищи. Спляши-ка нам! А ну, повесели душу...

Схватив за уши убогого, мальчишка Дзинскэ поволок его вокруг скамей.

— Вот это здорово, пляши, пляши! Еще вина получишь!

— И сам-то пляши! Вишь, напарник-то какой у тебя!

— Ха-ха-ха!

— Спляшем, за нами дело не станет!

Обалдевший от вина мальчишка стал сам не свой. Он разделся до пояса, надел на руки дзори и, вопя бог весть что, начал плясать, колотя при этом Дзэна.

— Давай, давай! Здорово? А ну споем!

Да на моем поле
Хора, ситтёйся!

— Хорошо! Ха-ха-ха...

— Ха-ха-ха! Ну и здорово!

— Хора! Держись, держись!

А осыпаемый ударами Дзэн, задрав подол, принялся отплясывать.

XVI

Со времени приезда городских дам прошла неделя, и деревня вновь начала свыкаться со своей постоянной спутницей — беспросветной нищетой. Да и работа на полях не ждала. Кабак снова опустел, реже слышались и нелепые пересуды по поводу горожанок. Однако память о них осталась: совсем спился дурак Дзэн.

Да и как иначе?.. Кто из деревенских не потешался над дураком, кому приходило в голову отказать ему в чашке вина? Грязный, потный, он с утра до вечера слонялся по деревне, шатаясь из стороны в сторону. Дзэн без стеснения заходил в любой дом и с порога требовал:

— Дай вина!

Ему никто никогда не отказывал, и хотя чаще всего вино бывало больше чем наполовину разбавлено водой, Дзэн пил с удовольствием.

Как-то однажды вечером я сидела на веранде около чайной комнаты и молола грецкие орехи. Вдруг со стороны поля появился какой-то человек и остановился у нашей калитки. Я с удивлением взглянула на него. Это оказался Дзэн. Я никак не ожидала увидеть его и невольно отпрянула назад. Но навстречу Дзэну вышли бабушка и остальные обитатели нашего дома. Они в свою очередь не то со страхом, не то с изумлением смотрели на молча стоявшего во дворе Дзэна. Внезапно он глухим голосом, но очень отчетливо произнес:

— Дай вина!

Наша служанка тотчас же поднялась и вскоре принесла ему в разбитой миске сильно разбавленное вино. Не решаясь близко подойти к Дзэну, она поставила миску на край веранды. И едва она успела промолвить: «Я здесь поставлю», как Дзэн рывком, словно боясь, что прислуга передумает, схватил миску и начал пить, сопя и причмокивая. В горле у него булькало. Осушив миску до дна, он облизал ее вдобавок языком и так и остался стоять с пустой посудой в руке.

Служанка хотела было поскорее избавиться от дурака, уж очень он был грязен, но бабушка остановила ее.

— Сумасшедшие злопамятны, только попробуй обидеть их, — заметила она.

Тем временем я успела внимательно оглядеть Дзэна. Пожалуй, на вид он был более опрятен, чем обычно, и от него на этот раз не так сильно пахло. Однако несвязность движений, характерная для душевнобольных, бросалась в глаза сильнее, чем прежде, да и взгляд его стал еще более отталкивающим. К тому же Дзэн похудел, щеки у него ввалились, он весь как-то постарел и осунулся. Постоянное возбуждение, вызванное вином, видимо сделало свое дело.

«Бедняга, что будет с ним, если из тихого он станет буйным?» — подумала я.

Мне невольно вспомнились рассказы матери о сумасшедших на Хоккайдо, но в это время я снова услышала голос Дзэна:

— Есть хочу.

Он произнес эти слова, как произносят их маленькие дети, и это рассмешило нас. Мы со служанкой немедленно принесли ему полное до краев блюдо с рисом, соленьями и сваренными днем овощами. Еду поставили на край веранды. Он с жадностью схватил блюдо, сел на землю, поставил его между ног и стал есть обеими руками.

Боже, ведь ему хуже, чем любому животному, зачем только он родился человеком? Будь Дзэн кошкой, он наверно чувствовал бы себя куда более счастливым. Это было бы лучше и для него самого и для окружающих. Нет, смотреть на него было просто невыносимо, и, отвернувшись, я снова принялась молоть орехи.

Между тем Дзэн покончил с едой и собрался уходить. Держа в руках пустую посуду, он, пошатываясь, направился по дороге к полю, а я, не выпуская из рук мельницы, продолжала смотреть ему вслед. Вечерние лучи осеннего солнца мягким, спокойным светом озаряли его фигуру.

Между тем жара и тяжелый труд еще больше подорвали здоровье Син-сана. Начались отеки, он с трудом поднимался с постели. Но дома ему приходилось с утра до вечера выслушивать брань и попреки матери, он не выдерживал, выходил на улицу и, прихрамывая, бродил по деревне, всегда погруженный в глубокое раздумье. Его искренне жалели и не раз поговаривали о том, как бы облегчить участь этого человека. Но в поле у крестьян было столько работы, что Син-сану приходилось не раз коротать время в полном одиночестве в маленькой комнатушке, куда не проникал луч солнца.

Из его комнаты открывался вид на тутовую рощицу, за ней шли огороды, а дальше, окруженное лесом, стояло деревенское кладбище. Положив голову на руки, Син-сан часами смотрел вдаль, чувствуя, как деревенеют ноги, ступни которых покалывало словно иголками.

Рядом, согретая солнцем, мягко шелестела листва, журчал ручеек в канавке, и вдруг какая-то невыразимая тоска, отчаяние охватывали Син-сана, так что он еле сдерживал слезы.

«Там в тени деревьев покоится мой отец», — думал он, и картины детства, будто далекий сон, проплывали перед ним.

Какой он был добрый и какой здоровяк! Кто бы мог подумать, что он так скоро может умереть! Вот он сажает на плечи семилетнего сына, несет его в персиковый сад и позволяет есть персики, есть сколько хочется. Какими безмерно счастливыми, беззаботными, радостными кажутся сейчас Син-сану дни его детства.

Теперь их всего двое на этом свете — он и мать. Но неизвестно почему они совсем чужие, глухая вражда встала стеной между ними. К тому же нет и надежды на выздоровление. «Да стоит ли вообще жить?» — думает с отчаянием Син-сан.

Раз он только помеха для родной матери, может быть, лучше уйти сейчас же, уйти куда глаза глядят? Но ведь смерть и без того близка. О, если бы хоть раз, хоть один раз услышать снова ласковый голос матери, как когда-то семь лет назад: «Син, где ты?»

И невольно Син-сан вспоминает товарища по Хоккайдо, девятнадцатилетнего юношу, которого внезапная болезнь за три дня унесла в могилу. До последней минуты больной звал мать: «Мама, мама, да что же ты не идешь? Я ведь жду тебя!»

Он без конца говорил о своей ласковой матери, ни разу за всю жизнь не повысившей на него голоса. И даже впав в беспамятство, юноша вдруг на какой-то миг открыл глаза и, вытянув перед собой обе руки, еще раз крикнул: «Мама!»

До сих пор Син-сан слышит этот голос, видит эти худые руки.

Какая бы жалкая смерть ни ожидала человека, все равно счастлив тот, кто может умереть со словом «мама» на устах.

И снова Син-сан думает о своей судьбе. Отмахиваясь от назойливых мух, он смотрит затуманившимся взором в бескрайние просторы неба, и вдруг в его сознании молнией проносится одна мысль: «Да ведь я уже обречен...»

Какая-то странная улыбка показалась на устах Син-сана, и, проведя по лицу рукой, он тихо позвал:

— Матушка!

Всплески воды за стеной прекратились, и у порога появилась мать с мокрыми руками.

— Чего тебе? — спросила она, явно недовольная.

— Я помешал тебе, но прости меня. Прошу тебя, присядь здесь и давай поговорим. А? Мне так нужно кое-что тебе сказать.

— Чего еще? Говори сразу.

— Да ты присядь. Правда же, мне нужно так много тебе сказать.

Он смотрел на злое лицо матери глазами, полными любви и нежности, и, улыбнувшись, кивнул ей головой:

— Да, матушка! Я должен обязательно посоветоваться с тобой... Пожалуй, нехорошо так сразу говорить об этом, но, видишь ли, думается мне, что я уже не жилец на этом свете. Поэтому тебе пора выбрать человека, который бы следил, как свой, за хозяйством. Выбирай любого, кого надумаешь. Я всегда на твоей стороне...

Мать с удивлением взглянула на него и вдруг закричала не своим голосом:

— Ты на что это намекать вздумал, а? Чего суешь свой нос куда не следует, дурак? Или ты думаешь, я не понимаю, что ты там про себя таишь?

— Да не сердись же, матушка. Я и не думал ни на что намекать. Я только сказал то, что думал. Как вспомню про нашу жизнь еще до того, как я на Хоккайдо уехал, сил нет как горько мне. Для меня никого дороже тебя нет. Открой свое сердце, матушка, расскажи обо всем, не тая... А мне уже не долго осталось жить. Неужели не помнишь нашу прошлую жизнь?

— Ты что, запугивать меня вздумал? Напрасно стараешься. Не проведешь, как ни старайся...

— Да что ты, матушка! Или ты не видишь, что я уже совсем плохой стал? Я хочу умереть, но только чтобы все между нами было ясно. Стань хоть сейчас такой, какой ты была раньше. А, матушка? Ну взять хоть тот самый горох, никак я в толк не возьму, зачем это тебе понадобилось?

— В толк не возьмешь? Или ты мои слова не понимаешь, дурак? Во всем меня одну обвинить хочешь? Несчастная я, что такого сына имею. Вот она, беда-то моя! Говори, говори! Знаю, тебе только бы меня очернить. Ладно! Порадуйся!

И она разрыдалась злыми слезами.

Син-сан грустно взглянул на мать, а потом полез вдруг под тюфяк и, вынув набедренную повязку, положил ее матери на колени.

— Матушка! Тут у меня совсем немного, но возьми их себе. Закопай их где-нибудь. Мне уж они не понадобятся.

Глаза матери сверкнули, она ворчливо промолвила: «Отдаешь, что ли», — схватила деньги и поспешно пошла к выходу. А сын провожал ее ласковой улыбкой.

— Матушка! Ты вовсе не злая. А только уж больно горько мне. Горько прошлую жизнь вспоминать, матушка. Ведь как дружно жили мы с тобой...

Из глаз Син-сана закапали крупные, как капли дождя, слезы. И глухие рыдания раздались в тишине комнаты.

XVII

Далекая от столицы, безвестная деревня наша продолжала жить своими радостями, своими бедами. Между тем осень вступала в свои права, вступала так же властно, как и в прошлом году, как и сто лет назад. Она уже хозяйничала и в листве деревьев и на склонах гор, грядой уходивших вдаль. Но и лето еще чувствовало свою силу, оно не хотело сдаваться без боя. Наверно, поэтому за последние два-три дня погода резко изменилась.

По небу понеслись тучи, они все ниже и ниже прижимались к земле, влажный теплый ветер не приносил прохлады, парило так, что нечем было дышать. Иногда прорывался луч солнца, покрывая позолотой края свинцовых громад. Горы становились лиловыми, а иссохшую землю бороздили яркие тени от деревьев и домов. Ветер, дувший с гор, поднимал столбы песка, и когда они лавиной обрушивались на поля, воздух наполнялся тревожным шумом тучных нив. Вспыхивали молнии, в разрывах туч виднелись клочки фиолетового неба, высоко над головой грохотали раскаты грома. Кажется, все кругом замерло в каком-то страшном оцепенении.

На третий день погода стала еще хуже. К вечеру ветер усилился, крестьяне заволновались, боясь, что почти готовый урожай развеет бурей, выбьет ливнем. Они не покидали своих полей, а трое из них пришли на

нашу усадьбу, внимательно осматривали изгородь, укрепляли подпоры.

Мы еще засветло заперлись в плотно закрытых комнатах, но порывы ветра становились все сильнее, а когда перед рассветом за стенами послышался шум дождя, на нас напал такой страх, что мы уже не могли сидеть по своим комнатам и собрались в чайной комнате.[1]

Ветер стучал в ставни, грозясь сорвать их, кругом что-то стонало и скрипело, и ко всему этому до нас доносился испуганный вой бездомной собаки, что еще более усиливало удручающее состояние, в котором мы находились.

Буря неистовствовала. Облака неслись с бешеной скоростью по бледному небу; казалось, этот безумный вихрь не успокоится до тех пор, пока не снесет все на своем пути, и деревья, и жилища. Клубы пыли носились по безлюдной улице. Словно в какой-то бешеной пляске метались кроны деревьев, в воздухе летали сломанные ветки с ободранной корой, со стоном и скрежетом сгибались стволы деревьев. Ветер завывал, цепляясь за край кровли, шуршала и шелестела листва, которую мял, кружил и безжалостно метал из стороны в сторону ураган.

Казалось, какой-то великан зажал всю землю в своей гигантской ладони и вот-вот готов расплющить ее. Вдруг, в самый разгар ночной бури, откуда-то из-за угла выскользнула человеческая тень и тихонько двинулась вперед среди разыгравшегося ада.

Человек держался прямо, движения его были ритмичны, шаги ровные, он напоминал заводную куклу.

Длинные волосы дыбом поднялись на его голове, при каждом порыве ветра рукава кимоно, сбившиеся вокруг шеи, раздувались в разные стороны, а потом падали вниз, путаясь в ногах. Но казалось, человек ничего не замечал и спокойно, как ни в чем не бывало продолжал свой путь. Столбы колючего песка обрушивались на него, но он не опускал голову и не отворачивал лицо. Сухие листья, мусор били по его худым обнаженным ногам, вихрь грозил сорвать с него одежду, которая то раздувалась парусом, то

---

[1] Комната для чайной церемонии, в центре которой имеется жаровня для кипячения чая.

плотно обвивалась вокруг тела, сковывая движения. А он шел и шел...

Казалось, для него не было никаких препятствий, а появись они, человек без малейшего затруднения смел бы их со своего пути. В тот момент, когда человек дошел до поворота дороги, навстречу ему вышла новая тень. Маленькая согнутая фигура еле держалась на ногах среди бушующей бури. Ее бросало ветром из стороны в сторону.

Вот вихрь с новой силой заклубился по земле и, обрушившись на маленького человека, начал играть с ним, как с сухим листом. Его пригибало к земле, отбрасывало в сторону, казалось, вот-вот он не выдержит этих ударов и упадет. Но смерч пронесся, тень на какой-то миг застыла на месте, а затем снова неуверенно двинулась вперед. Он был похож на лунатика, этот второй.

Закрыв лицо руками, беспомощный и бессильный человечек продолжал свой трудный путь, пока до его слуха не донесся шум чьих-то шагов. Человечек отнял руки от лица, пытаясь сквозь мрак и облака пыли разглядеть встречного.

Какой величественной и страшной могла показаться эта встречная тень согбенному изнемогающему путнику. Миг, и он в ужасе укрылся где-то за большим деревом, выделявшимся темным силуэтом на краю дороги. Но почему-то встречный, только что стремительно шедший вперед, вдруг остановился около того же дерева и стал внимательно вглядываться в противоположную сторону. Там сквозь густые ветви деревьев мелькал яркий огонек деревенской управы. Человек стоял как вкопанный, не отрывая взгляда от светящейся точки, а потом, как-то сразу рванувшись всем телом, взмахнул руками, и из его груди вырвался возглас не то ликования, не то изумления. Звук этот сразу же замер во мраке бурной ночи.

Только миг, короткий миг этот человек вглядывался вдаль, изогнувшись, вытянув лицо с открытым ртом и оскаленными зубами, и вот он уже снова устремился вперед, в облаках пыли обгоняя ветер, который с шумом налетал на него сзади.

Вскоре на дорогу вышла и вторая тень. Все так же, закрыв лицо руками, маленький человечек удалялся все дальше и дальше, а ветер играл им по-прежнему.

XVIII

Буря, разразившаяся ночью, на рассвете сменилась ливнем. Дождь не прекращался ни на минуту, дорогу размыло, по обочинам ее текли ручьи, колеи превратились в потоки мутной, грязной воды.

Крестьяне засели по домам, дела хватало: вили веревки, плели циновки. Но детям ведь трудно усидеть на месте, находились охотники и отправлялись в лес на окраину деревни.

С началом осени там появлялось много всяких грибов, среди них изредка попадались и желтоголовые «намэко» — найти такой гриб считалось верхом блаженства для маленьких грибников. И сегодня, пользуясь необычной погодой, ребята решили открыть грибной сезон.

Мальчики не жалели сил и углублялись все дальше в лес, хотя ноги у них жгло как огнем от колючих корешков скошенного бамбука. Они старательно разгребали старые листья, похожие на слежавшиеся пласты мокрой бумаги, влажная земля забивалась им под ногти, вместо грибов часто в руках оказывался то дождевой червяк, которого они тут же выбрасывали, то сосновые иголки, щекотавшие кожу. Но ребята не унывали и бодро шли вперед, обгоняя друг друга.

Один из мальчиков, оказавшийся впереди, вышел на лесное кладбище и вдруг остановился как вкопанный, внимательно вглядываясь вдаль. Заметив это, остальные сбежались к нему и стали смотреть туда же. А там развевалось и колыхалось по ветру что-то черное с белым узором, словно какой-то флаг.

— Что там такое? Что это там колышется?

— И правда, что это? Может, посмотреть?..

— Пожалуй, стоит. Давай, пошли. А вы тут нас ждите.

— Эй, Гэн!

— Иди сам, а я здесь останусь.

— Так что же, мне одному идти? Нет, один я боюсь. Пошли вместе!

— Ага, не хочешь! А кто первым вызвался?

— Ну и что же?

— А вот и то. Вызвался, так иди!

— Сам иди. А я здесь подожду.

Тот, кто вызвался первым, пошел на попятную, товарищи пытались уговорить его, но он упорно отказывался, и тогда было решено, что храбрец пойдет впереди, а все остальные последуют за ним.

Его маленькое сердце разрывалось на части от страха и любопытства, и оно так громко билось, что казалось, вот-вот выскочит из груди. На какой-то миг мальчишке стало очень страшно, в пору хоть сбежать, но он овладел собой: нужно держаться хотя бы для того, чтобы поразить «несчастных трусов». И он шел вперед большими шагами, преисполненный сознанием своего подвига.

Но геройство геройством, да только какой от него прок, когда вдруг увидишь перед собой две посиневшие человеческие ноги, высоко раскачивающиеся на фоне красноватого ствола сосны.

Вся кровь отлила от его лица, он опрометью бросился назад и, едва успев крикнуть: «Удавленник!», скользнул между могильными плитами и помчался в сторону деревни.

Можно себе представить, что случилось с остальными при этом возгласе.

Не помня себя от страха, крича изо всех сил, они мчались по узенькой тропинке, отталкивая друг друга, стремясь как можно скорее оказаться подальше от этого ужасного места.

Мгновенно кладбище опустело, лишь ветер шумел в деревьях да перебирал траву под ногами мертвеца, где валялся брошенный в суматохе шест с насаженными на нем несколькими грибами.

Вскоре предводительствуемые детворой взрослые отправились на кладбище. Народу собралось много. Все старались держаться хладнокровно, кто знает, может быть, все это выдумка. Но что это? Ведь и вправду удавленник!

На веревке висел мужчина, голова его безжизненно свесилась, лицо повязано полотенцем. Он раскачивался из стороны в сторону, будто поломанная кукла. Да человек ли это?

Намокшая одежда так плотно облегла вокруг тела, что до жути отчетливо обрисовывается каждая линия, каждый изгиб его. Волосы с застрявшими в них сухими

листьями и мохом свисали липкими, как мочало, прядями.

У всех молнией проносится одна мысль: «Да кто же это?»

Каждый силится что-то припомнить, но ни узор одежды, ни контуры тела никому ничего не говорили.

Подобный случай произошел в деревне семь лет назад, когда здесь же, на кладбище, удавилась одна из деревенских женщин. С тех пор крестьяне ни разу не сталкивались с такими происшествиями и теперь просто не знали с чего начать и что делать.

Прикрывшись от дождя кто зонтом, кто соломенной накидкой, они упорно молчали и с безучастным любопытством смотрели на человеческое тело, которым ветер забавлялся, словно игрушкой.

Там, где глину размыло полосами, стоял пень, на нем грязный след от ноги, тут же валялся разбухший дзори[1], а земля вокруг была вся в маленьких ямках от капель, которые стекали с одежды покойника, висевшего на высоте трех-четырех сяку[2].

«Надо бы снять его», — думает каждый, но все ждут, пока кто-нибудь другой выскажет эту мысль вслух. При каждом порыве ветра, от которого ходуном ходят ветви деревьев, всех охватывает страх: а вдруг тонкая веревка не выдержит тяжести тела, и труп свалится прямо им на головы.

Лица мальчишек преисполнены торжественности, но они с удивлением смотрят на своих «страшных батюшек» и «старших братцев», от которых им в обычное время перепадали свирепые тумаки и которые сейчас стоят как каменные, боясь пошевелиться.

Собравшись в стайку, они перешептываются между собой:

— Большим и то, видать, страшно.

— А то нет, всем боязно. — И они продолжают наблюдать, бросая взгляд то на окружающих, то снова на покойника.

Труп был снят несколько позже, когда в деревню прибыли полицейский и могильщик. Покойника положили на дверную доску, долго не удавалось снять на-

---

[1] Дзори — соломенные сандалии.
[2] Сяку — мера длины, равная 30,3 см.

мокшее полотенце. Но едва открылось лицо, как кто-то из стоявших рядом даже подпрыгнул от неожиданности и не своим голосом закричал:

— Да это не Син-сан ли? А? Не Син-сан ли, говорю?

Толпа разом загалдела. Люди заглядывали через плечо друг другу и каждый говорил:

— Ой! Это Син-сан! Так и есть. Вот те и на!

— Кто? А ну, подвинься, не вижу. Ай, и правда он. Смотри ты, что наделал.

— Чертова баба, вон до чего довела человека. Сын-то какой примерный был! Чтоб ей сдохнуть, проклятой.

В глубине души каждый боялся смерти, к тому же это несчастье случилось с Син-саном, добрым сыном, который еще вчера разговаривал с ними. Все это настолько удручающе подействовало на людей, что сначала разговор совсем не клеился, и люди ограничивались главным образом бранью по адресу «чертовой бабы».

А потом крестьяне принялись на разные лады расхваливать не по годам серьезного Син-сана, который продолжал с почтением относиться к матери, как она ни мучила его.

— Вот если дело до суда дойдет, к чему ее тогда присудят? Наверно, забьют до смерти...

В толпе нашлось много желающих обсудить этот вопрос обстоятельно, но молодой и еще неопытный полицейский не прислушивался к ним. Растерявшись, он только и делал что охрипшим голосом отдавал приказание немедленно позвать сюда кого-нибудь из родных покойного.

Тогда один из крестьян, неистово шумя соломенной накидкой, помчался по полю, направляясь к дому возчицы. И хотя дом было видно отсюда, посланец словно в воду канул. Тем временем крестьяне завели разговор об отце Син-сана, таком же добром человеке, как и сын, и время от времени, прикладывая ладонь козырьком, всматривались в фигуры проходивших вдали людей.

Прошло уже много времени, и крестьяне собирались снарядить второго посыльного, как вдруг из деревни вышла какая-то старуха и бегом устремилась к кладбищу.

— Кто бы это такая? Смотри, как бежит!

— Твоя правда. Старуха, а какая прыткая.

Объектом всеобщего внимания оказалась мать Дзэна. Как можно описать ее вид в эту минуту? Седые пряди развевались по ветру, она не могла перевести дух и словно не замечала, что вот-вот потеряет один из рукавов своего кимоно.

— Да это ведь мать Дзэна! Что это с ней? Чего она-то всполошилась?

— Кто? А? Кто удавился? — вопила бледная как полотно старуха и, расталкивая толпу, устремилась к трупу, покрытому накидкой.

— Да успокойся. Это Син-сан. Вот какая беда приключилась с нашим Син-саном, сыном возчицы.

— Очнись! Ты и слов-то понять не можешь. — И все принялись успокаивать дрожавшую от волнения старуху.

— Что? Син-сан? Сын возчицы?

При этих словах она испустила вздох, как если бы ее постигло разочарование.

— И мой Дзэн пропал куда-то. Сегодня утром ко мне человек какой-то заходил, говорит, твой Дзэн на болоте у соседней деревни валяется, и будто неладное что-то с ним...— Слезы градом посыпались из ее глаз.

Ее пробовали утешать, уверяя, что ничего с Дзэном не могло случиться, но она твердила, что сердце подсказывает ей беду, и, кланяясь в ноги крестьянам, молила поискать труп сына.

— Да если бы он знал, как я беспокоюсь о нем, тогда бы я не горевала. Вдруг он там с голоду помер, вот чего я боюсь. Умрет и затаит зло против меня. Примите же мою слезную просьбу! Помогите мне!

Теперь всем стало казаться, что погода не зря бушевала эти три дня.

— За одну ночь двое преставились. С чего бы это...

— Знамение небесное на то было. Страсть какая.

— Твоя правда, жуть. Ну, а только человек тут ничего сделать не может. Спаси нас, Амида-Будда!

— Да упокоются они в раю!

Подавленные люди медленно расходились с кладбища вслед за старухой.

Часть крестьян осталась сторожить труп, рогожу над которым все время приподнимало ветром, оголяя то ступни ног, то мокрую одежду покойного.

Все были настроены на серьезный лад и размышляли о судьбах человеческих, предрешенных свыше, о рае и аде, о чем не раз слышали от местного буддийского священника. Им приходило в голову, что, возможно, молчаливо страдавший на этой земле Син-сан после смерти поведает кому-нибудь из людей влиятельных обо всем, что ему пришлось увидеть и пережить. И возможно, что тогда добрым воздастся добром, а злым да воздастся бедами. Они верили, что Син-сан обладает силой возмездия, и им невольно на ум приходили так часто слышанные от него слова: «Вот бог-то накажет!»

Всем становилось тоскливо и страшно при мысли, что они так мало сделали для доброго, славного Син-сана.

«Мы тебя не забудем, Син-сан. Мы ведь тоже тебя жалели, да только люди-то мы больно бедные, что мы могли для тебя сделать?»

XIX

Вся деревня пришла в смятение. Шутка сказать — удавленник! И такая смерть постигла Син-сана, человека, в котором зла было меньше, чем у другого грязи под ногтем!

Мало этого, говорят, и Дзэн-дурак тоже умер.

С чего бы это? Нет, не к добру небо было таким страшным. Эти мысли мучили всех окружающих. Ох уж этот бог смерти, никогда не знаешь, когда и кого он коснется. Крестьянам казалось, что он охотится и за ними, этот страшный бог, и может в любой миг оказаться рядом, и они остерегались лишний раз высунуть нос на улицу.

Я никак не могла принимать всерьез подобные разговоры.

Среди близких мне людей умерли считанные единицы. Те, кто знал меня от рождения, продолжали до сих пор баловать меня, как ребенка. И все они были здоровыми людьми и трудились, не зная, что такое усталость. Разве не так?

А вот Дзэн и Син-сан умерли, хотя я знаю их всего каких-то три месяца, умерли так скоропостижно, так ужасно...

Всего какой-нибудь день назад я видела Дзэна шагающим по улице. И совсем на днях, встретив Син-сана, я, как обычно, сказала ему: «Здравствуйте! Как здоровье?»

Я задумалась над тем, как жила все это последнее время. Мне бывало горько и тяжело, но никогда не приходила мысль о смерти. А в мире вокруг меня каждый день умирают люди, и сколько людей — может быть, десятки, сотни, тысячи. Да, и я живу среди них, полная сил, у меня много дел, меня любят и балуют.

Нет, мне чуждо отрицание жизни. В каком бы затруднительном положении я ни оказывалась,— конечно, мой собственный мирок слишком мал, и ничтожны мои горести и беды, — но все-таки я всегда стремилась находить выход.

Случалось, я чувствовала себя совершенно опустошенной, отупевшей, мне казалось, что жизнь теряет всякий смысл, но я упрямо внушала себе одну мысль: нужно жить, нужно выдержать. И никогда бы я не могла лишить себя жизни так просто, как это делали женщины в старину.

Нет, пока в жизни у меня есть цель, я не могу умереть.

А вот рядом со мной погибают сразу двое. И какой необычной смертью... Ну, а если бы в ту ночь я пошла в лес вслед за Син-саном и попыталась бы его спасти? Я не пожалела бы сил для этого; я убедила бы его, что он поправится и снова будет работать. Да, но можно ли это назвать подлинным спасением? Может быть, мне просто удалось бы отвести его прочь от дерева? А что дальше? Разве я могла бы всю жизнь стоять рядом с ним, охранять, воодушевлять его?.. Предположим, он поправился бы, получил немного денег и вот оказался вновь в этом мире нищеты, горестей и печали. Да какая в этом радость?

«Меня спасли, но ради чего? Страдать, мучиться еще больше прежнего, да зачем, для чего нужна мне такая жизнь? Ты довольна собой. Еще бы, спасла человека, и ты будешь всегда с гордостью вспоминать об этом, а я до конца своих дней буду сожалеть об одном: почему я не умер в тот час?»

Право же, что пользы спасать Син-сана, если не можешь сделать его крепким и сильным и избавить его раз навсегда от обид и притеснений.

Среди людей господствует банальное мнение: того, кто хочет лишить себя жизни, нужно спасать. Не потому ли это, что люди в первую очередь думают не о судьбе другого человека, а о том, как бы успокоить собственное сердце?

Таков был ход моих размышлений, и мне вдруг показалось, что все сделанное мною до сих пор рассыпалось в прах. Что, собственно говоря, руководило моими поступками? Да разве не то же желание удовлетворить свое собственное голодное сердце? Что ж, я давала им одежду, деньги, пищу, я сочувствовала им, но какое значение имело все это в их жизни? Если бы я отдала им всю любовь, если бы окружила их всем тем сочувствием, на какое только способно мое сердце, быть может Син-сан остался бы жить, а Дзин-дурак мог бы и не спиться!

Пока я оставалась где-то в стороне, оба погибли и скоро будут погребены, и события неотступно последуют одно за другим, своим чередом...

Мне и в голову не приходило помочь Син-сану понять смысл, ценность его собственной жизни. Нет, я не любила и не старалась полюбить их по-настоящему! Но как же быть, где выход?..

Я потерпела полный крах, и желание прийти к ним на помощь, сделать для них что-то осталось неудовлетворенным. И сколько душевных мук пережила я из-за этого!

Перед вами человек, у которого теперь ничего за душой нет. Я, вероятно, допускала немало глупостей, приносила вам немало неприятностей. Я думала только о вашей пользе, но ныне разбились на куски, рассеялись в прах мои представления о так называемой филантропии и показной добродетели, столь ценившиеся мною до сих пор. Где и что я найду взамен этого? Мои руки пусты. У меня ничего нет. Маленькая, неприглядная, я заблудилась, хожу как потерянная и, кажется, могу только бормотать: «Так как же быть?..»

Но не презирайте меня! Я скоро приду в себя и найду что-то. Пусть это будет совсем ничтожное, но я найду то, что может взаимно обрадовать вас и меня. Так набери-

тесь же терпения, подождите! Да будет успех в ваших трудах, бедные мои друзья!

Я буду учиться, я буду стараться изо всех моих сил. И пусть это случится в мой смертный час, но как я буду счастлива, если мне удастся обменяться с вами улыбкой, улыбкой радости, света и понимания.

А будешь ли счастлив ты, мой создатель? Будешь ли доволен ты, воспитавший меня, наполнивший мое сердце такой любовью к тебе? О господи...

Труп Дзэна нашли ночью. Он погиб на соседнем болоте вместе с собакой.

В его длинных волосах успели поселиться маленькие рачки, они ползали по всей голове.

1916

БЛАЖЕННЫЙ МИЯДА

I

Когда наступила весна, вода в озере быстро прибыла.

Незадолго до этого озеро очистилось от льда; прибрежные отмели под прохладным ветром выделялись мутными пятнами, но и они сохраняли чистый, нежный оттенок, и на поверхности воды легко плясали солнечные блики.

Мелкие волны, вернее — пятна ряби, пробегали от одного берега к другому, и каждый раз при этом тростники, еще не налившиеся жизненными соками, отзывались сдержанным шуршанием; внезапно вспархивающие трясогузки проносились над озером, словно гоняясь за волнами.

Позади плотины, местами разрушенной и залитой водой, тянулись до далеких гор ряды пологих холмов, а над низкими вершинами величественно возвышался массив несравненной Адзума Фудзи.

Северная природа бедна красками, и только очертания этих гор, на которых сейчас таяли снега, радовали взор своей изумительной красотой.

Горы были серебряные.

И темно-синие.

Ослепительно сверкал обледеневший снег на вершинах, озаренный прямыми лучами солнца, и избыток блеска сползал со склонов цвета старого серебра в глубокие темно-синие тени у подножия. Там, в невидимых издали складках и вдоль зарослей кустарников, царила все та

же темная синева, переливающаяся восхитительными оттенками — зеленоватыми, красными. Самое подножие массива скрывала цепь низких вершин. Спокойный западный ветер нес по небу облака, и их движение создавало на склонах горы неповторимо-сложные гаммы цветов.

Горы то темнели, то озарялись, и казалось, что они живые.

Уже давно Блаженный Мияда, сидя с поджатыми ногами над удочкой в тени клена, любовался этим восхитительным зрелищем.

— Благодать... Благодать-то какая! — бормотал он самозабвенно.

Он ощущал, как от всего, что его окружает, живо и властно поднимается чудесный дух совершенства. И дерево и ничтожная былинка жили так, как были созданы.

Когда он видел, как живут рядом каждое по-своему и не мешая друг другу большие и крохотные существа, он думал: «Ведь вот как устроен мир!» Сердце его переполнялось радостью, и в глубине его больших детских глаз, всегда растерянно помаргивающих, вспыхивали каплями ртути маленькие огоньки.

Вообще говоря, лицо его привлекало внимание вдумчивого человека. Оно не поражало умом, тем более не было в нем и ничего героического. Оно было типичным для крестьянина Северо-Востока — широким, с выступающими скулами, но странно моложавым, хотя Мияда было уже за пятьдесят. И когда он разговаривал, устремив на собеседника учтиво, но прямо черные зрачки, подрагивая родимым пятном на нижнем веке, начинало казаться, что такие лица встречаются в этих краях не часто.

За его необыкновенной мягкостью угадывалось подлинное благородство, а за непосредственностью, столь неожиданной у человека его возраста, — простое, бесхитростное добродушие. И невольно хотелось улыбнуться при виде пушистых мочек его ушей.

Блаженный Мияда неразговорчив.

Никакие насмешки или оскорбления не в состоянии вызвать на его лице выражение гнева. И односельчане говорят о нем:

— Ох и чудак же!

При этом в слово «чудак» вкладывается понятие

«растяпа», «пришибленный», а иногда, при известных обстоятельствах, и просто «дурак».

Мияда работяга, но деловой сноровки у него нет ни на грош, поэтому делами, торговлей тутовыми деревьями и муги[1] занимается его жена О-Иси. Она всячески помыкает мужем, и он сносит все безропотно. Она привыкла ни в чем не считаться с ним. Изредка она окликает его:

— Эй, отец!

Это наверняка означает, что у нее либо что-то не ладится, либо она чем-то недовольна, и ей нужно на ком-нибудь сорвать зло. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что авторитет Мияда в семье весьма незначителен.

— Тьфу! Это мой-то?

Она сердито сплевывает, не стараясь скрыть свое презрение к мужу даже перед посторонними. Это никого не удивляет.

И весь его род блаженный, монашеский. Прозвище «Блаженный» ему дали за его безграничную неприспособленность к жизни.

Среди людей «я» Блаженного Мияда всегда скрыто в глубоких тайниках его души. Что бы он ни думал, что бы он ни говорил, от него никогда не услышишь таких выражений, как «по-моему» или «раз я сказал, значит...» Зато когда он один, как сейчас, в поле или на рыбной ловле, это «я» целиком и полностью возвращается к нему.

Тогда душа его наполняется, и он начинает жить своей настоящей жизнью.

Вот и теперь, безмятежно любуясь расстилавшимся перед ним пейзажем, он чувствовал, как сердце его мало-помалу наполняется теплым ощущением счастья.

Мысли о себе, мысли о домашних появлялись и исчезали бесследно, как появляются и исчезают круги на гладкой поверхности воды от падающих изредка капель.

Под тремя соснами над самым глубоким местом пруда виднелась крошечная фигурка человека, видимо удившего рыбу. Мияда пристально глядел в его сторону, но не видел его; сознание его затуманилось и погрузилось в легкий полусон.

---

[1] Муги — здесь: хлеб в зерне.

Через некоторое время он вдруг снова пришел в себя. Который час?

Блаженный Мияда поднял бамбуковое удилище, о котором было совсем забыл. Приманка исчезла, крючки без единого червяка виновато блеснули над водой.

Почему-то ему не хотелось лишать жизни живое существо, хотя бы и червяка, только для того, чтобы поймать жалкую рыбешку. Он бросил удочку на траву и закурил трубку.

Внезапно, откуда ни возьмись, перед его глазами промелькнул ястреб, словно танцуя сделал над ним несколько кругов и камнем упал в заросли тростника.

Послышался слабый писк.

— Ишь ты, сцапал пичужку...

Блаженный Мияда подполз ближе, чтобы лучше рассмотреть, что происходит в тростниках, и тут глаза его разглядели в отдалении какой-то необыкновенный предмет, судорожно дергавшийся на тусклой поверхности воды. Это не была птица, нет, и не обломок дерева.

— Уж не человек ли...

Быть может, это водная рябь играет на плавучих водорослях?

Похоже на то. И все же...

Охваченный каким-то предчувствием, он не спеша двинулся вдоль плотины, заложив руки за спину, не выпуская из пальцев трубку, ссутулив спину, обтянутую заплатанной одеждой.

— Эй, кто-нибудь, сюда! Эй!

Трое крестьян, работавших неподалеку в персиковой роще, удивленно переглянулись и выпрямились.

— Эй, сюда! Сюда, к пруду!

— Кажись, Блаженный кричит, а?

Когда они прибежали к пруду, Блаженный Мияда, совершенно голый, оттаскивал на сухую траву молодого человека, промокшего, как губка. Одежда Блаженного валялась у самого берега.

Молодой человек был крупного телосложения, и странным казалось, что спас его маленький тщедушный Мияда.

Впрочем, молодой человек совершенно обессилел.

Он был жив, ибо сердце его билось, хотя и слабо, но выглядел совершенным трупом и не дышал.

Нельзя было терять ни минуты.

Было сделано все возможное в таких условиях: спасенного откачали, согрели и подвергли растиранию.

По-видимому, спасенный не принадлежал к крестьянскому сословию: весь его вид показывал, что такая вещь, как труд, не знакома ему.

Забыв о своей наготе, Блаженный Мияда сидел верхом на молодом человеке и, лязгая зубами от холода, быстро высушившего его мокрую кожу, изо всех сил, покряхтывая, растирал его.

Он хотел во что бы то ни стало вернуть спасенного к жизни, и его посиневшее лицо приняло такое не свойственное ему упрямое выражение.

В конце концов в результате соединенных усилий всех четверых, жизнь начала постепенно возвращаться к молодому человеку.

Он легонько вздохнул.

Синие ногти порозовели, руки и ноги стали теплыми.

Возвратилось сознание, дрогнули веки и губы.

Наконец, словно пробудившись от глубокого сна, он пожевал губами и пошевелил руками и ногами.

Под пристальным немигающим взглядом Блаженного Мияда, при радостном шепоте остальных, молодой человек, воскрешенный с таким трудом, открыл глаза.

О, этот момент!

Блаженный Мияда почувствовал, что нечто необъятно широкое заполнило все его существо от ног до головы. На добродушном лице его смешались слезы и улыбка.

— Вот как устроен мир... Молодое не умирает, нет!

В душе его, словно пламя, вспыхнуло чувство такой радости и любви, каких он никогда еще не испытывал.

Мияда потерял голову, его охватило желание упасть ничком на траву и молиться, он разрыдался, как ребенок. Затем он успокоился, напряжение спало, и тут кто-то сильно потряс его за плечо:

— Эй, Блаженный, что с тобой? Или прикажешь и тебя еще отхаживать?

Понемногу успокаиваясь и всхлипывая, он испытывал ощущение, будто тело его, подвешенное на паутине, спущенной пауком, погружается в глубокий мрак. Он не в силах был поднять голову, но когда его оклик-

нули, он вдруг ахнул и почувствовал, что тело его внезапно сделалось легким и послушным.

Он потихоньку поднялся и помог товарищам отнести молодого человека в ближайший крестьянский дом.

Спасенный оказался сыном известного в городе галантерейщика Эбия и младшим братом нынешнего хозяина магазина. Когда он назвал себя, все страшно заволновались и принялись наперебой осведомляться о его самочувствии в непривычных для них почтительных выражениях. Они городили несусветную околесицу, что вообще иногда свойственно даже взрослым людям. Молодой человек спросил, кто его спаситель. Они льстиво захихикали:

— Вас... это... Блаженный... хе-хе-хе...

— Вытащил, конечно...

Затем они положили перед молодым человеком его вещи, подобранные на месте происшествия, — корзинку для рыбы и удочки. Но кошелек и серебряные часы они, втихомолку переглянувшись, поместили в такое место, где заметить их было бы трудно, и молодому человеку оставалось только удивляться про себя, раздумывая о судьбе этих предметов.

— Смотрите помалкивайте, если что...

— Да, да, обязательно...

Блаженный Мияда, подталкиваемый со всех сторон кулаками, одевался в углу.

Затем он поглядел на молодого человека. Тот уже оправился и, окруженный почтительной толпой, ждал посыльных из дома. Никем не замеченный, с душой, наполненной умилением, Мияда выскользнул через черный ход.

II

До последнего времени Блаженный Мияда испытывал такое чувство, как будто в душе его обитала тощая бездомная собака, голодная, рыскающая по всему его существу с жалобным прискуливанием. При обычных обстоятельствах он почти не замечал ее, не обращал на нее внимания, но стоило произойти чему-нибудь грустному, неприятному, как тощая собака, дремавшая до того где-то в уголке его сердца, сразу же просыпалась. Просыпалась и принималась бродить по его душе,

неслышно ступая мягкими лапами и тоскливо подвывая. Из-под ее лап поднималось и наполняло душу и тело Блаженного Мияда тяжелое чувство одиночества.

Порой он не знал, собака ли эта — хозяин его души, или он сам — несчастный хозяин этой собаки. Тяжесть тоски, сводившая его с ума, горечь, которую он старался прогнать и которая вновь и вновь возвращалась к нему, мучила его душу.

Но счастье улыбнулось ему. С того момента, когда вчера ему хотелось упасть на траву и молиться, его душа нашла, наконец, прибежище. Лишь одно это прибежище всегда сияет теплом и светом.

Если тяжело, приходи...

Если хочется плакать, приди и плачь...

Он серьезно думал, что кто-то увидел его сердце — сердце, которое он сам считал сердцем несчастного животного, сердце, в котором хозяйничала тощая собака, — заметил и, наконец, ниспослал ему покой.

«Этот «кто-то» — властелин всего прекрасного в мире...»

Так размышлял Блаженный Мияда, охваченный счастьем и умилением, сидя у себя во дворе у циновки, на которой сушились сладкие корешки.

Двор был открыт к югу, и тень колодезного журавля от полуденного солнца косо падала на шершавую стену сарая.

Вылупившиеся дней двадцать назад цыплята желто-коричневой стайкой копошились у ног наседки, беспрерывно пища пронзительными голосами, наседка отвечала им любовным квохтанием, и звуки эти, смешиваясь, уносились к чистому небу.

Послышалось шлепание маленьких босых ног по сырой земле — это сынишка Року вышел на прогулку в сопровождении дочерей Маки и Сада. Мальчуган обнял его сзади за плечо и сейчас же убежал.

— Року, не беги, не беги! Ушибешься, будет бо-бо! Погляди на меня. Видишь, папа кушает? Смотри, как вкусно!

От сохнущих корешков поднимался запах сладких пончиков.

День клонился к вечеру, когда на дворе вдруг появился человек, отрекомендовавшийся приказчиком от Эбия.

Он объявил, что хозяева желают выразить Мияда благодарность за вчерашнее, и предложил ему немедленно отправиться в магазин.

Приказчик говорил высокопарными фразами, нарочно вставляя в городскую скороговорку простонародные выражения, и с брезгливым видом отгонял ногой цыплят, восхищенно вытягивавших шеи у его необыкновенных черных таби [1].

— А цыплята не боятся...

Пораженные Маки и Сада, не обращая внимания на брезгливое выражение физиономии приказчика, остановились как вкопанные и беззастенчиво уставились на его лицо с острым подбородком.

Блаженный Мияда не хотел идти.

Он оробел перед перспективой переступить порог такого чудесного дома, он не знал, как нужно себя вести, он стеснялся выслушивать благодарность за то, что он сделал.

— Прошу вас, не беспокойтесь... Ничего такого я и не сделал... Поверьте, всегда все, что в моих силах...

Он знал, что такому бедняку, как он, не пристало отказываться от помощи богатых.

Но... душа его была полна и не могла принять благодарности в форме каких-либо подачек.

И кроме того, его не покидало смутное сознание того, что, получив награду, он уже не сможет гордиться своим подвигом.

Тихонько отгоняя от себя цыплят, распуганных приказчиком, Блаженный несколько раз пытался отказаться.

Но приказчик не хотел и слушать.

Оглушенный болтовней приказчика, Блаженный Мияда в конце концов покорился.

Приказчик шагал и, пренебрежительно сплевывая, разглагольствовал о процветании магазина и о хорошей жизни домочадцев, а Блаженный семенил рядом, неся обычный в провинции зонт из грубой шерсти.

В доме Эбия его встретила пожилая — лет пятидесяти пяти — вдова старого хозяина, единовластно ведавшая делами семейства.

---

[1] Таби — сшитые из плотной ткани короткие носки с одним пальцем.

Старуха сидела за столом, заваленным счетными книгами, у стены, заставленной комодами, служившими денежными ящиками. У нее было мужеподобное лицо, более мужское, чем лицо обычного мужчины, и весь облик ее как нельзя более гармонировал с окружающей ее деловой обстановкой. Сознание, что это действительно всего лишь старая женщина, повергло Блаженного Мияда в смятение. В ответ на его смиренный низкий поклон она сказала:

— А-а! Вы и есть Мияда?

После первых же звуков ее густого, властного голоса сердце его сжалость, и обычное бегство его «я» совершилось еще более поспешно, более болезненно, чем всегда. Что же касается старухи, то она, зная только, что кто-то спас ее взрослого сына, ожидала увидеть крепкого, сильного телом и духом мужчину. Человек, стоявший перед ней, поразил ее.

Ей вдруг стало смешно, она почувствовала, что нелепо будет оказывать уважение этому человечку.

Ощущая свое огромное превосходство над оробевшим Блаженным, она выразила благодарность за спасение сына в выражениях, более властных, нежели вежливых.

В ее тоне, в каждом ее слове чувствовалось, что уже одно только уважение таких людей, как она, должно восприниматься как высшая форма благодарности.

И Блаженный Мияда вовсе не считал себя обиженным. Напротив, он был убежден, что и самое это уважение не заслужено им.

«Ведь вы, госпожа, хозяйка дома Эбия, а я всего-навсего жалкий крестьянин». Блаженный Мияда с детства утвердился в вере в некоторые непреложные истины — в частности, он с великим благоговением ощущал разницу между своим положением и положением старухи.

Он поспешно и с готовностью соглашался со всем, что она говорила ему.

После нескольких фраз, сказанных скороговоркой, она величественно протянула ему сверток с деньгами.

Сверток был пышно перевязан красивой лентой. Увидев его, Блаженный Мияда окончательно растерялся и, запинаясь, отказался:

— Спасибо... спасибо... Я никак не могу...

Но старухе казалось, что он готов вцепиться в деньги руками и зубами и отказывается только из показной вежливости. Она процедила:

— Скромность здесь ни к чему.

Затягиваясь трубочкой и щуря глаза от дыма, она глядела на него. Но он не хотел, чтобы ему платили.

Он пытался рассказать, почему он не хочет этого, но только сбивчиво повторял, что ему неловко, не умея подобрать нужных слов, не в состоянии даже самому себе объяснить, почему именно ему неловко.

И все же ему было неловко. Это неясное «состояние духа» с огромной силой, которую нельзя было ни преодолеть, ни обмануть, владело его сердцем.

Душа его сжалась, увяла и укрылась в самых глубоких тайниках его груди.

Видя, что он упорствует, старуха замолчала, уставившись на сверток с деньгами. Она была поражена и в то же время испытывала чувство облегчения, словно провела выгодную сделку.

С затаенной радостью, но с обиженным видом человека, у которого не приняли подарок, она вздохнула, придвинула к себе шкатулку, сунула в нее деньги и щелкнула замком.

Затем достала из-за пазухи старый вылинявший кошелек, из углов которого торчали пучки рваных ниток, вложила ключ и проворчала:

— Конечно, эти гроши не деньги для человека, оказавшего услугу на всю жизнь...

Она взглянула на склоненную сивую голову Блаженного Мияда, хмыкнула неловко и постучала пальцами по краю пепельницы.

III

На следующее утро старуха Эбия, как обычно, вышла в свой обширный фруктовый сад.

Видя, как Эбия в соломенной шляпе, в грязных момпэ[1] командует толпой рабочих, обутых в соломенные сандалии, люди говорили с отвращением:

— Гляди-ка, ведьма Эбия опять за свое взялась...

[1] Момпэ — род шаровар.

Она, конечно, хорошо знала, что ее называют ведьмой. Знала и почему так называют.

Но это нисколько не волновало ее. Напротив, когда она слышала: «Ведьма сделала то-то, натворила то-то», она испытывала прилив бодрости.

Пусть себе злословят и сплетничают. В конце концов все это наполовину из зависти.

Она видела жителей Цумура насквозь. Она для них, как бельмо на глазу, и как бы она ни поступала, они все равно не скажут про нее хорошего слова. Ведь до самого последнего времени считалось, что лучшей мануфактуры, чем в Цумура, нигде не достанешь, а теперь единственная в городе старинная фирма, торговавшая мануфактурой, совершенно подорвана ее предприятием и хиреет на глазах у всех. Поставь себя на их место, и станет понятно, что они не могут хорошо к тебе относиться, сколько ни лги, сколько ни льсти. Это страшно, но что поделаешь?

Как-то раз, во время празднования по случаю открытия моста Сангобаси, ушедший от дел старый Саватори распетушился: я, говорит, так и знал, что она мало пожертвует, поэтому ее и посадили ниже меня, а на вечернее торжество и совсем не пригласили. Он хвастал, что его сын состоит членом муниципального совета, и бахвалился: «Если что случится, не ей тягаться со мной!»

В наш век важно деньги иметь, а с деньгами можно сделать что угодно. Взять хотя бы того же Саватори. Говорят, членом муниципального совета он стал лишь благодаря деньгам: это место было им все равно что куплено.

Все зависит от ловкости, а раз уж мы родились в такое время, когда деньги важнее всего, то было бы верхом глупости кривляться и болтать о честности.

Не уподобляться же тем, кто всячески старается сделать вид, что не хочет сколотить побольше денег! Нет, пусть говорят обо мне все что хотят, а я буду себе копить и копить деньги, наплевать мне на всех...

Она не упускала ни одного удобного случая. Если дело сулило хоть малейшую прибыль, она не брезговала ничем и всегда добивалась своего. Придумать такое, что другим и в голову не придет, возвести на человека напраслину — о, в этом у нее не было соперников, и это было самым сильным ее оружием. Она

считала, что все такого рода хитроумные идеи ниспосылаются ей самим Буддой, в которого она за последнее время истово уверовала.

В ее саду выращивались все сорта фруктов, какие только могла производить эта земля.

Когда урожай созревал, первые плоды шли на подношения Будде и предкам, все остальное отправлялось на продажу. Поэтому уходом за садом у Эбия не пренебрегали.

По мнению старухи, все батраки и арендаторы были блудливыми котами. Что у них на уме — никому не известно. Поэтому сбор фруктов с каждой ветки от начала до конца производился под ее непосредственным наблюдением. Она не успокаивалась до тех пор, пока не убеждалась, что каждая корзина дошла до амбара.

Взмокшая с головы до ног, она металась по саду и надзирала. Но, к несчастью, у нее была только одна пара ног, и пока она находилась в одном месте, работники в поле либо баловались, либо лентяйничали.

И сегодня утром старуха не знала ни покоя, ни отдыха. Крупные капли пота стекали с кончика ее носа. Тем не менее мысль о Блаженном Мияда почему-то не выходила у нее из головы.

— Странный человек... Бедняк... а вот деньги... Ведь вся сила в деньгах!

Утирая пот с лица, старуха обратилась к батраку:

— Эй, Сигэ, а ты знаешь этого... Мияда? Что он за человек?

— Да как вам сказать...

— Чем он живет? Выходит, не так уж и бедствует...

— Есть у него небольшой тутовник да маленькое поле. Этим и живет. Да он, госпожа, все равно что сумасшедший...

На лице батрака заиграла какая-то двусмысленная улыбка.

В эту минуту кто-то явно нарочно кашлянул позади старухи. Она обернулась, но человек уже скрылся куда-то.

Когда стемнело так, что не стало видно собственных рук, старуха отпустила работников ужинать, а сама уселась у жаровни и принялась пить дешевый чай.

Перед нею всплыл образ робкого, почтительного Мияда, и вдруг она почувствовала, что душа ее вновь открыта воле всемогущего Будды. Миг, и в ее мозгу, подобно вечерним облакам, заклубилась мысль, оформившаяся в следующую же минуту в «замечательный план», услышав о котором люди не могли бы не содрогнуться.

Она поделилась этим планом со своим верным приказчиком. То, что должно будет произойти через пять-шесть лет, совершенно отчетливо, воплощенное в цифры, представилось ей.

Робость, застенчивость Блаженного Мияда—вот что, очевидно, навело старуху на мысль об этом «замечательном плане».

Между тем О-Иси с нетерпением ожидала мужа, рассчитывая, что он вернется от Эбия щедро вознагражденным. Увидев, что он задумчиво бредет назад с пустыми руками, она нетерпеливо спросила:

— Эй, отец, а где подарки? Или потом принесут?

— Не говори глупостей, — ответил супруг.

Она принялась расспрашивать его и, когда узнала, что он отказался от предложенного ему свертка с деньгами, совсем упала духом, словно внутри у нее все опустилось. Некоторое время она в ужасе глядела на мужа, затем пришла в себя и разразилась неистовой бранью. Обезумев, она поносила его как кошку или собаку и в ярости изорвала зубами свой передник и края рукавов. Мияда никогда еще не видел ее такой разъяренной.

Ничего не понимая, оглушенные руганью и тычками, дети забились от страха в угол. Блаженный Мияда гладил их по головам, молчал и терпеливо сносил эту ругань.

Такие скандалы продолжались отныне изо дня в день.

О-Иси мстила мужу, пользуясь каждым удобным случаем. Она принималась браниться, когда дети просили есть, заявляя при этом, что у нее нет денег, чтобы прокормить их.

— Вы надоели мне, — кричала она. — С тех пор как вы появились на свет и путаетесь у меня под ногами, мы стали нищими... Просите у отца, он вам купит. Он богатый человек, он отказался от денег, что ему пред-

лагали. А я сама голодна. День-деньской работаю с утра до ночи, скоро, наверное, сдохну. Это не жизнь! Живите теперь сами как хотите...

Отныне О-Иси вставала поздно и, нисколько не беспокоясь о еде, отправлялась к кому-нибудь отводить душу. Хозяйством занималась одиннадцатилетняя Сада, в душе сердившаяся на отца за то, что он так расстроил мать.

Мияда глядел, как старшая из дочек моет котел в темной, круглый год грязной канаве, а рядом с ней что-то бормочет растерянная Маки с маленьким капризничающим Року за спиной, и ощущал острое чувство горечи.

Дни шли за днями, ему все больше хотелось бежать из этого дома, где все пошло вверх дном, и жить в поле, только в поле. Но там сейчас не было никакой срочной работы.

Лежа в тени старого дуба, росшего на краю поля, Мияда погрузился в свои мысли.

Небо, ослепительное и прозрачное, словно лазурный свод изумительно искусной отделки...

Ароматная земля, обжигаемая яркими солнечными бликами.

Блаженный Мияда щурился и размышлял о неизмеримой бесконечности мира.

Он размышлял и любовался, и его все сильнее охватывало чувство, что и там, за глубиной синего неба, и там, в могучей глубине земли, что-то есть.

Нет, там непременно что-то есть.

Что именно?

Этого он не знал.

Успокоение постепенно, незаметно проникало в самую глубину его существа, а вместе с этим просыпалось чувство умиротворения и любви, которое вытесняло терзавшие его страдания и переполняло всю его душу.

— Какая благодать!

Необъятная вселенная совершенна, и нет ничего несправедливого в том, что он, ничего не знающий о ней и робкий, мал и ничтожен, в том, что у него бывают горькие минуты.

«Некто» внушает разным душам разные мысли. Так стоит ли сердиться, если кто-нибудь мыслит не так, как он, Мияда? Совершенство мира скрыто во всем. Пусть

докопаться до него ужасно трудно, но оно все равно сияет где-то на самом дне, и в умилении перед этим совершенством прекрасные, детски-чистые глаза Мияда наполнялись слезами.

В жизни бедняка деньги значат больше, чем добрые духи.

О-Иси, в бешенстве кусая губы, проклинала своего супруга, этого круглого дурака.

Она несла ответственность за благополучие семьи, она одна поддерживала существование полоумного мужа и своих детей — она знала это и немало гордилась этим. И теперь ее гордости нанесен тяжелый урон: муж самовольно вернул полагавшееся ему вознаграждение — совершил поступок, который он, беспомощный и слабый человек, не имел права совершать.

О-Иси испытывала такое же сложное чувство — немного отличное по форме, какое должен испытывать исполненный самодовольства учитель, неожиданно прижатый к стене неприглядным, сереньким учеником.

И желание получить в свои руки тот сверток с деньгами еще сильнее терзало ее.

Ей чудилось, что в этом свертке, которого она и не видела ни разу, содержалось счастье всей ее семьи, и она возненавидела и прокляла Блаженного Мияда как дьявола, надевшего маску святого, как злого духа, стремившегося разорить и растоптать ее жизнь.

Само собой разумеется, в душе О-Иси эти ощущения и переживания не были облечены в такие слова.

Они, словно струи воды в перекопанной канаве, сталкивались, перемешивались и перепутывались друг с другом.

В конце концов она чуть не лишилась разума и бранилась, злилась, дралась, не отдавая себе отчета в том, что делает.

Но вот смерч пронесся, оставив в душе О-Иси такое чувство стыда, что у нее не хватало сил взглянуть в лицо собственным детям. И она убегала куда глаза глядят, чтобы скрыть свое смущение.

И как раз в тот момент, когда жизнь опостылела для нее, когда ей казалось, что все видели скрытые мотивы ее поведения и каждый в тайне смеялся над нею, что жестоко ранило ее самолюбие, неожиданно снова явился приказчик от Эбия. Он объявил, что им разре-

шается взять у Эбия все, что они пожелают. Она была ошеломлена, она не знала, что сказать на это, и чувствовала себя вновь возрожденной к жизни.

Говоря начистоту, О-Иси считала, что она вправе разыграть из себя упрямицу. Она стала кривляться, как испорченная девчонка, и ни с того ни с сего надулась.

Приказчику было отказано. Но лицо О-Иси, когда она услыхала слова «берите все, что пожелаете», пылало от счастья. И она решила, что муж в свое время для того и отказался, чтобы вынудить Эбия на этот шаг.

«Но если это так, то для чего же я сердилась?» Тихонько смеясь про себя, она с изумлением и уважением поглядывала на Блаженного Мияда, отвечавшего и на этот раз отказом.

Получив отказ, приказчик вздохнул и покорно ушел.

Блаженный Мияда был доволен тем, что приказчик не задержался.

О-Иси была довольна тем, что Эбия все-таки прислали к ней своего посыльного, и снова в их дом вернулся долгожданный мир.

Однако посыльный стал приходить через каждые три дня. Выслушав отказ, он послушно и кротко удалялся.

— Все по-прежнему... — говорил он, входя в дом Эбия, и при этих словах старуха от всего сердца хохотала.

— Значит, все по-прежнему...

Душа ее была преисполнена радости, какую испытывает охотник, спрятавшись в чаще и поджидая зверя, идущего к ловушке.

Жертва ничего не подозревает и спокойно и доверчиво приближается к капкану...

Эта первобытная радость, охватывающая охотника в такие моменты, вливала в жилы старухи новую жизнь. Она суетилась, нервничала, много говорила, чего никогда не позволяла себе при других обстоятельствах, и то и дело заливалась смехом:

— Ух, болван...

Но это ругательство было не тем, с каким она, полная ненависти или презрения, обращалась к батракам. Это слово выражало нечто похожее на грубую,

жестокую любовь к жертве, которая все ближе и ближе подходила к расставленной ловушке.

Старуха гордилась своим тонким планом, близившимся к успешному завершению, и с еще большей энергией бегала и хлопотала с утра до вечера.

Трижды она посылала своего приказчика, трижды он возвращался, получив отказ, но она не только не сердилась, но, наоборот, собиралась, по-видимому, продолжать посылать его и в дальнейшем.

И тут не только Блаженный Мияда, — даже и такая женщина, как О-Иси, почувствовала что-то неладное.

Что она задумала?

Смутные подозрения возникли у Блаженного Мияда, но он, устыдившись, подавил их.

Разумеется, такая почтенная семья не может замышлять чего-либо недоброго по отношению к человеку, спасшему одного из ее членов.

Он краснел, когда постыдные подозрения приходили ему в голову, и старался убедить себя, что Эбия посылают к нему приказчика исключительно из добросердечных побуждений.

И вот, придя в четвертый раз и получив очередной отказ, приказчик не повернулся и не ушел.

Он приступил к осуществлению первой части плана старухи.

Незнакомым, напряженным тоном он сказал:

— Госпожа разгневана. То обстоятельство, что семья Мияда отвергает все ее попытки вознаградить ее за спасение сына, таит, по ее мнению, какой-то умысел. Она склонна предполагать, что Мияда сам столкнул в воду молодого человека и затем спас его, а теперь отказывается от предложений госпожи в надежде получить что-то большее.

Первой разразилась взрывом негодования О-Иси.

Дрожащим от ярости голосом, готовая вцепиться в приказчика зубами, заикаясь, она закричала:

— Да как у нее язык повернулся говорить такое? Как она смеет распускать такие бессовестные сплетни у нас за спиной? Блаженный — бедный человек, но он всегда был честным... Как она смеет говорить так бессовестно? Да пусть мы какие угодно бедняки...

Бледный, с трясущейся на веке родинкой, Блаженный Мияда потянул разъяренную жену за рукав, чтобы

успокоить ее. Но женщину уже нельзя было остановить. С силой оттолкнув его руку, она выползла на коленях на середину комнаты, выкрикнула в адрес старухи Эбия несколько ругательств и разрыдалась.

Блаженный Мияда окончательно оторопел и растерялся.

Он сознавал, что должен сказать что-то, нужные слова теснились в его голове, но он не мог произнести ни звука. Язык его онемел и застыл во рту.

Руки его, сжимавшие полотенце, бессмысленно двигались, жалобные глаза глядели на губы приказчика, двигавшиеся, словно хорошо смазанная машина.

— Ну-ну, зачем же так сердиться? Ведь и старую госпожу надо понять. Разве она не беспокоилась о вас? Столько раз посылала к вам посыльного, а от вас один ответ: не надо, не нужно. Это кому угодно не понравится. А у старухи всегда так бывает: как натолкнется на такое своеволие, ну и додумается до чего-нибудь этакого... Честно говоря, ничего в этом страшного для вас нет. Подумайте. На этот раз вам следует послушно повиноваться воле госпожи и принять ее предложение. Поверьте, ничего плохого в этом нет.

В качестве последней «награды» предлагалось арендовать пустошь на тринадцать мешков риса, с тем чтобы себе брать десять мешков, а хозяйке отдавать три. При этом было сказано, что в случае отказа госпожа поймет, что ее подозрения полностью оправданы.

Да разве можно возводить такую напраслину!

Очень тяжелое обвинение. В чем здесь дело?

Блаженный Мияда раскрыл было рот, но слова вязли на запекшихся губах, он только заикался, и с его языка срывалось только нечленораздельное бормотание.

Он низко опустил голову.

— Ложь или не ложь, но если старая госпожа так думает, это даром не пройдет. Ведь она и в суд на вас может подать. Нет для человека ничего страшнее такого подозрения. Представить доказательства своей невиновности, покорно следуя воле госпожи,— как хотите, самое лучшее.

Суд! Суд! Это слово подобно грому поразило несчастных супругов.

Священный ужас перед законом, всегда живой в душе бедного крестьянина, привел их мысли в полное расстройство.

Они не думали, правы они или виноваты. Их ум был парализован этим словом: «суд».

Действительно, свидетелей не было. Стоило молодому господину сказать: «Да, я помню только, что кто-то сзади толкнул меня в спину», и все пропало. Как они могут доказать, что это было не так?

А что, если во время следствия они, измученные допросами, доведенные до отчаяния, скажут в беспамятстве: «Да, так оно и было», — что тогда?

Суд, страшный суд... Картина эта встала перед глазами Блаженного Мияда, повергла его в смятение, и он потерял всякую способность соображать.

Он дрожал и обливался холодным потом, а приказчик, глядя на него в упор, продолжал, энергично двигая губами:

— Подумайте хорошенько. С одной стороны, что ни говори, старуха Эбия. С другой, к сожалению, вы. Как по-вашему, кому поверят люди, когда вы станете отказываться и уверять, что этого не было? Никому и в голову не придет усомниться в словах старой госпожи. Господа судейские тоже будут говорить с вами и со старой госпожой по-разному. Поэтому лучше всего бросьте упрямиться и примите благодарность старой госпожи. Соглашайтесь, и все будем считать улаженным. Соглашайтесь, это самое лучшее.

Блаженный Мияда, потерявший под этим жестоким натиском последние остатки разума, даже не слышал слов приказчика.

И разумеется, он не был способен осмыслить слабые места обвинения и нелогичность этого предложения.

Он просто боялся. Он боялся возведенных на него обвинений.

Обрывки мыслей беспорядочно, словно безумные, теснились у него в мозгу. В больших глазах стояли слезы, рот был растерянно открыт. Наконец он зажмурил глаза и прошептал едва слышно:

— Я... мы... Извините...

Приказчик сейчас же нажал на него:

— Ну, согласны? Хорошо. Будем считать, что дело слажено. Теперь поставим здесь печать.

Он вытащил из-за пазухи какой-то документ и положил перед Блаженным Мияда.

Мияда взглянул, но прочесть не мог.

Иероглифы прыгали и расплывались перед его глазами, он ничего не понимал. Наконец приказчик растолковал ему, что это арендный договор. Тогда его охватило еще большее отчаяние.

Но отступать было некуда.

Он несколько раз хватался за кисть, которую подсовывал ему приказчик, затем, наконец, вывел иероглифы своего имени и молча приложил под подписью свою печатку.

IV

Арендный участок — тот, который Блаженный Мияда вынужден был с благодарностью принять в качестве награды от Эбия,— представлял собой узкое поле, стиснутое между небольшими холмами. Это был настоящий пустырь, куда почти никогда не заглядывало солнце, где нельзя было найти ни клочка, пригодного под посев риса.

В такое запущенное состояние привели этот участок из мести его прежние арендаторы, доведенные до разорения и отчаяния. И глядя на усыпанное камнями поле, настолько изолированное и удаленное от реки, что нельзя было понять, как доставлять сюда воду, Блаженный Мияда невольно вздохнул.

С чего же начать? Что нужно сделать, чтобы привести этот истощенный пустырь в мало-мальски приличное состояние?

Раз уж получилось так, нужно во что бы то ни стало добиться урожаев — иначе будет плохо.

И он, как подневольный, должен был подобно кроту копаться на участке с раннего утра до позднего вечера.

Он трудился так, что у него трещали кости, лез из кожи вон, чтобы купить побольше удобрений. Не зная ни минуты отдыха, он работал из последних сил. Но результаты его трудов погибли из-за продолжительных, не вовремя выпавших дождей. Большая часть риса, не дозрев, сгнила на корню.

Блаженному Мияда не оставалось ничего, кроме как просить о снижении арендной платы, и за несколько

дней до срока он, обливаясь холодным потом, решил поехать к Эбия.

О-Иси пыталась успокоить его. Ведь из десятка арендаторов едва ли найдется два-три человека, которые имеют возможность вносить арендную плату так, как было обусловлено договором. «И нечего тут стесняться, ничего тут такого нет, волноваться не нужно»,— говорила она спокойно, а Мияда, поражаясь ее отношением к такому серьезному делу, ломал голову, стараясь обдумать, как он будет извиняться перед Эбия.

Он представлял себе, что может ответить старуха, когда он явится к ней с такой просьбой, и у него деревенели ноги. На всякий случай, в знак извинения, он нагрузил в телегу свежей редьки и отправился, сжимаясь от страха.

В сенях перед кухней он опустился прямо на земляной пол, низко поклонился и, не поднимая головы, стал просить, чтобы ему разрешили внести вместо условленных четырех мешков риса два мешка. Старуха сидела на деревянной площадке [1] и глядела на Мияда сверху вниз. С губ ее сорвался странный звук, похожий на смешок,— она была в прекрасном настроении и даже сопела от удовольствия.

Как ни старалась она казаться равнодушной, но губы ее растягивались улыбкой, а сердце прыгало, как у молодой девицы.

Все шло так, как она задумала.

Если выйдет так, то она сделает так, а если даже выйдет не так, то...

Старуха с легким сердцем дала ему свое согласие. Но при этом она объявила, что возьмет остаток арендной платы — стоимость остальных двух мешков — деньгами и заставила Блаженного Мияда написать долговое обязательство. Она ликовала. Такое чувство испытывает молодой щеголь, который представляет себе, как будет выглядеть приглянувшаяся ему одежда, которая вот-вот будет готова, каким красивым он будет в ней и как ему будут завидовать те, кто не в состоянии приобрести себе такой же наряд. Она упивалась своим планом, осуществление которого быстро приближалось.

---

[1] Часть передней в японском доме занята деревянной площадкой, возвышающейся на двадцать — тридцать сантиметров над полом.

Прошло три года. Несмотря на все усилия Блаженного Мияда, обливавшегося потом на арендованном участке, долги его только росли.

Каждый раз, удобряя поле, он думал: «Ну, уж в этом году все будет хорошо». Но он не получал и половины ожидаемого урожая. Он задолжал и городской лавке удобрений и Эбия, ибо податься ему было некуда.

Прежде он был просто беден. Он никому не давал в долг, но и сам никогда не брал взаймы. Семья его обходилась тем, что производила сама.

Теперь же вся семья постоянно чувствовала на себе тяжкие кандалы, въедавшиеся в ее живое тело.

Он стремился во что бы то ни стало избавиться от этих оков, во что бы то ни стало вернуться к прежнему свободному существованию.

Но чем отчаяннее он бился, тем плотнее сжимали его кандалы; он цеплялся за малейшую возможность, чтобы облегчить бремя долгов, облегчить свою жизнь, но, несмотря на все его усилия, его хозяйство разрушалось все больше.

Из всех углов смотрела нужда, через все щели потоками врывалась она в его дом и, захлестывая его утлую ладью, все глубже погружала ее на дно, где его ожидало какое-то темное, холодное, безглазое существо.

На пятый год большой неурожай привел его семью на край катастрофы.

После страшного нашествия вредителей началась засуха. Рис гнил стебель за стеблем и, наконец, сгнил весь на корке засохшей грязи, покрывавшей мертвое поле.

И когда на другие поля пришла богатая, радостная осень, что могла принести она Блаженному Мияда?

Страх, сжимавший сердце. Крайнюю нужду.

Пришла настоящая пустота, та пустота, что страшнее бедности, когда еще можно жаловаться и надеяться.

Пусто, нет ничего...

Кончилось зерно в амбаре. Денег на покупку нового нет. Чем поддержать жизнь семьи из пяти человек?

И в этот момент старуха Эбия нанесла новый удар.

«Вы не прислали ни одного мешка риса. Так дело не пойдет. Верните деньги, которые вы задолжали за все это время. До конца года я, так и быть, подожду».

Но как вернуть сто с лишним иен, на которые к тому же безо всякого предупреждения начислили десять процентов? Как их вернуть именно теперь, когда семья стояла на грани голодной смерти?

«Ах, вы не можете вернуть деньги? В таком случае придется наложить на вашу землю арест».

Это и был тот ход, к которому давно готовилась старуха Эбия.

С самого начала и до самого конца она действовала так, как подсказал ей ее Будда.

Кругом говорили, что все огромные земельные угодия, которыми владели сейчас Эбия, приобретены подобными коварными методами. Большая часть этих слухов вовсе не была следствием простой зависти.

Когда она совершала такие поступки, душа ее не мучилась угрызениями совести. Напротив, она чувствовала себя увереннее.

Она испытывала беспримерную гордость и не признавала необходимости сдерживать себя. Для чего тигру его клыки? Чтобы пожирать слабых людей и животных, не так ли? Такова же и моя природа от рождения. Старуха была довольна.

И на этот раз она тоже была вполне удовлетворена своим ниспосланным свыше талантом.

Добившись желаемого и мечтая о многочисленных земельных участках, которые она, вне всякого сомнения, положит к себе за пазуху в дальнейшем, она словно ждала лаврового венка, которого удостаивается победоносный воин по возвращении с поля битвы.

Разумеется, если говорить по правде, победа над таким жалким противником при ее бесспорном превосходстве в силе и ловкости вполне естественна и не представляла трудности.

И все же она радовалась и гордилась. Все-таки это было состязание.

Она была возбуждена, и ее радостное чувство не могло быть выражено скучными обыденными словами о «росте» ее капитала.

От всего сердца гордясь своим процветанием, она ждала появления очередных противников с присущими ей самомнением и гордыней.

А Блаженный Мияда...

Негодовать у него не было сил.

Когда явился посыльный от Эбия, он и его жена выслушали его с безучастными, спокойными лицами, словно речь шла о постороннем человеке.

В голове Блаженного Мияда был туман, чувства и переживания словно куда-то ушли от него.

Что касается О-Иси, то отчаяние ее было беспредельно. Она непрерывно покусывала губы, и какая-то странная насмешливая улыбка блуждала на ее лице.

Пока была надежда, пока казалось, что они еще смогут как-нибудь вывернуться, она трудилась изо всех сил, у нее были силы негодовать, но теперь, когда оказалось, что все напрасно, у нее опустились руки.

Она лежала ничком у очага и время от времени бросала отчетливые резкие фразы:

— Вот так ведьма, эта Эбия... Сосала нас до тех пор, пока не обчистила до нитки. Что же теперь, по миру идти? Ни дома, ни земли... И помощи ждать неоткуда...

Блаженный Мияда молчал. Ему уже не нужно было ни земли, ни дома. Он хотел только, чтобы все скорее кончилось.

Пусть, как говорила О-Иси, идти по миру, только бы поскорее вырваться из заколдованного круга, в котором он превратился в комок горечи.

Сначала он совершенно смирился. Он готов был отдать и дом, и землю, и все, что имел, в любое время, как только этого потребуют.

Но сочувствие соседей поколебало его решимость.

Все, кто знал о бедствии, постигшем семью Мияда, сочувствовали им. Об Эбия вспомнили все слухи и сплетни, ее называли не иначе как дьяволом и кровососом.

Да, усердия, с которым они ругали ее, было бы достаточно, чтобы разорвать ее на куски.

Однако, если бы речь зашла о том, чтобы претворить это общественное негодование в действие, люди бы переглянулись и отступили.

«Ну... с ней попробуй свяжись...»

И один за другим ушли бы в кусты.

В критический момент такого рода сочувствие не может играть сколько-нибудь значительной роли. Да,

люди были на стороне Блаженного Мияда, они поносили старуху Эбия страшными словами, но это не меняло положения.

«Не хватит у нас силенок с ней справиться», — смутно чувствовали и те, кто выражал сочувствие, и те, кому сочувствовали,— особенно первые.

И все же, даже когда сочувствие безответственно, очень утешительно слышать, как тебя ободряют, как вместе с тобой переживают твое несчастье, и ты не сердишься, а испытываешь чувство облегчения.

Люди говорили пустяки, трогавшие сердце Блаженного Мияда, они старались утешить его с видом полной покорности судьбе.

Но какие муки должен был испытывать Блаженный Мияда, когда вместе с вновь вспыхнувшей тоской по земле, уходившей у него из рук, вместе с желанием бороться за нее в нем проснулось смутное ощущение не то ненависти, не то злобы!

Об этом никто из соседей Мияда не имел ни малейшего представления.

Между тем впавшая в отчаяние О-Иси под влиянием утешений понемногу вновь пришла в себя. Она чувствовала, как с чудовищной силой в ее душе разгорелось пламя всепожирающей ненависти.

День и ночь ненависть шептала ей на ухо человеческим голосом: «Сделай же что-нибудь! Сделай! Что бы ты ни сделала, хуже все равно не будет!»

Доведенная до исступления, словно во сне, О-Иси кинулась в сарай.

Задыхаясь, словно загнанный пес, бурно дыша и сверкая глазами, она принялась сооружать из сваленных там старых соломенных сандалий человеческое чучело.

У нее и у ее сверстниц живо было еще старинное страшное поверье, и она решила воспользоваться им. Нужно было вбить в чучело гвоздь и сказать заклинание: «Чтоб сгнили руки-ноги у ведьмы Эбия, чтоб она сдохла, проклятая...»

Но несмотря на все ее старания, все разваливалось и рассыпалось под ее руками, и она без передышки осыпала непослушные пучки старой соломы страстными проклятиями.

Изнемогая от ярости, растоптав растерзанные клочья соломы, она с пеной у рта повалилась на пол и громко, навзрыд расплакалась.

Старухе Эбия наплевать на ее ненависть, на ее заклинания. В глубине души она понимала это очень хорошо, хотя и продолжала выкрикивать ругательства, и от этого ей было еще тяжелее.

Сердце ее разрывалось. Обнимая дочерей, она принималась плакать. Встречаясь со знакомыми, она ругалась и угрожала. Ее низкий вдавленный лоб день ото дня покрывался новыми морщинами, по сторонам носа появились горестные складки.

Дочери — они уже вышли из детского возраста — сочувствовали горю родителей.

Но что нужно делать, как помочь, они не понимали.

Они были простодушны и совершенно не знали жизни, и потому решили, что самым лучшим выходом из положения для них будет уйти в город и поступить за харчи в услужение. Дальше этого их воображение не шло.

Конечно, видя, в каком отчаянии были их родители, они не могли решиться заговорить с ними о своих планах, но для них самих этот выход не представлялся очень рискованным.

Их не покидало ощущение чего-то мрачного, тоскливого, давившего на их сердца. Это угнетало их сильнее, чем несчастье само по себе, и заставляло их непроизвольно искать выход в бегстве из дома.

— Маки-тян, доченька, гляди, не вешай носа...

— Угу...

Девочка отвечала с обиженным видом, словно ее расстраивали эти ободрения, но в действительности она иногда даже не понимала, о чем идет речь.

Как ни простодушен был Блаженный Мияда, но он, разумеется, не мог смотреть на вещи так легко, как его дочери. С другой стороны, он не ощущал в себе той способности к слепой ненависти, какую проявляла О-Иси.

«Ненавидеть людей, злобствовать — нет, это слишком далеко от великой красоты мира».

Он хотел бы забыть о своей жажде мести, о своем чувстве ненависти, но не мог. Эти чувства прочно въелись в его сердце, и он ходил как потерянный.

Он ходил по своему полю, с которым ему вскоре предстояло расстаться, и на глаза его набегали непрошеные слезы. Тогда эти большие детские глаза переставали видеть что-либо.

«Старая Эбия... моя земля... дети... Чем они будут жить, когда я умру?» Он вспоминал спокойную и свободную жизнь до того, как он спас молодого Эбия, и сердце его сжималось от боли.

Он вспоминал счастливое настроение тех безвозвратно ушедших времен. Душа его трепетала от сладостной тоски и теплой грусти.

Когда он думал о том, к чему пришло «все это», руки у него опускались.

Если бы прежние «радости», прежние настроения вдруг исчезли из памяти, скрылись бы под ненавистью и злобой, все, кажется, стало бы на свое место.

Но этого не было. Чем тяжелее становилось горе, тем ярче и отчетливее всплывало в памяти благополучие того времени. Воспоминания преследовали его, и он изнывал от тепла и света прежних времен.

Это было нестерпимо.

Его мучило не только сожаление о земле и не только ненависть к подлой старухе. Воспоминания о том, что было, терзали его, и вместе с тем он не мог не вспоминать. И он не знал, что делать с собой.

Все, что составляло основу его жизни — беспокойство за детей, любовь к семье, наслаждение совершенством мира, — все перемешалось. По его собственному выражению, он «потерялся».

Таща на спине тяжелые мешки с белой глиной, Блаженный Мияда скатился по крутому склону.

Нужда стала нестерпимой, и он нанялся перетаскивать к городским воротам белую глину, добываемую в окрестных горах, — белую грязь, которую смешивают с рисовой мукой и употребляют в качестве белил.

Обычно рабочие таскали по одному мешку; он же, чтобы получить большую плату, взваливал на себя по два. Он далеко не был силачом, и плечи его болезненно ныли.

Постукивая по дороге палкой, вырезанной из толстого сука, шлепая по пыли разбитыми соломенными сандалиями, Блаженный Мияда дотащился до насыпи, оперся о нее своей ношей и перевел дух.

Вероятно, здесь устраивали себе отдых и другие кули: сухая трава была примята, вокруг виднелись пятна белой глины.

Вытирая выступивший пот, он огляделся.

Он был один.

В тихом унылом мире уже начал показывать свою силу зимний холод. В увядших зарослях, в верхушках опадающих деревьев гулял ледяной ветер.

Туман, вот-вот готовый превратиться в иней, легким покровом стлался в горах, окрашенных в грязноватые оттенки коричневого и фиолетового цвета. Солнечные лучи, словно пробившиеся сквозь густое сито, запутались в ветвях громадной одинокой сайкати, стоявшей неподалеку. Всякий раз, когда налетал порыв ветра, крупные коричневые плоды, полые, с высохшими семенами, издавали тоскливый скрипящий звук.

Дзи-дзи... дзи-дзи...

Где-то под ногами печально стрекотали цикады. Блаженный Мияда слышал и не слышал их. В душу его снова закрались воспоминания о подлости Эбия.

Сколько бы он ни думал, все мысли его вертелись в одних и тех же пределах.

Он чувствовал, что его тело и душа тонут в неизмеримой бездне тоски и безнадежности.

Что-то, какая-то сила, до сих пор стоявшая позади него и незримо поддерживавшая его, теперь исчезла. устремилась куда-то вперед.

Все прошло, а он остался...

Все, все, что было, куда-то исчезло...

Оглушенный нестерпимым чувством одиночества, он вдруг заплакал.

Пустота разъедала его душу.

Горькие слезы полились из его добрых глаз, бесцельно уставившихся в пространство, и исчезали в реденькой бородке.

V

Когда крестьяне управились с жатвой и немного освободились, началось, наконец, строительство новой дороги, о которой уже давно ходили слухи. К горячему источнику К. в окрестностях города вела только тропинка по склону, по которой небезопасно было ехать и

на рикше. Теперь было решено проложить новую дорогу через лес с противоположной стороны, такую, по которой могли бы ходить и автомобили.

Блаженный Мияда нанялся на строительство. Сначала он подрядился рубить в лесу просеку. Здесь платили больше, чем за переноску белой глины. К тому же разрешалось собирать мелкие сучья со срубленных деревьев.

Лес этот, глубокий, темный, густой и полный жизни, был единственной реликвией благородной древности у города, постепенно грубевшего с развитием цивилизации.

Все здесь было напоено счастьем.

Множество птиц и насекомых, множество ростков всевозможных цветов и форм, с весны до осени тянущихся из мягкой почвы, смешанной с опавшими листьями, — все это было укрыто под сенью листвы, все могло служить счастью любого живого существа.

И внезапно в эту древнюю «счастливую область» вторглись люди, безжалостные и грубые.

Один за другим блеснули в воздухе огромные тяжелые топоры.

Только что поднявшиеся молодые побеги бесшумно падали, болезненно сотрясаясь, после первого же удара.

Старые лесные великаны, в самую сердцевину которых проникали острые лезвия, словно удивляясь этой внезапной перемене, печально раскачивали вершинами, посылая последний привет друзьям долгих лет, и рушились на землю. Раздавался тоскливый треск невысоких молодых деревьев, ломающихся под тяжестью старых замшелых стволов. Содрогалась земля.

Сквозь этот шум слышны крики:

— К югу, отходи к югу...

Тррах! Откуда-то доносится грохот. Рухнуло еще одно большое дерево.

Дружно стучат деловитые топоры.

Тук-тук... тук-тук... тук-тук...

На опушке грузят на телеги древесину, и к крикам лесорубов примешиваются голоса возчиков и хлопание кнутов.

Веселые парни поймали ослепленную солнечным светом сову и бегут куда-то, таща ее за крылья вниз головой.

До сих пор в лесу царили тишина и спокойствие.

Каждый знает это, и шум вызывает теперь какое-то неприятное чувство.

Беспокойная грубая суета в лесу проникает и в город. Когда по улицам провозят великолепные стволы, лишенные ветвей, все делают привычно-равнодушные лица, но что-то переворачивается в глубине души у каждого.

Конечно, вырубать жалко, но все же как интересно собственными руками валить такие огромные деревья...

Голые деревья с обрубленными до половины ветками, на которых не осталось ни одного листа, мрачно вонзались в пепельное небо. Потерявшие гнезда птицы по вечерам с плачем носились над головами лесорубов. И при виде всего этого Блаженный Мияда временами не мог заставить себя опустить занесенный топор.

Тяжкие вздохи лесных духов вливались в его душу, и грудь его болела от тоски.

Деревья ведь тоже живые существа. Пусть они не могут говорить, но разве поэтому нужно так беспощадно рубить их, с каким-то удовольствием, словно издеваясь над всяким проявлением жалости к ним? Разве нельзя было как-нибудь обойтись без этого? Чудесный лес, стоявший столько веков, птицы, вившие себе в нем гнезда, трава, грибы — все уничтожено. Уничтожено только для того, чтобы здесь могли пройти несколько старых автомобилей. Что в этом хорошего?

По мнению Блаженного Мияда, люди всегда теряют голову, когда дело касается их интересов, и зачастую понимают свои интересы неправильно. Но он, конечно, никому не говорил об этом. Он никогда ничего не говорил. Он работал молча, как муравей, и товарищи прозвали его «глухим Мияда». Считалось, что он способен только работать, словно бессердечная машина, словно хорошо налаженный механизм.

Постепенно лес был вырублен. Вскоре наступила зима. Из-за обильного снега Блаженный Мияда был вынужден сидеть дома и взял в городе подряд на плетение грубых корзин и садков для шелковичных червей. Как и в прежние годы, из города в деревню явились агенты текстильной фабрики для вербовки работниц и принялись обходить дворы.

На текстильную и муслиновую фабрики брали даже десятилетних детей. Получив немного денег в качестве

аванса, девочки на десять—пятнадцать лет становились ученицами, а затем работницами. В деревнях не видели в этом ничего необыкновенного.

Блаженный Мияда услыхал, что кто-то из соседей говорит:

— Что, десять иен? Это еще неплохо. Когда я был таким, как вы, мы получали меньше. Сравните с рыночными ценами, и вы увидите, что это выгодно.

Его старшей дочери исполнилось шестнадцать, младшей — тринадцать лет. Гладкие заманчивые речи вербовщика вызывали у девочек огромное любопытство.

Любопытство без цели, любопытство, которое не ждало удовлетворения.

Просто им захотелось одеться в кимоно и, распевая песни, тянуть нити.

Работать на городской фабрике! В этом что-то манящее, исполненное непостижимой славы и радости, чего нельзя получить, если оставаться здесь, в деревне.

Когда одна из их подруг с гордостью объявила им, что решила поступить на фабрику, они почувствовали в этом нечто серьезное и важное и то и дело удалялись для тайных бесед то в тень амбара, то на дальний конец поля.

Хотя они разговаривали там с чрезвычайно значительным видом, но дело в сущности было простое:

— Слушай, Сада-тян, в доме Син-тян говорили, что на фабрике каждый день кормят мясом и даже дают одежду... Уж чем оставаться в нашем нищем доме, может лучше тоже уйти? Как ты думаешь? Спросим у матери?

— И правда, мне бы тоже хотелось уйти. Если мы уйдем вместе, страшного, пожалуй, ничего не будет...

После этих слов им уже не о чем было ни говорить, ни думать, и они, словно целиком уйдя в свои мысли, погружались в молчание, тесно прижавшись друг к другу, но младшая, Маки, иногда вдруг начинала мечтать совсем о другом и даже переставала понимать, зачем они, собственно, пришли сюда и для чего здесь стоят.

В то время как они никак не могли решиться раскрыть свой секрет, их мать О-Иси в глубине души лелеяла ту же мысль, хотя тоже не решалась первой заговорить об этом.

Разумеется, в том тяжелом положении, в котором оказалась семья, избавиться хотя бы от двух едоков было уже само по себе большое дело, да еще сверх того можно будет получить какой-то доход.

И притом ведь они уже не дети...

И когда дочери, наконец, обратились к ней за разрешением, она испытала громадное облегчение. Все трое сейчас же сказали о своем плане Блаженному Мияда. Впрочем, для О-Иси это было пустой формальностью, необходимой только для соблюдения престижа отца семейства. Даже если бы он и решительно запротестовал, она все равно твердо решила добиться своего.

Разговор прошел очень гладко.

Но Блаженный Мияда совершенно не знал города и не мог судить об этом деле с должной ответственностью.

— Трудно мне указывать вам. Если только вы будете счастливы, то, конечно, надо ехать. Мне все равно, были бы вы только счастливы. Больше мне ничего не надо.

Девочки не смогут добиться в жизни счастья с таким отцом, как он, неспособным разумно жить на свете. Значит, он не может запретить им уехать из дома и поступить на работу. Не может, потому что любит их.

Нельзя заставить их против их воли разделить участь семьи, обреченной на верное разорение. Это было бы слишком мучительно для него.

Пока он колебался, не зная, на что решиться, переговоры шли успешно. Дочери, наконец, завербовались на пять лет и отправились в город. Родителям было выслано двадцать пять иен.

Девушки отправились в город радостно, как на праздник, но Блаженный Мияда при виде денег, полученных в обмен на подписанный договор, почувствовал, что сердце его больно сжалось.

«Я виноват перед ними, и что бы ни случилось, этих денег мы трогать не будем», — решительно заявил он О-Иси. Затем тайно от нее он спрятал деньги на дне старой корзины. Он, конечно, и думать не мог, что О-Иси, перевернув в поисках дом вверх дном, в конце концов нашла их и из предосторожности на всякий случай носила их теперь всегда при себе.

А он полагал, что деньги — старая десятииеновая бумажка, подклеенная полоской бумаги, новенькая

десятииеновая бумажка и еще пять иен — все еще лежат, завернутые в почерневшее тряпье на дне корзины.

Между тем шли дни, и душа его, которая, казалось бы, должна была теперь целиком обратиться на единственного оставшегося в доме ребенка — сынишку Року, тосковала только по ушедшим дочерям. Он носил их на руках, когда они были малютками. Раньше он не думал, что будет себя чувствовать без них таким одиноким. Он не мог предположить, что они придают его дому такой уют и такую прелесть.

Но теперь, когда их не стало, осталась только какая-то тоска и чувство неудовлетворенности.

Замолкла веселая болтовня, звонкий смех, словно внезапно перестал бить под окном освежающий фонтан, к которому все давно привыкли. Отзвуки их голосов то и дело воскресали в его памяти, вызывая в нем чувство нестерпимо горькой любви.

Казалось, жизнь в доме как-то обеднела, когда уехали девушки, оглашавшие его беготней и громким смехом.

В углу сеней или в амбаре, где были свалены старые красные гэта и поношенная одежда, Блаженный Мияда истово молился о ниспослании счастья дочерям, которые по неграмотности не могли даже известить его в письме о том, как они живут.

Как всегда, Блаженный Мияда был землекопом.

Дорога шириной около девяти метров должна была протянуться на полкилометра совершенно прямо, затем от глубокой впадины изгибом спуститься по склону и подойти вплотную к горячим источникам.

Когда наступал полдень, кто-нибудь из товарищей Блаженного Мияда оглядывался на него. Мияда работал немного позади, усердно размахивая мотыгой.

— Слушай, отец, свари-ка чаю! В самом деле, ведь уже полдень, эй, папаша!

Блаженный Мияда покорно отправлялся в небольшую грязную хибарку, брал там большое ведро и, волоча коченеющие в носках ноги, плелся к ручью, протекавшему в сотне метров от места работ.

Это стало его ежедневной обязанностью.

Ведь верно, простак Мияда все равно что машина. Что ни сделай, никогда не ругается, слова единого не

скажет. Такой безответный дядька, стоит только попросить — ни в чем не откажет.

Товарищи, уважавшие только кичливых шалопаев, хвастунов и горлодеров, относились к робкому, молчаливому Мияда свысока. Они наперебой пользовались тем, что составляло самые прекрасные и в то же время слабые черты его характера, — безусловной честностью и сдержанностью.

Впрочем, они не сознавали отчетливо, что стремятся использовать его. Просто поскольку Блаженный Мияда ни от чего не отказывался, его заставляли выполнять самые неприятные поручения.

Видя его покорность, они становились все бесстыднее и наглее и распоряжались им как мальчиком на побегушках. Действительно, для них это был единственный случай утвердить в собственных глазах свое чувство собственного достоинства, и они делали это за счет Блаженного Мияда.

Так в большом доме, где много слуг, человек добродушный, который никогда не говорит плохого о других, неизбежно становится прислужником своих дерзких и нахальных товарищей.

Ведро было большим, но дырявым. Поэтому пока Мияда нес его обратно, в нем оставалось меньше половины.

Кроме того, так как время было холодное, то люди мылись горячей водой и согревались, наливаясь бесплатным кипятком. Их было около десяти человек, и одного ведра не хватало. Посиневший от стужи Мияда ходил еще раз. Когда он возвращался, его товарищи уже успевали разжечь костер из собранных щепок и толпились вокруг огня, стараясь обогреться.

— Скорее, дядя, заждались!

Окоченевшими пальцами он ставил на огонь котелок.

Он, самый старый из всех, вынужден был сидеть позади товарищей, спины которых загораживали тепло.

Съежившись в комок и обхватив колени, Блаженный Мияда рассеянно глядел на огонь в промежуток между мощными запыленными плечами товарищей и погружался в свои обычные бесплодные думы.

Но в последнее время он никак не мог собраться с мыслями. Да у него и не было больше воли думать. Ему просто хотелось посидеть спокойно, забыться.

Так было не впервые. Все чаще и чаще за последнее время он не слышал, что ему говорили. Временами ему казалось, что он впадает в детство.

Его душа, измученная горькой жизнью, жаждала покоя. Она хотела уйти и укрыться от этого жестокого мира.

Но он не мог. Он даже не замечал этого стремления своей души. И он думал, что наступает старческое слабоумие. Но ему даже не хотелось стать молодым, чтобы снова воспрянуть духом.

Сердце его было словно окутано каким-то туманом, в котором застревали внешние впечатления.

А в глубине этого тумана поселилось нечто, не имеющее ни цвета, ни формы, словно мгла, — чувство тоскливого одиночества.

Между тем работа успешно близилась к завершению.

Через несколько дней участки дороги, прокладываемые с двух сторон, должны были встретиться точно в назначенном месте.

Предстояло убрать с дороги громадный каменный каток.

Погода в этот день была прекрасная. С раннего утра сияло не по сезону теплое солнце. Когда оно взошло, казалось, что наступила весна.

Закончив работу на своем участке, Блаженный Мияда с чувством огромного облегчения, словно сбросив с себя тяжелый груз, растянулся на солнце у обочины дороги и закурил.

Давно уже табак не казался ему таким приятным.

Солнце согревало все его тело, руки, ноги, веки охватила сладостная истома. Внизу видно, как от корней золотисто-коричневых рощ поднимается пар горячего источника, медленно вползает к ветвям и вершинам, а ледяные иглы, усыпавшие деревья, сверкают, как хрусталь.

В воздухе раздаются голоса товарищей, звон мотыги о камень. Все эти звуки кажутся радостными, приятными.

Чувство несказанной свободы охватило Блаженного Мияда и пронизывало то, что подобно каплям росы гнездилось в глубине его сердца.

Глаза его затуманились, все покрылось тонкой дымкой, поплыло тончайшими красками. Звуки, доходившие до его ушей, утратили всякий смысл — они лишь слегка задевали слух и проносились мимо.

Все это — и звуки и краски — осаждалось на дне его души, как мелкие камешки погружаются в глубокую прозрачную воду.

Выстроившись в ряд, рабочие с криками изо всех сил навалились грудью на рукоять катка.

Но каток не требовал столько усилий. Он стоял на пологом склоне и легко покатился вниз.

Люди только для вида налегали на рукоять, смеясь и перекидываясь шутками, обрадованные, что работа оказалась такой легкой и сейчас кончится.

Каток покатился, как живой.

Внезапно из толпы рабочих донесся испуганный вопль:

— Эй! Человек! Человек!!

Все остановились, и в тот же миг рукоять отделилась от них.

Трах-тах-тах...

С чьих-то губ сорвался крик:

— Камень! Камень! Уходи скорее!

Увлекаемый инерцией каток скрыл под собой фигуру спящего человека, тяжко навалился и качнулся назад.

Затем замер и больше уже не двигался.

VI

Страшная зима осталась позади.

Дожди и солнце в должное время вновь вдохнули в землю жизненные силы, и все воскресло.

Внизу, на пашне, покрытой водой, в которой кишели головастики и носились «тякутори» — личинки тараканов, — расцвели травы и мхи, бледно-фиолетовый горицвет. Все реки и речушки поднялись от талого снега, потеряли свой унылый зимний облик и выглядели так, словно с ума посходили от радости.

Волны нежно перешептывались и смеялись, то заливали берега, то шаловливо неслись куда попало. На оживших берегах в щелях между камнями повсюду появились зеленые ростки молодой травы. Из чащи

колючего кустарника, из зарослей ивняка радостно звучало наивное щебетание птенцов жаворонка.

Набухли почки тутовых деревьев, вытянулись злаки, быстро оживали поля. А О-Иси, у которой Эбия уже отняли ее поле, каждый день нагружалась старым тряпьем и дешевыми сладостями и отправлялась торговать в соседние деревни.

Блаженный Мияда бессмысленно погиб. Земельный участок отобран ведьмой. Все на свете опостылело О-Иси. Казалось, она перестала любить даже единственное оставшееся у нее родное существо — сына Року.

Привычка к труду, укоренившаяся в ней с ранней молодости, куда-то исчезла. Боги, несмотря на все обеты, которые она им приносила, не помогли ей. Она потеряла в них веру и жила теперь как придется — лишь бы прошел день.

Под разными предлогами у нее отняли все, что она имела, даже дом, и ей пришлось переселиться в амбар. Утром она вставала, завтракала, взваливала на спину свою ношу и уходила, а возвращалась когда придется. Скоро это вошло у нее в привычку.

Девятилетний Року жил так, словно у него и не было матери.

Когда он просыпался, О-Иси, как правило, уже не было дома. Набегавшись за день и устав, он засыпал у очага. О-Иси в это время еще не было.

В школу он не ходил, ругать его за это было некому. Он вел жизнь, в которой все хорошие и плохие черты характера детей его возраста причудливо переплелись между собой, и иногда он был хорошим, а временами — невыносимо скверным мальчиком. Року был ребенком нищей семьи в нищей деревне, и воспитания и культуры в нем не было и быть не могло. Никто не хотел дружить с ним.

А если иногда ребята и брали его в свою компанию, он испытывал нестерпимую досаду, когда они, показывая ему иероглифы, спрашивали его:

— Року-тян, а ты знаешь этот иероглиф?

Он сторонился сверстников и проводил дни в полном одиночестве, целыми днями напролет бродил босиком у реки и в горах.

Куда бы он ни пошел, горы всюду прекрасны.

В горах полным-полно интересных вещей. Но осо-

бенно он любит гору Татэ, куда раньше ему случалось ходить вместе с сестрами за сосновыми шишками. Вот проносится ветерок, и раздается особый, ни с чем не сравнимый шум, словно начинает раскачиваться множество ветвей сосен на вершине горы. Слушать эти звуки лежа, раскинувшись на траве, и глазеть по сторонам было для Року верхом блаженства.

— Как красиво... Здесь мне все нравится...

Действительно, мир, раскинувшийся внизу, под высокой горой, прекрасен.

И он не может не нравиться.

Все внизу выглядит таким крошечным, ладным, стройным, все расположено не слишком близко и не слишком далеко друг от друга, как раз так, как нужно.

Старики рассказывают, что давным-давно, когда люди были еще покрыты шерстью и имели хвосты, точно кошки, какие-то великаны скуки ради создали эти горы. Позже в долине, окруженной горами, словно зеленая щетина поднялись великолепные леса и рощи.

Городские домики сбились в кучу, как будто для какого-то важного разговора, и на их крышах тускло блестит красная черепица. Ползет поезд, похожий на мохнатую гусеницу, и скрывается вдали.

Внизу извивается река. Она уползает далеко-далеко и впадает в другую, бóльшую реку, виднеющуюся у горизонта. А вдали медленно двигаются крошечные, как баклажанные семечки, вьючные лошади, которых погоняют еще меньшие, величиной с конопляное зерно, люди. И все это можно окинуть одним взглядом.

Шум реки и шорох деревьев, доносящийся откуда-то приглушенный грохот барабана сливаются в мягкую и нежную музыку. Эта музыка, словно колыбельная песня, убаюкивает душу ребенка.

Эти звуки и краски всегда производили чарующее действие на простодушное сердце Року.

Реки и города, о которых говорили взрослые, горы, реки, шумные улицы, до которых, как ему казалось, он умер бы, а не смог бы добраться, так невыразимо далеко они находились, были тут, перед его глазами.

— Ого-го! — кричал он изо всех сил.

— Ого-го... — отзывался из-за облаков кто-то невидимый.

— Ого-го-го!

— О-о-го-го...

«Хочу летать! Хочу туда, за те высокие горы. Хочу взглянуть на людей, живущих в мире, который не снился и во сне». Фантастические замыслы кружили голову ребенка, уносили его вдаль, как крылья птичек, время от времени проносившихся над его головой, и разворачивались перед ним радостной, бесконечной вереницей.

Солнце спускалось к горам. Мир туманился оранжевым светом, горная зелень окутывалась сизой дымкой. Тогда Року, озаренный вечерним солнцем, спускался с горы в сторону, противоположную той, откуда он поднимался.

Он шел среди цветущих фиалок, шагал через чистые звенящие ручьи и полями возвращался домой.

Еще месяц назад в городе было организовано так называемое «Акционерное общество подвесной дороги». На окраине соорудили постройку, которую назвали станцией, — отсюда управляли перевозками и следили за порядком погрузки.

Дорога была построена для того, чтобы обслуживать поселки в глубине гор, сообщение с которыми было затруднено. Подвесная дорога позволила переправлять оттуда в город добываемый там камень, древесный уголь и руду, а из города доставлять туда для продажи различные товары.

От здания, похожего на грубую хижину, потянулись до горного поселка столбы, отстоящие друг от друга на десять метров, на столбы были натянуты стальные тросы, по которым скользили подвесные вагонетки; посередине линии была сооружена еще одна станция. И наконец в середине июля движение на дороге было открыто.

Разумеется, Року немедленно отправился поглядеть.

Он был поражен.

Здесь все было удивительным и необыкновенным. Только и оставалось что разевать от удивления рот.

С утра и до вечера, от начала работы дороги и до конца, он простаивал возле станции, глядя на эту «странную штуку». Любопытство его было ненасытно.

Однажды он, как всегда, вышел из дома и направился к станции.

И вдруг, выйдя на опушку небольшой рощи, он увидел нечто поразительное. Чудесный маленький стул,

выкрашенный в красный цвет, двигался по небу с какой-то ношей.

Двигался он как-то удивительно весело, беззаботно.

Мальчик никогда не подозревал, что работу подвесной дороги можно наблюдать отсюда.

Стул проплыл над лесом. Как высоко!

Высоко... Через гору... Через реку...

Внезапно его осенила идея.

— Я, я сяду на этот стул! Сяду и полечу, как птица!

Ему казалось, что сердце его вот-вот выскочит у него из груди.

Он скатился по склону, подбежал к домику, в котором помещалась станция, и ухватился за край готовой отправиться вагонетки.

— Посадите меня, дяденьки! Я хочу полететь! — закричал он, прижимаясь к вагонетке всем телом.

— Ах ты чертенок! А ну как перевернешься, что тогда?

— Пошел отсюда, слышишь? Упадешь — разобьешься вдребезги...

— А, ничего. Пускай его. Не упадет же эта штука от одного такого мальца или даже от двух. Ведь когда открывалось движение, господин чиновник из мэрии прокатился на ней до самой Монива. Ничего, пусть садится. Эй, паренек, садись, да гляди, вернись с обратной вагонеткой, а не то выпорю...

Маленькое тело Року хорошо уместилось в ковше вагонетки.

Он был как во сне от радости. Немного успокоившись и придя в себя, он увидел, что город остался позади. Вагонетка неслась вдоль какой-то реки.

На берегу рабочий дробил камень.

Вот он опустил молот. Прошло некоторое время, и донесся звук удара. Взмах молота и затем звук удара.

Тук... тук... тук...

Постепенно эти звуки замерли вдали; внизу появилась густая роща.

Молодая листва беспрерывно шептала о чем-то, ветви прижимались друг к другу, склонялись одна к другой, улыбались и начинали смеяться.

Вот одна ветка, точно шаля, подняла голову, заморгала, жмурясь от солнца, и проводила взглядом мальчика, пронесшегося над нею.

— Глядите!

Другие ветви, шелестя, взглянули вверх и тоже увидели его.

— Глядите, человеческий детеныш!

— Да, там наверху... Вот смешно!

— В самом деле, такой маленький!

— Ну и чудеса!

Они шумно шевелились, переговариваясь, сталкивались и цеплялись друг за друга, чтобы лучше его разглядеть.

Чш-ш-ш-ш...

Прохладное, свежее благоухание охватило Року.

Под ногами ворковал горный голубь.

— Какко... какко... — раздался где-то звонкий голос кукушки. Плющ, обвивавший ветви деревьев, тянулся к Року. Цветущие там и сям белые лилии, сияя под солнцем, манили его к себе.

Року был вне себя от гордости и восторга.

«Весь мир лежит подо мною, покорный, как вассал».

«Я лечу по небу легче птицы. Я, один только я!»

Трос все дальше и дальше уносил Року в глубь гор. А Року чувствовал себя великим владыкой.

Все прекраснее и удивительней становились перед ним пейзажи.

Все тише и спокойнее становился мир.

И Року захотелось лететь. Лететь!

Лететь к тем снежным пикам...

Он слегка подался вперед. В ту же секунду вагонетка потеряла равновесие.

Ему показалось, будто вся вселенная от края и до края одновременно вскрикнула.

Он услышал этот крик, в ту же секунду его тело, словно искра солнечного света, стремглав полетело вниз, прямо в расстилавшуюся внизу рощу...

1917

ВЕСНА 1932 ГОДА

I

Утром 29 марта я проснулась в старенькой гостинице напротив вокзала Сиодзири. Шел густой снег. В этих краях наружные ставни в гостиницах на ночь не задвигаются, и, раздвинув сёдзи [1], я завтракала возле теплой жаровни, любуясь пушистыми снеговыми шапками на ветвях сосен. Окончив завтрак, я взяла свой багаж — единственный небольшой чемодан, высоко подняла воротник пальто и сквозь снежную пелену направилась к станции. От гостиницы до станции было рукой подать. Хозяин прибежал вслед за мной и, когда поезд двинулся, крикнул, размахивая нераскрытым зонтиком:

— До свидания! Приезжайте к нам еще!

Он имел собственную гостиницу, но был связан с Всеяпонским крестьянским союзом «Дзэнно», читал «Литературную газету» Союза пролетарских писателей и другую литературу такого рода.

Накануне в Сиодзири состоялась моя лекция, теперь я ехала в Симосува. За окном вагона третьего класса совсем рядом проносились большие сугробы снега. Горы префектуры Синсю [2], поросшие лесами, кото-

---

[1] Сёдзи — раздвижные части стен японского дома, состоящие из легких деревянных рам с решеткой, обтянутой тонкой бумагой.

[2] Синсю — сокращенное название провинции Синано.

рые черными пятнами выделялись на белом снегу, напомнили мне пейзаж на железной дороге под Хабаровском.

Я вспомнила, как возвращалась из Москвы и стучала на пишущей машинке в вагоне Сибирской железной дороги. Поезд шел через горы Приморья, и точно так же падал снег, и на его белом фоне, словно щетина на хребте кабана, чернели деревья... И мне так захотелось когда-нибудь еще раз проехать вместе с Миямото в поезде среди хабаровских гор, засыпанных снегом.

В Симосува был литературный кружок, в который входили главным образом работницы шелкопрядильной фабрики. В начале марта туда ездила лекционная группа от Союза пролетарских писателей. Группа состояла из Кан Эгути и еще нескольких человек и организовала очень интересные лекции. Характерно, что когда членам кружка—работницам шелкопрядильни — был художественно и с большим чувством прочтен рассказ «Сериплан» [1], напечатанный в «Литературной газете», слушательницы разразились бурными рукоплесканиями. К сожалению, тогда я не смогла поехать вместе со всеми и решила заехать в Симосува теперь, возвращаясь из Сиодзири.

На станции меня встретил представитель от кружка. Он сказал, что лучше идти не прямо к товарищу А., владельцу мясной лавки, так как недалеко от его дома полицейский участок, а пройти прямо «до той большой улицы и там свернуть направо». Прикрываясь от снега зонтиком из грубой промасленной бумаги, я пошла за ним, и скоро мы оказались у входа в большой ресторан рядом с храмом Сувадзиндзя. Пройдя по длиннющему коридору и сделав несколько поворотов, мы вошли в небольшую комнату.

Здесь было европейское окно, на полу стояла жаровня. Едва я успела оглядеться, как пришел А. и сказал, смеясь:

— Это квартира моего сочувствующего. Превосходное место, правда?

В кружке состояли восемь работниц. Мне сказали, что они могут собраться только после работы, часов в семь вечера. Те из них, кто живет в общежитии, дол-

---

[1] Сериплан — прибор для проверки качества шелка-сырца.

жны будут вернуться к себе не позже девяти — после этого часа двери общежития запирались — и поэтому, к сожалению, задержаться здесь дольше не смогут.

В Симосува мало крупных шелкопрядилен. Работницы на них главным образом из местных жителей, многие живут дома. Таким образом, возможности для создания литературных кружков в Симосува имелись, но проникновение этих кружков внутрь предприятий, организация их в фабричных общежитиях были связаны со значительными трудностями. Работницы, стремившиеся к прогрессивной деятельности и группировавшиеся вокруг «Литературной газеты» и журнала «Хатараку фудзин» («Работница»), старались собираться вне фабрики и иметь кружки вне предприятия. Однако члены кружка работниц Н-ской шелкопрядильни проявили на лекциях, организованных Союзом писателей перед моим приездом, такую активность, что между Союзом молодежи — инициатором этих мероприятий — и поселковой управой возник конфликт. По этому поводу товарищ А. рассказал мне следующее.

Кто-то из Союза писателей высказался против агрессивной империалистической войны. Полиция запретила лекцию, лектора задержали. Воспользовавшись этим, реакционные элементы из поселкового совета заявили независимому Союзу молодежи протест и потребовали, чтобы впредь «такие крамольные лекции не устраивались», и чтобы ответственные за это руководители союза ушли в отставку, и руководство перешло в руки реакционеров. Однако руководители женского Союза молодежи, который также участвовал в организации лекции, вынесли решение, что они не считают эту лекцию плохой, отказались уйти в отставку и продолжали до сих пор упорно стоять на своем. Интересно, что восемьдесят процентов руководителей этого женского союза молодежи — работницы, и почти все состоят в кружке.

Сам товарищ А. стал участником классовой борьбы лишь со времени расцвета деятельности Хёгикая;[1] до этого он был «вышибалой» на шелкопрядильне. Он начертил мне схему и объяснил организацию шелкопря-

---

[1] Хёгикай — Совет японских профсоюзов — организация, находившаяся под влиянием компартии.

дильного производства. В одной только префектуре Нагано девяносто тысяч фабричных работниц, большинство из них, конечно, текстильщицы. Познакомившись с организацией шелкопрядильной фабрики, я ясно поняла, как бессовестно разработаны методы максимальной эксплуатации работниц. Все организовано так, чтобы работницы не могли реагировать ни на какие действия администрации. С наступлением весны вербовщики приводят на фабрику группы по двадцать—тридцать молодых девушек из бедных крестьянских семейств. Их запирают в общежития и заставляют работать по девяти часов в сутки. Когда необходимость в их труде отпадает, они теми же группами отправляются по домам в сопровождении все тех же вербовщиков. А на следующий год с ними снова заключают контракты. Сезонный характер работы и рабские условия труда ставят работниц шелкопрядильных фабрик в исключительно тяжелые условия.

— Эти негодяи здорово придумали, — рассказывал мне товарищ А., — они никогда не выплачивают работницам зарплату наличными, а просто выдают каждой работнице расчетную книжку, в которой записываются только всякие мелкие авансы до пятидесяти сэн [1] или до одной иены. Заработанные же за несколько месяцев деньги вербовщик, проводив работниц домой, в их деревню, передает вместе с расчетной книжкой их родителям. Поэтому ничего не стоит обмануть работниц, недоплатить им, ведь вплоть до окончательного расчета они остаются в полном неведении относительно своего заработка, а обнаружив обман, бессильны что-либо сделать — они уже уволены с фабрики и рассеяны по разным местам. Какая тут может быть забастовка?.. В надежде заработать и получить деньги в следующем году они снова и снова заключают контракты, — вот так оно и идет... А в этом году просто беда. Неизвестно даже, получат ли по пятнадцать сэн за день квалифицированные работницы.

Пролетарская литература Японии обращалась к положению женщины в текстильной промышленности. Но невыносимые условия труда и тяжелая борьба работниц шелкопрядильных фабрик еще не нашли в ней

---

[1] Сэн — мелкая денежная единица, одна сотая иены.

достаточного отражения. Можно указать лишь на повесть Рихатиро Ясусэ, и это все.

— Да, здесь мы немного отстали, — сказала я.

Товарищ А., сидевший у жаровни напротив меня с кусочком душистого бобового пирожного в руке, сказал:

— Написали бы вы повесть, скажем, под названием «Шелк-сырец». Это здорово бы нам помогло.

— Разве нельзя написать такую повесть коллективно, кружком?

— Ну, нет, до этого мы еще не доросли... По совести говоря, я только теперь, наконец, понял значение борьбы за пролетарскую культуру. Кружки — это действительно хорошая вещь. Они могут быть полезны во многих отношениях. Я был просто поражен, увидев это на деле. Союз писателей пытался делать кое-что для установления связи с массами, но только в работе с кружками нащупал то, что нужно. Верно?

Союз писателей начал работу по организации литературных кружков на предприятиях и в деревне после съезда 1931 года. Союз деятелей музыки, Театральный союз, Союз работников искусства тоже начали такую же работу. В результате разница и органическое единство между политической, экономической и культурной борьбой в освободительном движении были осознаны с правильных марксистских позиций, и это нашло свое отражение и в практической работе, указывая на исторический сдвиг в развитии классовой борьбы в Японии. Вместе с тем заметно повысился классовый характер творчества пролетарских писателей. Между прочим, количество членов кружков Союза писателей по всей Японии составляет 4500 человек. Из 1438 членов кружков в Токио — 145 женщин.

Снег продолжал идти и после полудня. Ушел товарищ И., сказав, что еще раз съездит на велосипеде за членами кружка, чтобы собрать их. Товарищ И., молодой человек лет двадцати, работал в издательстве «Иванами сётэн», но был уволен в связи с забастовкой. Вернувшись домой в Симосува, он вместе с товарищем активно занимался кружковой работой.

Вдруг А. спросил меня:

— Вы знаете Рёэй Хирата?

— Знаю. А что?

— Его взяли.

— Что вы говорите? Когда?

— Не знаю, об этом сообщалось вчера в газете. Арестованы также Огава, Номура и Цурудзиро Кубокава.

— У вас есть эта газета? Если есть, дайте взглянуть.

Из Токио в Сиодзири я выехала на рассвете 28 марта, и газеты за этот день мне посмотреть не удалось.

Прислуга принесла газету «Токио Асахи», и я увидела под крупными заголовками сообщение об аресте Кацудзиро Ямада, Рёэй Хирата, Дзиро Номура, Кадзуо Тэрадзима, Сигэхиро Кооно и других товарищей из «Прорэтариа кагаку кэнкюдзё» (Институт пролетарской науки»). В то же время на квартире генерального секретаря Японского союза пролетарской культуры Синьити Огава были арестованы секретарь Цурудзиро Кубокава и директор издательства Сигэдзи Цубои.

Газета в демагогических тонах объявляла, будто арестованные сознались в своей принадлежности к компартии и этим якобы разоблачили «действительную сущность» Союза пролетарской культуры и его связь с Компартией Японии. Сообщалось также, что старший брат Куцудзиро Ямада, социал-фашист, публично отрекся от брата, «занимающегося такими делами». Страх господствующих реакционных классов перед Японским союзом пролетарской культуры был очевиден еще со времени создания Союза осенью 1931 года. Японский союз пролетарской культуры объединил тринадцать массовых культурных организаций — Союз писателей, Союз музыкантов, Союз деятелей театра, Союз деятелей искусства и другие. И хотя все эти организации существовали легально, власти не разрешали их объединения и угрожали распустить центральный совет Союза.

На такие массовые просветительные журналы, как «Тайсю-но томо» («Друг масс») и «Хатараку фудзин» («Работница»), изо дня в день налагались запрещения, причем единственной причиной запрещений было то, что эти журналы издавались Союзом пролетарской культуры.

Ко времени организации Японского союза пролетарской культуры японский феодально-абсолютистский империализм начал войну, направленную на захват Маньч-

журии и Монголии и передел Китая. Совершенно ясно, что по своему характеру эта захватническая война не могла закончиться только созданием марионеточного «Маньчжоуго» — она открывала путь к агрессии против СССР и ко второй мировой войне. Однако вторая мировая война, задуманная буржуазией великих держав, будет протекать в невыгодных для нее условиях. К этим условиям прежде всего относятся сила социалистического государства, Советского Союза, и успех пятилетки, а также тот факт, что трудовые массы колоний — в Индии, Африке, Латинской Америке — едва ли позволят теперь так, как во время первой мировой войны, использовать себя в качестве пушечного мяса. Кроме того, трудящиеся каждого из европейских государств уже имеют собственный опыт революционной борьбы со своей буржуазией. И эти так называемые «внутренние неурядицы» тесно переплетены с противоречиями между капиталистами различных стран.

Вторая империалистическая война будет мировой классовой войной. Феодально-капиталистическая Япония в этой войне будет играть роль сторожевого пса империализма на Востоке, и Японский союз пролетарской культуры, проводя культурную работу, постоянно ясно и честно раскрывает глубокое классовое значение политического опыта, который в настоящее время получают трудящиеся массы Японии, и показывает, каким путем должен идти пролетариат, чтобы избавиться от абсолютизма, от угрозы империалистической войны. Гонения против него лишь свидетельствуют о его силе — с репрессиями не обрушиваются на немощные организации.

Развернув газету, я снова просмотрела ее, но так и не смогла понять, будут эти зверские репрессии усиливаться или прекратятся на этом. Товарищ А., заглядывая в газету через жаровню, лишь простодушно заметил:

— Опять начались пакости!..

Но в моей душе газетные сообщения оставляли более тяжелый осадок. В памяти всплыл образ беременной Инэко Кубокава, — вот она с небольшим свертком, завернутым в шелковый платок, идет мимо водоразборной колонки у помещения Союза писателей в Камиотиай.

До семи часов, когда стали собираться члены кружка, одетые в кимоно с невзрачными узорами, я успела еще несколько раз перечитать газету.

Два, пять, семь человек — один за другим приходили члены кружка, мужчины и девушки, пока, наконец, комната полуевропейского-полуяпонского типа с жаровней посередине не оказалась набитой до отказа! Женщины болтали и вели себя более непринужденно, чем мужчины,— так повелось со времени лекции, о которой я говорила выше, когда мужчины оказались не на высоте положения. Щеки девушек горели от волнения, но руки они чинно держали под одеялом, накрывавшим жаровню.

— Не может быть... Враки!

— Кто будет платить? Кто это сказал?

— Говорят, что приходил Саката.

— Чепуха!

Разговор шел о том, что поскольку Союз женской молодежи, которым руководили работницы, продолжал держаться стойко, городское самоуправление объявило через бульварный листок, издававшийся в Симосува, что ежегодная субсидия в сто пятьдесят иен будет Союзу выплачиваться только в том случае, если он согласится на реорганизацию.

— Когда мы были избраны в правление, прежняя наша председательница со слезами ушла в отставку.

— Чего же она плакала?

— Как чего? Говорит, что ей было обидно, что ее ставят на одну доску с фабричными, и тому подобное.

У девушек блестели глаза, они сидели очень прямо и внимательно прислушивались к каждому слову, сказанному подругами. Если кто-нибудь высказывал то, что им самим хотелось сказать, они бурно выражали свое одобрение и радостно и непринужденно смеялись. Их общая уверенность в себе произвела на меня глубокое впечатление. Когда я жила в Советском Союзе, мне часто приходилось встречаться и разговаривать с работницами на фабриках и заводах. И в этих работницах — членах литературного кружка в Симосува — я почувствовала такое же внимание, такую же жажду знаний и тягу к активной классовой борьбе, какие я наблюдала в молодых советских работницах. Их практическая сметка поражала меня.

Журнал «Хатараку фудзин» на этом кружке получил положительную оценку, и я поняла, что его «Полезные советы» и другие разделы находят применение. Так, совет обшивать края рукавов кимоно ленточкой, чтобы они не рвались, был использован не только для этой узкой цели, но и для популяризации журнала. Например, одна работница, прочитав этот совет, начинает обшивать рукава кимоно. На вопрос товарки, для чего она это делает, следует ответ: «А вот возьми этот журнал, здесь написано». Кружок принял решение посылать информацию в журнал, и в качестве корреспондентов «Хатараку фудзин» были выделены два человека.

Сегодня в Симосува прибыли урны с останками солдат, отправленных отсюда на фронт в Маньчжурию и погибших там. Разговор зашел о том, что для встречи этих урн на вокзал были насильно мобилизованы члены Союза молодежи.

— Перед тем как кости привезли сюда, оказалось, что среди них есть также кости уроженцев Сиодзири, поэтому и там им устроили встречу. А теперь привезли их сюда, и тут снова встречай. Такой снег валит, но даже зонтики не разрешили взять с собой. Только новые хаори [1] испортили, — сказал крестьянин Т., возмущенный такой нелепостью.

— Кто-нибудь из женщин ходил?

— Что вы! Да перед нами они даже заикнуться не посмели об этом.

Собравшиеся угостились засахаренными бобами и хором спели «Песню станка» («Сёкуба-но ута»), сочиненную членами кружка. Спели и песню о крученом шелке. Все согрелись, было так приятно сидеть в тепле, когда за окном снежная ночь. Вскоре стало жарко, и одна из девушек встала и открыла окно.

В ту же ночь поездом, отходившим около полуночи, я отправилась в Токио. Мы прибыли на вокзал Синдзюку ранним утром, едва отошел первый поезд электрички. Я вышла на перрон, поеживаясь от холода. По ту сторону тяжелого навеса еще разгоралась утренняя заря — в Токио только что рассвело.

---

[1] Хаори — короткое верхнее кимоно.

По дороге домой, сидя в такси, я почему-то забеспокоилась о муже. Как только мы повернули за угол и проехали мимо полицейского поста, я остановила такси, расплатилась и торопливо пошла по переулку домой. Дверь оказалась запертой. Но вот кто-то из соседей, еще в ночном белье, открыл мне двери. Я сразу же спросила:

— Как Миямото-сан?

— Дома,— услышала я в ответ и моментально успокоилась.

Я еще умывалась, когда сверху спустился Миямото.

— Ну, как?

— Все в порядке, — ответила я.

Он немного помолчал, затем сказал:

— Хорошо, что ты приехала.

Пятый съезд Японского союза пролетарских писателей должен был продолжаться три дня — 15, 16 и 17 марта. К съезду нужно было написать отчет женского комитета и проект резолюции по нему. Отчет женского комитета должен был войти в отчет бюро центрального комитета Союза. Написать его было поручено мне с Инэко Кубокава.

Женский комитет приносил пользу не только тем, что способствовал идеологическому и культурному росту женщин — членов Союза писателей и выдвижению новых талантливых пролетарских писательниц. Он одновременно пробуждал к литературной деятельности трудящихся женщин города и деревни, усиливал влияние на них пролетарской литературы через литературные кружки. Активизация этих кружков началась после 1931 года, то есть в период наиболее оживленной деятельности Союза японских пролетарских писателей.

Со времени мирового экономического кризиса 1929 года в результате ухудшения условий труда и роста экономических трудностей у трудящихся женщин города и деревни стало быстрыми темпами развиваться классовое сознание. В японской пролетарской литературе мы должны широко и разносторонне отображать повседневную борьбу, которую повсюду с энтузиазмом ведут трудящиеся женщины. Мы должны смело, как рассаду будущего пролетарской литературы, принимать

корреспонденции и рассказы, пусть пока еще слабые и незрелые, которые эти трудящиеся женщины усердно пишут огрызками карандашей где-то у своих станков на заводах, или в укромных уголках общежитий, или в кладовых крестьянских домов в деревне. Пусть их рассказы неискусны, но это первый шаг, открывающий новую эпоху. В этих рассказах трудящиеся женщины показывают свою повседневную жизнь и выражают свои классовые требования. Это и есть ростки пролетарской литературы. К тому же они далеко не всегда бывают неискусны. Иногда, особенно в тех случаях, когда тема излагается с классовых позиций, они бывают удивительно хороши.

Действительно одаренных писателей выдвигают сейчас из своих рядов не идущая к гибели буржуазия и ее интеллигенция, а рабочие и крестьяне, поднимающиеся на строительство нового общества.

Это красноречиво подтверждает, например, деятельность литературного кружка работниц в Симосува.

Я вернулась в Токио из Симосува 30 марта и на следующий же день выехала в Симодзюдзё. Там уже много лет жила Инэко Кубокава. Говорили, что Цурудзиро Кубокава, арестованный 25 марта за связь с Японским союзом пролетарской культуры, еще не вернулся, и Инэко, больная и беспомощная, накануне родов, лежит в постели.

Поднявшись на второй этаж, я увидела, что там уже собрались несколько писательниц из нашего Союза. Инэко, набросив на себя теплое кимоно, полулежала на футоне[1], постланном около токонома[2]. Увидев меня, она сказала:

— Как хорошо, что ты приехала!

— Ну, а как ты?

— Кажется, поправлюсь. Была очень высокая температура. Ведь я простудилась, на днях сильно промокла под дождем.

— А как Кубокава-сан? Выйдет?

— Неужели же не выйдет? Он, наверно, там весь обовшивел. Я уже ему и одежду приготовила, чтоб

---

[1] Футон — ватный тюфяк.

[2] Токонома — небольшая ниша, обычно украшаемая картиной и цветами.

переодеться... На днях ходила туда и отнесла ему «ояко домбури»...[1]

Осунувшаяся от беременности, а сейчас еще и изнуренная гриппом, Инэко тем не менее не утратила характерной для нее уравновешенности и склонности к юмору.

Она налила мне чаю.

— Тонодай ушел вчера вечером и до сих пор не вернулся. Просто не знаю, что с ним случилось... — проговорила она.

Товарищ Тонодай работает в Японском союзе пролетарской культуры. В сущности, репрессии властей против нашего руководства начались не с арестов генерального секретаря и Кубокава: с первых же дней этого года секретариат подвергался непрестанным налетам, и жертвами были то один, то два сотрудника, которых сажали на короткие сроки.

Мы ели пончики со сладкой бобовой начинкой и обсуждали проект отчета женского комитета и резолюции по нему. Было решено остановиться на общих задачах женского комитета, на организационной работе и на творческой деятельности. В резолюцию же предполагалось включить вопрос о самостоятельной борьбе женщин против фашистской и социал-фашистской пропаганды, развернувшейся с начала захватнической войны японского империализма в Маньчжурии и Монголии, а также вопрос об активном воздействии на женщин угнетенных колониальных народов.

Инэко Кубокава, молчаливо следившая за тем, как я пункт за пунктом записывала эти вопросы в записную книжку, вдруг сказала:

— У меня уже просто руки опускаются. С отцом что-то неладное творится.

Ее отец жил в Оомори и служил в какой-то электрической компании. Мы сразу же поняли ее состояние: муж схвачен врагами, ей самой вот-вот предстояли роды, а тут еще новая забота об отце.

---

[1] «Ояко домбури» — название японского кушанья из курятины и яиц. Дословное значение: «Мать (курица) и дитя (яйца)», в данном случае намек на то, что это блюдо — от Инэко (матери) и будущего ребенка. Отсюда и слова дальше о том, что она не утратила чувства юмора.

— Что с ним, паралич?

— Нет, называли что-то вроде «внезапного слабоумия»... И простудилась я из-за этого же. Отвозила его в больницу Токийского университета, а он как сошел с трамвая, так и зашагал прямо, куда глаза глядят... Раскрыл зонтик, а как сложить его, не знает... Намучилась я с ним...

— До какого времени компания разрешит ему не работать?

— Сейчас они уже считают это прогулом. Впрочем, он все равно, вероятно, не сможет больше работать.

— Неужели это от его прежних увлечений?

Отец Инэко потерял жену по окончании первой мировой войны, то есть как раз когда в Японии начался послевоенный экономический бум. Как и некоторым другим старшим служащим компаний, ему в связи с бумом тоже перепадало кое-что, и он повел разгульный, развратный образ жизни. Но с наступлением депрессии 1920 года его доходам и беспутству пришел конец.

И вот теперь он тяжело расплачивался за прошлое.

— Вот оно и видно, что марксизм прав! Даже в этом проявляется процесс разложения японского капитализма, — с важным видом снаивничала я.

Рассмеялись все, даже Инэко.

— Да, уж что и говорить! — промолвила она и поправила повязку на своем большом животе.

— Говорят, что зло рождает зло, а оказывается, даже и в этом есть свои объективные или исторические причины. Да?

— А то как же! И то, что забрали Цурудзиро Кубокава, и то, что Инэко должна в одиночестве родить ребенка, и то, что в Оомори ее отец сошел с ума,— все это вопросы одного порядка, у всего этого корень один. Так держись же, Инэко, не сдавайся!

Затем мы поговорили о том, что среди профсоюзных работников, по-видимому, нередко бывают случаи, когда в связи с самим характером их работы они вынуждены отказываться от нормальной семейной жизни. И у тех, кто работает в области пролетарской культуры, семейная жизнь тоже начинает меняться, и насчитывается все больше примеров, когда муж и жена лишаются возможности жить под одной крышей.

— А пока можно пожить вместе, надо стараться жить так, чтобы потом не в чем было упрекнуть себя.

— Что тогда получится? Того и гляди, женщины — члены Союза пролетарских писателей — начнут все как одна писать только шедевры о «проблеме любви». К чему же мы тогда придем?

Все невольно рассмеялись. И сама Инэко Кубокава, сказавшая это, расхохоталась, сидя на своей постели. Смех смехом, но этот вопрос глубоко запал в сердце каждой из нас.

II

Съезд приближался. Наступал последний срок сдачи материала в «Хатараку фудзин». Кроме того, я продолжала писать свою повесть, которая печаталась по частям в журнале «Фудзин-но томо». Миямото был занят еще больше меня, и хотя мы жили в одном доме, но, встречаясь друг с другом в коридоре, могли только обменяться словами:

— Ну, как дела?

— Что думаешь делать сегодня?

В нашем двухэтажном доме под сенью пирамидального ильма царила деловая атмосфера.

Вечером 3 апреля пришел Такидзи Кобаяси. От него мы узнали, что Сигэхару Накано увели в полицейский участок Тодзука. Он сказал, что слышал об этом в Союзе писателей.

— А Идзуко Хара знает об этом? — спросила я. Идзуко, жена Накано, была артисткой в «Саёку гэкидзё» («Левый театр»).

— Гм... Пожалуй, действительно, она еще не знает,— сказал Кобаяси со своим характерным выговором и взглянул на меня.

Я позвонила в театр «Цукидзи сёгэкидзё»[1] из телефона-автомата напротив больницы Комагомэ. За моей спиной блестели огни магазинов... Идзуко Хара сразу же подошла к телефону и бойко ответила:

— Да, я знаю. Мне об этом сказала жена Х. Сегодня я освобожусь только после одиннадцати часов.

---

[1] Театр, в котором давала спектакли труппа Саёку гэкидзё.

По какой причине и на какое время был взят Сигэхару Накано, Идзуко Хара тоже, по-видимому, не знала. Я положила трубку и пошла домой, купив по дороге, в Додзака, конфет и пачку сигарет «Батт».

Такидзи Кобаяси был в бодром настроении и за разговорами просидел у нас до начала одиннадцатого. Уходя домой, он остановился во дворе за решетчатой дверью прихожей и, обернувшись, подбоченился и сказал:

— Ну как? Как я выгляжу?

Он был одет в простое кимоно, на голове — шляпа с мягкими полями, в руках — сверток, завернутый в цветной платок.

— Чудесно. Настоящий писарь из сельской управы,— сказал Миямото.

— Значит, как одеваются в Отару?.. Ну, я пошел!

Я закрыла двери. Из ночной темноты еще доносился смех Кобаяси и стук гэта по каменным плитам.

Томоёси Мураяма был вызван в суд на следующий день после прихода к нам Кобаяси.

Это случилось вечером 7 апреля. На улицах зажгли фонари, но было еще светло, когда я с портфелем в руках остановилась перед решетчатой дверью нашего дома. Как обычно, в нем было тихо. Я позвонила, и сейчас же на матовом стекле двери появилась тень мужской головы. «Кто бы это мог быть?» — подумала я. В тот же миг щелкнул замок, дверь распахнулась, и передо мной появился человек со смуглым до черноты лицом. Это был Ямагути из Токийского полицейского управления.

— Я из полиции, — мрачно сказал он.

Сняв обувь [1], я вошла в прихожую.

— Давно вы здесь? — спросила я.

— Ждем вас с семи утра. Устроили в вашем доме засаду.

Я вздрогнула, но не остановилась и прошла по коридору прямо в чайную комнату.

— Вы одна? — спросил мне вслед Ямагути.

— Одна.

— Куда вы ходили?

---

[1] В японский дом в обуви не входят.

— Ездила к своим родителям.

— На улицу Д.? — неожиданно спросил он.

— Нет. У них есть еще дом в деревне.

Небольшая чайная комната находилась рядом с кухней. Там, прижавшись друг к другу и затаив дыхание, сидели Ясу, работавшая у нас девушка, и ее старшая сестра. У них был такой испуганный вид, что меня охватило возмущение против вторжения полицейских. Стараясь говорить самым обычным тоном, я сказала:

— Заварите чай! — и, сняв шляпу, села перед обеденным столом.

Я неторопливо пила чай, раздумывая, как сообщить Миямото, что дома его поджидает полицейская засада.

Дело в том, что от моих родителей, живших на берегу моря, мы возвращались вместе, но на вокзале расстались, и домой вернулась я одна. Я не знала, куда он отправился и в каком месте необъятного Токио может сейчас находиться.

Как же его известить? Это нужно было сделать во что бы то ни стало. Я — у себя дома, но дом захвачен врагом. Ему нельзя сюда возвращаться.

Я умышленно затягивала чаепитие. Вдруг из-за веранды перед соседней комнатой появилась сначала голова, а затем и весь человек — это был другой шпик, который что-то шепотом сказал Ямагути. По-видимому, он все время незаметно следил за тем, что происходит в комнате, где я находилась, отделенной от соседней лишь тонкой раздвижной перегородкой. Я решила, что они хотят арестовать и увести меня, и, чтобы подкрепиться, выпила два сырых яйца. Немного спустя Ямагути вышел позвонить по телефону. Я шепнула на ухо девушкам, чтобы они поднялись на второй этаж, открыли окно и переставили настольную лампу. Это послужило бы сигналом о том, что у нас произошло что-то необыкновенное.

Вскоре Ямагути вернулся, следом за ним появился второй шпик и, крадучись, поднялся на второй этаж. По-видимому, он разгадал мой замысел и снова переставил лампу и закрыл окно. Немного спустя он так же крадучись вернулся вниз. Ямагути сказал:

— Собирайтесь и в порядке добровольной явки отправляйтесь в полицейский участок в Комагомэ. Думаю, что вы сегодня же ночью сможете вернуться домой.

Я оделась потеплее, накинула длинное пальто и хотела было сказать девушкам, что нужно сделать по хозяйству, но Ямагути прервал меня:

— Прекратите разговоры!

— Но ведь это же мои домашние! Что из того, что я с ними разговариваю?

— Потому и нельзя, что они домашние!

Увидев, что я беру с собой два носовых платка, Ямагути посоветовал мне:

— Возьмите лучше полотенце, это будет удобнее.

— Ну, я пошла. Не беспокойтесь обо мне. Присматривайте за домом...

На дворе была глубокая ночь. Моросил мелкий дождь. Я завернула в фуросики[1] свитер на случай, если будет холодно, раскрыла зонтик и в сопровождении шпика пошла по безлюдным переулкам в полицейский участок в Комагомэ.

Меня привели в тесное помещение особого отделения на втором этаже. Электрическая лампа без абажура тускло освещала стол, на котором стоял ящичек, набитый всевозможными печатями, валялись обложки журнала «Дзикэй»[2] и еще какой-то мусор. Вокруг было грязно и пыльно. Я села на стул и осмотрелась.

— Ну, как дела?

В комнату вошел худощавый полицейский с подобием улыбки на нервном лице. Это был надзиратель Наруо Накагава. В токийском полицейском управлении он ведал надзором за общественной деятельностью работников искусства. Те, кто работал в области пролетарской культуры, никогда не забудут жестокости этого человека.

Скривив губы и злобно уставившись на меня, он сказал:

— Ты нарочно пришла домой одна, чтобы взглянуть, что там делается? Да?

— Вы так думаете?

— А как же еще? Но сейчас мы хотим выяснить твое отношение к Японскому союзу пролетарской культуры, узнать, от кого культурные организации полу-

---

[1] Фуросики — цветной платок, заменяющий сумку.

[2] «Дзикэй» — «Бдительность» — название журнала для сотрудников полиции.

чают деньги, кто руководит этими организациями. Кроме того, у нас имеется еще вот это.

Накагава вынул из портфеля и показал мне предвыборное приложение к журналу «Тайсю-но томо» («Друг масс»).

— Имеются также вопросы, касающиеся «Хатараку фудзин»...

Я молчала. Тогда Накагава сказал:

— Ну что ж, твое дело не такое уж серьезное, отделаешься двумя-тремя годами. Жаль мне тебя — теперь у тебя будет беспокойная жизнь.

При этом он продолжал в упор смотреть на меня, пуская под потолок струи табачного дыма.

Я поняла, во-первых, что меня задержали за связь с Японским союзом пролетарской культуры, и во-вторых, что полиция хочет уничтожить легальный Союз и помешать легальной классовой деятельности работников культуры.

Накагава спросил меня, куда пошел Миямото и что мне известно о нем. Затем порылся в моих вещах и сказал:

— Пошли в арестантскую!

Мы вышли из особого отделения, спустились по узкой скрипучей лестнице, миновали уголовное отделение и свернули направо. В конце коридора Накагава постучал в матовое, забранное решеткой стекло двери. В верхней части двери был небольшой круглый «волчок» [1], застекленный прозрачным стеклом. В «волчке» появился чей-то глаз, затем послышался звук отодвигаемого засова. Дверь открылась. Накагава остался снаружи, пропустив меня одну в коридор, который находился за дверью. Прямо перед собой я увидела два ряда железных решеток, а за ними множество мужских лиц. Арестованные вытягивались, встав на цыпочки, чтобы заглянуть в коридор, и до меня доносился многоголосый шепот. В нос ударил спертый, тяжелый воздух, запах множества потных тел. Здесь было гораздо темнее, чем наверху, в особом отделении.

Из-за прочных железных решеток, полные безмолвного, но жгучего любопытства, на меня смотрели де-

---

[1] Волчок — небольшое отверстие в двери камеры для незаметного наблюдения за заключенными.

сятки пар глаз. А между двумя рядами клеток, набитых людьми, стоял полицейский с кортиком, в форменной фуражке. Пропустив меня в коридор, он снова задвинул засов. Все это произвело на меня впечатление чего-то дикого и ненормального. Тюремный надзиратель снял с дощатой стены что-то вроде номерка, который выдают при сдаче на хранение обуви, и, привязав его к моему свертку, сказал:

— Это будет твой номер, второй.

После этого он обыскал меня и выдал камышовые дзори. Проходя мимо крайней слева камеры, я заметила среди лиц, прижавшихся к решетке, знакомое лицо и от удивления широко раскрыла глаза, — это был товарищ Дайрики Конно из издательства Союза пролетарской культуры.

Поворачивая за угол, я шепотом спросила:

— Сегодня?

Конно энергично кивнул головой из темноты камеры, затем, улыбнувшись, высунул кончик языка и пожал плечами [1].

Для женщин была отведена камера № 1. Камера была тесная, в три татами [2]. На полу лежали три грязных, засаленных циновки. На одной из них, освещенная тусклым светом электрической лампочки, уныло сидела, сложив на коленях рукава кимоно, молодая девушка с локонами, по-видимому из официанток. В эту же камеру поместили и меня, и я уселась на полу напротив нее. Стены камеры были дощатые, потолок выкрашен в светло-серый цвет. На стенах были темные пятна от сотен потных и жирных человеческих голов и спин. Девушка, похожая на официантку, исподтишка рассматривала меня. Немного спустя она сказала:

— Какой холодище!.. И у меня так болит живот...

Она согнулась над холодной жесткой циновкой.

В восемь часов в арестантской стали готовиться ко сну. Постельные принадлежности—тюфяк, отдающий каким-то особым тюремным зловонием, одеяло и, конечно,

---

1 По-видимому, этим он хотел дать понять, что арестован по чьим-то показаниям, но не знает по чьим.

2 Татами — толстые, плетенные из травы маты, обтянутые сверху плотной циновкой. Ими устилается пол в японском доме. Величина всех татами стандартная, около 1,5 кв. м., и площадь комнаты измеряется количеством татами или «дзё».

никаких подушек. Я смотрела, как из шкафов, расставленных в коридоре, заключенные вынимали постели и вносили их в камеры.

Женщинам полагалось по одному комплекту, мужчинам выдавали четыре на всю камеру, то есть примерно один на десять человек.

— Господин надзиратель, разрешите на сегодняшнюю ночь взять еще по одному одеялу, а то от холода то и дело в уборную хочется, терпения никакого нет,— попросил какой-то мужчина с большими, подозрительно блестевшими глазами, должно быть бродяга, одетый в полосатое шелковое кимоно, полы которого были коротко обрезаны и успели превратиться в сплошные лохмотья. Он слегка поклонился надзирателю и, не дожидаясь ответа, начал ловкими, какими-то скользкими движениями вытаскивать одеяла.

Я стояла, прижавшись к двери камеры, и через густую проволочную сетку следила за тем, что происходило в коридоре.

Вот уже девять часов, за ними десять, одиннадцать... А я все вскакиваю с вонючего тюфяка каждый раз, когда с грохотом открывается дверь арестантской, и заглядываю в коридор: кого привели?

Миямото обещал вернуться около девяти, и я вскакиваю с одной мыслью: не его ли?

Наконец как-то неожиданно приходит сон. Я проснулась рано утром, в соседней камере и в следующей за ней люди тоже уже не спали. Рассвет еще не наступил, в камере царил полумрак. Заключенные укладывали в шкафы постели и отправлялись умываться.

За камерами шел дощатый коридор, в правом углу его находился умывальник: водопроводный кран и обтянутый листом цинка желоб для стока воды. Сбоку на стене висели короткие полотенца: одно обычное, разрезанное на две половины. Ни мылом, ни зубной щеткой пользоваться не разрешалось. Полагалось только коекак ополоснуть лицо. Правда, здесь стояло два цинковых таза для умыванья, но ведь в них полоскали тряпки для мытья полов. А по этому полу ходили в камышовых дзори заключенные в уборную, а полицейские шагали по нему прямо в грязных ботинках. Мне приходилось

слышать, что в арестантских свирепствует чесотка, и теперь, попав сюда, я ужасно боялась, как бы мне в глаза не попали гонококки.

Но я все-таки умылась и, вернувшись в камеру, села. Вскоре дал себя знать холод, я начала замерзать. Часов в семь принесли разваренный рис и похлебку из мисо[1]. Рис и четыре кусочка квашеной редьки были поданы в бэнтобако[2], краска на котором давно успела стереться. Похлебку давали в чашечках, но все они были в трещинах, надбитые, а деревянные палочки для риса оказались непарными и потемневшими от долгого употребления. Пищу передавали в камеру через небольшое отверстие, вырезанное в нижней части двери.

Питание в полицейский участок доставлялось три раза в день из полицейского общежития. Но, по-видимому, общежитие получало продукты от подрядчиков, и правило о том, чтобы расходовать не меньше восьми сэн на каждую дачу, не соблюдалось. За восемьдесят дней, которые я пробыла в тюрьме, похлебка всегда состояла из остатков от обеда или ужина предыдущего дня, которые без разбора сваливались в одну кучу и снова варились. В похлебке попадались и жесткие корешки лука, и развалившийся в мельчайшие хлопья тофу[3], и кусочки капустных кочерыжек. Пища была грязная, отвратительная.

Обед раздавали после одиннадцати часов дня, ужин — после четырех. В качестве приправы к рису добавляли несвежую морскую траву «хидзики», или мелко накрошенную отварную морскую капусту, или месиво из редьки и зловонных непроваренных рыбьих костей. Иногда мы получали немного картошки или мелко нарезанного лопуха. Это меню повторялось через каждые два дня. Один раз за восемьдесят дней нам дали «гаммодоки»[4], а в другой раз — кусок несвежей рыбы и каких-то вяленых овощей, смешанных с разными объедками. Очень редким явлением был лопух, отваренный с мельчайшими кусочками свинины, — это считалось лакомством. Низкое качество пищи вызывало всеобщее

---

1 Мисо — густая масса из перебродивших соевых бобов.
2 Бэнтобако — деревянный ящичек для завтрака.
3 Тофу — соевый творог.
4 Гаммодоки — род пудинга.

недовольство арестантской. То и дело раздавались возгласы:

— Черт возьми! За кого они нас считают? Только бы выйти отсюда, уж я тогда покажу этому подрядчику!

Однако участников левого движения в арестантской в то время было мало, и поэтому мы не могли использовать это общее недовольство, чтобы выступить с организованным протестом хотя бы, например, в день Первого мая.

Отвратительное питание в полицейских участках имело свои причины. Пищевое довольствие заключенных, содержавшихся в арестантской, шло за счет полиции. Бюрократическая волокита часто приводила к тому, что освобождаемых не выпускали из тюрьмы вовремя, а задерживали еще на день, а то и на два. Пайки же на них не выписывались, и в течение года из пайков заключенных урывались сотни обедов для освобожденных, но не выпущенных. Полицейские интенданты со своей стороны стремились нажиться на этом, и в результате заключенные довольствовались жалким питанием, которое никак не стоило и пяти сэн.

В первый день пребывания в тюрьме мне удалось утром кое-как согреться похлебкой из мисо, днем я пообедала и начала постепенно приходить в себя. Интересно, сколько времени продлится мой арест? Так вот что такое тюрьма! Я ходила по камере взад и вперед и думала.

Что я отвечу им на вопрос о деятельности Японского союза пролетарской культуры? Только одно. Этот союз — легальная культурная организация, ведущая культурную работу в соответствии с историческим характером развивающегося человеческого общества. И я считаю своим почетным долгом работать в нем в качестве пролетарской писательницы вместе со многими моими выдающимися товарищами. Я не сомневаюсь в том, что как одна из писательниц Японии, вышедших из интеллигенции, я стою на единственно правильном пути. Наша задача заключается только в том, чтобы освещать неизбежность движения за пролетарскую культуру как одного из важных звеньев общей освободительной борьбы, отстаивать, защищать и расширять его легальность

и активность. Мы должны раз и навсегда решительно разрубить ту петлю, которую господствующие классы, пытаясь спасти себя от гибели, хотят набросить на революционные массы и их культурные организации. Я собственными глазами наблюдала развитие и практические достижения культурной работы в Советском Союзе. Я лично видела, какую разумную жизнь дает женщинам социалистическое общество на одной шестой части земного шара, и я стремлюсь бороться за это у себя на родине.

Мурлыча себе под нос песенки, я разглядывала надписи, нацарапанные на грязных стенах камеры. Их было немного, к тому же одни из них были полустертыми, и их уже нельзя было разобрать. Надпись высоко на стене гласила: «Госпожа Масако Хара». Сбоку от окошечка, через которое заключенным подавали пищу, было четко вырезано: «Партия» — и поставлена дата: «10 августа 1928 года». За ней еле разборчиво: «Да здравствует». А на стене слева крупными иероглифами написано: «Коммунистическая партия Японии». Видны следы других слов, но они все сплошь перечеркнуты.

Лично за себя я нисколько не беспокоилась, во мне говорило чувство какой-то глубокой уверенности. Волновало другое: я ничего не знала о своих товарищах. И чем ближе время подходило к вечеру, тем сильнее меня охватывало беспокойство. 8 апреля представительницы женского совета Японского союза пролетарской культуры должны были собраться у нас дома в Додзака. Но ведь теперь дом превратился в самую опасную для них западню. В тот же день к вечеру в арестантскую привели Тэйко Савамура из Союза работников театра и Кинко Ямамото из Японского пролетарского союза ограничения деторождения. Савамура рассказала мне, что по дороге к нам, в Додзака, навстречу ей попалась Кинко Ямамото в сопровождении какого-то странного мужчины. Сразу заподозрив неладное, Савамура хотела было незаметно разминуться с ними, но, заметив ее, Кинко Ямамото невольно вскрикнула: «Ой?» — и остановилась.

Этим она привлекла внимание шпика.

— А, ты, кажется, того же поля ягодка? — воскликнул он. — Тогда пошли вместе!

Тэйко Савамура в тот же вечер сразу увели в полицейский участок в Ёцуя, а Кинко Ямамото осталась. Сидела она в другой камере.

Наступил уже апрель, но дожди не прекращались. Сидеть на полу в камере в такую погоду было холодно. Я оделась в теплое белье и японское кимоно, которые принесла и передала для меня Ясу, а под себя подложила сложенный в несколько раз ватный фланелевый халат фиолетового цвета. Этот халат я получила от одного из заключенных, находившихся в специальном отделении. Он пожалел меня, заметив, как я страдаю от холода.

Снаружи доносился монотонный шум воды, стекающей с крыши по цинковой водосточной трубе. Иногда сквозь эти звуки я слышу возгласы:

— Послушайте, господин надзиратель, разрешите, прошу вас! Еще в ту смену мне сказали, чтобы я подождал, и я тихо ждал и не беспокоил никого... Послушайте, господин надзиратель!

Это кто-то из заключенных в спецотделении просится в уборную. Я прислушиваюсь к этим возгласам со смешанным чувством возмущения и любопытства. Что будет дальше?..

Из моей камеры не видно надзирателя, но он, по-видимому, ходит около спецотделения. Надзиратель издевается над заключенным.

— Ну и иди! Открывай дверь и иди! — слышится его густой бас.

Стены в помещении спецотделения обшиты досками, а дверь представляет собою решетку с продольными деревянными прутьями, как в тюрьмах Токугавского периода [1]. Между прутьями можно просунуть кисть руки и отодвинуть толстый металлический засов с висячим замком. Я слышу, как заключенный стучит засовом, пытаясь отодвинуть его.

— Нет, не могу!

На засове замок. Надзиратель, конечно, знает об этом. Все в арестантской настораживаются. От непрерывных дождей в тюрьме страшно сыро, плохое питание

---

[1] Токугавский период — феодальный период, когда власть в стране принадлежала феодальным диктаторам дома Токугава (с начала XVII в. по 1867 г.).

тоже играет свою роль, — людям всегда холодно, и им постоянно требуется в уборную. Но каждому приходится просить надзирателя, чтобы он открыл камеру и разрешил выйти.

Минут десять стоит тишина. Потом слышится уже другой голос, довольно энергичный:

— Господин надзиратель, разрешите в уборную.

Никакого ответа.

И снова прежний голос человека средних лет:

— Послушайте, господин надзиратель!

— Откройте же, неужели под себя мочиться?

— Валяй, прямо там, у себя!

— Так ведь грязно же, разве можно так! Послушайте, господин надзиратель, прошу вас! Я же больной!

— Ври больше!

— Правда же больной! Хотите покажу? У меня триппер.

Немного спустя надзиратель достает из-за стола, стоящего недалеко от входа в арестантскую, связку ключей и нарочно не спеша открывает дверь другой камеры, а не той, из которой раньше доносились настойчивые просьбы.

Надзиратели дежурили по два человека в смену. Каждая смена длилась по двадцать четыре часа, с восьми и до восьми утра. Каждый из двух дежурил в арестантской один час, а затем отправлялся на отдых.

Сменяясь, полицейские отдавали друг другу честь и докладывали:

— Налицо двадцать девять человек, двое отсутствуют.

Однажды, когда дежурил тот же надзиратель, молодой заключенный по имени Сóва из камеры № 2 обратился с просьбой купить ему лекарства.

— Будьте так любезны, купите мне олизарина, — сказал он. — Я постоянно пью его, и мне нельзя прерывать лечение.

Надзиратель, стоявший в этот момент перед камерой, оглянулся, бросил взгляд на «волчок», затем повернулся спиной к камере и, ухмыляясь, ответил:

— Ладно, куплю.

— Пожалуйста, прошу вас! Мне придется коптеть здесь еще целый месяц, а потом отправят в тюрьму для подследственных. Я же могу заболеть бери-бери, что мне тогда делать?

— Я и говорю тебе, что куплю, — ответил низким голосом с тохокским[1] акцентом молодой надзиратель, но сам не сдвинулся с места, продолжая ухмыляться.

Если бы он действительно хотел выполнить просьбу заключенного, то взял бы его деньги, сданные на хранение, и послал бы служителя за покупкой.

— Пожалуйста, прошу вас!

— Угу...

— В прошлый раз я просил вас купить мне трусики, вы тоже только обещали, но так и не купили... Пожалуйста, прошу вас!

Надзиратель большими шагами на цыпочках подошел к выходной двери, взглянул через «волчок» наружу, затем, убедившись, что сюда никто не идет, спокойно вернулся к камере и важно сказал:

— Ведь ты уже шестьдесят дней находишься здесь, а до сих пор не сказал, где твое место прописки.

— У нас, коммунистов, существуют свои железные правила. Мы должны их соблюдать. А то, о чем вы спрашиваете, не имеет к вам непосредственного отношения. Я прошу вас купить лекарство.

Говорили, что Сова руководил в Хиросима Союзом молодежи и был арестован, как только выехал в Токио. Это был молодой революционер из рабочих, лет двадцати.

Спор между Сова и надзирателем разгорелся. Сова, с длинными, растрепанными волосами, отросшими за два месяца, сказал сердито:

— Ты что, думаешь, что поставлен здесь только для того, чтобы болтаться по коридору?

Скуластое лицо надзирателя покраснело.

— Чего? — зарычал он с изменившимся лицом. — А ну, выходи сюда!

— Никуда я не пойду.

— Тебе говорят, выходи!

Надзиратель распахнул дверь камеры. Там поднялась возня, послышались удары, видимо надзиратель набросился на заключенного. Сова сопротивлялся, их разнимали...

— Господин надзиратель! Послушайте, господин надзиратель! Он еще молодой, простите его... Господин надзиратель!

---

[1] Тохоку — северо-восточная часть Японии.

Вдруг раздался сильный грохот, кто-то вылетел из камеры, опрокинувшись навзничь, ударился о дверь, ведущую из арестантской, и бросился обратно. Никто из заключенных не издал ни звука, но все бросились к решеткам. Входная дверь стукнула, и в коридор вошел второй надзиратель. Очевидно, его привлек необычный шум. Вошедший не спросил ни слова, другой тоже ничего ему не объяснял и лишь продолжал тяжело дышать. Так же молча они сняли вместе с ремнями свои кортики и прямо в грязных ботинках устремились в камеру. В камере снова началась возня. На этот раз Сова, очевидно, сбили с ног и принялись бить головой о дощатую стену. Я сидела ни жива ни мертва. При каждом ударе в моей камере из щелей между досок летела пыль.

Но избиение не удовлетворило надзирателей, они стали душить Сова; до нас доносился хрип.

Наконец возбужденные надзиратели вышли в коридор. Тот, который пришел позднее, вошел в мою камеру и осмотрел деревянную обшивку стены, проводя по ней рукой. Потом оба, по-прежнему не говоря ни слова, принялись поправлять слетевшую с петель входную дверь. Когда все было закончено, второй надзиратель ушел.

Вскоре я попросилась в уборную и, проходя мимо соседней камеры, заглянула в нее. А там как будто ничего и не происходило. Все семь заключенных, в том числе и Сова, чинно сидели в ряд напротив двери, опершись спинами о стену. Лишь двое или трое из них выглядели несколько более мрачно, чем обычно.

Я вернулась к себе. Теперь мне стало понятно, что представляют собой такие происшествия в арестантской, и хотя нас отделяет от остального мира только тонкая дверь, арестантская и в самой полиции считается особой зоной. Я узнала, к каким страшным последствиям приводит правило, предписывающее заключенным чинно сидеть в камерах.

В арестантскую часто приходили полицейские чиновники из участка. Но они показывались здесь ненадолго, чтобы поставить свои печати и указать время своего посещения на особых бланках, лежавших на маленьком столе в коридоре. Правда, некоторые из них быстро проходили по коридору и мельком оглядывали камеры, но при таком беглом осмотре они, конечно, не могли установить, что надзиратели, например, только что зверски

избили Сову, так как заключенные сидели тихо. Такие формальные обходы случались и по ночам. И надзиратели ночью, как и днем, докладывали, отдавая честь: «Налицо двадцать девять человек, из них одна женщина. Никаких происшествий не произошло».

Одиннадцатого апреля, когда я около девяти часов утра шла в уборную, до меня донесся голос Дайрики Конно, который, по-видимому, уже давно стоял у проволочной сетки, с нетерпением ожидая стука засова у моей камеры.

— Взяли Курахара, — проговорил Конно.

— Когда?

— По-видимому, дня два-три тому назад.

Эта новость поразила меня, как гром среди ясного неба.

На обратном пути я спросила:

— Он взят один?

— Кажется, да, но точно не знаю.

Невозможно описать выражение лица Конно, этого добродушного, большеротого человека, когда он передавал эту новость. Мне никогда не приходилось встречаться с Корэхито Курахара, но нет ни одного человека, хотя бы немного причастного к пролетарской литературе, которому не было бы известно, что история развития этой литературы в Японии неразрывно связана с именем Курахара. Его заслуги в этом отношении неоценимы. Он был безупречным коммунистом и оставался им даже в личной жизни. Курахара переводил советские статьи о пролетарском искусстве и знакомил с ними Японию. И делал он это не по-кабинетному, не в отрыве от практики, а постоянно увязывая движение за пролетарскую культуру, за пролетарское искусство с революционным движением в целом, всегда видя в нем одно из звеньев освободительной борьбы и практически участвуя в ней. Он обладал верным политическим чутьем и быстро схватывал все новое и полезное, что помогало развитию теории искусства, активно и в то же время критически воспринимал и использовал международный опыт для создания и дальнейшего развития пролетарской культуры, оставаясь всегда в самом центре практической борьбы на культурном фронте.

Поэтому Корэхито Курахара как теоретик искусства рос вместе с исторически неизбежным пролетарским

освободительным движением в Японии. Он ясно представлял себе сущность обостряющихся классовых противоречий в капиталистической Японии, их революционные перспективы и политические тенденции. Товарищ Курахара смог стать надежным практическим и теоретическим вождем на фронте борьбы за пролетарскую культуру.

В результате обсуждения его статьи «Организационные вопросы движения за пролетарское искусство», помещенной под псевдонимом Соитиро Фурукава в июньском номере журнала «Наппу» в 1931 году, и статьи «Еще раз об организационных вопросах движения за искусство», помещенной в августовском номере того же журнала, в Союзе пролетарских писателей произошел исторический поворот: на фабриках, заводах и в деревне стали закладываться «действительно пролетарские основы» литературы, и деятельность кружков начала проникать глубоко в жизнь трудящихся масс.

Корэхито Курахара был близким человеком для всей революционной массы трудящихся.

Сняв дзори и аккуратно поставив их перед дверью носками наружу, я пятясь вошла в камеру. Надзиратель захлопнул дверь перед самым моим носом и с грохотом замкнул замок. Я не села, а, закинув руки за спину, продолжала стоять, прислонившись спиной к грязной, холодной стене. Какое волнение охватило меня!

Мы закаляемся! Именно это я ощущала сейчас с наибольшей силой. Враги отняли у нас Сигэхару Накано, они бросили в тюрьму Кубокава, Цубои и самого Курахара. Этим они хотят затормозить нашу деятельность. Но разве можно вырвать корни нарастающей в Японии пролетарской революции и жажду культуры? Взять хоть меня. Ведь это насилие придало мне, пролетарской писательнице, лишь новую решимость. И так происходит со всеми. Каждый, у кого сложилось твердое пролетарское мировоззрение, на удар отвечает ударом. Борьба вырастит из Сигэхару Накано еще более пламенного поэта-революционера. Еще более боевым станет творчество Томоёси Мураяма... На смену тем, кто брошен в тюрьмы, встанут новые люди. В борьбе, что выпадет на их долю, будут они ковать свою политическую и литературную зрелость.

Если враг решил нанести такой концентрированный и неожиданный удар, то это говорит лишь о размахе и глубине нашего движения.

Что ж, враг атакует, его удары сильны, но это приведет только к тому, что пролетарское культурное движение будет расти вширь и вглубь, из пролетарских литературных корреспондентов, там, на заводах и в деревнях, вырастут выдающиеся революционные художники. Разве враг способен убить эту силу? Разве без пролетариата капиталистическое производство способно прожить хотя бы один день? До тех пор, пока власть остается полуфеодальной, помещичье-капиталистической, — до тех пор пролетариат останется пролетариатом. Его борьба не может остановиться. Противоречия капитализма проявляются именно здесь: вы бросили в тюрьмы многих бойцов из авангарда, но это приведет лишь к тому, что на смену им родится еще большее число новых борцов.

Безграничная уверенность заполнила мое сердце, я невольно выпрямилась и, подняв лицо, засмеялась. Засмеялась вольным, радостным, хотя и безмолвным смехом.

Около двух часов дня в арестантскую пришел сотрудник особого отделения и повел меня в какую-то комнату на втором этаже. Там за столом, заваленным папками и бумагами, сидел в черном штатском пиджаке сотрудник особого отдела токийского полицейского управления. Лицо его было сосредоточено.

— Вы ведь знаете студента Токийского университета по фамилии Адзума? Он помещал ваши произведения в печатных изданиях Союза молодежи, — сказал он.

— Такого студента я не знаю и о таких рукописях ничего не слышала.

— Не может этого быть! Его задержали, когда он шел к вам домой.

Пристально глядя на меня, он с привычной издевкой в голосе повторял одно и то же. После бесплодного спора он открыл портфель и вынул из него несколько фотографий. На одной из них я заметила молодую, видную женщину с завитыми волосами. Покопавшись, он вынул одну из фотографий и, показав ее мне, сказал:

— Вы знаете этого человека?

Это была фотография мужчины лет тридцати, одетого в кимоно из «осима»[1]. Он стоял в саду у дерева, скрестив руки на груди. Бледное лицо с аккуратными усиками.

— Кто это?

— Разве вы не знаете? — ухмыляясь, спросил полицейский.

— Не знаю.

— Вы не можете его не знать.

— Что ж мне делать, если я его не знаю!

— Неужели не знаете? Это же Курахара!

Я невольно наклонилась, снова взяла фотографию и посмотрела на нее. Я когда-то видела его старую фотографию в европейском костюме, но такую видела впервые и не могла понять, действительно ли это он. На обороте карточки я увидела надпись: «Курахара Корэхито, тридцати двух лет».

— Он арестован?

— Так ведь об этом в газетах напечатано под жирными заголовками.

— Мне газет не дают, поэтому я ничего не знаю... Дайте мне прочитать об этом.

— Что ж, дать вам газету я мог бы,— ответил он, но даже не поднялся со стула, а стал говорить, что я, наверное, встречалась с Курахара в Москве и тому подобное. А я между тем думала: где ж и когда мог быть сделан этот снимок? Я снова взяла фотографию, посмотрела на нее и спросила:

— Когда снята эта фотография?

— Сразу же после ареста.

— У него дома?

Он ответил что-то нечленораздельное. Мне приходилось слышать, что, отправляясь арестовывать наших товарищей, полицейские берут с собою всевозможное оружие, но я не знала, что они при этом берут и фотографов.

Снимок могли сделать в полиции. Но в таком случае почему на карточке такой необычный фон? Откуда мог взяться этот тихий садик? Откуда вообше у них эта фотография, снятая, по-видимому, в каком-то садике?

Чем тщательнее я рассматривала эту карточку, тем больше поднималось во мне сомнение. Во рту появилось

---

[1] «Осима» — название полушелковой материи.

какое-то неприятное, терпкое ощущение. Кто и когда снял эту фотографию? Знает ли Курахара, что эта фотография находится здесь?

На обратном пути в арестантскую сотрудник особого отделения, спускаясь сзади меня по лестнице, сказал:

— Переоделись в кимоно? Что ж, правильно: ведь сидеть вам придется долго...

По-видимому, вызывали меня из-за студента по фамилии Адзума, о котором я не имела никакого представления. На узкой лестнице стоял, ожидая пока мы пройдем, молодой парень, разносивший пищу, одетый в рабочую куртку со знаком фирмы на спине и в резиновых сапогах. На стене была наклеена бумага с надписью: «На лестнице соблюдать тишину. Юридическое отделение». Один угол объявления отогнулся, на нем скопилась пыль.

1932

ЗА ЧАСОМ ЧАС

I

Завтрак закончен, дневальный делает уборку в коридоре. Полицейский участок Комагомэ помещается в старом деревянном здании. Обязанности дневального выполняет арестант из бродяг. Он подобрал полы полосатого кимоно до самого зада, подоткнул их под разодранное на полосы полотенце, заменяющее ему пояс, и мокрой тряпкой, с которой стекает грязная вода, протирает одну за другой клетки решетки, стараясь делать это как можно медленнее.

Накануне ночью где-то в районе улицы Симмэйтё, в дом к одному профессору забрался вор, и теперь на эту тему идет несвязный, с перерывами и паузами разговор между дневальным и надзирателем. Вся арестантская с любопытством слушает их. В двух камерах сидят двадцать с лишним человек, большая часть которых — жулики, карманщики, мелкие магазинные воришки, или, как их называют, «трепанги», «радисты»— плуты, не платящие по счетам в ресторанах.

Надзиратель, шагая взад и вперед по коридору, возмущенно говорит:

— На что же это похоже? За последние годы к нам одна мелочь стала попадать! Вот раньше, хоть и не много здесь народу сидело, но зато это уж были действительно преступники, это были «жуки», которые настоящие дела делали! А сейчас что? Арестантская полным-

полна, а сидит кто? Одни «радисты» да «трепанги». Разве здесь есть сейчас хоть один настоящий вор?!

Из спецотделения доносится ворчливый протест:

— Так ведь сейчас и хватают с бухты-барахты, кого попало, — и носа на улицу не высунешь!

— Да, сажай не сажай, — сказала я, глядя через металлическую сетку в коридор,— а толку что? Ведь главная причина — основа общества — остается неизменной. Пройдет двадцать девять дней [1] — иди на волю... А дальше что? Есть, пить надо, а как?..

— Гм... — отозвался Мори.

Коридор перед камерой, протертый мокрой тряпкой, еще блестел на холодном весеннем солнце. Было утро, и людьми еще не овладела обычная апатия, поэтому все в арестантской слушали мой разговор с Мори,— мы говорили хотя и тихо, но внятно.

После начала грабительской войны в Маньчжурии через театр и радио усиленно разжигалась военная лихорадка. Вслед за этим появился и пышным цветом расцвел новый вид жульничества: по домам, где оставались только одни женщины, стали ходить под видом солдат-инвалидов одетые в хаки аферисты. Они навязывали свой товар, говоря, что у них должны покупать «в интересах государства». В арестантской сидело несколько таких проходимцев.

Слушая разговоры надзирателя с дневальным, я вспомнила о том, что полиция, стараясь выловить возможно больше участников левого движения, подкупала официанток в кафе и столовых, обещая им платить определенную сумму за каждого человека, которого удастся задержать с их помощью. Достаточно было полицейскому, дежурящему в полицейской будке на улице города, задержать кого-нибудь и одну ночь продержать в арестантской, и он получал пятьдесят сэн. Если оказывалось, что задержанный имеет какое-то отношение к компартии, то вознаграждение повышалось до пяти иен. Меня даже в жар бросило при мысли о том, какие деньги им платят, если удается задержать «крупную

---

[1] По существовавшим в то время законам, полиция имела право держать арестованного в арестантской в течение двадцати девяти дней, после чего должна была или оформить дело для передачи в прокуратуру, или освободить.

фигуру» или, еще больше, скажем, такого, как Корэхито Курахара.

С грохотом распахнулась дверь, и в арестантскую вошел начальник юридического отделения. Он был высокого роста, одет в форму с золотыми галунами. Ставя печать на бланке регистрации обходов, он что-то тихим голосом сказал надзирателю. Надзиратель, полицейский с длинным лицом и в ботинках с острыми носками, склонив голову, ответил:

— Да, одна... Слушаюсь. Есть!

Когда золотые галуны удалились, надзиратель лениво и медленно протянул руку к столу и взял висевшую за ним связку ключей. Открыв железную дверь моей камеры, он махнул ключом:

— Пошли.

Я встала и хотела было сунуть ноги в тростниковые дзори, стоявшие носками наружу у выхода из камеры, как надзиратель остановил меня:

— Забирай и эту бумагу и все... На новую квартиру.

— На новую квартиру? Куда?

На какой-то миг я подумала, что меня куда-нибудь переводят, но надзиратель, не отвечая на мой вопрос, приказал:

— Вон там циновки, возьми одну с собой!

За углом, по дороге в уборную, стояли свернутые в трубку две циновки. Я взяла одну из них и принесла. Тогда надзиратель кивком головы показал мне, чтобы я постлала циновку под небольшим окном в углу коридора.

— Вот тут и сиди!

По-видимому, моя камера понадобилась для задержанного накануне ночью вора.

Пока я ходила по коридору, на меня внимательно смотрели мужчины-заключенные из других камер. Проходя мимо камеры, в которой сидел Сóва, я услышала, как он, не вставая с места и лишь вытянув шею, проговорил:

— Ну и поместили же вас. Ведь там такой холод!

В спецотделении Конно, поднявшись на колени и сердито блеснув глазами, сказал:

— Какое издевательство, а?

— Угу!

«Действительно, — подумала я с сердцем, — изо всех сил стараются дать нам почувствовать наше положение.

Одни приказания и только, ни малейшей возможности предугадать, что будет дальше, никакой самостоятельности».

Лучше ничего и не придумаешь для того, чтобы превратить слабого духом человека в подлеца!

Привели вора в европейском костюме в полоску и в сорочке без воротничка. В арестантской его встретили холодно. По-видимому, такое отношение к нему со стороны других уголовников было вызвано тем, что он попался, не успев ничего украсть. С ним никто не говорил, только надзиратель, приблизив лицо к самой сетке и заглядывая внутрь камеры, сказал:

— Что же это ты так сплоховал? Неужели ты не понимаешь, что здесь твоя личность всем известна? Уж если и дальше будешь такими делами заниматься, так выбирай теперь для этого место подальше. Э?

Арестованному было года двадцать три. На допросе он назвал себя зеленщиком. Теперь он неподвижно сидел, скрестив руки на груди и упрямо потупив голову.

Из щелей в деревянной обшивке камеры дуло прямо мне в затылок, спина закоченела. Я сидела, подняв воротник хаори [1], как воротник пальто. В полдень передо мной прямо на пол у самой циновки поставили обед и чашку с кипятком. Тут же стояли грязные ботинки надзирателя.

Открылась дверь в спецотделение. Вижу, как из него выходит одетый в европейский костюм Дайрики Конно. Его шатает из стороны в сторону. Повернув ко мне болезненное, бледное лицо, он улыбается, затем, широко расставив ноги, становится перед умывальником и начинает полоскать горло. Он простудился, у него высокая температура и болит горло.

Улучив подходящий момент, я встаю с циновки и, медленно проходя мимо Конно в уборную, шепотом спрашиваю:

— Новостей нет?

— Кажется, взяли только одного Курахара.

Дверей в уборной нет. В том месте, где стоит умывальник, коридор поворачивает под прямым углом, образуя небольшое помещение, пол в котором зацементиро-

---

[1] Хаори — легкая верхняя одежда.

ван,— это и есть уборная. В конце коридора, напротив уборной, висит тусклое квадратное зеркало. По отражению в нем надзиратель может наблюдать за уборной. Скорчившись в темноте, я стараюсь на основании только что услышанных коротких слов представить себе, что происходит на воле. Выйдя и остановившись у умывальника, чтобы помыть руки, я снова спросила:

— Он в тюрьме?

— Этот мерзавец Накагава говорит, что с двадцатого числа... Пресса такую демагогию развела в связи с этим...

— А как другие, благополучно?

— Не знаю... Хотя...— Он запнулся на мгновение, затем быстро сказал: — Похоже, что все благополучно.

Я поняла, кого он имел в виду. Меня охватила несказанная радость, и я молча, с глубоким волнением кивнула ему головой.

В арестантскую пришел сотрудник особого отдела.

Вызвали меня. В вонючем коридоре стоял шум — как раз в это время по камерам разносили тощий завтрак, завернутый в синие хлопчатобумажные платки. Сотрудник вдруг сказал:

— Кажется, от вас работница собирается уходить?

Каким тоном это было сказано! Сразу чувствовалось, что он хочет узнать, как я буду на это реагировать. Но я молчала и, потупившись, продолжала идти.

— Вот, напишите на это ответ.— Он протянул мне записку от Ясу. Она пришла просить свидания со мной, но ей не разрешили, и она прислала записку с просьбой ответить ей.

Кистью на клочке бумаги, данной ей здесь же, в полиции, она писала:

«Госпожа Тюдзё! [1] Я получила телеграмму из дому, от отца. Он пишет, если я сейчас же не приеду домой, то чтобы ему и на глаза не смела больше показываться. Мне очень неудобно перед Вами, но разрешите, пожалуйста, уехать домой.

Ясу».

---

[1] Тюдзё — фамилия Миямото Юрико до брака с Миямото.

Прочитав письмо, я живо себе представила и девушку Ясу в пестром хлопчатобумажном кимоно с красивым оби, и наш опустевший дом, и шныряющих около него шпиков. Передо мной встали и газеты с кричащими заголовками и статьи об арестах, вероятно, снабженные даже фотографиями. Я могла себе представить и то волнение, которое, очевидно, вызвало все это на воле.

Ясу происходила из кулацкой семьи; сама она была девушкой серьезной, но в таких обстоятельствах от нее вряд ли можно было ожидать должной стойкости. Ведь именно в таких случаях и проявляется классовая сущность человека. Я и раньше не раз думала о том, как поведет себя наша Ясу, если с нами что-нибудь случится. Но в конце концов большая ли беда, если в нашей квартире в Додзака никого не останется? Ведь мы жили там всего каких-нибудь два месяца. Сотрудник особого отделения пристально, испытующе смотрел на меня. Но я уже давно предвидела, что теперь вся наша жизнь с мужем должна будет строиться на совершенно иных началах, и была готова к этому.

Стоя около стола, я подвинула к себе тушечницу, растерла с водой немного туши, размяла ссохшийся кончик кисточки и сказала:

— Видите? Уже сказываются результаты вашей демагогии.

Затем я написала короткий ответ и хотела было перечитать написанное, но в этот момент ко мне незаметно подкрался какой-то человек и, выхватив письмо из моих рук, с мрачным видом углубился в чтение.

Затем резким движением он сунул этот листок сотруднику особого отдела. Тот поклонился с противной ужимкой и вышел, закрыв за собой стеклянную дверь.

Только тут я впервые обратила внимание на стоявшего передо мной человека и на комнату, в которую меня привели.

Человек был так тщательно причесан, что на его густо напомаженных волосах остались следы зубцов гребешка. Одет он был в полосатый костюм из дешевого материала, брюки его были аккуратно отглажены. По-

вернув ко мне свое скуластое темное лицо и глядя на меня в упор, он сказал:

— Садись сюда, — и, мотнув головой, указал подбородком на стул.

Я села. «Полосатый пиджак» развалился на стуле напротив.

— Я пришел из токийского полицейского управления. Буду тебя допрашивать.

— Да?

Он молча вынул из кармана папиросы, взял одну из них и, чиркнув спичкой, закурил. Глубоко затянувшись, он медленно выпустил длинную струю дыма. Его руки сильно дрожали. Злобно уставившись на меня, он то и дело вынимал папиросу изо рта и кончиком пальца стряхивал пепел.

Я опустила глаза и тут заметила, что к ножкам стола привязано несколько скрученных полотенец, применяемых, по-видимому, для пыток. В тот же момент раздался страшный рев. Казалось, «полосатый пиджак» готов вот-вот броситься на меня:

— Ты что это? Как ты сидишь?!

Я сидела, спокойно откинувшись на спинку стула и опершись локтем о стол.

— Ты где находишься, дрянь ты этакая? Как ты себя ведешь в полиции?

Бросив окурок папиросы прямо на пол и растоптав его, он схватил со стола расколотую вдоль линейку и ткнул меня в локоть.

— Теперь я вижу, что ты за нахалка. Ясно, ты ничего не скажешь, если с тобой разговаривать по-джентльменски. Но я заставлю тебя говорить, я подвешу тебя за руки... Вы там разводите демагогию, болтаете насчет «белого террора» — так вот ты у меня сейчас узнаешь, что такое белый террор!

Он схватил бамбуковую палку, стоявшую рядом у стены, и с силой ударил ею об пол.

— Выкладывай свои связи с компартией! Живо!

— Вы так кричите на меня, что я, право, не могу ничего понять,— ответила я.— Что вы имеете в виду?

— Что?.. Ладно, давай по порядку.— Сморщив свое омерзительное лицо с необыкновенно узким лбом, пересеченным глубокими морщинами, он достал бланк, на

котором было напечатано: «Токийское полицейское управление», разграфил его и написал:

«1. «Сэкки» [1].
2. Коммунистический союз молодежи.
3. Денежные средства».

— Ну-с, с какого времени ты читаешь «Сэкки»?

Я ответила, что не знаю, что это такое.

— Врешь!

Он заорал так громко, что задребезжали окна.

Его лицо, в котором было что-то звериное, приняло еще более отталкивающее выражение.

— Негодяйка, ведь мы же знаем, что тебе давал читать эту газету Миямото!

Снова удар палкой об пол.

— Ничего подобного, это ложь!

— Ложь?

— Ложь.

— Долго ты будешь мне голову морочить?

— Что же я поделаю, раз это неправда?

— Так, не скажешь?! Скотина! Ишь расселась тут! На, получай! — И он ударил меня палкой по голове.

— Ну, как? Говори! Упрямься не упрямься, нам все равно все известно!

И следователь, словно забавляясь, принялся бить меня по голеням, нанося удары то слева, то справа.

— Миямото уже во всем сознался. Он говорит, что ты читала это по его совету, и просит учесть это. Он просил также принять во внимание, что ты женщина, и отпустить тебя поскорее домой. Но сначала ты подтвердишь, что он давал тебе читать!

От обиды и гнева у меня, вероятно, побелели губы.

— Где схватили Миямото? — закричала я пронзительно.

Полицейский опешил и проворчал:

— Мы никому не позволим своевольничать...

А в окно смотрело ясное апрельское небо, напротив, на сушилке длинного одноэтажного дома [2], висели дет-

---

[1] «Сэкки» — «Красное знамя», орган Коммунистической партии Японии (в настоящее время — «Акахата»).

[2] В Японии на крышах домов устраивают сушилки — небольшие площадки с перилами и шестами для развешивания белья.

ские кимоно из красной материи. Они легко развевались по ветру, освещенные ярким солнцем.

Навсегда остались в моей памяти контрасты этого дня: лоснящийся пробор, искаженный ревом рот, полосатый пиджак и удары палкой, а рядом за окном мирная, тихая картина.

Он снова и снова перечислял по разграфленной бумажке пункт за пунктом, нес всякую чушь по каждому из них и орал:

— Ты что, не хочешь говорить?! — Снова удар палкой по полу или взмах линейки перед самым лицом.

Прошло три часа. Графы бланка оставались пустыми. Меня увели в арестантскую.

В тот же день вечером из особого отделения вернулся в камеру Конно. Он был бледен и прижимал рукой больное левое ухо. На вопрос надзирателя он сердито ответил:

— Разве такие врачи понимают что-нибудь? Даже никакого инструмента не подумал принести. Прикладывай, говорит, что-нибудь холодное.

Еле волоча ноги, Конно вошел в спецотделение.

Он еще до этого успел простудиться, у него была высокая температура, разболелось горло, а после того как его избили в полиции, он почувствовал сильную боль в ухе, которая мучила его вот уже два дня. У него был такой жар, что смоченное холодной водой полотенце сразу же становилось горячим. Уже несколько дней он не мог ничего есть от боли в горле. В камере вместе с Конно находились два вора, которые, по их словам, когда-то служили санитарами в армии.

— У него наверняка воспаление среднего уха. Это опасная штука, господин надзиратель, так оставлять нельзя! — неоднократно предупреждали они.

Да и сам Конно требовал, чтобы его показали врачу.

— Ладно, вы там! — кричал надзиратель.—На разные там пакости вы еще годитесь, а в докторских делах разбираться не ваше дело. Не болтайте чепухи!

Однако болезнь зашла так далеко, что Конно уже не мог сдерживать стонов. Я тоже настоятельно требовала врача, и только после этого наша просьба была удовлетворена. Но вся врачебная помощь свелась к совету — прикладывать к уху что-нибудь холодное. Какой мог быть толк от такого лечения!

Ночью втащили какого-то пьяного. Я спала в своем углу в коридоре и проснулась оттого, что в носу у меня защекотало от поднявшейся пыли.

Пьяного втолкнули в спецотделение, но и там он продолжал кричать:

— Ой, как мне тяжело, как мне тяжко! Зачем меня сюда? Я ведь только студент! — И он рыдал навзрыд.

— Долго ты будешь надоедать? Перестань орать! Будешь спать или нет? — раздался хриплый голос большеглазого бродяги, и он дал пьяному несколько затрещин.

— Сплю! Сплю... Ох! Как мне тяжело! Я... О-о-о...

Во второй камере тоже проснулись. В тесной клетке, набитой полуголыми мужчинами, тела которых лоснились в ярком электрическом свете, поднялся шум.

— Кто это там ревет! Заткнись! Довольно!

Надзиратель, закутавшись с головой в черную шинель, сидит, склонившись над столом. Кажется, этот шум его совершенно не касается.

Слышны глухие удары кулаков, кто-то молча бьет пьяного. На некоторое время все стихает, и вдруг снова голос из спецотделения:

— Ай! Что за безобразие!

— Ну чего тут поделаешь?.. Ты, отвернись сюда... Сюда отвернись, тебе говорят!

— Господин надзиратель! Господин надзиратель! Откройте, пожалуйста!

— Господин надзиратель, уж вы извините, откройте, пожалуйста. Этот тип так налакался, что просто невозможно...

— Фу ты, вонь какая!

Пьяного на кого-то вырвало...

Меня беспокоило здоровье Конно, и, делая десятиминутную утреннюю зарядку, я чувствовала, что мои мысли почти целиком заняты им. Я все больше и больше волновалась: только бы не заболеть здесь!

Около десяти часов, когда от пронизывающего холода и непреодолимой сонливости я находилась в полудремотном состоянии, сотрудник отделения надзора за рабочим движением, в синем выцветшем костюме, привел девушку с белым пухлым личиком.

— Ну, вот, побудь пока здесь.
— Не в камере?
— Нет.
— Садись сюда, сестрица. Тут ты будешь не одна, вдвоем не так скучно...

Девушка постояла, раздумывая, а затем, расправив рукава своего яркого кимоно из дешевого шелка, села рядом со мной на циновку, положив сбоку небольшой сверточек. Опустив на колени маленькие красивые руки, она сидела потупив голову. На ее среднем пальце было кольцо с красным камнем. Рукава ее нижнего муслинового кимоно были по краям аккуратно обшиты бело-красными кружевами.

Спустя немного я тихо спросила ее:
— Вы работаете где-нибудь?
— Да.
— В какой-нибудь конторе?
— На метро.
— В киоске?
— Нет, я кассирша билетной кассы.

Меня это очень заинтересовало, но некоторое время я молчала. Дело в том, что совсем недавно на метро произошла забастовка, которая привлекла внимание всей страны. Около ста служащих метро, среди которых было сорок кассирш, 20 марта забаррикадировались в боковых ветках метро, захватили и удерживали в течение трех дней четыре вагона метро. Причиной забастовки послужило то, что компания, которой принадлежит метро, стала рассматривать служащих, мобилизованных в армию и отправляемых на фронт, как прогульщиков. В газетах я видела фотографии проволочных заграждений, которыми окружили себя бастующие, чтобы предотвратить вторжение полиции. Через колючую проволоку они пустили электрический ток в двести вольт и повесили листы бумаги с предупреждением: «Не прикасаться! Смертельно!!»

Это была забастовка совершенно нового типа, так как во главе ее стояло революционное руководство. В результате бастующим удалось собрать в боевой фонд тысячу иен и заготовить в вагонах метро месячный запас продовольствия. Был организован отряд самообороны, в который вошли и женщины, и хотя этот отряд состоял исключительно из молодежи в возрасте от шестнадцати до

двадцати пяти лет, действовал он очень организованно. Кроме того, бастующие с полным знанием дела использовали все особенности их места работы. Это была историческая забастовка, имевшая значение не только для транспортников. Своей невиданной в истории забастовочного движения Японии боевой энергией, организованностью и умелым использованием техники она оказала сильное влияние на весь пролетариат.

Во время поездки в Синсю мне не раз приходилось слышать о забастовке работников метрополитена и о мужестве, проявленном женщинами в этой борьбе. Забастовка вызвала полную растерянность и в самой компании и в полиции, но в конце концов закончилась принудительным арбитражем. Бастующим удалось добиться согласия на выплату мобилизованным в армию зарплаты за «прогул» за вычетом жалования, полученного ими за эти дни в армии, на установку на каждой станции озонаторов, на оплату ночных дежурств, на устройство уборных и т. д. Требование специальных «физиологических» отпусков для женщин с сохранением зарплаты было отклонено, но требования о предоставлении женщинам одинаковых с мужчинами отпусков, о выдаче двух летних и одного зимнего костюмов и прочие были удовлетворены полностью. У меня до сих пор перед глазами стоит фотография участниц забастовки — женщин с белыми повязками на головах, с горящими решимостью лицами.

Говорили, что стачке предшествовал такой инцидент. Служащие метро, отправленные на станцию Синагава[1] провожать уезжавших на фронт сослуживцев, все как один отказались взять с собой флажки с изображением красного солнца, выданные компанией, а на перроне организовали митинг. Люди выступали с антивоенными речами. По слухам, в первый же день стачки к засевшим за баррикадами забастовщикам пришли бывшие работники метро, отбывавшие действительную службу в армии, и заявили, что они тоже хотят «вместе бороться против капиталистов». Однако забастовочный комитет предложил им, чтобы они с таким же энтузиазмом вели борьбу у себя в казармах, и солдаты ушли, обменявшись с рабочими рукопожатиями.

---

[1] Одна из железнодорожных станций в г. Токио.

И теперь, едва услышав слова «метро» и «кассирша», я как-то сразу представила себе отдельные эпизоды этой героической борьбы. По-видимому, противник пытается так или иначе расстроить ряды борцов. Нет ли какой-нибудь связи между этой застенчивой полненькой девушкой и новым наступлением врага?

— А когда приходят из полицейского управления?

Я ответила, что это зависит только от того, какой там ветер подует. Вот, например, я уже почти месяц сижу в арестантской, но за это время из полицейского управления приходили всего три-четыре раза. Девушка провела рукой по выступающему вперед подбородку, взглянула на часы, висевшие на стене, и сказала:

— Вот беда-то! Ведь мне сказали, что часов в восемь оттуда придут, и тогда меня отпустят домой...

Девушка рассказала, что утром около шести часов, когда она, как обычно, приготовив завтрак, собралась на работу, к ней пришел какой-то человек, заявил, что он из полицейского участка Комагомэ, и привел ее прямо сюда. Ее отец, не доверяя сыщику, проводил ее до самой полиции.

— Что за издевательство! — с сердцем сказала она и снова, аккуратно расправив рукава кимоно, опустила голову.

Наступил полдень, но никто из полицейского управления не приходил. Когда обслуживающий принес обед, состоявший из вареной морской травы «хидзики», и поставил на пол обе чашки — для меня и для нее, — девушка вдруг расплакалась.

— Перестань плакать, — сказала я. — Слышишь? У тебя же с собой завтрак, ну и ешь его.

Девушка открыла алюминиевый ящичек, в котором был уложен завтрак, состоявший из отварных корешков бамбука с красным квашеным имбирем, но, едва притронувшись палочками к еде, отложила их в сторону и не захотела даже выпить кипятку.

Во второй половине дня вора из камеры № 1 перевели в спецотделение, и наконец, после нескольких дней пребывания в коридоре, меня вместе с девушкой поместили в камеру.

Она так и не решилась развязать оби, но держалась уже более спокойно и уверенно.

— Эти полицейские только и знают что обманывать людей! — воскликнула моя собеседница, а затем, понизив голос, продолжала: — Послушайте! Что же нам делать? Такая досада! Сегодня утром нас всех на дому перехватали. Мне звонили по телефону, что двадцать с лишним человек забрали... Всех переловили. А ведь компания приняла наше требование, чтобы никого не наказывать за участие в забастовке. И вот пожалуйста, вдруг начали набирать одного за другим новых людей. Это же сговор против нас! Теперь жди увольнения. Как это подло!

Видимо, компания решила, что аресты бывших участников забастовки прямо на работе могут вызвать всякие слухи и осложнения, поэтому по ее предложению власти дали указания полицейским участкам произвести аресты служащих по месту их жительства. Между тем компания уже имела наготове других служащих, которые еще не успели сплотиться.

Что ж, девушка расплакалась при виде тюремной еды, и все же она, по-видимому, все время думала о том, какие меры предпримет компания дальше.

— ...Недаром нам говорили, что самое опасное наступит примерно месяц спустя, когда все уже остынут. Как это правильно! — проговорила она.

Спустя немного девушка передвинула колени, обтянутые шелковым кимоно, чтобы сесть поудобнее, и прошептала:

— Ладно, пусть говорят что хотят, мне это все равно, я действительно ничего не знаю... — И, повернувшись лицом ко мне, продолжала с надеждой: — Раз я не состояла в профсоюзе, мне ведь ничего не будет, верно?

— Что плохого, если бы ты даже и состояла в профсоюзе? — в свою очередь спросила я и, неприятно пораженная тоном девушки, добавила: — Пусть даже ты и не состояла в профсоюзе, но ведь твои требования были точно такие же, как и у всех других, поэтому вы и боролись общими силами, так зачем же теперь болтать о том, кто входил в профсоюзы, а кто нет? Поняла?

— Да-а, конечно, — согласилась она со мной.

Девушка окончила Н-скую женскую школу повышенного типа и во время забастовки была членом комиссии, избранной бастующими для ведения переговоров.

Около четырех часов, когда мы уже думали, что сегодня девушку никуда вызывать не будут, появился сотрудник отделения надзора за рабочим движением и увел ее. Немного спустя вызвали и меня к сотруднику особого отделения. По дороге я прошла через большую комнату, видимо, предназначенную для занятий полицейских, так как там стояла черная классная доска и много рядов скамеек. На одной из скамеек, на самом краешке, потупившись, сидела моя знакомая, а рядом с ней со встревоженным видом, сердито отвернувшись в сторону, курил дешевые сигареты «Сикисима» ее отец, вероятно, мелкий торговец. Он, должно быть, ходил куда-то по делам, потому что на нем было кимоно из «осима» со следами складок, которые всегда образуются на одежде после долгого лежания в комоде.

Эта картина — отец и дочь, сидящие рядом и погруженные каждый в свои, глубоко различные по духу размышления, — ярко запечатлелась в моей памяти. Вернувшись в арестантскую, я снова подумала об этой сцене, и во мне поднялась буря ненависти и к полиции и ко всей феодальной системе японской семьи.

Когда в арестантской уже готовились ко сну, меня снова вызвали. Я думала, что меня ведут к сотруднику особого отделения, но оказалось, что там меня ждет Накагава. Он сидел в глубине комнаты особого отделения, положив ногу на ногу и попыхивая папиросой. Когда я вошла, шаркая тростниковыми дзори, на которых ослабли повязки, он взглянул на меня, оскалив свои острые торчащие зубы, и, ухмыляясь, сказал:

— Ну, как? — и тут же добавил: — Так вот, скоро уже, скоро года два-три получишь!

Усаживаясь на стул, на котором лежала плоская муслиновая подушечка (на стуле начальника подушечка была из «хабутаэ» [1], идущего на подкладки к хаори, а у всей остальной полицейской братии — подушечки из простого муслина), я спросила:

— За что же?

---

[1] Хабутаэ — род шелковой ткани.

— Ведь ты же писала?

— Что писала?

— Разве ты не писала в нелегальные печатные издания?

— Ничего не знаю.

— Вот как? — издевательски сказал Накагава и громко расхохотался, широко разевая рот. — К твоему сведению, есть люди, которые говорят, что получали от тебя рукописи, так что теперь тебе некуда деваться.

— Да, но сейчас такое время, когда всегда могут найтись люди, готовые подписать любой документ. Может быть, и нашелся человек, который говорит так обо мне.

Бледное лицо Накагава приняло совершенно новое выражение:

— Что ты этим хочешь сказать?

Я промолчала.

— Ты отлично знаешь, что ваши товарищи ни при каких обстоятельствах не назовут имени человека, который не имеет к ним отношения. А о тебе говорит твой товарищ. Именно товарищ, а не кто-нибудь!

— Что же я могу сказать, раз мне ничего не известно?

Вернувшись в камеру, я, как это, вероятно, бывает в таких случаях с каждым, стала снова и снова вплоть до мельчайших подробностей обдумывать слова, восстанавливать в памяти выражение лица, жесты, движения следователя, чтобы проникнуть в замыслы врага и подготовить себя к новым атакам.

Состояние Конно ухудшалось с каждым днем. Было точно установлено, что у него воспаление среднего уха. Расхаживая по сырой камере, посередине которой лежала грязная циновка, я, загибая пальцы, считала дни. Сумеет ли продержаться Конно до 27-го числа?

Ночью перед решеткой спецотделения поставили таз, доверху наполненный холодной водой. Кто-то всю ночь смачивал в этой воде полотенце для больного.

Вечером 24 апреля, когда меня вызвали к сотруднику особого отдела, я настойчиво потребовала у начальника отделения, разговаривавшего с явным северным ак-

центом, чтобы Конно освободили и дали ему возможность получить медицинскую помощь.

— Все вы постоянно твердите о мире в семье, о любви между родителями и детьми. Так как же вы, прекрасно зная, что у человека воспаление среднего уха, бросаете его на произвол судьбы и, следовательно, обрекаете на гибель в арестантской главу семейства?

— Гм, — сказал начальник отделения, проводя ладонью по своей щетинистой голове и пожевав губами.— А ему что, очень плохо?

— Мне кажется, у него начинается менингит... Ведь все равно его сейчас не допрашивают. Право, ужасно оставлять без всякого внимания человека в таком положении!

— Ничего, мы пошлем ему доктора, его уже вызвали по телефону.

Помолчав, он пробормотал как бы про себя:

— Возможно, он уже здесь, — и с этими словами вышел из комнаты, шаркая шлепанцами. Шлепанцы были только у начальника особого отделения, они стояли у него под столом, и он, приходя на службу, переобувался.

Едва войдя в арестантскую, я увидела, что перед моей камерой толпится народ. Неужели уже поздно? Я невольно всплеснула руками и прижала ладони к груди. Железная дверь в камеру была открыта настежь, перед ней стояли, вытянув шеи и заглядывая внутрь, начальник особого отделения, сотрудник особого отдела, начальник арестантской и надзиратель. Они выглядели так, словно попали туда, куда им вовсе не следовало заходить. Из камеры, весь изогнувшись, вышел городской врач. Надзиратель, за спиной которого я стояла, шепнул мне:

— Положение довольно тяжелое... Перевели сюда.

Кивнув ему головой, я остановила подошедшего врача:

— Можно вас на минутку? Скажите, у него нет признаков менингита?

— Да как вам сказать... — Он был несколько смущен, этот хитрый на вид человек, и старался увильнуть от ответа, чувствуя, что является центром внимания всей арестантской.

— Ведь боли в затылке — признак менингита?

— В данном случае все равно нужно делать операцию.

Вокруг него собралась толпа. Сегодня вечером решается судьба больного, это чувствовали все.

На тюфяке, брошенном посредине камеры, лежал, вытянувшись во всю длину, Конно, которому, кажется, уже было безразлично все на свете. Кто знает, может быть, весь этот переполох в арестантской — всего лишь свидетельство близкого конца?

У изголовья больного лежали тампоны из гигроскопической ваты для оттягивания гноя. Рядом с ним на полу сидели те два парня, что когда-то служили санитарами в армии. Сегодня оба они выглядели как-то совсем по-иному.

Конно стонал. Иногда, открывая на миг налитые кровью глаза, он обводил камеру затуманенным взором, словно ища кого-то. Прижавшись лицом к самой сетке, я не отрываясь смотрела на него. Вот Конно снова открыл и с усилием поднял глаза. Он дышал тяжело, прерывисто, и вдруг до моего слуха долетели слова:

— Тюдзё-сан... тяжело-о!

Я больше не могла удержаться и толкнула тяжелую дверь. К счастью, она не была заперта, и я вбежала в камеру. От грязного тюфяка несло нестерпимым зловонием. Я взяла руку Конно, сжала изо всех сил эти давно не мытые пальцы больного, изможденного человека и погладила его ладонью по исхудалой щеке.

— У меня... как-то мутится... в голове.

— Очень болит? Голова?

— Затылок... вот здесь, — он с трудом поднес руку к затылку, — больно... И во всем теле тоже...

«Скоты!!» Я еле сдержалась, чтобы не крикнуть это слово.

— Конно!

По-видимому, он впал в забытье. Прижавшись щекой к покрытому потом лицу этого преданного, мужественного и скромного товарища, я тихо, но настойчиво зову его:

— Конно!

Услышав мой голос, он чуть приоткрыл глаза и посмотрел на меня.

— Умирать еще не время! Слышишь? Ведь обидно будет сейчас умереть. Держись же! Слышишь?

— А-а...

— Крепись!

— А-а, — облизнув запекшиеся губы, он еле слышно прошептал: — Понимаю!

Молодые парни неподвижно сидели, подогнув под себя ноги и положив руки на колени.

— Жаль человека! Ведь он не то что мы, никчемные, — пробормотал один из них.

Я попросила спустить ниже мокрое полотенце на лбу больного, чтобы не раздражать светом его глаза.

Обычно в это время из камер доносится храп, но сегодня никто не спит и нигде не слышно разговоров. Я вышла в коридор и легла на свою циновку головой к окну.

На другое утро, как обычно, в восемь часов полицейские явились на службу. Около десяти пришел начальник особого отделения, он походил по арестантской, заложив руки в карманы, затем обратившись ко мне, спросил:

— Ну, как?

Я сказала, что Конно необходимо немедленно отправить в больницу. Если встретится затруднение, то по моей рекомендации больного могут принять в такую-то и такую-то лечебницу.

Начальник хмыкнул в ответ и, бросив трусливый взгляд на лежащего у его ног Конно, вышел.

Вслед за ним пришел начальник арестантской, и повторилось то же самое. Затем приходил сотрудник особого отдела, который вел дело Конно.

— Как же быть? — спросил он, поблескивая золотыми зубами. Он подошел было к Конно, но тут же покинул камеру.

Казалось, будто все они следят за тем, как слабеет Конно, и чего-то ждут

В полдень снова пришел начальник особого отделения. По-видимому, он успел принять какое-то решение.

— Ну, теперь отправим его...

Конно отправляли в больницу благотворительного общества «Сайсэйкай». Сотрудник особого отдела подхватил под мышки больного, лежавшего без сознания, и поволок его из арестантской [1].

II

— Вон там, видите?

— Ничего не вижу...

Разговор идет о вишне, цветущей под окнами полицейского участка. В арестантской, окна которой выходят на север, даже весной, когда цветут вишни, царит полумрак. Сюда доносится лишь стук бамбуковых палок из фехтовального зала да громкий лай собаки, стерегущей угольный склад, расположенный неподалеку.

С наступлением весны в тюрьме появились клопы, спать стало невозможно.

— Вы бы видели, что тут летом делается! — говорит надзиратель, хлопая ладонью по щели вдоль боковой стойки шкафа, в котором хранились насквозь прогнившие тюфяки. — В прошлом году, — продолжал он, — тут посыпали порошком «Имадзу», так они тучей поползли оттуда.

Когда отцвели вишни и кончились облачные дни, обычные для этого времени года, стало припекать солнце. Дни стали заметно длиннее. Через окно, устроенное

---

[1] Впоследствии я узнала, что в больнице «Сайсэйкай» Конно лечил военный врач Кодама. Делать опасную для жизни операцию поручили неопытному хирургу, который во время операции нуждался в непрерывном руководстве. После операции лечили как попало, в раны набили марлю. В результате гной шел не наружу, а уходил все дальше вглубь, вызывая отравление организма. После выписки из больницы состояние больного ухудшилось. У товарища Конно начались сильные головные боли. Это ему показалось подозрительным. Он обратился к врачу благотворительного общества «Сайсэйкай», но тот сказал Конно, что состояние его значительно улучшилось и он может приходить на осмотр через четыре-пять дней, хотя до этого товарищ Конно ходил к врачу через день. Конно не мог понять, что с ним творится. На третий день после этого у него начался злокачественный папиллит и одновременно вспыхнул менингит. На этот раз он лег в больницу «Кэйо» (клиника при университете «Кэйо».— *Прим. перев.*). Там он снова перенес тяжелую операцию.

В течение месяца Конно находился между жизнью и смертью, но в конце концов все-таки поправился. *(Прим. автора.)*

под самым потолком и затянутое металлической сеткой, виднеется клочок голубого неба и в камеру проникают какие-то желтоватые, никак не гармонирующие с голубизной неба лучи. Видимо, это отсветы желтой цинковой крыши соседнего дома.

Бесконечно тянутся послеобеденные часы. Жизнь в арестантской замирает; грязные, завшивевшие люди пребывают в какой-то тупой апатии, и лишь резкие звонки трамваев, проходящих по соседним улицам, время от времени врываются в эту тишину.

Надзиратели дремлют на своих постах. А заключенные, разложив на коленях рубашки и нижнее белье, ищут вшей и непрерывно почесываются.

Мое тело покрылось грязью, кожа одрябла, потеряла прежний здоровый цвет и шелушится на руках. У меня завелись вши, — теперь я знаю, что значит этот нестерпимый зуд! Вот снова он мучит тебя, снимаешь дзюбан [1], — конечно, опять вши, некоторые совсем маленькие, похожие на крохотных паучков.

Однажды до меня донесся гул самолета. Наверно, он летел очень низко — от мощного гула моторов звенели стекла. Самолет прошел прямо над нашими головами.

Я подняла голову и стала прислушиваться. Как-никак, ведь самолет — это символ цивилизации.

На улице ясный, солнечный день, недаром на стеклянной двери, ведущей в арестантскую, так четко отражаются крупные иероглифы «Айкава», украшающие вывеску малярной мастерской.

Странное ощущение, когда не видишь самолета, а только слышишь его. В арестантской, как всегда, царит тишина и пахнет сыростью. За железными решетками сидят полуголые люди со шрамами и ранами — следами пыток — и все заняты одним — охотой на вшей. А самолет все гудит и гудит...

Вот она, картина варварства, обмана, угнетения, называемая капиталистической цивилизацией!

И вдруг я вспоминаю: Индия! Да, ведь и там над голыми босоногими людьми летают самолеты. В стране есть самолеты, они кружатся в небе, но народ остается бесправным. А что дали самолеты революционным рабочим и крестьянам, что они дали корейцам и тайвань-

---

[1] Дзюбан — короткое нижнее кимоно.

цам? Туземцы племени «муся» на Тайване были истреблены ядовитыми газами и бомбами, сброшенными на них с новеньких военных самолетов.

Нет, эти самолеты, как бы высоко они ни летали, какими бы мощными ни были их моторы, пока еще не наши.

Но вот я мысленно переношусь туда, в Москву, передо мной оживает Первомай, и в душе поднимается жгучее, непреодолимое желание запеть во весь голос:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!

Пусть гудит самолет, это гудят крылья истории. И, стоя неподвижно посредине зловонной камеры, я прислушиваюсь к гулу надо мной, пока он постепенно не стихает вдали.

Нас шестеро в камере на четыре квадратных метра. Одна — проститутка, вторая — содержательница тайного абортария, трое пожилых сводниц, они то и дело почесывают головы кончиками нефритовых шпилек и непрерывно болтают. И наконец — я.

Но вот к нам вводят седьмую. Это сумасшедшая. Неуверенной походкой она проходит в камеру прямо в гэта и решительно отказывается вымыть ноги. К ее кимоно прицеплена неннэко[1], коротко остриженные волосы и подол — все в мусоре и пыли. От сумасшедшей скверно пахнет. Она не хочет садиться, стоит напротив окошечка, через которое подают пищу, и громко сопит.

В других камерах приготовились ко сну, хотя еще не спят.

А с улицы доносится стук гэта по мостовой, напоминая, что сейчас вечер и скоро уже лето. Слышны звонкие голоса детей, играющих на улице, иногда доносятся звуки радио.

Подложив под голову вместо подушки хаори и туалетную бумагу и упираясь пятками в стену, чтобы вытянуться, я лежу на спине, прислушиваюсь к шуму города и рассеянно смотрю на электрическую лампочку.

---

[1] Нэннэко — пелерина, одеваемая при ношении детей на спине.

На этой лампочке, висящей на внешней железной перекладине, к которой прикреплена металлическая сетка, матовая надпись: «Полицейский участок Комагомэ».

Соседи по камерам засыпают. Вот кто-то перевернулся, кто-то зевнул. Когда несколько дней подряд сидишь неподвижно в четырех стенах, куда не проникает луч солнца, телу становится легче уже от одного того, что можешь лечь и вытянуться.

Но уши зудят от укусов клопов, а тут вдруг раздается звук барабана. Дон-дон-дон... Он все ближе и ближе. Это идет группа проповедников христианства. Барабанная дробь становится чаще, и затем раздается пение псалма:

Всякий верующий...
Бу-удет спа-се-он...

Пение обрывается, раздается надтреснутый гнусавый голос. Это что-то вроде проповеди: «Обращаюсь ко всем вам!» И снова бой барабана: до-он, до-он, до-он, его сменяет пение:

Всякий верующий...

По-видимому, это проповедники из местной христианской общины. Толпа детей, напрягая звонкие голоса, поет в такт монотонным ударам барабана, явно не понимая смысла слов:

Бу-удет спа-се-он...

Процессия удаляется. Но вот гул барабана раздается из переулка перед арестантской, можно подумать, что это делается нарочно. Затем барабан затихает, и лишь еле слышно доносятся слова:

— Обращаюсь ко всем вам!

— Кто это там? Вот надоели! — сердито перевернувшись, ворчит сонным голосом одна из моих соседок. Оказывается, не только меня выводит из равновесия весь этот шум.

Постепенно во мне созрело решение непременно описать после выхода из тюрьмы все, что мне пришлось увидеть и пережить здесь.

Что значат какие-нибудь пятьдесят или сто дней заключения? Так думают революционные рабочие и крестьяне, умеющие оставаться непоколебимыми и продолжать борьбу в любых, самых нечеловеческих условиях. Прав товарищ Кобаяси, когда говорит в рассказе «Одиночная камера»: «Пролетарии никогда не теряют уверенности, поэтому всегда чувствуют себя бодро!»

Но ведь в нынешней Японии в тюрьмы бросают не только передовых бойцов,— сейчас даже рядовых рабочих и крестьян, служащих и студентов на каждом шагу подстерегает тюрьма, где им угрожают, где их бьют и часто забивают до смерти. Достаточно обратиться с таким естественным требованием, как повышение заработной платы, достаточно потребовать, чтобы улучшилось обращение с рабочими, как в дело сразу же вмешивается полиция.

За одно участие в невинном литературном кружке или группе для чтения, которые создают студенты или рядовые трудящиеся с целью удовлетворить свою тягу к знаниям, грозит арест на двадцать девять дней, а иногда арестованных оставляют под стражей на повторный срок.

Чем дольше находишься в арестантской, тем острее чувствуешь произвол власть имущих и бесправие народа. Так происходило и со мной, и вовсе не потому, что я впервые попала в тюрьму и впервые прикоснулась к грубой пище.

Вглядываясь в лица надзирателей, я невольно вспоминала Музей Революции в Советском Союзе. Помимо собранных в нем различных документов времен Революции, там есть макет камеры, куда бросали политических преступников в царское время. Рядом выставлены орудия пыток, ручные и ножные кандалы. В камере расположены фигуры арестантов в одежде из грубого холста, среди них революционер, углубившийся в чтение и, кажется, совсем не замечающий тяжелой тюремной обстановки.

Экскурсанты — рабочие и крестьяне, мужчины и женщины,— оживленно споря, ходят по залам музея с записными книжками в руках. Но стоит им оказаться перед этой камерой, как разговоры сразу смолкают, лица становятся суровыми, люди невольно прижимаются друг к другу, они стоят, как прикованные, не отрывая

горящих взглядов от этой сцены в тюремной камере, освещенной восковой свечой.

От этих сомкнутых рядов веет огромной внутренней силой, во всем облике этих широкоплечих людей чувствуется грозный протест. Их взгляды горят твердой решимостью никогда и никому не отдать власть, которую они завоевали.

Настанет время, и в Японии появится такой же Музей Революции, и в нем будет показано то, что происходит сейчас в нашей арестантской. И пионеры с красными галстуками будут поражены дикостью и жестокостью, которые испытали японские революционеры в полицейских застенках!

И я решила писать, писать во имя этих грядущих дней.

Однажды, незадолго до Первого мая, меня привели в особое отделение. Там, в ржавой жаровне, в которой не было и признаков огня, кучей лежали листки разорванной книги. Начальник отделения, показав взглядом на эту кучу бумаги, спросил меня:

— Как вам это нравится? — и закурил сигарету.

Нагнувшись, я посмотрела на страницы книги. Это был «Исторический материализм».

— Это вы ее разорвали?

— Нет. Один молодой парень, вот в этой самой комнате он дал мне обещание никогда больше не читать таких книг и сам разорвал ее, теперь он уже дома.

— Гм...

Он помолчал, а затем, сделав губами такое движение, словно стараясь оторвать от нёба присохший язык, сказал:

— Не думаете ли и вы так же поступить?

Я улыбалась и молчала. Полицейский пользовался избитым приемом, который состоял в том, чтобы, завязав, как они это называли, «психологический» разговор на разные темы, внушить то, что желательно полиции.

В окно, находившееся прямо против меня, была видна каланча пожарной команды. Эта высокая башня, состоящая из легкого каркаса, окрашенного в белый цвет, возвышалась над густо-зелеными вершинами де-

ревьев и рядами крыш. Смотреть на нее было приятно. А ниже была видна часть тротуара, по бокам которого тянулась аллея, обсаженная гинко[1]. Почему-то прохожих на улице было мало, всего несколько человек прошли в одну сторону. Вдруг на тротуаре показался коренастый мужчина, в светло-синем европейском костюме и мягкой шляпе набекрень. Сейчас же рядом остановился автомобиль. Мужчина сел в него и захлопнул дверцу. Автомобиль сразу же тронулся. Все это произошло беззвучно и в одно мгновенье. Но при виде этой сцены у меня заныло сердце, захватило дыхание. Этот человек на улице чем-то напомнил мне Миямото, мне показалось, что это был он.

Вошел начальник арестантской с торчащим кадыком. Выдвинув ящичек стола, он достал порошок от желудочной боли, выпил его и завел разговор о войне.

— Все равно помочь безработным совершенно невозможно. Так уж лучше всех их послать на войну. Если их там убьют, тогда и беспокоиться о них не нужно будет,— сказал он холодным, безразличным тоном.— Достаточно, если в нашем обществе останутся только люди среднего сословия.

— А что это за люди среднего сословия? — спросила я.

— Люди нашего класса!

На столе сбоку от меня лежала папка для подшивки бумаг, на жесткой обложке которой написано: «Совещание начальников полицейских участков по вопросу о мероприятиях в день Первого мая». Заметив, что я смотрю на эту папку, начальник отделения, нагнувшись в сторону и прищурив глаза от табачного дыма, поискал среди бумаг и, протянув мне какую-то листовку, спросил:

— Видели?

Это была листовка, выпущенная за подписью отдела руководства Коммунистического союза молодежи, содержавшая призыв: «Смело проведем красный Первомай!»

---

[1] Гинко — название хвойного дерева, плоская хвоя которого похожа на листья веерообразной формы.

— Вам, наверное, странно, что такие вещи попадают в первую очередь к нам? — втянув голову в плечи, хитро хихикнул он.

— Да, интересно посмотреть, что из этого призыва получится!

Возвращаясь в арестантскую через комнату для занятий, я увидела крупную надпись на классной доске:

НАДЗОР ЗА МЯТЕЖНЫМИ КОРЕЙЦАМИ.
ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТА С ЖАНДАРМЕРИЕЙ.

Вот, наконец, и Первое мая. В полиции царит какое-то необыкновенное напряжение. И двор и фехтовальный зал заполнены группами свободных от дежурства полицейских, специально мобилизованных на этот день. На них фуражки с опущенными ремешками, на ногах гетры, они разгуливают, позвякивая прицепленными к поясу кортиками.

В особом отделении, куда зачем-то привели меня, остались только начальник и дежурный. Перед входом в полицию стоят два больших грузовика, в них безмятежно дремлют два самых обыкновенных шофера.

То и дело звонит телефон, дежурный докладывает:

— Да, да. Сегодня утром у объединенной типографии скопилось человек тридцать студентов университета Мэйдзи и китайских рабочих... Да, только это, Да, да.

Или:

— Здесь чрезвычайных происшествий не произошло. А? Нет, ничего не сообщали.

Это Токийское полицейское управление собирает информацию от всех полицейских участков города.

Как раз к моменту разгона демонстрации в Уэно небо, с утра совершенно безоблачное, покрылось дождевыми тучами.

— Пожалуй, будет дождь?

— Если будет, то пусть бы поскорей.

Один за другим полицейские подходят к окну и смотрят на небо. Черная туча постепенно разрастается, кругом темнеет, резкие порывы ветра треплют молодую листву. На фоне темного неба четко выделяется силуэт белой пожарной каланчи. Вот на ее верхушке ярко блеснуло стекло, и вдруг застучали первые крупные капли дождя. Я с досадой щелкнула языком.

Начался ливень, он потоками заливал мостовую, с шумом стекал с крыш.

— Вот это здорово!

— Да-а, хорошо! Ловко получилось!

— Конечно, при таком дожде никакая демонстрация не состоится.

До этого они нервничали и боялись, что группы демонстрантов, разогнанных на горе Уэно, соберутся в других местах города и повсюду, подобно вспышкам сигнальных огней, возникнут новые демонстрации.

Только теперь я впервые поняла, зачем меня привезли и держат в особом отделении: очевидно, они хотели продемонстрировать передо мной, как может действовать развитая сеть японской полиции. В действительности получилось так, что я оказалась свидетельницей их беспокойства и растерянности.

Тюремная охрана была усилена, и в день Первомая надзиратели дежурили по сорок восемь часов. Говорят, что в этом году полиция вела себя особенно нервно. Половину полицейских сил предполагалось посадить на грузовики и сменять их через каждый час, чтобы они все время находились в боевой готовности. Однако это оказалось делом трудным, и пришлось ограничиться только подготовкой самих грузовиков. Наш надзиратель, бледный, с ввалившимися от переутомления глазами, ворчал:

— Сидеть-то на грузовиках хорошо, да как быть, когда смена начинается? Одни садятся на машины, а другие еще и сойти не успели, а ну, как что-нибудь случится как раз в этот момент?

Услышав это, все в камере искренне, от души расхохотались.

Справа от стола сидит сотрудник цензуры Токийского полицейского управления Симидзу, остриженный под машинку и похожий на отставного капитана. Он без пиджака, в сорочке и жилете. Я сижу у дверей. В стороне, скрестив руки на груди, сидит начальник особого отделения. Он занимает позицию, позволяющую ему видеть нас обоих.

— Ведь вы, говорят, тоже были на совещании редакций? А кто еще там был?

Во время февральской избирательной кампании Японский союз пролетарской культуры издал специальный экстренный выпуск журнала «Тайсю-но томо», в котором разоблачал махинации буржуазии на выборах, выступал с поддержкой кандидатов трудящихся и давал советы по тактике предвыборной борьбы. Этот экстренный выпуск лежал сейчас в развернутом виде на столе перед следователем. В нем была за моей подписью статья о советских женщинах и об их избирательной деятельности. Симидзу снова и снова спрашивал меня, кто из представителей Японского союза работников пролетарского искусства был на этом совещании. Я отвечала, что не помню.

— Там должен был быть Янасэ...

— Я вообще не знаю такого в Союзе работников искусства, так что, был он или нет, мне не известно.

Симидзу развернул своими неуклюжими руками журнал и, стуча по нему кулаком, крикнул:

— Нет, ты всех их знаешь!

Затем, как бы между прочим, спросил:

— С Ая Корээда встречались?

— Это что, из культурной организации?

— Нет, это жена Кёдзи Корээда.

— Не знаю такой.

— Гм...

Допрос продолжался.

— В твоей статье написано: «Впервые на земном шаре была создана человеческая конституция», «Выбирайте представителей трудящихся масс и борцов за строительство социализма!» Что означают эти твои слова?

— Где? Дайте взглянуть! — промолвила я и внимательно перечитала несколько раз эти строки.— Так ведь совершенно же ясно. Я здесь просто констатирую факт, что в Советском Союзе...

— То есть это значит: японские рабочие должны поступать так же?

— Нет, этого данная статья не касается.

«В том-то и недостаток ее, как просветительной статьи»,— подумала я.

— Ну, хорошо, а вообще, что за нужда тебе писать в таких журналах?

— То есть?

— А? Я с удовольствием читал бы твои повести. За последнее время я только и читаю что повести Сосэки Нацумэ и твои... Ведь ты же можешь писать прекрасные вещи, зачем же тебе нужны эти журналы? А? Верно ведь?

Такие разговоры я слышала не впервые и не только от Симидзу: в том же духе говорил со мной и Накагава и начальник особого отделения полицейского участка Комагомэ. То же самое доказывали мне и некоторые из буржуазных критиков.

Во время допроса начальник отделения налил чаю, и скуластый Симидзу, правая сторона лица которого была как будто сведена судорогой, рассыпался в благодарностях перед начальством:

— Что вы, зачем это... Благодарю вас, мне просто неудобно!

С вопросом об экстренном номере журнала было покончено за какой-нибудь час. Теперь начальник обратился к журналу «Хатараку фудзин», номера которого лежали на столе, переложенные листами линованной бумаги. Поддергивая рукава своей рубашки, он продолжал допрос:

— Главным редактором этого журнала являетесь вы?

— Да, я.

— Не буду говорить ничего лишнего и вас попрошу отвечать с полной ответственностью за свои слова. Согласны?

— Я готова взять на себя ответственность за то, за что я могу считать себя ответственной, — ответила я. — Но я заранее оговариваюсь, что сейчас невозможно сказать, будут ли наши точки зрения по этому вопросу совпадать.

— Это само собой понятно.

Он спросил меня о составе редакции, об отношениях с секретариатом и так далее.

— Раньше я не трогал вашего журнала, считал, что возиться с ним — все равно что выкручивать руки ребенку. Но теперь он стал касаться настолько серьезных вещей, что я не могу пройти мимо этого. Не так ли? А?

В апрельском номере журнала красным карандашом были подчеркнуты отдельные места в обзоре текущих

событий и в отделе писем читателей. Центральным в апрельском обзоре был раздел «Война и наша жизнь», и в этой связи было приведено число убитых и раненых с начала грабительской войны в Маньчжурии осенью прошлого года, показаны военные расходы, давалась информация о Китае, о Втором пятилетнем плане СССР и т. д.

— Примерно с прошлого месяца этот журнал почти ничем не стал отличаться от журналов для мужчин...

Симидзу перелистывал страницу за страницей. Начальник отделения сказал:

— Минутку!..— Он протянул руку и, взяв апрельский номер, стал жадно читать в нем места, подчеркнутые красным карандашом. Затем, скривив губы, словно в рот ему попало что-то кислое, молча вернул журнал.

Симидзу сказал, что он не задевал наш журнал, но в действительности «Хатараку фудзин» запрещался из месяца в месяц, начиная с самого первого номера. Кроме того, когда 8 марта в связи с проведением Тихоокеанской недели пролетарской культуры в память «15 марта» [1] в помещении театра Цукидзи Сёгэкидзё был устроен «Вечер трудящейся женщины», собрание сразу же после открытия было прервано и разогнано полицией. В своей вступительной речи я только успела сказать: «Глядя на собравшихся в этом зале, я вижу, что больше всего здесь молодежи, бабушки же...» Полиция прервала меня. На проведение художественной части пришлось добиваться особого разрешения. Все вещи, которые предполагалось показать в этот вечер, уже много раз ставились на сцене, но тем не менее они были запрещены, как «нарушающие общественное спокойствие».

И теперь на местах, в провинции, полиция делает все, чтобы никто не мог получить ни одного номера «Хатараку фудзин».

— Кто руководит этим журналом? — спросил Симидзу, закурив папиросу.

---

[1] 15 марта 1928 года в Токио, Осака и других крупных городах Японии были произведены массовые аресты коммунистов и деятелей рабочего движения.

— Указать руководителя нельзя, так как журнал издает редколлегия.

— Но ведь без определенного руководства журнал не мог бы так вырасти, правда? Вот взгляните, например...

И Симидзу постучал рукой по статье Кэйко Судзуки «Как трудящиеся женщины смотрят на нынешнюю войну», помещенную в разделе писем читателей.

— Ну как? Ведь с первого взгляда видно, что статья написана не новичком. Кто автор?

— Но вот же подпись — Кэйко Судзуки!

— А кто она такая, эта Судзуки?

— Не знаю, это же письма читателей...

Затем я продолжала:

— Подумайте немного сами. Вот вы говорите: журнал ведется на высоком уровне, не похоже, что это женский журнал, и так далее. Но ведь в наше время женщину заставляют работать даже больше, чем мужчину. А получает она лишь половину заработка мужчин. Из женщины выжимают все соки. И если она не будет твердо держаться, то что с нею станет? Возьмите, к примеру, сами себя. Если вы полны сил и здоровья, вы, вероятно, будете держать свою жену дома, взаперти, как, мол, и положено женщине. Ну, а если вы заболеете и на продолжительное время у вас не станет денег... Ведь не будет же вас полицейское управление кормить, скажем, пять или десять лет? Тогда вашей жене придется заняться какой-то работой. И если она будет говорить вам, что ей приходится работать слишком много или что ей платят слишком мало, не станете же вы ее бить за это и утверждать, что она действует не по-женски.

— Гм... Ну, а это на что похоже?

Он ткнул пальцем в одно из писем в том же разделе, опубликованное за подписью Айко. После слов: «...и все это ради...» — в нем были выпущены три иероглифа, вместо которых поставлено три крестика.

— Видите? И так в целом ряде мест! Здесь вот то же самое... Где же это?.. А, вот здесь, ну, что вы на это скажете?

Это была явно антивоенная заметка, подписанная именем Тосико. В ней были такие слова: «Н. сам посылает на смерть своих же собственных детей». Я сказа-

ла, что под словом «сам» можно понимать кого угодно, а в самой заметке нет ничего предосудительного.

— Да поймите же вы, наконец,— сказал Симидзу, резко нагнувшись вперед,— что если даже в этом предложении, взятом отдельно, и нет ничего особенного, то в общей связи со всем остальным оно недопустимо... И вообще, помещать статьи о войне запрещено.

— Странно,— сказала я.— Почитайте журнал «Кинга» или возьмите «Фудзин курабу»[1]. Ведь все они забиты статьями о войне, о войне пишут даже для детей.

— Бросьте шутить! — Симидзу неестественно громко расхохотался.— Весь вопрос в том, как об этом писать... То есть нельзя об этом писать так, как здесь у вас написано.

— Но ведь если мы ведем войну, то это не только не улучшает нашего тяжелого экономического положения, но, наоборот, ухудшает его. Это факт, который прекрасно известен вам, как и мне. Следовательно, действительность такова, что постепенно само собой всем становится понятно: война ведется не ради наших интересов. Так почему же вы говорите, что так думать нельзя? Прежде чем говорить, плохо это или хорошо, мы должны решить вопрос, каково действительное положение вещей, не так ли?

Симидзу вытер носовым платком скуластое лицо, затем, пряча платок в карман брюк, сказал, понизив голос:

— Хорошо, допустим даже, что действительность и такова. Но ведь есть же такие вещи, о которых нельзя говорить прямо. Ведь верно? А? Например, супружеские отношения,— это то, о чем знают все и каждый. Но ведь никто же не будет этим заниматься на глазах у людей. А? Не так ли? Бывают такие вещи, о которых неудобно говорить так, как они есть. Да? Вот в этом-то все и дело.

— Для кого же это неудобно?

Симидзу вдруг сказал:

— Вы знаете эти стихи?

Откинув назад голову с жесткими, торчащими ершом волосами и зажмурив глаза, он начал нараспев

---

[1] «Кинга», «Фудзин курабу» — буржуазные журналы.

декламировать какие-то китайские стихи. Смысл их сводился к тому, что в старину дети, уважающие своих родителей, с таким почтением относились к ним, что даже боялись произносить вслух их имя.

— Вам это понятно? А? Послушайте внимательно еще раз!

И он снова продекламировал стихи.

— Вот с каким настроением надо подходить к этим вещам! Э?

Он хотел сказать, что народ должен покорно позволять эксплуатировать себя и умирать, ничего не видя и не слыша, не говоря ни слова о захватнической войне в Маньчжурии, о жестоких лишениях, которые приходится переносить ради нее, об (императоре) [1], по приказу которого ведется эта война. Для разумного существа это совершенно невозможно. Я почувствовала, как мое сердце наполняется негодованием и ненавистью.

Допрос начался утром, когда еще не было и одиннадцати, а теперь уже шесть часов вечера. Ненависть заставляет меня быть стойкой и уверенной, я едва держусь на ногах, но продолжаю борьбу. Теперь вопрос идет о том, что я думаю о Компартии Японии. Я упорно стою на том, что Коммунистическая партия Японии — это не что иное, как политическая партия. Вопрос о ее легальности зависит только от обстановки в данной стране, но отнюдь не является каким-то свойством, присущим самой компартии. Симидзу зачитывает мне запись в чьем-то протоколе: «Компартия Японии является нелегальным тайным обществом» — и добивается, чтобы я согласилась с этой формулировкой. Одновременно он старается принудить меня подтвердить демагогическое утверждение, что «Хатараку фудзин» — это орудие коммунистической пропаганды. Тыча пальцем в папку с бумагами, он говорит:

— Посмотрите сюда! Здесь, в «Тайсю-но томо», ясно сказано, что это так.

— Если кто-нибудь так и сказал, то не могу же я повторять за ним, как попугай. Если, по вашему мнению, в письмах читателей и в других статьях «Хатараку фу-

---

[1] В тексте по цензурным соображениям слово «император» выпущено и заменено двумя крестиками.

дзин» говорится то же самое, что говорит компартия, то это означает только одно: что компартия отражает истинные мысли и требования масс. Причина этого не в компартии, а в конкретной жизни масс и в их требованиях.

Наконец допрос окончен, сейчас уже десятый час вечера. Мне объявляют, что, поскольку я несу ответственность за редактирование журнала, ко мне будет применена статья, карающая за оскорбление достоинства императора.

Я ужасно проголодалась и с аппетитом ем принесенную мне пищу. Симидзу же, сидящий напротив меня, ничего не ест, а только дымит папиросой. Выражение его лица постепенно меняется, мне уже не кажется, что половина его скуластой физиономии сведена судорогой, он бледен, чувствуется, что он устал, все ему надоело, его глаза помутнели. Он весь как-то обмяк и сидит, опустив плечи. Желтоватый свет лампочки без абажура светит прямо ему в лицо. Я продолжаю есть, запивая еду остывшим чаем.

III

После Первого мая меня стали допрашивать по совершенно другим вопросам. Теперь говорили уже о том, что я снабжаю компартию деньгами, и требовали, чтобы я призналась в этом. Я отвечала, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

Но Накагава настаивал:

— Ведь человек, который получал от тебя деньги, уже успел все нам рассказать, какой же смысл тебе упираться? Ты же этим ничего не достигнешь.

Он долго и нудно распространялся по поводу того, что мое здоровье уже подорвано, поэтому лучше возможно скорее сознаться, хотя бы для того, чтобы меня перевели отсюда в Итигая,— там и для здоровья будет лучше, и вообще там лучше, чем здесь, в грязной арестантской, и так далее, и тому подобное. Действительно, хотя сон у меня оставался нормальным и я старалась следить за собой, но в последнее время начала ощущать какую-то слабость в коленях, и мне стало трудно подниматься и спускаться со второго этажа.

Двенадцатого надзиратель сказал мне:

— Опять поймали кого-то из вашей братии!

«Что еще случилось?» — подумала я, обеспокоенная этим сообщением.

В особом отделении мне показали газету за одиннадцатое, в которой сообщалось о роспуске 5-го съезда Союза писателей.

— Хм, получается, что теперь весь ваш Союз пересажен в арестантские? Ха-хха-хха! — расхохотался начальник отделения.

Взяв газету, я несколько раз подряд перечитала то место, где сообщалось об аресте товарищей Хироси Кавагути, Токунага, Хасимото, Киси и других, и почувствовала, как близка мне борьба, которую ведут они.

Оказывается, съезд все же был созван,— весть об этом придала мне новые силы, воодушевила меня. Можно полагать, что и тот доклад женского комитета, который должна была написать я, но не смогла закончить, написал за меня кто-то другой. При этой мысли меня охватило чувство горячей радости. Там, на воле, товарищи продолжают нашу работу, моя же задача состоит в том, чтобы и здесь отстаивать наше правое дело. Твердо держаться до конца — вот мой долг. И я чувствовала, что способна выполнить его.

Вечером 15 мая до арестантской несколько раз доносился топот ног, как будто много людей взбегали по черной лестнице наверх. Затем все стихло.

На следующее утро дневальный, из тех, что питаются бесплатно по ресторанам, передавая мне завтрак через небольшое окошечко, сделанное в железной двери, сказал:

— Убит Инукаи.

Убит Инукаи, премьер-министр! Где убит? Когда? Сразу чувствовалось, что это дело рук какой-то реакционной организации. Когда дневальный подошел снова, чтобы налить мне похлебку из мисо, я сама спросила его:

— Где?

— У себя в резиденции... Говорят, что это дело рук военщины.

— Гм...

Узнав об убийстве Инукаи, я поняла, что обстановка сейчас тяжелая и напряженная. Молнией блеснула мысль о товарищах, ведущих борьбу в тюрьмах и арестантских, а также о бесчисленных безвестных революционных рабочих и крестьянах.

Шестнадцатого надзиратели в арестантской не сменялись и, возможно, для того, чтобы уклониться от вопросов и разговоров, все время дремали, уткнувшись в маленький столик.

Спустя несколько дней меня вызвали в особое отделение. Начальник отделения, выставив в усмешке свои пожелтевшие от табака зубы, спросил:

— Ну, как? Слышали?

— О том, что убит господин Инукаи?

— Да. Причем, по слухам, он убит потому, что была дана команда: «Огонь»! — многозначительно и с угрозой сказал он. Затем продолжал уже другим тоном: — Да, события так быстро развиваются, что, чего доброго, пока вы здесь сидите, так и отстать можете!

Он хихикнул.

Я попросила показать мне газету, и он протянул мне только тот лист, где сообщалось о том, что группа военных-террористов ворвалась в официальную резиденцию премьер-министра и застрелила его.

Начальник отделения снова обратился ко мне:

— Конечно, это меня не касается, но сейчас именно такое время, когда вы должны подумать о своем будущем. Обстановка не допускает оптимизма!.. Ну, а уж если вы хотите продолжать действовать так же, как до сих пор, то должны быть готовы к смерти.

Во время этого разговора он как-то странно понижал голос и растягивал слова.

Мне удалось просмотреть листовки, которые в тот день разбрасывали военные-террористы. Они были написаны каким-то пустым стилем экзальтированного провинциального гимназиста. Под трескучими лозунгами — «Долой финансовые клики капиталистов! За государственное управление производством! Создадим новую, бесклассовую Японию!» — чувствовалась попытка спровоцировать народ на вооруженное восстание.

Лозунги лозунгами, важно то, что за ними скрывается. Взять хотя бы государственное управление произ-

водством. Спрашивается, какое же государство и каким производством будет управлять? Или лозунг о «бесклассовой», «новой» Японии. Ведь от того, что военщина убила Инукаи и установит свою тиранию, классы не исчезнут. Таким образом, эти листовки только разоблачили до предела антинаучный характер фашизма.

— ...По-видимому, фашизм еще не создал своей теории... Но те, кто писал эти листовки, вероятно, как-то связаны с Акамацу и его сторонниками. Похоже, что он выступает в совершенно неожиданной роли!

Заинтересовавшись словами начальника об Акамацу, который недавно создал государственно-социалистическую партию, я спросила:

— В роли убийцы?

— Гм, этого я не знаю. Но ведь говорят же, что под руководством «Содомэя»[1] находятся пятьдесят тысяч человек. — Попыхивая папиросой, он продолжал: — И если эти пятьдесят тысяч человек приходят в движение, то как мы можем оставлять это без внимания?

Он замолчал и, скрестив руки на груди, пристально уставился на меня.

Я не опустила глаза. Мало-помалу скрытый смысл того, что он сказал, дошел до моего сознания.

Выждав немного, я сквозь зубы, как бы выжимая из себя каждое слово, ответила ему:

— Однако... Это ведь крайняя мера, пригодная лишь на время. История же будет идти вперед по своему пути. В царской России Зубатов тоже пытался сделать нечто подобное. Но русские рабочие преодолели это и создали свои Советы...

Смысл его слов, в общем, можно было расшифровать так: Акамацу по указанию военщины в день какой-нибудь революционной кампании спровоцирует восстание; сагитировав отсталых рабочих, примыкающих к «Содомэю», произведет нападение на какое-нибудь общественное учреждение. Тогда сразу распространятся демагогические слухи, что это восстание поднято комму-

[1] «Содомэй» — объединение профсоюзов в Японии, находившееся под руководством оппортунистов.

нистической партией. Под предлогом подавления восстания в ход будут пущены войска. Во время уличных боев будут зверски истреблены революционные рабочие, их авангард, будет введено военное положение и т. д. Чтобы создать предлог для осуществления подобных планов, Акамацу готов продать рабочих «Содомэя» по сходной цене.

Вернувшись в арестантскую, в глубоком раздумье шагая по своей кутузке, я забыла о времени.

«Хатараку фудзин» и подобные ему журналы должны еще более ясно, так чтобы было видно каждому, разоблачать подобные заговоры господствующих классов. Они должны активнее вести агитацию и пропаганду, чтобы не дать Акамацу и его приспешникам сыграть их отвратительную роль. Так думала я.

Приближался сезон «байу»[1], начались дожди. Накагава являлся раз в десять дней. Однажды он пришел в резиновых сапогах, и снова начался допрос о деньгах.

— Ведь ты же все-таки женщина! Будь дальновиднее, веди себя благоразумнее! Так ты только усугубляешь свою вину и вредишь себе.

— При чем тут дальновидность, что я могу поделать, если нет фактов?

Усадив меня на стул, он при мне позвонил по телефону в особый отдел:

— Извините, вызовите, пожалуйста, к телефону Таnаси... Да, алло! Говорит Накагава. Не можете ли вы забрать завтра рано утром Тамики Хосода? А? Да. Есть два Хосода, так нужен тот, которого зовут Тамики. Заодно обыщите его квартиру. Так, пожалуйста, прошу вас!

По-видимому, он умышленно отдавал этот приказ при мне.

— Это тоже один из той цепочки, которую мы вытягиваем, — сказал он. Вынув из кармана пилюли «Дзинтан» в маленькой красной коробочке и положив несколько штук в рот, начальник продолжал с издевкой: — Что ж, попробуем действовать таким образом! Ведь по

---

[1] Б а й у — сезон дождей в мае — июне месяцах.

буржуазным законам достаточно нашего определения, чтобы передать твое дело в суд, а сознаешься ты или нет — не имеет значения.

— Ничего не поделаешь, — сказала я.

— Если ты отрицаешь все и говоришь, что фактов нет, нам не остается ничего иного, как дать тебе очную ставку с этим человеком. Ты говоришь, что он несет вздор. Пусть он уличит тебя.

Я знала, что слова о буржуазных законах были не только угрозой. По существующим в полиции порядкам, например, в случае ареста разрешается сообщить об этом ближайшим родственникам. А между тем надзиратели только изредка спрашивают арестованного:

— У тебя есть кто-нибудь, кому можно сообщить?

Чаще всего они приказывают:

— Пиши здесь: «Сообщить некому».

Неопытный человек не знает ни своих прав, ни как ими пользоваться и делает все так, как ему говорят. Правда, в данном случае, когда Накагава объявил, что для осуждения достаточно определения полиции, я, руководствуясь простым здравым смыслом, решила, что такого нелепого правила не может быть, и просто не поверила ему.

— Кажется, ваша братия в культурных организациях должна бы разбираться в таких вещах, но вы ничего не понимаете. Вот Манабу Сано[1] — это молодец! Он говорит, что ничего не получится, если не будет втянуто возможно больше людей! Без этого, говорит, Компартия Японии не сможет стать сильной.

Так он агитировал меня, искажая по-своему лозунг о привлечении масс к компартии.

В заключение Накагава сказал, ядовито улыбаясь:

— Подумай как следует на покое. Ты все пытаешься сопротивляться в одиночку, а что в этом толку? Ведь все равно другие твои товарищи не думают, что ты так упорствуешь... Труды твои напрасны!

В это время вместе со мной в камере сидела воровка, имевшая пять судимостей. Я расспросила ее о тюрь-

---

[1] Манабу Сано, или Гаку Сано, — ренегат, бывший член ЦК КПЯ.

мах в Тотиги и в Итигая, и она мне рассказала, что перед тем, как попасть в тюрьму в Тотиги, она сидела в тюрьме Итигая, где познакомилась с товарищем Сэцу Танно и другими передовыми женщинами.

От нее же я узнала, что раньше женщинам-заключенным в Итигая давали для мытья в бане воду, в которой была разведена сода, а потом соду заменили куском щелочного стирального мыла. Товарищ Танно и ее подруги возмутились: «Где это видано, чтобы человеческое тело мыли бельевым мылом?» Теперь заключенным дают туалетное мыло «Као сэккэн».

— О, это сильные люди, поэтому они и добились своего, — добавила она в заключение.

В тоне, каким были сказаны эти слова, чувствовалась гордость за то, что она встречалась с ними.

— Когда в тюрьме оказалось много таких людей, нам всем стало куда лучше! Бывало, начнет надзирательница издеваться над нашей сестрой, они тут как тут... Сейчас же с протестом и выкладывают все до конца прямо в глаза, какой бы большой начальник перед ними ни был. Их там просто боятся.

Она рассказала, что однажды надзирательница, не имея на то никаких оснований, ударила заключенную. Политические, находившиеся в одиночных камерах, выступили с коллективным протестом. Поднялся невообразимый шум. Подавить волнение удалось только после того, как на помощь была прислана охрана из мужского отделения.

— Ого-го, что там только было! — рассказывала она. — Одна надзирательница так перепугалась, что упала в обморок!

Долгое пребывание в тюрьме успело отразиться на этой женщине, и она казалась гораздо старше своих двадцати восьми лет. Одетая в светлое кимоно, совсем не гармонирующее с ее костлявыми плечами, она с большой теплотой делилась своими воспоминаниями, все время при этом потирая руки:

— По правде говоря, если попадешь в такое место, то невольно станешь «красной». Уж очень обращение там жестокое, относятся не как к людям...

Надзирательницы особенно строго следили за тем, чтобы женщины-заключенные не путали свои шесты для сушки белья с шестами для сушки белья надзиратель-

ниц. Если арестантка по рассеянности вешала свое белье на шест надзирательницы, та сразу же начинала кричать:

— Эй, эй! Кто напутал? Кто развесил здесь свое грязное тряпье?

Виновную заставляли немедленно снять белье и тщательно вымыть шест с мылом.

В тюрьме не раз ходили слухи, что эти же надзирательницы преспокойно присваивают себе часть денег, которые получают на покупку okономоно или окадзу[1] для арестованных. Деньги небось не грязные!

Заключенные, как правило, страдали от недостатка сахара, поэтому все радовались, когда им давали сладкую вареную фасоль. Но надзирательницы разносили по камерам только часть, а во время перерыва спокойно распивали чай с присвоенной фасолью.

Если заключенным полагалось по четыре ломтика квашеной редьки или огурца, то они отдавали только по три, а остальное оставляли себе.

— Чтобы мы случайно не увидели, чем они занимаются, надзирательницы заставляли нас во время перерыва следить, в каких камерах переговариваются друг с другом женщины-коммунистки. Но никто из нас таких поручений не выполнял. А если и находились некоторые, так им за это доставалось.

Однажды, когда мы тихо беседовали с моей соседкой, вдруг раздался окрик:

— Что это такое? Ты лекцию читаешь?

Оказалось, к нам незаметно подкрался и прижался грудью к сетке тот самый краснолицый надзиратель, бывший моряк, который когда-то избил Сова.

— Прекратить!

Этот надзиратель никогда не разрешал мне петь. Даже в те минуты, когда я тихонько напевала про себя, уверенная, что никому не слышно, он незаметно подкрадывался, и немедленно раздавался его рев: «Эй, там!»

Но стоило ему отойти, как из камеры № 2 раздавались голоса, в которых слышалось еле сдерживаемое беспокойство:

---

[1] Окономоно — квашеные овощи: огурцы, редька; окадзу — закуска к рису — рыба и т. п. *(Прим. перев.)*

— Не надо его раздражать! Он такой злой!

Этот человек всячески издевался над заключенными. Так, например, зная, что заключенные мучаются без табака и всегда хотят курить, он нарочно под самым их носом, стоя возле частой металлической сетки, открывал портсигар, поворачивая его так, словно хотел предложить закурить, затем вынимал сигарету и стучал ею по крышке портсигара. Сам он не курил, но специально для этой цели всегда носил с собой никелированный портсигар, в котором болтались две старые замызганные сигареты.

— Какой отвратительный! — прищелкнув языком, промолвила пятидесятилетняя женщина, сидевшая под арестом за то, что помогала ворам сбывать в ломбарде краденые вещи.

— Нигде я не встречала таких людей, как здесь! — вздохнув, сказала молодая арестантка из официанток, поправляя свой узенький поясок. — Все эти полицейские и всякие там сыщики, — продолжала она, — здесь ходят с важными лицами, а стоит им прийти к нам в кафе, так наплачешься с ними. Уж так пристают, что не отвяжешься! Если держаться с ними официально, так врагов наживешь, если же обращаться попроще, то начинают приставать, как к проститутке. А то, что они пьют и едят в кафе в долг, а потом не платят по счету, — так это сплошь да рядом бывает!

В полицейский участок больше всего попадает официанток. Из остальных женщин, как говорят, восемьдесят процентов приходится на сводниц, проституток, подпольных абортмахеров и так далее. В этом находит свое отражение характерная для капиталистического общества трагическая судьба женщин.

Меня вызвали. Я думала, что, как всегда, поведут на второй этаж. Но начальник встретил меня на лестнице.

— Пришла ваша мать, — сказал он и, пригладив рукой коротко остриженные волосы, спросил: — Желаете с ней встретиться?

Я заколебалась: мне хотелось уклониться от свидания, и в то же время в душе загорелась какая-то неясная надежда...

— Да, хочу.

Пройдя по бетонному переходу, мы вошли в главное здание полиции, выходившее на улицу. Там, выстроившись в ряд, стояли полицейские в форме и «выполняли свои обязанности в интересах граждан». Рядом находился кабинет начальника участка. Открыв дверь, я увидела мать, сидевшую возле большого стола, ближе к входу. Она повернула ко мне поблекшее лицо и не спускала с меня глаз, пока я не села. При этом она не шелохнулась и продолжала сидеть все так же прямо.

— ...Что же случилось? Дочка, Юри-тян... Как же это так?

Начальник особого отделения на цыпочках проскользнул в угол кабинета и оттуда следил за мной. Начальник участка сидел напротив, развалившись на вращающемся кресле и засунув руки в карманы брюк.

— Ну, как дела? — спросил он, увидев меня.

— Ничего... Как твое здоровье? — обратилась я к матери.

Свидание с ней в такой обстановке давит меня, как тяжелый груз. Мы уже больше десяти лет живем отдельно, каждая своей жизнью. И даже сейчас в полиции я не могу отделаться от ощущения, что здесь происходит столкновение двух разных миров.

— Может быть, ты уже привыкла к такой жизни, — говорит мать, пристально вглядываясь в меня, — но право, я даже не пойму, кому из нас приходится тяжелее! Когда бы мы с тобой ни встретились, ты всегда спокойно улыбаешься...

— Почему я должна плакать, мама?

Мне очень трудно, но я громко смеюсь и сразу перевожу разговор на совершенно не интересующие меня темы: спрашиваю о собачке, о занятиях сестренки и так далее. Боясь, как бы мать не сказала от волнения что-нибудь лишнее, я стараюсь ни словом не обмолвиться о моей жизни в арестантской.

Во время разговора я то и дело поглядываю на сестру, которая скромно ожидает, положив на колени сумочку матери. Воспользовавшись заминкой в нашей беседе, она, выразительно взглянув на меня, бросает:

— Как ты похудела...

На ее губах, вокруг которых заметен мягкий пушок, появилась смущенная улыбка.

— Да-а? — медленно отвечаю я тоном, которым хотела дать понять, чего мне хочется от нее, и берусь за щеки. — Ну, а у вас все по-старому? Никаких перемен? А мне здесь все время твердят: «Говори, говори!» — и хотят, чтобы я рассказала о вещах, о которых и понятия не имею. Просто не знаю, как быть.

— Да что ты? — восклицает испуганно сестра, широко раскрыв глаза.

— Значит, у вас никаких перемен нет?

Я стараюсь говорить многозначительно, хочу дать им понять, что имею в виду, но сестра, не привыкшая к такого рода разговорам, не может понять меня. Ну, а мать, как и всякая мать, не может найти слов, чтобы выразить свои чувства, и только нервно шевелит пальцами ног в белоснежно-белых таби. Конечно, и мать и сестра полны тревоги за меня, и им жаль меня, но у них нет ни решимости, ни достаточной энергии, ни твердости, чтобы по-настоящему использовать такую редкую возможность, как эта встреча, и они не знают, как это сделать. Но мать с ее характером уже не в силах притворяться, болтать о собачках и прочих пустяках, она нервничает и, наконец, пытается вызвать меня на спор:

— Послушай же меня! Да если бы я только была уверена, что ты права, я бы с радостью хоть ступенькой для тебя стала, — наступи на меня и поднимайся. Мне своей жизни не жаль, все равно сто лет не проживу. Но я решительно не могу понять, что думаешь ты о государственном строе?

При этих словах начальник участка шевельнулся на своем кресле, а начальник особого отделения сжал губы, над которыми торчали редкие с проседью усы.

— ...То же, что и раньше, — сказала я, стараясь подавить в себе закипающее отвращение и злость ко всей этой сцене. Горько усмехнувшись, я добавила: — К чему в таком месте начинать эти споры? Они ни тебе, ни мне не нужны, лучше прекратить все это.

Мать недовольна, до нее еще не доходит полностью смысл происходящего, но инстинктивно она чувствует, что такой разговор может привести к новым неприятностям, и замолкает.

Наша семья не принадлежала к классам эксплуатируемых. Мать была далека от реальной общественной жизни и оставалась постоянным членом реакционного общества «Кодокай» [1], основанного ее отцом. Ее представления о марксизме исчерпывались сведениями, которые преподносили ей в своих изысканных беседах профессора и титулованные особы, составлявшие ее общество. Она всегда интересовалась литературой и, с тех пор как у нас завелись деньги, всецело отдалась этому увлечению.

Мать была консервативна, и хотя сильный характер помешал ей превратиться в религиозную ханжу, разглагольствования о государственной системе стали ее излюбленным занятием.

Посоветовав матери идти домой, пока она окончательно не выбилась из сил, я распрощалась с ней. Когда я, шаркая спадавшими с ног тростниковыми дзори, возвращалась по тому же бетонному переходу, начальник, сопровождавший меня, сказал:

— Ну-с? А все-таки этот мир устроен цинично, не так ли? Вот ваша мамаша беспокоится о вас и всячески пыталась разговориться с вами, а каков результат? Выявились ваши разногласия, только и всего. — Он захихикал.

У себя в камере я продолжала думать об этом свидании. Как много семейств в средних слоях населения так или иначе разрушаются, сталкиваясь с этими вопросами! А враг между тем не дремлет: он немедленно старается извлечь из этого пользу для себя.

Крик девушки из кафе, сидящей напротив, прерывает мои размышления.

— Не надо, страшно! — Она сжимается, закрывая лицо рукавом кимоно.

Я вздрагиваю и прихожу в себя:

— Что случилось?

— Какими страшными глазами вы уставились на меня...

— Да? Неужели? — Я невольно от души рассмеялась. Оказывается, погруженная в свои мысли, я не заметила, что в упор смотрю ей в лицо.

---

[1] «Кодокай» — «Общество распространения добродетели».

Нас осталось трое в камере. Все уже спали, как вдруг с грохотом распахнулась дверь и послышался недовольный голос надзирателя:

— Входи, входи!

Сквозь сон смутно слышу, как кого-то вталкивают в камеру. Через закрытые веки проникает желтый свет электрической лампочки. Еще раз слышится скрип открываемой двери — теперь в соседней камере. «Новенькие», — думаю я, отодвигаюсь, чтобы дать место, и снова засыпаю.

Когда долго сидишь в арестантской, начинаешь безразлично относиться к появлению в камере новых людей и даже чувствуешь недовольство оттого, что тебе помешали.

Наступило утро. В глубине камеры, съежившись, стоит молодая женщина с всклокоченными волосами, прибывшая ночью. Она прижимает к щеке мокрое полотенце. Мы убираем постели.

— У нее такая страшная рана! — украдкой шепчет девушка из кафе и, схватив в охапку вонючий тюфяк, выходит в коридор.

По виду этой женщины с бледным тонким лицом чувствуется, что она имеет какое-то отношение к левому движению.

— Вы ранены?

Она молча кивает головой. Подхожу к ней и смотрю. Ужасная рана! У меня вырывается:

— Вас били?

Она снова кивает головой, и где-то в глубине ее печальных глаз светится слабая улыбка. Грудь и часть подола ее светлого летнего кимоно залиты кровью.

— Ну, как? — спрашивает, подходя к камере, надзиратель.

— Позовите врача, — с трудом шевеля языком, просит она. — Может начаться загноение... У меня разорваны десны и мышцы щек.

— ...Не надо глотать чего не положено!

— Позовите, пожалуйста, врача! Прошу вас.

— Попробую, скажу.

Подсев ко мне и поджав под себя изящные босые ноги, она с беспокойством спрашивает:

— Наверное, дадут слабительного?

— Что вы проглотили?

— Комок станиоли... Я отпиралась, говорила, что не глотала, но...

Она рассказала мне, что вчера она работала до полуночи с товарищем, тем мужчиной, которого привели во 2-ю камеру. Когда они, окончив работу, уже собирались ложиться спать, к ним с шумом, прямо в грязной обуви, ворвались несколько человек. Заметив, что она что-то быстро засунула в рот и проглотила, они набросились на нее и стали избивать. Ее били, пинали ногами, а один из них засунул ей в рот трость и стал ворочать ею в горле и во рту, чтобы вызвать рвоту.

— Какая досада! — сказала она. — Ведь как раз сейчас начинает бастовать городской трамвай!

При каждом стуке в двери арестантской она поднималась и смотрела в ту сторону.

— Сейчас, наверное, начались аресты, забирают одного за другим прямо с работы.

После того как в январе месяце забастовка в Хироо была сорвана в результате предательства со стороны Синода Ямасита и других руководителей «Токо», волнения по всей линии не прекратились, рабочие продолжали сопротивляться мероприятиям «чрезвычайного времени».

Около полудня привели двух молодых людей с аккуратными проборами на голове. Они были в форме кондукторов трамвая. Пока один из них называл надзирателю свою фамилию, имя и адрес, другой, украдкой поглядывая в нашу сторону, сделал какой-то знак. Женщина, по-прежнему прижимая смоченное водой полотенце к щеке, подошла вплотную к сетке и остановилась. Вновь прибывших рассадили по разным камерам.

— Как досадно! Ведь оба они такие надежные товарищи из Н-ского трамвайного парка!

В этот день заключенных в арестантской было сравнительно немного, и поэтому настроение надзирателя было мирное. Воспользовавшись этим, мужчина, посаженный ночью, завел с ним разговор. Он рассказывал ему о работе служащих государственных железных дорог,

об их положении и, по-видимому, ловко использовал этот рассказ для того, чтобы сообщить что-то важное моей соседке по камере, потому что она, внимательно выслушав его, обратилась ко мне:

— Слышите, что он говорит?

Ее лицо осветилось улыбкой надежды.

Вечером меня вызвали на второй этаж. Сотрудник особого отдела по фамилии Нисиката спросил меня:

— Что делает женщина, которую привели вчера?

— Она в ужасном состоянии — с утра ничего не ест, она не может есть.

— Скажите, что ей можно купить чего-нибудь мягкого. Ведь она все-таки человек, разве можно с людьми так обращаться!

А ведь запихивал ей в рот трость и нанес ей такие раны не кто иной, как он сам!

Вернувшись в камеру, я сразу же сказала моей новой подруге:

— Попросите, чтобы вам купили хлеба и молока. Вы сможете есть хлеб, размачивая его в молоке.

— Пожалуй, я так и сделаю. Послушайте, купите мне молока и хлеба, — обратилась она к надзирателю, сидевшему у столика, подперев щеку рукой.

— Нельзя, надо спросить разрешения.

— Можно! Мне сейчас наверху сказали, чтобы я передала вам об этом.

— А деньги есть?

— Есть, наверху есть.

Лениво привстав, надзиратель позвал обслуживающего:

— Эй, папаша!

Через три дня товарищи из профсоюза были переведены в полицейский участок Цукисима.

Обращаясь к оставшейся в нашей камере женщине, надзиратель сказал:

— Я думал, что ты «голубок» [1], а ты, оказывается, вон какая важная птица! А?

---

[1] «Голубок» — то есть связник.

— Нет, «голубок»! — Она тихонько засмеялась, по-прежнему держа у щеки полотенце.

Постепенно мы с ней разговорились.

— Когда я попала сюда, то очень удивилась, что вы все еще здесь. Я думала, что вас уже давно выпустили...

— Что поделаешь, не выпускают, вот и сижу себе спокойно.

Как-то однажды, вскоре после того как Накагава начал допрашивать меня относительно денег, начальник особого отделения заявил мне:

— Знаешь ли ты, что тот студент Токийского университета, которого мы забрали у тебя на квартире, теперь, говорят, полностью капитулировал. А ведь как крепко держался здесь, в арестантской...

Я равнодушно ответила:

— Чепуха!

— Ведь он — крупная фигура, а теперь начисто от всего отказывается, просто поразительно. За последнее время таких случаев еще не было.

Уже больше двух месяцев я ни разу не была в бане. Кожа на ногах шелушилась, и когда я, счищая отстающие кусочки кожи на туалетную бумагу, сказала своей соседке по камере, что я «сижу себе спокойно», меня вдруг обожгло воспоминание о словах начальника отделения. Он угрожал, что в случае отказа от признания по поводу денег меня не отпустят, хотя бы пришлось держать здесь полгода. И вот я сижу, предоставленная самой себе. По-видимому, между этим студентом и вопросом о деньгах имеется какая-то странная связь. Но я об этом не имею ни малейшего представления. Я не знаю, кто он, откуда, о чем и как он давал показания? Поэтому мне не остается ничего иного, как твердо стоять на одном: чего не знаю, того не знаю.

Моя новая подруга как-то сказала мне:

— Один тип из главного управления, увидев меня, был очень удивлен и сказал: «Что это такое? Ты уже здесь?»

И она рассказала, что когда ее арестовали первый раз, то прямо из полиции отвезли на станцию, посадили на поезд и отправили на родину, к родителям. Она была образцовой сестрой в железнодорожной больнице и некоторое время училась на вечернем курсе университета Нихон дайгаку.

— Там читали такие несуразные лекции по социологии, что просто удивительно. Я стала думать над этими вопросами, а потом это привело меня сюда. — И, рассмеявшись, добавила: — Ведь если сама работаешь, то, будь ты какой угодно дурой, все равно начинаешь разбираться. Верно?

В разговоре с ней мы коснулись и кружков. В работе кружков культурных организаций новая линия стала проводиться в жизнь еще совсем недавно. Возможно, что этим и объясняется тот факт, что работа кружков еще не увязана в достаточной степени с агитационно-пропагандистской деятельностью профсоюзов и не используется для нее.

— В плане вашей работы этот вопрос ставится серьезно?

— Да как вам сказать... — Она задумалась. — По-настоящему до этого еще не дошло, — и затем откровенно созналась: — Да, в вопросе о культурных организациях мы еще ничего не сделали.

Однако на некоторых предприятиях, связанных с транспортом, уже имеются кружки. Я сказала ей об этом и потом, рассмеявшись, спросила:

— Вы знали об этом? Нет?

— Нет, не знала.

— Мне кажется, что мы до сих пор кое в чем вредим друг другу. Ведь если мы относимся с предубеждением друг к другу, то некоторые типы только радуются этому.

— Досадно, как подумаешь об этом!

Так мы с ней ведем беседу, а через решетку, под самым потолком камеры, слева от металлической сетки, виднеется кусочек пирамидального ильма, ветки которого, покрытые молодой зеленой листвой, светятся каким-то таинственным внутренним сиянием.

Меня снова ведут в особое отделение. Войдя, я заметила сидевшего ко мне в профиль человека и широко открыла глаза от изумления: это был отец той девушки из метро, которая когда-то сидела со мной.

— Так обстоят дела, изволите ли видеть. Что касается меня, то я думаю, что, может быть, она уже мертва. Пожалуйста, прошу вас: поступайте как найдете нужным.

Я развернула газету, лежавшую рядом на столе.

— Нет, что вы... Хотя... Что же нам делать? — сказал начальник особого отделения с обычной кислой миной, поправляя борта своего серого летнего пиджака.

— А что-нибудь необычного при этом вы не заметили?

— В тот вечер она вела себя, как всегда. Я следил за ней, не спуская глаз. Вернувшись из бани, она поднялась на второй этаж. Тогда мы успокоились и ушли в заднюю комнату, и тут, за эти несколько минут, она, видимо, и успела уйти из дома.

Я хорошо представила себе настроение девушки, оказавшейся под неотступным и надоедливым надзором отца. Мне вспомнилось ее пухлое личико с выдающимся подбородком, выражавшее раздражение и гнев.

Я слушала этот разговор и думала: «Не может быть, чтобы ее действительно уже не было в живых». И вместе с тем я не представляла себе, как она могла решиться убежать к своим подругам, которые так твердо держались во время забастовки, порвать с родителями и начать новую жизнь. Это было совершенно не похоже на нее.

Отец рассказывал, что он уже ходил к дочери на работу, пытался протестовать и объяснять.

— Я им говорю: «Раз уж вы ее увольняете, так надо было подумать о том, что она еще молода и ей жить надо...» Ну а там то же самое. Говорят, что жаль, мол, что так получилось, ну и все такое... Да, дела!

Ее отец, маленький, похожий на мелкого торговца, разговаривал, сидя на краешке стула и выпятив грудь. Воротник его летнего костюма был распахнут, из-под него виднелась нижняя рубашка. Заметно было, что, не-

смотря на свою склонность к самоуничижению, этот человек протестует и не хочет скрывать этого.

Начальник отделения задал несколько вопросов. Но по выражению его лица было ясно, что в действительности у него нет никакого желания чем-нибудь помочь старику. Меня раздражало и выводило из себя поведение отца. Почему он прямо и открыто не спросит их в лицо: «За что вы убили мою дочь?» Почему он не заявляет свой протест прямо?

Наконец, не добившись ничего определенного, он сказал:

— Так вот, таково положение. О чем я вам пока и докладываю.

Вложив в слова «я вам пока докладываю» всю свою трусливую ненависть, на которую, впрочем, его собеседник не обратил ни малейшего внимания, отец ушел. Тогда начальник отделения, повернувшись на стуле, обратился ко мне:

— Ну как? Что вы чувствовали, когда слушали этот разговор?

— Чувствовала все большее и большее отвращение ко всем вам.

— Гм. Я тоже бесконечно ненавижу вас. Сагитировать такую безобидную девушку и втянуть ее в забастовку — чья это работа?

— Когда происходила забастовка, ее отец не пришел в полицию и не попросил, чтобы вы прекратили забастовку. Об этом попросила компания. И полиция взяла на себя этот труд, чтобы оказать услугу компании. Не так ли? А если говорить об истинных чувствах ее отца, то он приходил сюда лишь для того, чтобы бросить вам в лицо: «Что вы делаете?»

Я замолчала и стала читать газету. Но сердце мое было занято одной мыслью, глубоко волновавшей меня, и некоторое время я больше ни о чем не думала.

Это было позавчера. С утра шел унылый мелкий дождь. В арестантской сыро, грязные циновки, как пластыри, липли к подошвам ног. В дождливые дни арестантская производит такое же впечатление, как промокший насквозь курятник. Стояла тоскливая тишина.

Около трех часов меня вызвали. Поднявшись в своих шлепающих тростниковых дзори на второй этаж, я увидела мать, которая с тоскливым видом сидела на полу у окна. Перед ней, аккуратно сложенный, лежал дождевик оливкового цвета. Шпик, который привел меня сюда, сказал:

— Ну, вот... — И к моему удивлению оставил нас наедине. Правда, при этом он остался в соседней комнате, дверь в которую не закрыл.

Я села и обратилась к матери:

— Что-нибудь случилось, что ты пришла в такую скверную погоду?

Она не сразу ответила:

— В такую погоду я не могла спокойно сидеть дома!

В ее словах мне почудилось приятное тепло, которого я была лишена так долго, что уже перестала тосковать по нему.

— Спасибо. Извини, что я доставляю тебе такое беспокойство.

— Ведь мы, родители, глупый народ.

— Что ты, мама, что ты... В нынешние времена всякое может случиться.

Я взяла руку матери и, увидев, что кольцо на одном из ее пальцев перевернулось, поправила его. Из окна виднелась мокрая от дождя аллея гинко, пешеходы с раскрытыми зонтиками, витрина электромагазина, украшенная круглыми оранжевыми абажурами... Мне, привыкшей к мрачной зловонной атмосфере тюрьмы, все это казалось на редкость красивым.

Мать, бросив взгляд на дверь, спросила шепотом:

— Где этот, который с тобой пришел?

— Он там.

Мать, держа руку у груди, пальцем поманила меня. Я тихонько придвинулась. Кровь бросилась мне в лицо: кто знает, может быть, она пришла ко мне в этот дождливый день для того, чтобы принести долгожданную весть? Я вплотную придвинулась к ней и, сделав вид, как будто поправляю воротник ее хаори, шепотом спросила:

— Что?

— Почему ты... — проговорила она и снова посмотрела мне в глаза. — Почему не расскажешь им всего?! — закончила она с силой, нагнувшись вперед.

Я была так поражена, что невольно отшатнулась и, взглянув на бледное лицо матери, спросила:

— Чего всего?

— Как чего? — Она с досадой сдвинула брови. — Ведь говорят, что двое ваших уже полностью сознались. Раз ты что-то давала, так и скажи, что давала. Достаточно тебе попросить за это прощения, и тебя сразу же отпустят домой. Мне так говорил человек из Токийского полицейского управления!

Я вся горю и в то же время чувствую, как внутри меня поднимается безудержная ледяная дрожь.

— Ты для того и пришла, чтобы сказать мне это?

— Что ты так страшно на меня смотришь?.. Ну, подумай... — Она понижает голос до шепота, но настойчиво твердит: — Они мне говорили, что это для твоего же здоровья! Подумай об этом...

Какая-то животная ярость заливает все мое существо, я ощущаю ее даже в ладонях рук. И в то же время не могу оторвать взгляда от растерянного лица матери — конечно же, она сама не понимает всей низости своего поступка и продолжает думать, что она права. Мне хочется вцепиться в горло тем, кто использовал мать как марионетку.

Отчеканивая каждое слово, я говорю:

— Ни денег, ни чего другого я не да-ва-ла! Поняла? Я ничего не да-ва-ла! — И затем, еще ближе придвинувшись к матери, шепчу ей на ухо: — Мама, понимаешь ли ты, какую роль они заставили тебя играть? Роль провокатора! Они всегда стараются использовать родителей, которые, не разбираясь ни в чем, думают только о том, как бы выручить своих детей. Прошу тебя, не поддавайся им...

За дверью послышался кашель. Я отодвигаюсь и, не спуская глаз с матери, говорю:

— Поняла?

Она, часто заморгав, отвернулась от меня с обиженным видом. Затем, пошарив в кармане рукава, вынула платок и заплакала. Но я прекрасно понимала, что это не слезы раскаяния,— нет, она плачет совсем не потому, что поняла меня...

Когда мать ушла, начальник отделения крикнул мне:

— Отдохните здесь немного!

— А что случилось?

— Гм!

— Что значит ваше «гм»? Я не понимаю.

Вдруг я замечаю, что на столе цензора лежит июньский номер «Пролетарской культуры». Я беру его горячими руками и, перелистав, вижу фотографии, снятые на 5-м съезде. На одной из них, хотя она и не достаточно четка, можно было различить товарища Эгути. Как всегда, в белом воротничке, он стоит на трибуне в своей привычной позе, немного изогнувшись. Кругом толпится народ. В начале номера редакционная статья: «Смысл репрессий, и как мы должны организовать свой ответный удар против них». Я с жадностью прочитала ее. В ней говорилось о непреклонной борьбе товарища Курахара и многих других. Упоминалось и мое имя. Я читала, и глаза мои наполнились слезами. Но было бы святотатством показать эти слезы полицейским... Я повернулась спиной к начальнику отделения.

То, что казалось совершенно невероятным, было фактом: один человек настолько низко пал, что упомянул о деньгах, которые я как-то дала взаймы одному товарищу из Союза писателей. Это и привело к тому, что меня стали допрашивать о деньгах.

Два дня спустя Накагава, прервав протокол, злобно взглянул на меня и сказал:

— Ну, теперь ты должна как следует подумать о своем будущем, оно зависит только от твоего решения... — Он отложил автоматическую ручку и закурил папиросу. — Подумай хорошенько, прежде чем отвечать, так как сейчас решается вопрос, вернешься ты домой или нет.

Около семи часов вечера. В грязной комнате особого отделения тихо, в другом конце комнаты сидит за столом и что-то пишет дежурный.

Меня спрашивают, могу ли я дать слово, что не буду заниматься нелегальной деятельностью.

Я твердо отказываюсь:

— Нет, такого обязательства я дать не могу. Где грань между легальным и нелегальным — решаете совершенно произвольно вы, так что этого узнать невозможно.

Я прошу записать в протокол, что я, как писательница-марксистка, считаю своим долгом неуклонно ра-

ботать в интересах разумного культурного строительства.

— Так... — говорит Накагава, попыхивая папиросой, и, еще раз просмотрев записанное, спрашивает: — А не исправить ли это место? — Стряхнув с папиросы пепел, он показывает ею на слова «как писательница-марксистка».

— Нет, я этого изменить не могу, — отвечаю я.

— Что же, оставить так?

— А почему бы и нет?

Скривив губы, он замечает:

— Писатель-марксист — это в конечном итоге то же самое, что писатель — член партии.

— Я говорю буквально, как написано: писательница-марксистка.

Накагава молчит, затем, сунув папиросу в рот и прищурив глаза, чтобы в них не попал дым, начинает укладывать линованную бумагу.

— Не знаю, сможешь ли ты после этого выйти отсюда. Но будь по-твоему. Мне все равно, как ни написать. Не так ли?

Он смеется так, что виден кончик его черного языка.

Больше Накагава не появляется, и я действительно не знаю, освободят меня или нет. В долгое послеполуденное время я слежу, как медленно ползут стрелки на часах в арестантской, и меня охватывает чувство жгучего беспокойства. Так со мной еще не бывало. И я понимаю, что враг сознательно и планомерно старается вызвать во мне это чувство нервного нетерпения.

Двадцатого июня, взяв в руки газету, я невольно радостно восклицаю:

— О-о!

Лицо у меня вспыхивает: 19-го числа открылся расширенный пленум центрального совета Японского союза пролетарской культуры. Правда, его сейчас же разогнали, но была проведена еще невиданно смелая в истории культурных организаций демонстрация. Сообщения об этом напечатаны в газете под крупными заголовками. Здесь же помещена фотография зала в театре Цукидзи сёгэкидзё, где происходило собрание, снятая в тот момент, когда в зале наступил полнейший беспорядок. Сотрудник особого отдела Токийского по-

лицейского управления Ямагути разбил голову студенту. В газетной заметке было написано, что Ямагути, размахивая толстой палкой, вскочил на стул и вне себя от ярости ударил по голове ни в чем не повинного студента университета Мэйдзи. Студент упал без сознания. Между строк можно было прочесть, как возмутились массы и растерялась полиция.

— Это уж предсмертный крик! — сказал начальник отделения, искоса взглянув на мое вспыхнувшее, просиявшее лицо.

Я не ответила, читала и не могла оторваться от газеты.

Двадцать восьмого июня мне была возвращена свобода. Мой арест длился восемьдесят два дня.

1933

ГРУДЬ

I

Послышался неясный шум... Вот он повторился уже отчетливее... Бессознательно прислушиваясь, Хироко медленно, с трудом освобождалась от цепких объятий глубокого сна, каким спят только очень утомленные люди.

Она открыла глаза. В комнате было темно, болел затекший затылок. Хироко вдруг показалось, что постель лежит не так, как она ее стелила, и она не сразу сообразила, в какую сторону повернуто изголовье, хотя находилась, как обычно, в своей комнате.

Лежа с открытыми глазами и прислушиваясь, Хироко убедилась, что странные звуки не почудились ей. Они не были похожи на шум, который поднимают кошки, бегая по цинковой крыше, и доносились откуда-то со стороны кухни в нижнем этаже.

Хироко отбросила одеяло, взяла хаори, лежавшее в ногах, и встала, просовывая руки в рукава. Рядом спала другая воспитательница — Тамино. Осторожно нащупывая путь в темноте, Хироко на цыпочках направилась к выходу, но покачнулась и зацепилась за какой-то предмет.

— Что случилось? Может быть, зажечь свет? — сонным, чуть хриплым голосом спросила Тамино.

— Подожди...

Вряд ли в дом могли забраться воры, но на душе у Хироко было неспокойно. В сентябре у токийских трамвайщиков начался конфликт с администрацией, и служащие детского сада, где работала Хироко, поддержали их. Старшую воспитательницу Кин Савадзаки арестовали. Затем в детском саду в самое неурочное время стали появляться переодетые полицейские. Было противно и унизительно, когда они нагло входили в дом, неуклюже оправдываясь тем, что на стук никто не отвечает, и они хотят узнать, куда запропастились хозяева. Хироко тревожило еще одно обстоятельство. Детский сад задолжал за помещение, возникли трения с домохозяином. Фудзии, местный мелкий домовладелец, не так давно рядом с вывеской «Целебные травы с горы Митакэяма» приколотил еще одну, оповещающую, что теперь здесь помещается второе отделение общества «Тюсэйкай» [1]. Говорили, что он нанимал хулиганов, которые по его указанию избивали задолжавших съемщиков. Это была правда. Должников действительно жестоко избивали, а затем выбрасывали на улицу.

Несколько дней назад Фудзии снова пожаловал в детский сад. Он был в крылатке с воротником из искусственного меха и элегантных атласных таби. Откинув пелерину крылатки и положив ногу на ногу, он произнес:

— Напрасно вы думаете, что можете злоупотреблять моим терпением только потому, что вы женщины. Этак мне не на что станет жить... Если вы не можете выехать сами, мне придется помочь вам убраться отсюда. Вообще, чего хорошего можно ожидать от женщин, которые одеваются по-европейски...

Пока он разглагольствовал, Хироко в переднике поверх юбки и облегающей блузки готовила обед, стоя на коленях перед очагом, а Тамино, равнодушно отвернувшись от хозяина, возилась в другом углу комнаты. Фудзии, поворачивая стриженую голову то к одной, то к другой, разглядывал их липкими, маслеными глазками. «Уже начал гадости говорить, скотина», — подумала тогда Хироко. Все это вспомнилось ей, когда она распахнула окно и выглянула на улицу.

---

[1] «Тюсэйкай» — «Общество верноподданных».

Мокрые от росы крыши были залиты лунным светом. Как зачарованная смотрела Хироко на озаренный спокойным сиянием город. Невидимая из окна луна поднялась уже, по-видимому, высоко, и все вокруг, даже загородные поля, окутанные ночным туманом, отливало нежным влажным блеском; в неверных призрачных отсветах далекие предметы казались совсем близкими. В белесоватой дымке покосившийся уличный фонарь возле полуразрушенной каменной изгороди бросал тусклый красновато-желтый свет на разбросанные под ним бетонные трубы.

Весь этот бедный, застроенный приземистыми домишками район был погружен в сон. Хироко собралась уже закрыть ставни, когда увидела, что из-под навеса над крыльцом быстро вышел мужчина. Он оглянулся, поднял лицо к окну на втором этаже и помахал рукой. Вглядевшись в его худощавый профиль и фигуру в легкой одежде, Хироко воскликнула:

— Это ты? Что ты здесь делаешь?

Тамино, сидевшая на постели, протянула руку к выключателю и зажмурилась от яркого света. Сморщив заспанное круглое лицо, она сердито проворчала:

— Кто там? Отани-сан? Что это он в такой час?..

Полы ее ночного халатика распахнулись, обнажив красивые, полные колени.

— Спи, пожалуйста! Нужно будет, я разбужу. Простудишься.

Из маленькой, примыкающей к спальне комнатки, в углу которой стоял старый стол, Хироко по открытой крутой лестнице сошла вниз, зажгла свет, миновала еще одну комнату с убранными перегородками и вышла в кухню. Из экономии лампы на кухне не было. Амадо[1], застрявшее в прогнивших пазах, не поддавалось, и Отани нетерпеливо потянул его снаружи.

— Ну, что же там? — пробормотал он с досадой.

— Погоди, погоди! Сначала нужно с этой стороны открыть...

Наконец амадо было сдвинуто, и Отани быстро шагнул в прихожую.

— Вот уж действительно сколько хлопот. Впрочем, осторожность не мешает.

---

[1] Амадо — раздвижная дверь в японском доме.

Часто помаргивая, он добродушно рассмеялся.

— Что случилось? — спросила Хироко. — В такой поздний час...

— Да вот понадобилось срочно попросить тебя кое о чем.

— Я услышала шум, встала посмотреть, но тебя почему-то не было видно...

— Виноват, виноват! — шутливо втянув голову в плечи, улыбнулся Отани.

Он пришел просить о том, чтобы завтра кто-нибудь из женщин, работавших в детском саду, побывал на собрании профсоюзной организации района Янагисима. «Видишь ли, — объяснил Отани, — в трамвайных депо официально объявлено, что те, кто не согласится на принудительный арбитраж, будут уволены, и среди трамвайщиков вновь появились колеблющиеся».

— Завтра в восемь часов надо увидеть человека, которого зовут Ямагиси, это председатель отделения профсоюза, его можно найти в конторе. Ты уж меня извини, что я пришел так неожиданно и в такое позднее время, но... Очень прошу!

Хироко, с заплетенными в косу волосами, в хаори из яркого дешевого шелка, которое она носила только потому, что это был подарок, присела на корточки.

— Да-а, не знаю, что и сказать!

Она посмотрела снизу вверх на Отани, подносившего спичку к сигарете.

— Может быть, пойдет кто-нибудь из Камэдо? От нас Иида-сан должна отправиться в Хироо.

— Из Камэдо пойдет Усуи-кун. Он сказал, что будет на собрании в Киисибори.

— Усуи? Он в самом деле идет туда?

Под устремленным на него прямым насмешливым взглядом Хироко Отани усиленно дымил сигаретой и, казалось, раздумывал. Наконец он уверенно заявил:

— Да, он пойдет. Обязательно пойдет.

Усуи, человек лет двадцати пяти, невысокого роста, слегка сутулый, прежде, по его словам, участвовал в движении на Кюсю, однако ничего достоверного ни о его личности, ни о его прошлом не было известно. Вначале он как-то незаметно стал работать на медпункте, а когда оказалось, что не хватает людей для профсоюз-

ной работы, он так же незаметно стал помогать в секретариате.

Вообще Хироко была доброжелательна к людям, однако она испытывала раздражение и досаду всякий раз, когда этот Усуи, приходя с новостями или по другому поводу, мешкал с уходом и молча наблюдал за тем, что делают Хироко и другие воспитательницы. Он никогда не говорил с ними и не играл с детьми. В нем было что-то, внушавшее Хироко инстинктивное недоверие и неприязнь. Даже в том, что говорил Усуи, было что-то противоречивое. На одном из совещаний Хироко рассказывала о впечатлении, которое производит на нее Усуи. Отани, по привычке часто моргая и недовольно выпятив губы, внимательно выслушал ее, разрывая на мелкие кусочки пустую пачку от сигарет. Затем он поднял голову и неопределенно заметил:

— Надо проверить.

Но когда началась подготовка к забастовке токийских трамвайщиков, на Отани возложили ответственность за организацию помощи забастовщикам, и он был так занят, что ему, видно, было не до Усуи. Все это накладывало особый отпечаток на настроение, с которым Хироко и Отани сейчас говорили о нем.

Отани бросил окурок на пол и, затоптав его изношенным гэта, произнес:

— Итак, тебе ясно... В восемь часов, фамилия — Ямагиси... Договорились?

Хироко крепко сжала пальцы сплетенных над головой рук и проговорила в замешательстве:

— Видишь ли, у наших ребятишек начали болеть глаза. Прямо не знаю, что делать... Правда...

— Гм... Ну, в Янагисима ты к обеду управишься, а потом, наверно, не поздно будет и больными заняться, не правда ли? Во всяком случае, можно и вечером это сделать. Ведь медпункт открыт до десяти часов.

Хироко, однако, хотелось как можно скорее помочь ребятам, заболевшим от недоедания. Она учитывала при этом и настроение родителей. Придет вечером мать, а сын ей скажет:

— Мамочка, а я сегодня ходил к доктору, он мне глаза промыл! И совсем не было больно!

То же самое могла бы рассказать и Хироко, но насколько приятнее будет для матери услышать это от своего ребенка...

Такую заботу было особенно важно проявить именно сейчас для того, чтобы сохранить доверие матерей к детскому саду. Хироко прекрасно понимала это. Она могла бы добавить также, что им стало труднее работать после ареста Савадзаки. Однако Отани, по горло занятый своими делами, не мог, естественно, вникать в такие подробности, да к тому же различные трудности, повседневно возникающие перед детским садом, особенно в связи с оказанием помощи забастовщикам, все равно нельзя было бы разрешить в частном разговоре на ходу.

— Ну, ладно, что-нибудь придумаем, — проговорила, наконец, Хироко и медленно поднялась, опираясь ладонями о колени.

— А тебе не повредит, что ты разгуливаешь в такое время? — заботливо спросила она.

— Ничего, ведь у меня нерабочий день... Ну, пока. Извини, что разбудил.

Отани энергичной походкой пошел к выходу. Перешагнув порог, он оглянулся и крикнул Хироко:

— Посмотри-ка, как стало холодно!

Он с силой выдохнул воздух, выпустив белое облачко пара. Лунный свет, как бы растворившийся в ночном тумане, казался еще более неподвижным и плотным, чем прежде, и это усиливало ощущение холода. Узкая полоска света из дома пронизывала ночную мглу. Хироко, положив руки на сёдзи, зябко передернула плечами.

— Что, от Дзюкити приходят письма? — спросил Отани.

— Уже почти две недели ничего нет. Я беспокоюсь, не случилось ли что-нибудь.

— Да, из-за войны в тюрьмах усилились строгости... Получишь свидание с Дзюкити, передай привет от меня.

— Непременно, спасибо, — кивнула Хироко.

Некоторое время она прислушивалась к неторопливому стуку гэта Отани, старого и близкого друга ее

мужа Дзюкити Фукагава. Теперь, после ареста Дзюкити, Отани был ее руководителем. Убедившись, что он перешел мостик через канаву для стока воды, она задвинула амадо и вернулась наверх, в свою комнату.

II

На следующий день рано утром Хироко пошла в трамвайное депо. Свернув в переулок, она увидела длинный ряд прислоненных к стене велосипедов с повернутыми в одну сторону рулями. К багажнику каждого велосипеда был привязан небольшой сверток. К одному был даже заботливо прикреплен старой тесьмой горшочек с цветком азалии.

К зданию с четырехстворчатой застекленной дверью группами по три — пять человек молча подходили работники трамвая. Некоторые из них останавливались перед входом с сигаретой «Голден бат» в зубах, затягивались в последний раз, обжигая губы, затем, с ожесточением выплюнув окурок, входили в здание. Некоторые, подвернув полы пальто, садились на порог и не спеша развязывали шнурки ботинок, попеременно высоко поднимая ноги.

Хироко, осторожно перешагивая через ботинки, подошла к рабочим, которые столпились перед большим столом у самого входа.

— Скажите, могу ли я увидеть Ямагиси-сан?

Один из них, в черном пальто, облокотившийся на стол, оглянулся на нее.

— Э-эй, председатель отделения здесь? — громко крикнул он в сторону узкой лестницы, ведущей наверх.

— А что?

— Тут пришли к нему!

Кто-то, гулко стуча каблуками, стал спускаться по лестнице. Появился толстенький человек с разделенными пробором напомаженными волосами, в наглухо застегнутой куртке, без пальто.

— К вашим услугам, — любезно сказал он, подойдя к Хироко.

Хироко объяснила, что она пришла сюда по поручению Отани.

— Ах, вот как? Большое спасибо. Входите, пожалуйста.

Пока Хироко снимала туфли, Ямагиси стоял позади нее, засунув руки в карманы.

— Отани сегодня не придет? — спросил он.

— Нет, я одна...

— Ну, ничего, женщина как раз может принести гораздо больше пользы... — Ямагиси рассмеялся.

Они направились к лестнице.

— Ну-с... — произнес Ямагиси равнодушно. Он остановился, отступил на несколько шагов и, потирая рукой подбородок, закончил: — Какой порядок работы мы примем?

Хироко почувствовала странное волнение, словно ей впервые предстояло выступить с лекцией.

— Как вам удобнее, мне, собственно, все равно...

— В таком случае, можно попросить вас сделать свое сообщение? — скороговоркой сказал Ямагиси и, опередив Хироко, поднялся на второй этаж.

Наверху оказались три смежные комнаты. С карниза прямо против входа свисали написанные черной тушью плакаты: «Категорически протестуем против увольнения 130 человек!», «Мы против выпуска пересадочных автобусных билетов!», «Требуем, чтобы были помощники кондуктора!» Рядом с плакатами, написанными уже после введения принудительного арбитража, висели старые: «Решительно протестуем против сокращения на 1 213 270 иен фонда заработной платы!»

В раскрытое настежь окно светило утреннее солнце. Подставив спины его ласковым, еще не жарким лучам, у подоконника стояло несколько человек. Один из них, что-то объясняя остальным, чертил на полу большим пальцем ноги. Хироко, сидевшей против света, фигуры этих людей на фоне окна казались черными силуэтами. За окном синело безоблачное небо. На шиферной крыше соседнего здания виднелся двойной ряд вентиляционных труб, их верхушки вращались в одну и ту же сторону с одинаковой скоростью.

В углу напротив Хироко двое участников собрания сидели почему-то верхом на единственных в комнате двух простых стульях, положив локти на спинки. Один из них сидел спокойно, подперев голову руками, другой

нервно подергивал ногой. Остальные расположились на циновках, уткнув подбородки в колени или, скрестив ноги, покачивались из стороны в сторону.

Атмосфера здесь была накалена, и Хироко сразу почувствовала это. Казалось, воздух комнаты был насыщен неясной тревогой и смутными предчувствиями. Это можно было заметить даже в беспокойном взгляде, которым провожал сновавших туда и сюда людей служащий лет тридцати на вид, сидевший верхом на стуле и нервно подергивающий коленом.

Вскоре к небольшому столику напротив входа подошел высокий человек с завязанным горлом. Остановившись, он посмотрел на ручные часы, завел их и что-то сказал мужчине средних лет, сидевшему за столиком с рассеянным видом, подперев щеки руками.

— Ну что ж, начнем!

Один из тех, кто сидел верхом на стуле, встал и пересел на циновку, другой остался на месте.

— Закройте окно, холодно!

Стоявшие у окна подняли воротники пальто.

— Итак, собрание пятой профсоюзной группы считаю открытым, — произнес человек с завязанным горлом, по-видимому руководитель.

— Позавчера, двадцать шестого, при встрече члена комитета Кавано с Оиси и Сато, был заявлен наш решительный протест против незаконного увольнения ста двадцати семи рабочих, но, несмотря на это, их вышвырнули. Подробности дела вам известны из вывешенного нами тогда же сообщения. Сегодня я хотел бы информировать вас о дальнейшем ходе событий с тем, чтобы мы могли определить свое отношение к ним. Но перед этим, я думаю, мы предоставим слово представителю «Общества рабоче-крестьянской взаимопомощи».

Сидевший рядом с Хироко трамвайщик лет сорока, солидный, вероятно, семейный человек, кивнул головой и, не поднимая глаз, преувеличенно громко крикнул:

— Не возражаем!

— Итак, прошу вас...

Хироко, усевшись поудобнее, хотела уже начать свое выступление, но председатель указал ей на место рядом с собой:

— Сюда, пожалуйста!

Хироко, слегка покраснев, направилась к председательскому столику. Кто-то за ее спиной опять выкрикнул:

— Не возража-а-ем!

По комнате пробежал смешок.

Хироко, призвав на помощь все свое самообладание, просто и доходчиво рассказала, какой интерес вызывает нынешний конфликт трамвайщиков у жен и матерей рабочих других предприятий, сославшись на слова матери Хидэко, работницы с фабрики «Сёки-таби». Потом она сообщила, что в Хироо сегодня утром открыли передвижные ясли, чтобы помочь семьям забастовщиков.

— Нас глубоко потрясла гибель Оэ-сан, который вчера покончил с собой, бросившись из окна университета Кэйо. Газеты писали, что он был горьким пьяницей, но люди из Хироо говорят совсем другое. У его жены очень слабое здоровье, и он часто не выходил на работу. Под предлогом того, что он является злостным прогульщиком, его уволили, и это привело к такому трагическому концу. А ведь если бы мы были посильнее и у нас была своя больница, то Оэ-сан не был бы уволен из-за своей больной жены. Как горько сознавать, что это самоубийство могло быть предотвращено!

— Правильно!

— Верно!

Раздались громкие аплодисменты. Хироко, с разгоряченным, похорошевшим лицом, светившимся внутренним чувством, обратилась к собранию:

— Товарищи, будьте стойки!.. Мы, со своей стороны, сделаем все, что только будет в наших силах, чтобы помочь вам. Но чтобы все это не оказалось напрасным, пожалуйста, держитесь крепко!

Долго не смолкали искренние, идущие от души аплодисменты, в них не было и тени прежнего насмешливого отношения.

— Теперь перейдем к докладу...

По требованию присутствующих председатель отделения профсоюза Ямагиси начал ораторским тоном:

— Поскольку мне, несмотря на мои скромные спо-

собности, приходится нести звание председателя отделения и делить вместе с вами ответственность за нашу деятельность, я заявляю, что исполнен решимости стоять до конца на передовой линии борьбы. Теперь мне хотелось бы, чтобы было проведено общее откровенное обсуждение вопроса о конкретных методах борьбы в данный момент.

После этих слов Ямагиси напряжение среди собравшихся заметно возросло.

— Если у кого-нибудь есть вопросы и замечания по предложению председателя отделения, прошу высказываться.

— Председатель!

Это поднял руку, выставив локоть вперед, молодой рабочий, сидевший наискосок от Хироко.

— Я хочу объявить резолюцию третьей бригады.

— Давайте, зачитывайте!

— «Мы, работники третьей бригады, снова собравшись сегодня утром на собрание и предвидя, что наши требования будут обязательно отклонены администрацией, решили немедленно объявить забастовку и выбрали стачечный комитет».

Легкий шумок пробежал по комнате. Центральное руководство профсоюза уже несколько дней назад дало директиву не идти ни на какой компромисс и решительно протестовать против увольнения ста двадцати семи рабочих, а также приступить к подготовке забастовки на случай, если требования не будут удовлетворены. Ямагиси старался не замечать нараставшего возбуждения. Деланно нахмурив брови, он чиркнул спичкой и закурил.

— Послушайте... Как бы это... Ну, в общем, у меня вопрос, — нарушил тишину чей-то нерешительный, медлительный голос. — Вот эта резолюция третьей бригады... Что-то я ее не понимаю. По ней, значит, выходит, что можно и не выступать всем сообща, а действовать порознь?

— Третья бригада считает так, — коротко возразил молодой рабочий.

— В таком случае...— Человек с медлительной речью неожиданно повысил голос и сказал вызывающе: — Я решительно против этого предложения!

Хироко узнала в говорившем того человека, который кричал насмешливо-ободряюще «не возражаем» за ее спиной, когда она шла к председательскому столу.

— Правильно! — поддержал его другой голос.

— Я тоже против! Пусть только попробуют действовать в одиночку. Что за ерунда! Всех до одного заберут, и дело будет загублено.

Хироко насторожилась. Среди тех, кто выступил с возражениями, чувствовалось какое-то странное единодушие.

— Председатель!

— Председа-а-тель!

Два голоса вступили в соревнование, один из них, высокий и пронзительный, подавил другой, его обладатель резко заявил:

— По-моему, это неправильно! Мне кажется, это ясно хотя бы по февральской забастовке в Хироо. Возможна и частичная забастовка. В ходе ее созревают реальные условия для общего выступления. Я думаю, что это должно быть понятно каждому, кто знает положение на местах. Иначе зачем бы центральное руководство давало ту директиву?

— Председатель!— спокойно произнес пожилой человек с вечным пером и автоматическим карандашом в нагрудном кармане.— Я из первой бригады. Это, конечно, мое личное мнение, но я целиком стою за проведение забастовки. Только... — Он сделал особое ударение на последних словах и, овладев вниманием собрания, ловко повернул:— Только если не выступят все сразу, то я целиком против проведения забастовки!

Хироко почувствовала, как горячая волна гнева поднимается в ее груди, и закусила губу. Как ловко эти парни из правления умеют использовать слабые стороны психологии людей и раскалывать массы! С особенной остротой она ощутила то, что на этом собрании она всего лишь гость, без права голоса. Ведь даже когда разгорается уголь, огонь занимается сначала где-нибудь в одном месте и только потом охватывает весь уголь целиком. А тут...

— Не учитывая соотношения сил,— продолжал человек из первой бригады,— ратовать за забастовку — ведь это же и есть левацкий загиб. Разве можем мы сейчас действовать обособленно?

Увлеченные его уверенной складной речью, некоторые из присутствовавших захлопали в ладоши.

— Председатель!— не сдавался человек с высоким голосом.— Что бы там ни толковали о соотношении сил, это вещь относительная. Если мы будем продолжать бездействовать и предоставим событиям идти своим чередом, то разве в капиталистическом обществе сможет сложиться выгодное для нас соотношение сил? Вот и в вопросе о принудительном арбитраже, если бы мы проявили больше твердости, то дело было бы выиграно. А отдали его в руки назначенной сверху комиссии и, так сказать, похоронили!

— Верно!

— Правильно!

— И сейчас, говорят, руководство тайком состряпало и представило властям список кандидатов на увольнение.

— Ну и ну!

В период съезда полиция арестовала в трамвайных депо свыше шестидесяти работников «с тенденциями». Среди них оказалось и несколько членов Общества рабоче-крестьянской взаимопомощи. Сейчас на этом собрании стал особенно ясен замысел предпринимателей, которые заранее вырвали из рядов рабочих их наиболее стойких представителей. В Хироко нарастало чувство горечи.

Пораженческую мысль о том, что нужна либо всеобщая забастовка, либо совсем не нужно бастовать, так как частичное выступление бессмысленно,— эту пораженческую мысль большинство правления «Токо» [1] энергично вбивало в головы рабочим с самого начала конфликта при разъяснении директив или политической линии. По мере того как обстановка усложнялась, среди рабочих стало появляться все больше колеблющихся. Когда детский сад района Камэдо взялся за организацию помощи трамвайщикам, это вызвало беспокойство родителей, и тогда тоже выявились два мнения: мнение о необходимости полного прекращения поддержки забастовщиков и мнение о том, что в конце концов ничего не будет страшного, даже если детсад и прекратит свое

---

[1] «Т о к о» — сокращенное название «Объединения профсоюзов работников городского транспорта гор. Токио».

существование. Отани указал тогда, что оба мнения ошибочны.

В результате неоднократных репрессий среди работников «Токо» не осталось никого, кто мог бы стать организатором масс, способным направить их энергию по правильному пути, руководителем, способным возглавить массы и сорвать все маневры их врагов. Это было понятно даже Хироко, постороннему для «Токо» человеку.

Среди тех, кто собрался сегодня в этой комнате, наполненной облаками табачного дыма, все больше усиливался разброд. Без всякого порядка, с места задавали вопросы, выкрикивали различные мнения, смысл которых, однако, сводился к одному: забастовку надо провести, но уже сейчас нужна стопроцентная гарантия победы.

— У меня есть вопрос к председателю отделения!

Один из присутствовавших вдруг спросил зачем-то, что такое государственный социализм. Хироко ожидала, что спрашивавшему объяснят, что государственный социализм, при котором государство использует власть для защиты интересов капиталистов, в корне враждебен идеалам счастья рабочих. Однако получилось не так. Ямагиси ограничился туманным, уклончивым ответом, даже не пытаясь разъяснить антагонистические отношения между классами. Никто не выступил с возражением, на том все и кончилось. Опять раздался возглас:

— Председатель!

На этот раз собранию было преподнесено нечто новое.

— «Токо» выдвигает лозунг «долой фашизм», но я против такого лозунга. В уставе «Токо» записано, что он борется за экономические интересы всех рабочих, независимо от их партийной принадлежности и политических взглядов. Выдвигать лозунг «долой фашизм» — значит игнорировать устав «Токо», а поэтому до тех пор, пока не будет внесена ясность в этот вопрос, я не намерен платить членские взносы.

— Ишь ты, как рассчитал!

— Что он несет, этот Симода?

Это был известный в «Токо» желтый профбюрократ,

его пресмыкательство перед властями разоблачали даже в газетах.

— Эй ты, приказчик фашизма, убирайся вон!

— Председатель! Ведите собрание!

— Товарищи, прошу тише. Выступайте по очереди,— вяло проговорил председатель. Ямагиси сидел, прикрыв глаза тяжелыми веками. Очевидно, он пустил собрание на самотек.

Существо обсуждаемого вопроса потонуло в бессмысленной перебранке, всех охватила усталость и апатия. Тогда председатель открыл глаза, поднял смуглое лицо и произнес:

— Ну, времени уже много...

Он предложил резолюцию. Депо Янагисима приняло странное решение: «Если только где-нибудь начнется забастовка, немедленно к ней присоединиться».

III

Выйдя с черного хода конторы, Хироко с тяжестью на сердце пошла по засыпанному шлаком переулку, мимо длинных одноэтажных бараков.

Теперь ей было ясно, что «Токо» лишь мешает подъему рабочих. И она, Хироко, попала впросак. Руководители организации ловко заставили ее говорить о поддержке забастовщиков в самом начале собрания, когда она не могла сказать ничего определенного для воодушевления рабочих. Сейчас Хироко с особенной остротой переживала свой промах. Как это она не сообразила, что ей следовало бы выступить в конце, предварительно хорошо разобравшись в обстановке. В этом случае ее выступление могло бы подбодрить собравшихся в тот момент, когда настроение у них явно упало.

Ямагиси все предусмотрел. Когда она сообщила ему, что Отани не придет, он сказал ей что-то издевательски-льстивое. Вспомнив это, Хироко вспыхнула от гнева, словно ей нанесли оскорбление.

У выхода на широкую реконструированную дорогу был построен новый бетонный мост. Одна его сторона была еще закрыта для движения, там стояли бочки из-под цемента, валялись балки. Фонарь с красными стек-

лами предупреждал, что проезд закрыт. На освещенной солнцем пешеходной стороне моста играли двое мальчишек, один — в светло-коричневой куртке, другой, коротко остриженный,— в цветастом кимоно с узенькими рукавами. Они запускали волчки. Два маленьких железных волчка бешено вертелись, блестя на солнце, мальчишки, шмыгая носами, носились вокруг них с веревочками в руках. Они были целиком поглощены своим занятием и не обращали на прохожих никакого внимания. Хироко с досадой отвернулась. Она злилась на себя, злилась на весь мир.

Хироко посмотрела на ручные часики, пошла медленнее и, раскрыв сумочку, проверила ее содержимое. В одном отделении находился кошелек с мелочью, в другом — сложенная вчетверо, обтрепанная бумажка, разрешение на свидание, полученное ею в суде неделю назад. Закрыв сумочку, Хироко снова понурилась, но затем, еще раз взглянув на часы, быстрыми и четкими шагами, постукивая каблуками простых черных туфель, направилась к трамвайной остановке.

Полгода назад Дзюкити был переведен в следственную тюрьму Итигая, после того как его больше десяти месяцев продержали в полиции. Хироко тоже почти полгода находилась под арестом, и видеться они, естественно, не могли. Свидание им не было разрешено даже после того, как Хироко освободили. Случайно, из газетного сообщения, она узнала, что Дзюкити переведен в следственную тюрьму, и тогда сразу же отправилась в суд. Судебный следователь сказал ей:

— В полиции он отказался назвать свое настоящее имя, поэтому, так сказать, неизвестно, существует ли в действительности человек по имени Дзюкити Фукагава. Однако... гм... поскольку в наших руках имеются достаточно основательные улики и мы все равно это знаем, мы дадим вам разрешение на свидание.

Выходило, что Дзюкити был отправлен в тюрьму несмотря на то, что не назвал своего настоящего имени и не признал предъявленных ему обвинений.

В местном трамвае, возвращавшемся с конечной остановки, было пусто. На освещенной солнцем стороне, положив рядом с собой большой квадратный узел, за-

вернутый в белую хлопчатобумажную материю, сидел старик в модзири[1]. Облокотившись на узел, он ковырял в ушах мизинцем с длинным ногтем. Кроме него, в трамвае, в разных углах, сидело лишь несколько человек. Пожилой кондуктор, прислонившись к косяку входной двери, делал какие-то заметки в записной книжке, время от времени слюнявя огрызок карандаша. Среди старых работников трамвая было немало мелких держателей акций. Видимо, и этот кондуктор был одним из них. Лицо его было сосредоточено, он забыл о сумке, висевшей на плече, и был целиком погружен в свои расчеты. Глядя на него, Хироко живо воскресила в памяти строки первого письма Дзюкити, полные глубокого и скрытого смысла: «На воле, наверно, есть перемены. Конечно, скрип колеса истории не доносится сюда, но я нимало не беспокоюсь...»—писал Дзюкити эзоповским языком вслед за сообщением о том, как внимательно он следит за своим здоровьем. «Нимало не беспокоюсь...» Разумеется, Хироко не могла принять то, что скрывалось за этими вынужденно скупыми словами, только на свой счет и слишком возомнить о себе. Допустим, она истолковала бы их именно так. Но разве можно было считать себя «не внушающей беспокойства», когда она не сумела использовать даже такой благоприятный случай, как выступление в трамвайном депо, когда то в одном, то в другом вопросе она проявляет такую незрелость и растерянность!

Трамвай почти миновал Уэно, когда Хироко очнулась и оглядела вагон. Ей бросилось в глаза, что на смену пассажирам, ехавшим от Янагисима, сели другие. отличавшиеся от них всем, начиная от одежды и кончая цветом лица и формой головы. Трясясь в трамвае, пересекающем Большой Токио с востока на запад, Хироко замечала, что по мере приближения к Яманотэ состав пассажиров меняется. Опрятные и изящные мужчины и женщины, садившиеся здесь, сильно отличались от жителей восточной части Токио, где от постоянной копоти вянет даже листва деревьев.

Хироко сошла на остановке в Синдзюку и направилась по узкой, тесной улочке мимо вертикальных вывесок, которые украшали попадавшиеся тут на каждом

---

[1] Модзири — мужская рабочая одежда с узкими рукавами, распространенная среди бедных слоев населения Японии.

шагу лавочки, специально занимавшиеся доставкой передач заключенным от их родственников. Улица упиралась в главные ворота тюрьмы. Небо над тюрьмой казалось необычно широким. Возле ворот, как бы подчеркивая высоту и длину бетонной тюремной стены, стояли низенькие скамейки, какие можно видеть на маленьких захолустных полустанках. Навесы над скамьями задрались высоко вверх, словно поднятые порывом ветра. Они не защищали ни от дождя, ни от ветра.

Хироко подошла к воротам. Она взглянула на унылую длинную-длинную стену тюрьмы, на небо, синева которого казалась тут более густой, чем в любом другом районе города, и сердце ее тоскливо сжалось от царившей здесь какой-то неестественной тишины.

Хироко вошла в тюремный двор. Под ногами скрипел гравий, видимо, специально насыпанный для того, чтобы здесь нельзя было пройти бесшумно. Гравием был покрыт весь двор.

Комнаты ожидания, отдельные для мужчин и женщин, находились в небольшом флигеле, обращенном фасадом к внутреннему двору. Когда Хироко открыла застекленную дверь, в нос ударил неприятный запах угольных брикетов. В комнате находилось всего несколько женщин, и она выглядела полупустой. Одна из женщин, по виду бывшая официантка, в чем-то вроде шерстяного хаори, с целлулоидным гребнем в растрепанной прическе, сидела, обхватив руками колени, и во весь рот зевала, закатывая при этом глаза. С двенадцати до часа был перерыв, свидания на это время прекращались. До часа оставалось не больше пятнадцати минут.

Заказав в лавочке передачу — пирожное стоимостью в десять сэн и нори[1] в соевом соусе,— Хироко не стала заходить в помещение и осталась снаружи, на солнце. Во внутреннем дворе были посажены сосны и какие-то другие деревья. Помещение для свидания с заключенными находилось в глубине двора слева. Когда Хироко пришла сюда первый раз, она приняла его за уборную. Впрочем, вид у него был такой, что ошибиться было немудрено.

---

[1] Нори — съедобные морские водоросли.

За воротами послышался шорох гравия под автомобильными шинами. Сторож открыл ворота специальным ключом, и во двор въехала машина. Из нее вышли трое мужчин. Небрежно ответив на приветствие, они прошли в стоящее особняком строение. Наблюдая за ними издали, Хироко вспомнила, как ей рассказывали, что привезенный сюда Дзюкити не мог встать на распухшие от пыток ноги и вынужден был подниматься по каменным ступеням на четвереньках.

Она нервно взглянула на часы. Оказалось, что не прошло еще и пяти минут. Когда ждешь, время тянется бесконечно. А когда, наконец, наступает минута свидания, то не успеешь вымолвить и нескольких слов, как уже говорят «довольно» и окно захлопывается прямо перед твоим носом. Долгое ожидание и нервное напряжение, испытываемое в короткие мгновения свидания, лишали сил и оставляли ощущение опустошенности. Но, несмотря на это, Хироко не могла забыть манеру Дзюкити с радостной улыбкой приникать к окошку, словно втискивая в него широкие плечи, и здороваться, как только оно открывалось, и интонацию, с которой он говорил: «Ну, всего доброго!»—в самый последний момент, когда, казалось, последний слог отрезался падающим щитком. И хотя до следующего свидания проходил целый месяц, все это время Хироко хранила в сердце тепло, которое излучали глаза Дзюкити, которое таилось в мягких складках вокруг его губ.

Хироко открыла сумочку и посмотрелась в маленькое треснувшее зеркальце. Она смахнула с него пыль носовым платком, потом туго свернула другой угол платка и крепко потерла щеки. Слегка обветренная кожа чуть порозовела.

В прикрепленном к стене громкоговорителе послышалось, наконец, щелканье включаемого микрофона. Она открыла застекленную дверь и заглянула внутрь. Стараясь не пропустить ни одного слова из того, что скажет невнятный, заглушаемый посторонним шумом голос, женщины втянули головы в плечи, нервно теребя рукава одежды.

— Э-э, мы немного задержались... Э-э, номер двадцать восьмой, номер двадцать восьмой — к шестому окну, к шестому... Дальше номер тридцать...

Повинуясь этому голосу, миловидная женщина лет сорока, вероятно жена политического заключенного, поднялась с покрытой тонкой циновкой скамеечки и, комкая в руках шаль, беспомощно посмотрела снизу вверх, в черный зев репродуктора.

— Э-э, номер тридцать! Человек, свидания с которым вы ждете, переведен в другую тюрьму.

Из-за хрипов и шипения в репродукторе слова «в другую тюрьму» прозвучали как «в следующую тюрьму». Миловидная женщина невольно сделала шаг вперед и, наклонив голову, переспросила, обращаясь к репродуктору:

— Как?

Но в репродукторе что-то щелкнуло, и он замолчал. Женщина растерянно посмотрела на Хироко.

Хироко сочувственно сказала ей:

— Он как будто говорил, что перевели в какую-то другую тюрьму. Пойдите справьтесь в канцелярии, вон там...

Она указала на дверь выкрашенного масляной краской двухэтажного дома.

Прождав более часа, Хироко, наконец, получила возможность несколько минут поговорить с Дзюкити.

До боли прижавшись грудью к решетке, она спросила Дзюкити, здоров ли он, рассказала о здоровье его отца, который лежал, разбитый параличом, и извинилась за то, что не принесла, как обычно, заказанные им книги. На это были свои причины. Детсад испытывал постоянный недостаток средств, и, не получая ни от кого помощи, приходилось как-то изворачиваться. У Хироко часто не хватало денег даже на то, чтобы поехать за книгами. Когда же бывали деньги, не было свободного времени. Нередко случалось, что не было ни того, ни другого. Она старалась передать Дзюкити хотя бы часть того, в чем он прежде всего нуждался. У человека, снабжавшего Хироко книгами более или менее охотно, как раз отсутствовали те, которые ее особенно интересовали. Люди же, у которых могли быть нужные книги, просто не любили ни с кем делиться ими. О том, как трудно доставать книги, Дзюкити даже не догадывался.

Дзюкити, для которого свидание было неожи-

данным, не мог сразу собраться с мыслями, он болезненно морщил лоб, переступал с ноги на ногу и, назвав, наконец, по памяти нужные ему книги, добавил:

— Впрочем, Хироко, поступай так, чтобы это не отражалось на твоих делах. Ведь если даже у нас нет книг, мы можем размышлять на различные важные для нас темы.

Медленно, как бы желая подчеркнуть сказанное, Хироко сообщила:

— Сегодня утром я ходила в Янагисима, и вот что там произошло. ...Работа детсада развертывается и все теснее связывается с делами взрослых. Так что если я редко пишу, то это вовсе не потому, что я ленюсь. Ведь плохо будет, если трамвайщики — отцы наших ребятишек — потерпят поражение, не правда ли? Поэтому...

Она засмеялась одними глазами.

— Гм...

Дзюкити взглянул на надзирателя, который взялся за шнур от щитка, готовясь закрыть окошко, затем перевел взгляд на Хироко и с особой интонацией в голосе сказал:

— Постарайся, Хироко, отложить немного денег на случай, если, скажем, ты «заболеешь».

Эти слова Дзюкити она поняла в том их глубоком смысле, в каком только и можно было их понять, принимая во внимание условия их жизни. На самом деле Дзюкити, конечно, имел в виду не деньги. В ходе борьбы трамвайщиков, в которую втянут и детский сад, может наступить такой момент, когда Хироко и Дзюкити опять не смогут видеться. Дзюкити понимал, что это может произойти в любой момент, и хотел показать ей, что он понимает это, и тем самым успокоить и ободрить ее.

Выйдя из холодного, похожего на общественную уборную помещения и направляясь к воротам, Хироко подумала: «Сколько женщин до меня проходили вот так же по этому гравию, возвращаясь после свидания со своими близкими». Но чувство радости, навеянное встречей с Дзюкити, чувство, которое нельзя выразить словами, наполняло все существо Хироко.

Сразу за воротами на широкой, посыпанной гравием площадке несколько мужчин в пиджаках и стражник с пистолетом на поясе стояли и сидели на корточках и хохотали вокруг маленькой обезьянки, одетой в подбитую ватой жилетку. Обезьяна, с черными торчащими ушами на покрытой светло-коричневой блестящей шерстью голове, сидела на корточках, вытянув сизовато-серый хвост на освещенном солнцем гравии и, двигая вверх и вниз сморщенной мордочкой, вращая глазами, суетливо что-то поедала.

— А ведь она очень симпатична, не правда ли? Ха-ха-ха...

У обезьяны был жалкий, неприглядный вид. Стражник с револьвером, из которого он мог убить любого человека, добродушно смеялся, и в голосе его звучали мягкие нотки.

Здесь действовал закон, запрещающий проявление какой бы то ни было доброжелательности к человеку. Однако, поскольку дело касалось обезьянки, можно было добродушно смеяться, не опасаясь нарушить правила.

IV

Прошло несколько дней. Однажды, когда после обеда малыши спали на втором этаже, Хироко сидела на пороге и складывала пеленки, пользуясь минутой затишья. В это время вернулась Тамино в гэта на босу ногу. Еще издали, от того места, где находились мастерская бетонных труб и водоразборная колонка, она закричала:

— Послушай, что случилось? Почему это наша вывеска сорвана?

Игравший во дворе Дзиро спросил ее:

— Иида-сан, что вы сказали? Какая вывеска сорвана?

Пятилетние девочки, Содэко и Хидэко, и даже Гэн, едва начавший ходить, окружили Тамино.

— Вы ведь, наверно, видели возле мостика такую белую треугольную доску? Так вот эта вывеска сброшена в канаву.

Окруженная ребятишками, Тамино остановилась у входа в дом. Хироко с озадаченным видом заметила:

— Но ведь она стояла в стороне и никому не мешала...

Она вышла поглядеть.

В двух метрах от канавы, рядом с нагромождением готовых бетонных труб, всегда стоял обращенный к улице указатель, на котором черной краской на белом фоне было написано: «Рабочий детский сад района Хэбикубо».

— Да что же это такое в самом деле? Кто мог сделать такую гадость?

Действительно, указатель был вытащен и сброшен в грязную канаву, поросшую увядшей травой.

— Еще сегодня утром все как будто было на месте.

— Да, когда я уходила, я ничего не заметила.

Столпившиеся у деревянного мостика дети смотрели на воспитательниц широко открытыми глазами, на их лицах было написано удивление. Содэко, которую Тамино держала за руку, вдруг громко заявила, встряхнув подстриженной по-мальчишески головкой:

— Эту вывеску сделал мой папа!

— Да. А какой-то негодяй вот что натворил!

Хироко, осторожно перешагнув одной ногой через глиняную трубу и упираясь другой в край канавы, попыталась достать вывеску, наклонившись как можно ниже. Однако до торчавшего из канавы столба, на котором была укреплена вывеска, оставалось еще не меньше полуметра.

— Смотри не свались и ты туда!

— Ничего...

На другой стороне дороги остановился велосипедист — молодой парень из прачечной, с любопытством наблюдая за суетившимися женщинами и детьми.

— Так ничего у вас не выйдет,— заметил он.— Тут нужна веревка.

Стряхнув с рук грязь, Хироко решила отказаться от дальнейших попыток достать указатель.

— Ладно, когда придет отец Содэ-тян, мы попросим его вытащить вывеску.

Все пошли к дому. Дзиро настойчиво спрашивал:

— Кто же это сделал? Зачем понадобилось бросить ее туда?

Широко шагая и держа за руку Содэко, Тамино проговорила, сердито надув розовые щеки:

— Не иначе как это дело рук наемных хулиганов Фудзии. Ведь они в сговоре... От них всего можно ожидать.

Было очевидно, что это не выходка какого-нибудь пьяного прохожего.

— Вот и та неприятность, которая произошла позавчера утром у колонки, тоже наверняка подстроена этой шайкой.

В то утро Токико Огура, выпускница женского колледжа, временно помогавшая в детском саду, стирала пеленки у колодца. Когда она наливала воду, дверь кухни мастерской труб открылась и из нее выглянул хозяин мастерской Масаскэ.

— Нельзя без конца расходовать воду,— заявил он.— Этот колодец не только для вас. Если вы будете им пользоваться как вам заблагорассудится, мне не останется воды даже на то, чтобы промыть рис.

— Извините, пожалуйста,— робко промолвила в ответ Токико.

Неся выстиранные пеленки к шесту для сушки белья, она взглянула на Хироко, сидевшую у окна, и жалобно улыбнулась, как человек, не привыкший к грубости. Хироко хорошо понимала состояние девушки, но промолчала.

Об этом происшествии и вспомнила сейчас Тамино.

Хироко с задумчивым видом первой вошла в дом.

— Ну, как дела?— обратилась она к Тамино.— Удалось что-нибудь добыть?..

Тамино, усевшись на корточки и вынув из кармана юбки небольшой мешочек из грубой темной бумаги, разложила на циновке три никелевых и десять — двенадцать медных монеток, предварительно помахав каждой из них в воздухе.

— Тетушка Ёда очень неохотно дала деньги и сказала, чтобы я больше не приходила, все равно она не даст ни сэна...

Работники детского сада, стремясь помочь трамвайщикам, обходили дома, где жили рабочие семьи, со специальным мешочком для сбора средств в стачечный фонд.

— Забастовка трамвайщиков их непосредственно не касается,— продолжала Тамино,— вот они так и относятся к этому. Кое-где, видно, поговаривают даже, что

глупо рисковать, когда еще неизвестно, чем кончится эта забастовка.

Среди работников городского трамвая существовало несколько ячеек «Общества рабоче-крестьянской взаимопомощи». Когда детскому саду района Хэбикубо понадобилось срочно купить детские кроватки, ячейка этого общества в Янагисима организовала сбор нужных средств. На эти деньги были приобретены три тростниковые кроватки. Этот случай помог сближению трамвайщиков и рабочих других предприятий — Фудзита-когё, Иноуэ-сэйдзю, Сёки-таби, Кодзё-инсацу, отдававших своих детей в этот детский сад. Появилось даже чувство взаимной выручки, и однажды в фонд общества удалось собрать сразу около трех иен. Однако в общем работа женщин по сбору средств для трамвайщиков на своих предприятиях была не очень успешной. Например, работница веревочной мастерской Охана-сан, обходившая бараки с приглашением на аукцион, устроенный потребительским кооперативом, не смогла набрать и двадцати сэн.

Хироко рассказала об этом на одном из совещаний партийной ячейки, которые стали проводиться в последние несколько месяцев. На этом же совещании поделился своим опытом и представитель детского сада района Камэдо. У них было проведено собрание родителей, посвященное организации помощи забастовщикам. На это собрание был специально прислан молодой человек, который произнес горячую речь о том, что нужно общими усилиями сохранять и укреплять солидарность рабочих, поскольку они остаются рабочими, даже если работают на разных предприятиях. Родители внимательно выслушали его и тут же на месте собрали значительную сумму в фонд помощи. Однако это привело к неожиданным последствиям. Родители стали забирать своих детей, одного за другим, из детского сада, и, наконец, пятеро детей из бараков вовсе перестали ходить туда.

— Плохо, что слишком много было сказано сразу,— критически заметила воспитательница из детского сада Камэдо, девушка с длинными ресницами.— Я расспрашивала о причинах такого отношения к детскому саду. Оказалось, разговор был слишком серьезен, и родители решили, что они могут оказаться втянутыми в

конфликт и потом им будет трудно оправдаться. Они боятся потерять работу и решили, видимо, что лучше не посылать детей в сад.

— Да, действительно...— усмехнулся Отани.— Значит, дело в том, что разговор был серьезный, и они не сумеют оправдаться, да? Гм... Поэтому... Что же, они в самом деле больше не посылают детей в сад?

— Да, сейчас некоторые дети не приходят к нам.

В Хэбикубо тоже, после ареста Кин Савадзаки, несколько родителей перестали приводить своих детей в сад. Одна из них, работница «Иноуэ-сэйдзю», так объяснила свое решение:

— Как мы там ни живем, а все же ходим в гости. Изредка приходится бывать и в приличных домах. Если при этом идешь с детьми, они обязательно заявят во всеуслышание: «Мама, здесь буржуи живут. Значит, они наши враги». Просто краснеть приходится. Вот как получается...

Такие разговоры велись не только в последнее время. Об этом начали поговаривать уже тогда, когда детский сад только что присоединился к организованной деятельности других детских садов, находящихся в разных районах города.

Услышав требовательный крик самых маленьких обитателей сада, Хироко поднялась наверх. Ребенок Охана-сан, казавшийся гораздо меньше своих десяти месяцев, тряс головкой и хныкал, сморщив маленькое личико. Хироко сменила пеленки. У малыша было несварение желудка, так как Охана-сан по совету врача подкармливала его козьим молоком, когда оставались деньги из заработка.

Когда Хироко меняла пеленки, под окном вдруг послышался звонкий и твердый голос Содэко:

— Вот здесь будет наш завод, ладно?

Хироко передвинула кроватку с ребенком к перилам веранды, на солнце, и посмотрела вниз. В углу площадки перед входом в дом стояли старые качели. Содэко, держа в руках конец оборванной веревки, крутила ее, словно что-то наматывала. Дзиро, в старой, искусно надвязанной разноцветными нитками курточке и резиновых сапогах, с любопытством смотрел на нее, стоя в сторонке.

Так прошло некоторое время. Дзиро наблюдал за Содэко, а Содэко, с торчащими в разные стороны коротко остриженными черными волосами, вызывающе сверкая глазенками, время от времени с важным видом поглядывала на Дзиро. Наконец он грубовато сказал:

— Эй, а ведь заводов без названия не бывает!

Содэко сердито взглянула на него, потом, подумав, ответила, не переставая крутить веревку:

— Завод-качели, вот!

Хироко, следившая за детьми сверху, беззвучно рассмеялась.

— А вот это машины!

С серьезным видом Содэко показывала Дзиро на щепки, торчавшие из трещин в столбах качелей, тыкая в них пальчиками свободной левой руки.

Теперь Дзиро молча стоял рядом с Содэко. Потом он тоже ухватился руками за свободно висящий конец веревки и стал ритмично раскачивать ее, еще сильнее, чем Содэко. Раскачав веревку, Дзиро с истинно мальчишеской ловкостью вдруг повис на ней, поджав под себя ноги. Когда движение веревки замедлялось, он отталкивался от земли ногами и снова раскачивался. Ноги Дзиро то стукались об землю, то снова мелькали в воздухе.

Хироко незаметно для себя увлеклась игрой детей, и ее голова непроизвольно двигалась в такт движениям Дзиро, словно Хироко хотела помочь ему, подтолкнуть его в спину.

Содэко, переложив веревку в другую руку, стояла неподвижно, сосредоточенно следя глазами за Дзиро.

Дзиро, видимо, надоело качаться на одной веревке, он куда-то исчез и вскоре появился снова, волоча за собой грязную доску. Он дотащил доску до качелей и стал прилаживать ее к веревке. Веревка была толстая, доска очень тонкая и широкая, и Дзиро своими маленькими обмороженными руками не мог с ней справиться. Неловко, пустив в ход даже колени, то и дело роняя доску, Дзиро молча трудился, напрягая все силы. Он с головой ушел в свое занятие — ведь ни дома, ни в саду у него не было ничего, что хоть сколько-нибудь походило на игрушки. Хироко не могла больше

оставаться в роли наблюдателя. Думая о том, где сейчас может быть Тамино, она сошла вниз и остановилась в удивлении. Оказывается, пришел Усуи. Он стоял спиной к ней, прислонившись к перегородке, и разговаривал с Тамино. Услышав шаги Хироко, Тамино подняла голову, Усуи же, не оборачиваясь, медленно сложил что-то и сунул во внутренний карман темно-синей с белыми узорами куртки.

Хироко не стала заходить в маленькую комнату, где были Усуи и Тамино. Надев стоявшие у выхода гэта, она вышла из дома.

V

Вечером, когда все дети были отправлены домой и в детском саду наступила тишина, Тамино и Хироко тщательно готовили для гектографа листовку, стараясь так расположить иероглифы разной величины и сделать такую виньетку, чтобы листовка могла сразу привлечь внимание людей.

С тех пор как детский сад стал помогать трамвайщикам, его материальное положение резко ухудшилось. Работники детского сада, посоветовавшись, решили расширить поле деятельности и принимать не только детей, которые приходили регулярно каждый день, но и тех, матерям которых нужно было отлучиться на короткий срок, что было очень удобно для женщин. Предполагалось также увеличить число сторонников детского сада среди прогрессивно настроенных домашних хозяек, помимо тех, кто уже был привлечен к работе в обществе взаимопомощи. Хироко и Тамино заготовили текст, но гектограф был на медпункте. На следующий день Тамино, как всегда в гэта на босу ногу и в европейском платье, собралась туда, но в это время явился Усуи.

— Дай-ка взглянуть,— сказал он.

Он взял из рук Тамино свернутый в трубочку листок, просмотрел и, возвращая его, сказал:

— Гектограф там, наверно, сейчас занят!

Он всегда говорил так, словно был хорошо осведомлен о деятельности рабочих организаций на всех участках.

— Ах, какая досада! Ты сейчас оттуда?

Не отвечая на вопрос Тамино, Усуи произнес:

— Я, правда, знаю одно место, где, по-моему, могут сделать то, что вам нужно...

— Что же ты не сказал об этом сразу? Пойдем туда скорее!

— Я думаю, сегодня вечером, пожалуй, можно будет пойти...

Что-то фальшивое проскальзывало в его угрюмом виде, в манере говорить с честной, простой Тамино, и это вновь бросилось в глаза Хироко в тот раз, когда она увидела его разговаривающим с Тамино.

Отправившись вместе с Усуи, Тамино вернулась с готовыми листовками. Через несколько дней она вдруг сказала:

— Вот этот портлап...[1] Я всегда думала, что это вино, а оказывается — ничего подобного!

Однажды вечером Тамино, опустив пониже лампу, штопала носки. Неожиданно она проговорила как бы про себя:

— Я, наверно, скоро уйду отсюда.

На улице дул очень сильный ветер. Хироко, придвинув низенький столик поближе к свету, проверяла приходо-расходную книгу. Услышав слова Тамино, она неопределенно хмыкнула, потом, не поднимая головы и продолжая выписывать колонки цифр, спросила:

— Нашла хорошее место?

Тамино долгое время была работницей на «Яма-дэнки». Затем месяца три назад ее уволили за участие в профсоюзной работе. С тех пор ее не раз приглашали работать в секретариате союза, но она отказывалась, говоря: «Мне больше нравится на производстве. Я еще вернусь туда». В детском саду она устроилась временно.

Продергивая темно-голубую нитку неумелыми, по-детски нетерпеливыми движениями, Тамино ответила, потупив голову:

— Да пока еще ничего определенного нет...

Минуту спустя она добавила:

— Усуи-сан говорил, что пришло, наконец, то, чего он ждал. Он очень доволен...

---

[1] Портлап — безалкогольный прохладительный напиток.

Хироко подняла голову. Задумчиво потирая ладонью подбородок, она пристально посмотрела на подругу. Тамино сидела, не поднимая глаз от шитья.

— Пришло то, чего он ждал, говоришь?

Все прежние подозрения и сомнения вновь ожили в душе Хироко. Во всяком случае, речь несомненно идет о том, что Усуи установил связь с партийной организацией.

— Однако, я надеюсь, твое намерение уйти не связано с этим?

Тамино не ответила. Помолчав немного, она сказала таким тоном, словно отвечала на собственные мысли:

— Женщин, пригодных к нашей работе, так мало, а они везде нужны...

Эти слова сразу раскрыли перед Хироко ход мыслей Тамино, которая, видимо, что-то недоговаривала.

— Значит, новое место, куда ты собираешься перейти,— это не производство?

Тамино молчала.

Смешанное чувство нежности к молодой простодушной Тамино и тревоги за нее овладело Хироко. Наверное, Усуи ей что-нибудь наобещал, и она теперь рассчитывает получить такой участок работы, где сможет играть более активную роль, чем работая на фабрике. У Хироко давно уже были подозрения, что молодых женщин-активисток, участвующих в профсоюзной работе, часто привлекают для выполнения обязанностей экономок и личных секретарей. Хироко задумчиво проговорила:

— Видишь ли, «там» считают, что руководителю не к лицу поручать женщинам — товарищам по работе — обязанности экономок или личных секретарей и под этим предлогом заставлять их жить с ним под одной крышей и даже сожительствовать... Я где-то читала об этом.

В той среде, где вращалась Хироко, под словом «там» подразумевали всегда Советский Союз.

— Ну...— вскинув голову, начала было Тамино. Подняв брови, она посмотрела на Хироко широко раскрытыми глазами и хотела что-то добавить, но ничего не сказала и снова молча уткнулась в шитье.

Закончив штопку, Тамино начала перелистывать

списки актива и писать адреса на конвертах из грубой темной бумаги.

За окном сгустились сумерки, порывистый ветер громыхал железом крыш. Когда он стихал, наступала такая тишина, что, казалось, слышно было, как от мороза потрескивает земля. Тамино, неловко сжимая в пальцах старую авторучку, водила поскрипывающим пером по шершавой бумаге.

Скрип пера пробудил в душе Хироко воспоминание, которое она хранила глубоко в душе. Дом, разделенный на две комнаты раздвижной перегородкой, оклеенной плотной бумагой с изображением сосен на фоне далеких гор. Сидя за низким обеденным столиком, Хироко пишет. Уже близок рассвет. Она устала, мысли ее утратили связность и стройность, ей хочется спать. И вот тогда из-за перегородки до ее слуха донесся скрип пера, такой же, какой слышится ей сейчас. Этот звук вызывал представление о строчках, написанных быстрым и ровным почерком, о мыслях, полных энергии, текущих гладко одна за другой. Хироко перестает писать, с радостным волнением прислушиваясь к этому звуку. Потом она зовет Дзюкити через перегородку:

— Послушай-ка!

— Что?

— Пожалуйста, не устраивай демонстрации!

Улыбаясь, она пытается представить себе, как он отнесется к ее словам. Дзюкити, видимо, не сразу понимает ее. Но вот за перегородкой слышится шорох, Дзюкити ерзает на своем месте и вдруг громко хохочет:

— Что это ты выдумала! Ничего подобного я и не собираюсь устраивать.

И снова скрип пера.

...Хироко знала, что жизнь, которую предстоит прожить Тамино, — жизнь женщины, вступившей на путь борьбы, — будет наполнена теми же радостями и теми же страданиями, какие выпали на долю ей самой.

Однажды после ареста Дзюкити была задержана тайной полицией и Хироко. Из окна кабинета следователя на втором этаже она увидела, как в ветвях кипариса во дворе полицейского участка хлопотала, устраивая гнездо, воробьиха. Хироко невольно воскликнула:

— Глупенькая! Вить себе гнездо в таком месте...

Следователь, человек с густыми усами, возразил:

— Ну, какая же она бедняжка! Она знает, что уж здесь-то ей охрана обеспечена.

Окинув Хироко с головы до ног пристальным взглядом, он добавил:

— Тебе тоже надо бы родить ребенка. Ты наверняка будешь сильно любить его. Это сразу видно.

Хироко посмотрела ему прямо в глаза и сказала:

— Верните мне Фукагава!

Следователь не ответил.

Как-то в конце лета, когда Хироко только что была освобождена из-под ареста и стала жить и работать в детском саду, с подругой Охана-сан произошел несчастный случай на фабрике, и ее положили в больницу.

Маленького ребенка этой женщины приняли в детский сад и поместили в комнатке на первом этаже. Хироко сидела возле ребенка и, отгоняя от него комаров веером, читала книгу. Вскоре малыш проснулся и заплакал. Она никак не могла его успокоить. В конце концов он разревелся так, что на кончике его носа выступил пот. И тогда Хироко вдруг догадалась, что ему нужно.

— Ну-ка, а теперь как? Маленький не будет больше плакать?

Она расстегнула белую блузку и дала грудь плачущему ребенку. Хилый, с землистым цветом лица и бледными худыми ножонками, он раскрыл ротик, похожий на красное колечко, и стал искать сосок. Он взял было его губами, но тут же вытолкнул и расплакался еще сильнее. Хироко несколько раз пыталась дать ему грудь, но результат был тот же. Растерянная, она принялась уговаривать капризного ребенка:

— Ну, что мне с тобой делать?.. Ведь тетя совсем не страшная, а, маленький!

Так прошло больше часа. Наконец пришла Охана-сан.

— Извините, что я так долго... Ф-фу, ну и жара!

Не садясь, она развязала пояс, сбросила летнее бумажное кимоно и, положив на плечо полотенце, сказала:

— Ну-ка, иди ко мне, плакса!

Взяв ребенка, она дала ему длинный темный сосок. Ребенок припал к нему и стал сосать, сопя и причмокивая. На его лице появилось выражение блаженства, и Хироко облегченно вздохнула.

Она рассказала Охана о своей неудачной попытке успокоить малыша. Охана-сан, вытерев полотенцем пот со лба, равнодушно заметила:

— Да уж такой хитрый, его не проведешь!

Этот случай не выходил у Хироко из головы. Значит, ее грудь, грудь никогда не рожавшей женщины, не имеет тепла, какое нужно ребенку. Перед ее глазами стояла крепкая фигура Охана-сан с бледным от плохого питания малышом на руках, которого она кормила грудью, полной этого тепла. Всю скорбь женщины, вынужденной терпеть несправедливость в этом мире, весь ее гнев ощутила Хироко в своем сердце в тот вечер.

Ночью, выключив свет и укладываясь спать, Хироко с тихой нежностью сказала Тамино:

— У тебя впереди может быть еще много хорошего. Постарайся не испортить свое будущее каким-нибудь необдуманным поступком.

Тамино промолчала.

— Я, разумеется, не хочу вмешиваться в твои дела. Но ведь мы только на практической работе распознаем людей, правда? Ну вот. А разве у тебя есть опыт совместной работы с Усуи? Мне кажется, ты его совсем не знаешь.

Тамино завозилась в постели. Потом, после долгой паузы, она медленно проговорила кротким голосом:

— Раз ты говоришь, значит, так оно и есть...

И Хироко услышала ее тяжелый вздох.

VI

Ранним утром в детский сад явился агент тайной полиции. Не произнося ни слова, он обошел весь дом, а потом, внимательно разглядывая стоявшую в прихожей обувь, внезапно спросил:

— Что, Тоёно придет?

Это имя не было знакомо ни Хироко, ни другим воспитательницам.

— Что, не знаете такого? Вранье! Его видели как раз в тот момент, когда он приходил к вам для связи.

Было ясно, что он лишь ищет предлог, чтобы оправдать свое вторжение. Он уже собрался уходить, как вдруг, повысив голос, резко спросил:

— Эй, а это что такое, вон там?

Он указал концом трости на вывеску детского сада, опять водворенную на свое место.

— Как что? Разве вы не видите? — выступила вперед Тамино. — Эта вывеска уже целый год здесь стоит.

— Кто-нибудь разрешал вам ее ставить?

— Но ведь она все время здесь стоит! Раз тут детский сад... — с досадой начала Тамино.

— Ну, это еще ничего не значит, — прервал ее агент с многозначительным видом. — Раз мы считаем, что чего-то нет, значит того и нет. Вот Союз пролетарской культуры... Они там думают, что он существует, а мы считаем, что его нет, и так оно и будет.

Когда он ушел, Тамино, сплюнув, сказала с сердцем:

— Тьфу! Какой мерзавец!

На следующий день, часа в два, когда Хироко сидела у себя наверху, делая черновые наброски листовок-новостей, на лестнице послышались тяжелые незнакомые шаги; кто-то медленно поднимался, с трудом преодолевая ступеньку за ступенькой. Держа перо в руке, она оглянулась и увидела тетушку Инаба, работницу «Сёкитаби», с узелком в руке. Из узелка торчала редька.

— Это вы, тетушка Инаба... Какими судьбами? У вас какое-нибудь дело ко мне?

— Что, Отани-сан не приходил сюда?

— Нет, его здесь не было.

Сегодня вечером, как было условлено, она должна была встретиться с Отани. Инаба, как-то странно взглянув на Хироко, переспросила:

— Так он действительно не приходил?

Хироко с живостью, какую сама в себе не подозревала, вскочила со стула.

— А что такое?

— А то, что я его видела!

Это было сказано таким тоном, что Хироко похолодела в предчувствии беды.

Сегодня Инаба не ходила на работу и отправилась сделать кое-какие покупки. Когда она возвращалась по большой привокзальной улице, она заметила впереди себя мужчину, похожего на Отани. С ним шел какой-то молодой человек. Тетушка Инаба решила подойти поближе и посмотреть, не обозналась ли она, и тогда окликнуть его. В это время на углу улицы возле радиомастерской молодой человек простился с Отани. Отани и следовавшая за ним Инаба прошли еще квартала два, как вдруг от стены кондитерского магазина отделился человек в европейском костюме и сразу же откуда-то появились еще двое. С окриком «эй!» они преградили путь Отани спереди и сзади, словно взяв его в клещи.

Попытка Отани проскользнуть мимо них, быстрота, с которой те трое окружили его, начавшаяся вслед за этим свалка — все это промелькнуло перед глазами тетушки Инаба подобно вспышке молнии. Они не пошли дальше, а повернули обратно к вокзалу, поэтому Инаба, прикрыв лицо рукавом кимоно, спряталась в какой-то подъезд. В ее памяти запечатлелась фигура мужчины в наручниках, окруженного со всех сторон. Он держался спокойно и даже поправлял на себе одежду скованными руками. Это, несомненно, был Отани.

Спазма сжала горло Хироко, она не могла вымолвить ни слова. Прижав ко рту руку, в которой она все еще держала перо, она долго стояла неподвижно. Наконец, с трудом ворочая сухим одеревеневшим языком, она спросила:

— У Отани-сан... что-нибудь было в руках?

— Как вам сказать... Я ведь очень испугалась... Но помню, он нес какой-то маленький сверток...

— А мужчина, что расстался с ним перед этим, — в чем он был? В европейском костюме?

— Да нет, какое там в европейском. Просто в куртке с белыми узорами... Как у того, который сюда часто заходит... студент, что ли.

Зрачки Хироко сузились. «Куртка с белыми узорами...» Усуи всегда носит только такую одежду. Однако...

— Вы не видали его лица?

— Нет, он ведь первый свернул за угол...

Прыгая через две ступеньки, наверх прибежала Тамино.

— Слышала?

Глаза ее сверкали, щеки покрывались красными пятнами.

— А сюда они не придут?

Тетушка Инаба, чувствуя, что приближается что-то грозное, беспокойно переводила взгляд с Хироко на Тамино. Заметив это, Хироко сделала знак Тамино и сказала:

— Ну, ничего, все обойдется! Здесь ведь детский сад... Если что-нибудь случится, то матери не станут молчать, не так ли?!

Тетушка Инаба все время утирала лицо зажатым в руке краем полосатого передника, хотя пота не было видно.

— Они, видно, не считают пролетариев за людей...

Едва дождавшись ухода Инаба, Тамино бросилась к шкафу и рывком вытащила корзину. Тщательно приводя в порядок бумаги, она пробормотала про себя:

— Еще не хватало, чтобы принялись за нас. Благодарю покорно!

Когда Общество друзей Советского Союза создало свои отделения на предприятиях и там стали выбирать делегатов для поездки в СССР, власти немедленно принялись чинить препятствия. Можно было предвидеть, что это даст себя знать везде, начиная от помощи трамвайщикам и работы группы Отани и кончая детским садом. Тамино отправилась позвонить товарищам, чтобы они сообщили кому нужно обо всем.

...Когда схватили Дзюкити, Хироко казалось, что она сохраняет достаточное самообладание, однако, поднимаясь по знакомой лестнице в доме Отани, она дважды сильно ударилась лбом о перекладину. Как тогда Отани посмотрел на тонкий рубец, появившийся на ее лбу! С какой теплотой и заботой он усадил ее потом за стол и радушно предложил поесть! Вспоминая их совместную работу, на которой она росла под его руководством, Хироко почувствовала щемящую тоску. Вот и Отани схвачен.

Хироко слышала от кого-то, что однажды Отани сумел избежать ареста, вскарабкавшись на дерево и спрятавшись в его листве. Она рассказала об этом Дзюкити, спросив, правда ли это. Дзюкити ответил не сразу, он внимательно посмотрел на нее, потом, весело рассмеявшись, воскликнул:

— О, он мастер на такие штуки!

В душе Хироко навсегда запечатлелось выражение лица Дзюкити в эту минуту. Глубокая дружба, связывавшая Дзюкити и Отани, была выше любых обывательских пересудов. Такая дружба — это та невидимая, но важная пружина, которая обеспечивает движение истории вперед. Подлинную ее цену начинала понемногу понимать и сама Хироко.

Однако действительно ли Отани не мог избежать ареста? Размышляя об этом, Хироко пришла к заключению, что иногда Отани допускал досадные промахи. Вот, например, едва услышав от тетушки Инаба о человеке в куртке с белыми узорами, она сразу вспомнила Усуи. А вдруг это и есть тот человек, которого видела Инаба? Когда Хироко говорила о своих смутных, но важных подозрениях, Отани как-то слишком легко отмахивался от них. Были ли у Отани достаточно серьезные основания считать ее подозрения необоснованными? Теперь все это вызывало у Хироко горькое сожаление и досаду.

Через день была арестована Тамино.

Хироко как раз в это время ходила за лекарствами для детей. Возвращаясь обратно, она увидела Дзиро и Содэко. С испуганным видом они стояли у мостика через канаву, видимо поджидая ее, и, взявшись за руки, во всю мочь побежали ей навстречу. В первое мгновение у Хироко почему-то мелькнула мысль: «Пожар!» Она ускорила шаги... Дзиро, налетев на нее и путаясь в ее юбке, закричал прерывистым голосом:

— Послушайте, послушайте! Иида-сан увели!

— Что?! Когда?

— Только что!

— А Огура-сан?

— Здесь!

В сегодняшних утренних газетах появилось сообщение о том, что конфликт трамвайщиков с администра-

цией урегулирован. Тамино просматривала газеты. Взяв одну из них, уже отложенную в сторону, она со вздохом проговорила:

— А мы об этом узнаем только сегодня, и то из буржуазных газет. Как это обидно!

Эти слова отвечали и настроению Хироко. Прислушавшись к тому, что говорит Тамино, Охана-сан всплеснула руками:

— Ох, а я-то в каком теперь положении, как покажусь соседям? Ведь все дали деньги для забастовщиков, хотя бы по одному сэну!

Тамино, очевидно, до последней минуты готовила листовки, разъясняющие родителям, собравшим средства в фонд помощи, что рабочие не могут потерпеть поражение, если проявят свою настоящую силу.

Увидев вошедшую Хироко, Огура бросилась к ней:

— Наконец-то! Как хорошо, что ты пришла!

Она рассказала, что два агента тайной полиции с невинным видом вошли в дом, а потом, ни слова не говоря, ворвались на второй этаж. Тотчас же вслед за ними наверх поднялась Тамино. Через некоторое время все трое сошли вниз. Один из агентов держал листок с красной надписью «Сэкки». Он поднял руку и, ударив Тамино газетой по лицу, заорал: «Не вздумай втирать нам очки! Ты ведь коммунистка! Отани все нам рассказал».

— Если бы вы видели, как они ее били, — со слезами на глазах закончила Огура свой рассказ.

Не помня себя, Хироко зло крикнула:

— Это провокация!

В детском саду и в помине не было ничего похожего на «Сэкки». Но такого рода документ им был нужен как предлог для ареста, и они принесли газету с собой. Хироко слышала, что точно такой же прием они использовали при разгроме Союза пролетарской культуры.

Успокоив Огура, Хироко вынула большой лист бумаги и написала на нем об аресте Тамино и о том, что вот уже почти три месяца без всяких оснований в тюрьме сидит Кин Савадзаки, и повесила этот лист у самого входа, чтобы он бросался в глаза всем, кто входил в дом.

А долго ли она сама пробудет на свободе — до вечера или до завтра? Этого Хироко не знала. Она поднялась наверх. В маленькой комнатке все было перевернуто вверх дном. Воткнувшись в циновку, торчком стояла сброшенная со стула ручка с пером. Вытащив ручку и вертя ее в руках, Хироко думала о том, что когда родители придут за детьми, она проведет с ними собрание. Потом она спустилась вниз, подала Огура небольшой сверток и объяснила, что делать с ним, если ее арестуют. В свертке был свитер для томящегося в заключении Дзюкити.

1936

РАВНИНА БАНСЮ

I

Это случилось вечером 15 августа 1945 года. В столовой со старинными стенными часами Коэда накрывала стол к ужину.

С веранды далеко на юге виднелись горы Андатаро. Долго в тот вечер смотрел на них муж Коэда — Юкио, молча затягиваясь дымом папиросы.

— Что будем делать, отец? — спросила его Коэда.— Может быть, пора включить электричество? Хотя пока еще светло...

Повернувшись медленным движением человека, который никогда не спешит, Юкио внимательно посмотрел в лицо жене.

— Подождем немного. Так безопаснее...

— Пожалуй, ты прав, — послушно согласилась Коэда и снова занялась тарелками.

Усадив за стол четырехлетнего Кэнкити, Хироко старалась поскорее накормить племянника. Между делом она прислушивалась к разговору брата с невесткой, который они вели приглушенными голосами, как это всегда бывает у людей, еще не успевших оправиться от пережитого волнения. Кое-что в этом разговоре близко касалось и ее.

Здесь, в одном из северо-восточных районов страны, уже несколько дней подряд стояла жаркая погода; кончалось знойное лето. Глинистая почва высохла добела и покрылась глубокими трещинами. Каждый день

после пяти часов утра в ясном темно-синем небе раздавался рев перегруженных самолетов: крупные соединения бомбардировщиков шли на операцию.

Накануне, 14 августа, как и в предшествующие ночи, сигнал воздушной тревоги был дан сразу же после одиннадцати часов. И вплоть до четырех утра в летнем ночном безветренном небе несколькими группами непрерывно проходили сотни бомбардировщиков «Б-29».

По радио сообщили, что самолеты противника направляются в Акита, однако никто этому не верил, никого это не могло успокоить. Ведь был уже случай, когда во время ожесточенной бомбежки военных сооружений и станции вблизи городка, где жила в эвакуации семья Томии, сирена оповестила о воздушной тревоге лишь спустя несколько минут после того, как были сброшены первые бомбы.

Ночью 14 августа Юкио и Хироко дежурили не смыкая глаз. Дверь, что вела к щели-укрытию, была распахнута настежь.

Брат и сестра сидели на веранде; вдали в свете поздно взошедшей луны смутно виднелись волнистые поля.

В промежутках между появлением новых звеньев американских самолетов раздавались голоса дружинников городской пожарной команды. Особенно выделялся голос какой-то женщины.

— Против-ник! — протяжно кричала она, напрягая голос до предела.

В такие минуты Хироко становилось как-то особенно тоскливо. Тревожный женский голос возникал где-то там, возле большого пруда, и разносился по полям, окутанным густым стелющимся туманом. Похоже было, что голос принадлежал уже немолодой женщине, видимо, она была взволнована своей ответственностью, и Хироко невольно вспомнился маленький домик под железной крышей на окраине провинциального городка, где жили родные ее мужа. Она мысленно представила себе разметавшихся во сне детей под старой москитной сеткой, уснувших, наконец, несмотря на мучительную жару, и возле них заспанное лицо старушки. Да, в том домике не осталось ни одного мужчины...

Хироко бросила взгляд на москитную сетку, под которой лежала Коэда с тремя детьми. Всякий раз, когда

кто-нибудь приближался к ним, как бы осторожно он ни ступал, Коэда обязательно спрашивала тревожно:

— Что? Что случилось?

Вот и тогда раздался ее беспокойный голос:

— А отец тоже здесь? Как много сегодня самолетов...

У изголовья Коэда стоял плотно затененный со всех сторон фонарь; свет его едва освещал проход, по которому в случае тревоги можно было бы вынести детей. Во мраке комнаты красивое лицо Коэда резко выделялось на белой подушке.

Последняя группа самолетов прошла с таким ревом, что казалось, рев этот вздыбил землю. Затем наступила тишина, и сколько ни прислушивалась Хироко, небо оставалось спокойным. Только потом она почувствовала, как устала.

— Кажется, кончилось, — проговорила она.

Коэда, в длинных шароварах, бочком выползла из-под москитной сетки и стала развязывать тесемки капюшона. Юкио, не снимая ботинок, стоял на пороге комнаты. Он закурил, с жадностью затягиваясь.

Утром 15 августа встали поздно; не успели еще позавтракать, как завыла сирена.

— Штурмовики! Штурмовики! — возбужденно закричал с улицы двенадцатилетний Синъити. Он подбежал к своему братишке Кэнкити, надел ему на голову капюшон и понес в укрытие.

Три дня назад большие группы штурмовиков весь день бомбили аэродром и военные сооружения в окрестностях городка.

— Мама, быстрее! Сейчас начнется! Сейчас начнется! — кричал Синъити.

Коэда забилась в глубину щели, держа больную девочку на руках. Края щели, которую копали всем семейством, уже успели порасти густой травой.

Видя, что Кэнкити надоело сидеть и он вот-вот заплачет, Хироко сорвала маленький полевой цветок, сунула его в пухлые руки мальчика и начала рассказывать ему сказку.

В укрытии просидели более трех часов. К половине двенадцатого вдруг наступила тишина. У выхода из щели Синъити в бинокль осматривал небо, громко выражая свое удивление.

— Странно, — говорил он. — В самом деле, их больше нет! — До сих пор в те дни, когда налеты волнами совершали штурмовики, бомбежки продолжались до самого захода солнца. — Даже не верится...

— Наверно, улетели на обед. Еще вернутся...

И все же все повеселели, один за другим вылезли из щели и собрались в столовой.

— Как насчет обеда? Может быть, сначала послушаем радио?

По радио предупреждали, что в полдень будет передано важное сообщение.

— Что ж, послушаем!.. С обедом можно и подождать. Тем более что завтракали сегодня поздно. Как ты, сестра?

— Я согласна.

Взглянув на стенные часы, Синъити стал настраивать приемник. Вскоре послышался записанный на пленку голос императора. Слышимость была плохая; к тому же трудно было понять бесстрастные, сложно построенные фразы. Голос императора — это такая редкость, что Синъити лихорадочно крутил регулятор, стараясь улучшить слышимость. Наконец удалось кое-как настроиться и разобрать слова. Даже маленький Кэнкити внимательно слушал, сидя на коленях у Коэда. И вот издалека чуть слышно прозвучала фраза: «Вынуждены подписать Потсдамскую декларацию».

Хироко невольно метнулась с веранды к приемнику. Слушала, прислонясь к нему ухом.

Речь императора изобиловала витиеватыми, непонятными выражениями, но ясно было, что это сообщение о безоговорочной капитуляции.

Как только кончилась речь, Хироко повернулась к брату и к невестке.

— Вы слышали? Вы поняли?!

— Безоговорочная капитуляция! — сказал Юкио.

Затем передавали заявление кабинета министров; но вот и оно кончилось. Никто не произнес ни слова. Только спустя некоторое время Юкио растерянно пробормотал:

— Но ведь это же ужасно!

И только тут Хироко заметила, какая тишина стоит кругом. Воздух пылал жаром августовского полдня, окрестные поля и горы были окутаны знойной дымкой.

А из города по-прежнему не доносилось ни звука, ни голоса. «Какая тишина!..» — вновь подумала Хироко.

Да, начиная с полудня 15 августа безмолвие охватило всю Японию, и в этой томительной тишине беззвучно перевернулась большая страница истории. Разве в этом душном глубоком молчании, охватившем всю страну, до маленького города на северо-востоке, не истекали последние минуты той жестокой драмы, которая принесла столько горя множеству людей и самой Хироко? Она дрожала всем телом и не могла унять дрожь.

Украдкой вытирая слезы, Коэда вышла на веранду с Кэнкити на руках. Она еще не сняла шаровар, в которых была ночью; воплощением невыразимого смирения и уныния казалась эта мать в рабочем костюме.

Возбужденный, с пылающими загорелыми щеками, Синъити переводил взгляд с отца на Хироко.

— Значит, война кончилась, тетя?

— Кончилась.

— Выходит, Япония потерпела поражение?

— Да, мальчик.

— Безоговорочная капитуляция? Это правда?

По лицу мальчика было видно, что он воспринимал новость как свой личный позор.

Хироко почувствовала жалость к племяннику и смутное недовольство собой. Ведь Синъити был так уверен, что Япония победит!

После непродолжительного молчания Хироко медленно заговорила:

— Син-тян![1] До сегодняшнего дня и в школе и повсюду твердили одно: «Япония победит». Так ведь? Много раз мне хотелось поговорить с тобой, но я думала: «Син-тян еще маленький, ему трудно будет понять, где правда, если в школе он услышит одно, а дома совсем другое». Потому-то я и молчала...

За эти четырнадцать лет войны, с начала и до конца, семья Юкио как бы ходила по краю пропасти, но понесла лишь небольшие потери. Глава семьи, Юкио, из-за незначительного физического недостатка был освобожден от военной службы. Это предопределило всю его теперешнюю жизнь. Гражданский инженер, специа-

---

[1] Син-тян — ласкательная форма имени Синъити.

лист в области так называемого мирного строительства, Юкио в годы экономической блокады оказался не у дел. Наличных денег было немного, сказалась общая инфляция, и Юкио со всей семьей переехал в этот городок, где года полтора тому назад умер его дед. Так началась их жизнь в эвакуации.

Во время войны Хироко с недоверием относилась к сообщениям газет и объявлениям верховной ставки. «Варварство!» — думала она, и невыносимая горечь все чаще охватывала ее. Со свойственной ей прямотой Хироко высказывала свои мысли брату. Иногда Юкио соглашался с ней. «Да, так оно и есть», — говорил он, затягиваясь дымом трубки. Иногда же он отвечал иначе: «Ты, сестра, смотришь на вещи слишком серьезно. Могут ли такие люди, как мы, что-нибудь изменить? Конечно, нет. Поэтому лучше молчать и слушать, что говорят другие». В такие минуты глаза его темнели и где-то в глубине их пряталась тревога.

Чем дальше шла война, тем чаще Юкио вел себя именно так. Хироко чувствовала, что беседы с Синъити встревожили бы его отца, и молча переживала все то, о чем ей хотелось сказать.

День 15 августа прошел без каких-либо происшествий. Наступила ночь, но ничто не нарушило мертвого спокойствия городка.

Следующий день был таким тихим и мирным, что просто не верилось.

Хироко сняла длинные шаровары, в которых пришлось ходить всю войну, и села писать письмо мужу — Дзюкити, отбывавшему заключение в тюрьме Абасири.

На письменном столе, оставшемся по наследству от деда, где во времена ее детства, когда еще жива была бабушка, всегда аккуратно стояли медная чашечка с водой, прибор для туши из китайского фарфора и другие письменные принадлежности, теперь в беспорядке валялись напечатанные на скверной бумаге учебники Синъити, по которым он занимался в перерывах между воздушными налетами, и огрызки маисовых лепешек, забытых Кэнкити. Все это говорило о неустроенном, беспорядочном быте молодой семьи.

Написав несколько строк, Хироко отложила перо и задумалась. Ведь, наверное, весть об окончании войны дошла и до тюремной камеры с маленьким оконцем

под потолком, где томится Дзюкити, — ее Дзюкити, проживший двенадцать лет в тюрьме, Дзюкити, который, перед тем как его отправили из Токио в Абасири, с улыбкой сказал ей в камере для свиданий:

— Ничего... Ну, полгода, самое большее десять месяцев тебе придется прожить в эвакуации!

С каким радостным чувством слушал, наверно, Дзюкити сообщение о капитуляции! У Хироко перехватило дыхание от счастья.

За эти годы Хироко написала мужу более тысячи писем. Письма проходили через цензуру, поэтому пришлось выработать особый стиль условных выражений, когда среди фраз о природе и погоде удавалось обменяться намеками, понятными только мужу и жене. Теперь, принявшись за письмо, Хироко почувствовала, как мешают эти превратившиеся в привычку, неприятные ей самой приемы условного письма. А ведь Хироко хотелось узнать так мало, — для этого достаточно было бы одной строки, — но как напишешь эту одну строчку: «Когда же ты вернешься?» В самом деле, когда же приедет Дзюкити?

За последние четырнадцать лет Япония многое переняла у нацистов, даже систему предупредительных тюремных заключений. Закон об охране общественного спокойствия не давал людям дохнуть. Теперь по решению Потсдамской конференции толстые крепостные стены, которыми отгородили маленькую Японию от всего мира, должны быть немедленно разрушены. Но правители страны даже о собственном поражении сумели сообщить в таких словах, что простые люди, труженики полей и заводов, сразу не могли понять, о чем идет речь. За всем этим угадывалось скрытое намерение так или иначе не выпускать из рук бразды правления. Как и в какой мере попытаются они сохранить закон об охране общественного спокойствия? Хироко охватило щемящее чувство тревоги и настороженности, знакомое неопытным людям, и это мешало ей сосредоточиться на письме. Ведь в письме к Дзюкити небезопасно написать даже такие простые и ясные слова, как: «Я рада». Нельзя допустить, чтобы слишком откровенно высказанные чувства принесли вред Дзюкити, и без того вынужденному вести упорную борьбу за свою жизнь. В каждой строке письма тон менялся, как пульс чело-

века в агонии. И когда остриженный под машинку, в тюремной одежде бурого цвета, но с каждым днем все увереннее смотрящий вперед Дзюкити возьмет в руки это наполненное живым чувством письмо, в его памяти оживут все те месяцы и годы, что они прожили порознь, тесно связанные между собой, хотя и разделенные временем и расстоянием.

Перегородка, оклеенная бумагой, отделяла комнату, где сидела за столом Хироко, от веранды, которую вплоть до позавчерашнего вечера на всю ночь оставляли открытой в страхе перед воздушными налетами. Оттуда еще не успели убрать узлы с одеждой, рюкзак, бидон с продуктами. Ставни были приоткрыты, и в полумрак комнаты проникали тонкие лучи жаркого осеннего солнца. Светлый луч падал на небольшую дорожную корзину, перевязанную крест-накрест веревкой.

Она собиралась ехать в Абасири к Дзюкити. Человек свободной профессии, литератор, Хироко ничем не была связана. Это решение сложилось у нее в конце июля, когда одно из писем, адресованное мужу в тюрьму Сугамо, неожиданно вернулось обратно с припиской тюремной канцелярии: «Адресат переведен в Абасири». Увидев иероглифы «Абасири», написанные расплывшимися чернилами на клочке плохой бумаги, Хироко почувствовала, что то, ради чего она жила, отодвигается куда-то в неизвестное будущее.

Абасири она знала только по названию. Как ни мала Япония, но теперь между нею и Дзюкити — горы и море. Когда воздушные налеты становились с каждым днем ожесточенней и поползли слухи о предстоящей высадке десанта, она с тревогой думала, что эти горы и море могут разъединить ее с мужем на многие годы.

Хироко спешно покончила со всеми делами по дому брата в Токио, где она жила в последние годы войны, по дому, оставленному на ее попечение, и приехала сюда, в маленький городок на северо-востоке.

Она успела навести справки и на вокзале, который находился от них в одном ри, и в транспортной конторе и теперь готовилась в дорогу, ожидая билет для переезда через пролив Цугару.

Даже здесь, в городке на северо-востоке, с наступлением августа пожелтели леса, покрывавшие склоны окрестных гор. А в Абасири, наверное, уже настоящая

осень. Надо во что бы то ни стало попасть на Хоккайдо до того, как путь преградят снежные вьюги, что приходят с Охотского моря.

Хироко отбирала вещи, которые могли пригодиться в холодных краях, и складывала их в дорожную корзину, хотя вокруг еще по-летнему грело вечернее солнце.

Хироко не представляла себе, как она устроится в Абасири, где у нее не было ни одного знакомого. Чиновник из политического управления неоднократно предупреждал ее, что до отъезда она не должна поддерживать отношений ни с кем из посторонних. Переезд через пролив сам по себе также представлял столько трудностей, что нечего было и думать брать с собой большой багаж. Но она твердо решила жить только в Абасири и теперь горестно вздыхала всякий раз, когда слышала о воздушных налетах на Аомори. Город Аомори горел, большая половина транспортных средств в проливе Цугару вышла из строя.

Вложив в конверт письмо, в котором она сообщала, что выедет сразу же, как только удастся получить билет, Хироко задумалась.

Она лишь на время остановилась в доме своего брата, тем не менее местная политическая полиция уже заинтересовалась ею и начала выяснять ее связи с теми, кому довелось посетить дом за это время. Коэда предупредили, что если к Хироко придут гости, пусть она запишет их имена и возраст, — за это семья сможет получать дополнительный рис. Коэда с готовностью согласилась.

И вот полицейский уже спрашивает у Хироко, откуда она знает этих людей, как она с ними связана, а Хироко отвечает, что они связаны не с ней, а с рисом.

— Как так?

Коэда смущенно опускает голову.

Несмотря на все эти неприятности, Хироко по-прежнему собиралась ехать в Абасири. Когда она вышла в соседнюю комнату, чтобы заклеить конверт, из столовой донесся незнакомый мужской голос. Какой-то пьяный мужчина кричал возмущенно:

— Да, действительно, такого трудного времени еще не было. Но сюда им не прийти!

Юкио успокаивал собеседника:

— Как бы там ни было, не остается ничего другого,

как пить вино. Ну их к дьяволу! Не стоят они того, чтобы о них говорить. Выпьем еще по одной! Не такое уж плохое вино. Ну еще по одной! За компанию!

Надев гэта, Хироко проходит мимо абрикосового дерева в кухню. В передней, где в углу навален хворост, согнувшись, сидит Коэда; она чистит картошку, прислушиваясь к тому, что происходит в столовой.

— Гость? — спрашивает Хироко.

Коэда кивает головой, — она смущена.

— Кто это?

— Господин Ото Ёда.

Оказывается, это местный сотрудник отдела «регулирования экономики».

С маленьким Кэнкити на руках Хироко отправилась на почту, расположенную на углу, чтобы послать письмо.

Еще совсем недавно городок этот был всего-навсего небольшой деревушкой. По широкому шоссе еще вчера мчались военные грузовики и мотоциклы. Сегодня их уже не видно. Белое от пыли шоссе пустынно, кругом — ни души. Между приземистыми, точно раздавленными, домиками тянутся огороды, где растут огурцы и тыквы. Вдали виднеются горы Михару.

По заросшей травой тропинке Хироко возвращалась домой. Среди ветвей криптомерии, росшей у ворот, мелькнула рубашка Юкио. Он выходит из дома вместе с гостем; подвыпивший господин Ото обнимает его за плечи.

С 15 августа по всей стране прекратились увеселительные радиопередачи. Днем и ночью передавали инструкции военнослужащим, предупреждения запасным и резервистам в связи с разоружением. В перерыве между этими официальными сообщениями передавали известия об огромных разрушениях в Хиросима и Нагасаки, о страшной силе атомной бомбы. Затем опять последовали сообщения о стабилизации экономики с целью предупреждения массовых изъятий банковских вкладов, сообщение министра земли и леса, призывавшего не беспокоиться о продовольственном положении. Далее выступил министр просвещения; он говорил о воссоздании мирной Японии, цивилизованной Японии. В городок, где жила Хироко, радио непрерывно доносило инструкции и наставления, и казалось, что делается это потому, что молчание было бы просто невыносимым. В каждом доме

люди не выключали приемников, жадно слушая все передачи. Но их лица отражали сомнение и неуверенность. Казалось, внезапно лопнул канат, который правительство заставляло тянуть народ, призывая к победе, только к победе; и не успели люди оглянуться, как почувствовали, что для них уже готовят новые путы.

После полугодового перерыва в доме семьи Томии ярко загорелись электрические лампочки, заливая светом закоптевшие толстые столбы и доски пола. Только теперь заметили, что на полке под потолком лежит опрокинутая банка из-под маринованных овощей, и это всех рассмешило. Сменив блузу на теннисную майку, Хироко подошла к зеркалу. В непривычно ярком освещении она увидела, как изменилась ее внешность.

Засветился фонарь и у колодца, и теперь, проходя по коридору, можно было сквозь закрытую стеклянную дверь видеть сад с заброшенными клумбами. Электрический свет снова осветил все уголки старого привычного дома. Но в миллионах других домов его лучи упадут на опустевшие места тех членов семьи, которые никогда больше не вернутся к родным, и при мысли об этом радость Хироко сменялась острой печалью.

Этот яркий свет, зажегшийся среди темной ночи, заставил людей еще острее ощутить беспомощность и неуверенность руководителей Японии. В эти дни правительство Кантаро Судзуки вынуждено было уйти в отставку. На смену ему пришел кабинет Хигасикуни.

II

Между абрикосовым деревом, к ветвям которого привязано кольцо, и крышей амбара перекинут длинный шест. Хироко развешивает на нем выстиранное белье.

В амбаре Коэда перебирает испорченный картофель. В этом году дожди шли как раз в то время, когда они совсем были не нужны; по всему району гнило зерно и картошка.

К амбару подошел Гохэй; на голой спине у него висел опрыскиватель; он стал показывать Коэда, как лучше перебирать картофель.

Вскоре разговор перешел на другое.

— Что-то странное происходит, — сказала Коэда, произнося местные слова на токийский манер, что придавало ее речи особую привлекательность.

Мимо амбара в это время проходила Хироко с бельем в руках.

— Сестрица! — окликнула ее Коэда. — Из полка-то, говорят, тащат все, что только могут унести. Раздают имущество на руки. Люди видели, как некоторые прямо на автомобилях подъезжают, грузят даже бидоны с бензином. Ужасно!..

Они жили на южной окраине старого поселка. Полк располагался на северной окраине городка. Там же был дом Гохэя. Когда солдатам хотелось поесть или выпить чая, они бродили по всему городку, заходили и на южную окраину, присаживались на кухне Коэда и просили угостить чаем. Однако после 15 августа все эти хождения прекратились. Солдаты один за другим потянулись к железнодорожной станции, которая находилась в одном ри от полка. С тяжелым грузом за спиной, устремив взгляд к небу, может быть потому, что большие мешки заставляли их запрокидывать головы, с отсутствующим выражением лица медленно двигались пожилые и молодые солдаты к станции по шоссе, с которого открывался красивый вид на далекие хребты гор. Шоссе начиналось как раз позади усадьбы Гохэя. Понятно, что и семья Гохэя и его соседи присматривались ко всему острым крестьянским глазом и многое успели подметить с тех пор, как началась война.

— Говорят, каждый тащит что хочет... Говядину, свинину уносят с собой.

В словах Коэда чувствовалась зависть рачительной хозяйки. Ведь ни одна семья теперь не могла купить мяса!

Стоявший рядом Гохэй не особенно внимательно слушал рассказ Коэда. Но, наконец, и он решил высказать свое удивление по поводу того, что видел собственными глазами за это время:

— Подумать только! Норовят схватить прежде всего то, чего не хватает. Ведь там собраны и одеяла, и сапоги, и керосин, и мыло, и одежда. Потому-то у нас ничего этого и нет. Вы бы только посмотрели!

— Что и говорить! Им сказано: «Берите, сколько можете унести, и уходите домой». Есть такие герои, что не

могут пролезть в ворота — нагрузились узлами так, что и поднять трудно!

— Вот это да... — завистливо сказал Гохэй.

Коэда и Хироко рассмеялись.

— Ну, а как же иначе, раз говорят: «Тащи, сколько можешь вынести за ворота»? И тащат... Кто откажется? Ведь такое раз в жизни бывает.

Гохэй громко рассмеялся, видимо вспомнив какую-то забавную историю, в которой сам участвовал.

— Ну, надо идти на огород, не то опять все дыни повянут.

После того как Гохэй ушел, Коэда и Хироко некоторое время сидели молча.

Жизнь начинала меняться.

Правительство Хигасикуни ежедневно по нескольку раз обращалось с призывом не растаскивать оружия, военных припасов и материалов, соблюдать порядок, выполнять приказы старших начальников. Но эти предупреждения имели обратное действие: они воспринимались как сигнал к грабежу, к немедленному захвату всего, что попадется в руки, причем каждый старался опередить другого.

Прошло несколько дней, и жизнь в маленьком городке, замершая после 15 августа, стала постепенно входить в обычную колею. Особое оживление вносили слухи. Каких только слухов не было в это время!

Рядом с усадьбой Юкио Томии стояла маленькая, как хижина отшельника, баня семьи Канскэ, где мылась и Хироко. Вечером 15-го числа она тоже была там. Семья сидела вокруг очага, где лежал догорающий обрубок корня. Отец с сыном уже выкупались и сидели в трусиках, хозяйка Отомэ была в одной набедренной повязке. Царило молчание; все смотрели в огонь, опустив головы. А теперь настроение семьи изменилось. Все они оживились, работали не покладая рук; с наступлением темноты отец с сыном что-то перевозили на ручной тележке под деревья криптомерии. Проходя мимо, Коэда сказала соседке:

— Смотрю, вчера вы до самой ночи трудились изо всех сил.

— Да, пришлось повозиться, — неопределенно ответила Отомэ и поспешила отойти к колодцу.

Все эти мелкие, но многозначительные факты создавали у Хироко представление о настроениях людей.

Поселок, где жила семья Томии, соединился с городом и административно вошел в его состав, но все еще сохранял деревенские черты. Правительство Мэйдзи, выполняя программу разработки новых земель, составленную кабинетом Тосимити Окубо, решило распахать здесь несколько сот тёбу[1] и провести из озера воду для орошения. В этом приняли участие местные капиталисты, они организовали акционерное общество и предоставили капитал. Разработанная земля была распределена между деятелями акционерной компании в соответствии с суммой ассигнованного капитала. Сюда потянулись крестьяне из обедневших в годы переворота Мэйдзи районов северо-востока и осели здесь как арендаторы новых земель. Проходили годы, но в поселке попрежнему было много арендаторов и мало тех, кто сумел обзавестись собственной землей. Таким оставался поселок и теперь.

Страшная война кончилась капитуляцией. В первый момент всех охватила растерянность. Ну, а теперь? Какие мысли теперь занимают местных крестьян? Все это глубоко интересовало Хироко.

Еще 8 августа, вечером, по радио передали официальное сообщение о том, что Советский Союз объявил войну Японии. Как раз в это время Гохэй, возвращаясь с поля, присел отдохнуть на террасе дома Юкио. Радио сообщало о стратегических пунктах Северной Кореи и Маньчжурии, занятых советскими войсками. Гохэй, голый до пояса, в одних рабочих шароварах, заглянул в комнату; его загорелое лицо блестело от пота.

— Ну, теперь конец Японии!

Передача последних известий окончилась. Хироко, как бы убеждая прежде всего себя, сказала:

— Но эти ваши слова ведь ни на чем не основаны. Расстояние от Владивостока до Японии бомбардировщик может пролететь за три часа. Если они действительно хотят уничтожить Японию, почему они не летят сюда, а занимают Корею и Маньчжурию? Удобный

---

[1] Тёбу — около 1 гектара.

случай для нападения на Японию был и в начале войны, он представляется и сейчас. Но этого не случится, мне кажется.

— Может, и так. Может быть, вы правы.

Гохэй вытер темным от пыли полотенцем свое скуластое лицо. Он, этот Гохэй, не думал, что Потсдамская декларация может что-либо изменить в его собственной жизни. Гохэй арендовал землю Томии. Но и о земле он не думал.

А, например, в доме Канскэ беспокоились о том, не реквизируют ли оккупационные войска все сельскохозяйственные продукты. Канскэ не раз высказывал Хироко свои опасения. Этим и ограничивались его раздумья. Он также обрабатывал чужую землю. И тоже совсем не думал о земле.

В истории народа начинался крутой перелом, но местные крестьяне были слишком далеки от того, чтобы видеть в этом что-то близкое их нуждам и заботам. Все происходящее они воспринимали как старую знакомую песню на новый лад. Их больше всего интересовал грабеж имущества.

Очищая в передней маис, который ели теперь вместо риса, Коэда делилась своими затаенными думами:

— Сейчас больше всего достается хозяйкам. Просто руки опускаются.

Коэда никогда не была хорошей хозяйкой. Что же касается главы семьи — Юкио, то как во время войны он не проявлял желания заняться каким-либо прибыльным делом, так и теперь не предпринимал ничего, оправдываясь тем, что обстановка резко изменилась. Семья жадно прислушивалась к слухам, но это ведь ничего не меняло, и у детей за это время не появилось даже пары резиновых туфель. Часто Коэда приходилось до рассвета выезжать из дому на велосипеде в далекие деревни, чтобы купить чего-нибудь детям.

В то же время разговоры Гохэя и других соседей становились какими-то странными. То Гохэй вдруг заявлял, что достал откуда-то несколько кан[1] свинины, то сообщал, что давали по банке масла. Но когда все эти новости доходили до Коэда, оказывалось, что про-

---

[1] Кан — единица веса, равная 3,75 килограмма.

дукты уже кончились или заявки нужно было делать раньше.

— Ой, опять упустила! Какая жалость! — Загорелое лицо Коэда мгновенно покрывалось румянцем, но он скоро проходил, а Коэда больше не возвращалась к этой теме.

В такие минуты Хироко тяжело было смотреть на невестку.

Как с ближайшими соседями, так и с другими жителями деревни у Коэда сложились в общем хорошие отношения. Трудолюбие и природная мягкость помогали ей выходить из затруднений в житейских делах. Так бывало раньше, так было и теперь, но все же между этой семьей и окружающими замечалась все бóльшая разница.

Дело было не только в том, что дом семьи Томии находился далеко от казарм, откуда тащили ценные вещи и продукты. Деревенская жизнь принимала новый оборот, который давал простор житейской сметке Гохэя и других. Но эта жизнь царила там, за воротами, за тем небольшим, обсаженным белыми цветами рвом, что окружал их дом. Хироко остро чувствовала, как останавливается течение деревенской жизни у порога их дома. И даже если бы оно изменило направление и устремилось бы в другое русло, оно все равно никогда не залило бы их двор.

Объяснялось это вовсе не личными качествами Коэда или Юкио. Здесь сказывалось своеобразное положение семьи Томии, которая не относилась к числу крестьянских семей, не была также семьей школьного учителя. Крестьяне не могли думать, что Томии живут теми же интересами, что они сами.

Хироко все больше и больше хотелось уехать в Абасири, к Дзюкити. В деревне она вынуждена была вести жизнь одинокого человека, скромную жизнь жены политического преступника. Но Хироко и здесь оставалась сама собой — она не могла отстраниться от жизни.

Япония менялась, и Хироко хотела вместе со страной пережить эти изменения, хотела ясно определить свои позиции, чтобы быть достойной женой Дзюкити.

До нее дошли слухи, что пароходы, связывающие Аомори и Хакодатэ, в одно время прекратили рейсы из-за воздушных налетов, а теперь перевозят только демо-

билизованных и не берут на борт гражданское население.

Пришлось вынуть из корзины, уложенной для поездки в Абасири, осеннее кимоно; в нем Хироко ходила теперь на станцию и подолгу простаивала у карты. Ведь от Абасири ее отделял только кусок моря шириной в мизинец и узкая ленточка суши. Казалось, что стоит она на крайней точке суши и видит противоположный берег. Может быть, в самом деле стоит поехать в Аомори и там подождать какого-либо парохода? В сожженном Аомори, как ей рассказывали, строили бараки, начинала налаживаться нормальная жизнь. Хироко написала письмо о своих планах в Аомори одному хорошему знакомому.

III

На палубе линкора «Миссури», в Токийском заливе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции.

Описывая процедуру подписания, радио сообщило, что в этот день на линкоре «Миссури» был поднят тот самый флаг со звездами и полосами, под которым плавал коммодор Пэри[1]. Голос радиокомментатора далеко разносился по городку, залитому яркими лучами осеннего солнца.

С проселочной дороги во все стороны открывались горы. Далекая цепь гор виднелась и из-за круглой крыши поселкового «собрания», дальше простирались пахотные земли — они пестрели за сараями, позади крестьянских домов. Яркий осенний наряд гор напоминал о приближении зимы. Хироко все сильнее и сильнее стремилась в Абасири.

Однажды в ясный осенний день, после обеда, у ворот дома Томии собралась шумная ватага мальчишек во главе с Синъити. С молотками и палками в руках, громко крича: «Лодка!» — они катили какой-то предмет, сверкающий серебром.

---

[1] Пэри — командир американской эскадры, в 1854 году под угрозой военных действий заставил японское правительство открыть для американцев порты Хакодатэ и Симода. До 1854 года феодальные диктаторы Японии придерживались политики строжайшей изоляции страны от остального мира.

«Бамм!..»— гулко раздавались удары палкой.

— Эй, осторожнее! Не бей по рукам!

— Не так, не так! Ёсикава! Заходи с той стороны! Ну-ка, взяли!

Несколько мальчишек по команде Синъити опрокинули воображаемую лодку. В этот момент босоногий четырехлетний Кэнкити, принимавший в игре самое живое участие, споткнулся и упал.

— Стойте! Кэн-тян упал!

— Ну-ка, еще раз! Взяли! Готово, перевернулась!

Вскочивший на ноги Кэнкити кричал во все горло и снова смело подступал к «лодке».

Это был бак из-под авиационного горючего. Не израсходованный во время войны бензин использовался теперь крестьянами. Остро пахла серебристая краска баков. Этот запах доносился из каждого дома, расположенного вдоль дороги.

Стоя на галерее, Хироко смотрела на игру мальчишек и хохотала от всей души. Как веселились эти маленькие люди! Они не думали ни о чем, кроме игры. Бензиновый бак для них — хорошая игрушка: его можно переворачивать, бить и катать, тем более что взрослые просили забросить его куда-нибудь.

— Взяли! Взяли! — Дети с криком положили несколько баков на тележку и повезли их со двора школы, где помещался раздаточный пункт.

С окончанием войны даже детские игры стали совсем иными. Раньше, какой бы интересной ни была игра, все родители спешно загоняли детей домой, как только раздавался сигнал воздушной тревоги. Синъити не раз плакал при этом.

Хироко с волнением следила за игрой. Дети, забыв обо всем на свете, то собирались вместе, то снова разбегались, копали какие-то ямки, влезали в бак и воображали, что плывут на корабле по океану. «Вот что значит мир для людей!» — думала Хироко.

В это время, спустив с педали велосипеда одну ногу, во двор въехал почтальон.

— Тетя! Письмо! — торопясь и не договаривая слов, крикнул Синъити.

— От кого?

— От Исида.

Пришло срочное заказное письмо от матери мужа. Хироко стоя разорвала конверт. По всем правилам вежливости мать писала о погоде, о наступающей осени, осведомлялась о самочувствии Хироко.

Хироко на ходу читала письмо. Вдруг она остановилась и подняла голову. Мать писала, что Наодзи, младший брат Дзюкити, пропал без вести в Хиросима.

При третьем сборе Наодзи попал в воинскую часть в город Хиросима. Это было в середине июля. Недавно свекровь писала, что Наодзи будет служить во внутренних войсках, в самой Японии; это письмо успокоило и обрадовало Хироко. 4 августа Наодзи приехал домой в отпуск. Вечером 5-го спешно возвратился в часть. Утром 6 августа, как раз в часы завтрака, в Хиросима произошел не виданный до сих пор взрыв.

Кто-то сказал, будто Наодзи видели через три дня после взрыва на грузовике в расположении той воинской части, в которой он служил, но ничего определенного никто не знал. «Не теряем надежды,— заявили родственникам,— во всяком случае, попытаемся установить хотя бы место гибели...»

Хироко била нервная дрожь, она обливалась потом.

Второй брат Дзюкити, также младше его, Синдзо, уже четыре года был на фронте в районе южных морей.

При одной мысли о жене Наодзи — Цуяко, молодой женщине с удлиненным овалом лица и миндалевидными, как на старинных рисунках, глазами,— Хироко почувствовала нестерпимую боль. Ведь у Цуяко маленькие сыновья!

Коэда не было дома; она давно уже ушла куда-то раздобывать морковь. Голоса играющих детей звучали все громче, в них чувствовалась радость и сила новой, мирной жизни. Хироко зарыдала.

Теперь судьба свекрови и Цуяко с детьми стала для Хироко частью ее собственной жизни. Мать Дзюкити до сих пор мужественно переносила все удары, которые выпали на долю ее старшего сына: у нее оставались Синдзо и Наодзи.

Думая о теперешнем состоянии свекрови, Хироко прямо-таки не знала, что и делать. Она подошла к плетеному креслу, села и положила письмо перед собой, на маленький круглый столик.

Как отнесется к этому Дзюкити? Вместе с письмом к Хироко мать, конечно, отправила письмо и ему.

Дзюкити давно уже писал Хироко, чтобы она съездила повидать его родных. Городок, где жила свекровь, недавно был объявлен особым военным районом. Каждый автобус обязательно сопровождал солдат с повязкой, на которой значилось: «Жандармский корпус». Все это отпугивало Хироко. Перечитывая письмо, она раздумывала: продолжать ли готовиться к поездке в Абасири, или отбросить мысль об этой поездке и отправиться к свекрови? Что посоветовал бы ей Дзюкити?

Вскоре до нее донесся голос Коэда; войдя в дом, она звала Кэнкити. Хироко бросилась к Коэда, когда та была еще в передней, и протянула ей письмо свекрови.

— Прочитай!

— Что-нибудь случилось?

Пробежав глазами письмо, Коэда побледнела и вопросительно взглянула на Хироко.

— Сестрица! Что же теперь делать?

— Надо ехать туда. Думаю, что и Дзюкити посоветовал бы мне то же.

— Но как же так?.. Какой ужас!

Вскоре вернулся на велосипеде и Юкио.

— Билет я как-нибудь достану,— пообещал он, когда ему рассказали о письме.— Собирай вещи, сестра! Ходить тебе самой слишком тяжело. Я на велосипеде, мне проще.

Не часто бывало, чтобы Юкио так сразу соглашался с намерениями сестры.

— Но как ты доедешь?— сказала Коэда. — Ехать одной в теперешних поездах... Это ужасно!..

— Я и сама побаиваюсь.

— Ничего не поделаешь, надо.

Хироко на собственном опыте убедилась, когда ехала сюда, к брату, как трудны железнодорожные переезды. Теперь ей хотелось отправиться без вещей, взять только что-нибудь из продуктов.

— Здесь на станции порядком намучаешься, а доедешь до Токио — опять пересадка!

— Лучше ехать дневным, а не ночным поездом. Хотя все равно.

Хироко вышла на террасу, открыла свою корзину и задумалась. Вспомнила, как, услышав по радио о взрыве

в Хиросима, она сразу же написала родным письмо, беспокоясь об их здоровье. Сегодняшнее спешное письмо, судя по штампу, прибыло 18-го числа. Значит, оно разошлось в пути с ее письмом, которое, видимо, получат только 20-го.

Свекровь и Цуяко узнали о судьбе Наодзи уже 11—12-го числа. Случайно к ним зашел товарищ Наодзи по отделению и спросил:

— Разве Наодзи не вернулся домой?

— Нет, не возвращался. А что с ним?

Так впервые родные узнали о том, что Наодзи пропал.

Хироко вынула из корзины все вещи, переложила их на большой платок, стала отбирать самое необходимое. Вниз она положила траурное кимоно.

Пока Хироко перекладывала вещи, ей вспоминалось многое из жизни ее близких, простых людей Японии, переживших тяжелую войну.

Когда Наодзи впервые после демобилизации попал на сбор резервистов, его мать вместе с Хироко специально отправилась на богомолье в храм Бинхэй в Санги. Пошел дождь. В магазине сувениров у входа на территорию храма они взяли зонтики и гэта. Ветер рвал из рук зонтики. Когда, поднявшись по длинной лестнице из сотни ступенек, они подошли к главному храму, у Хироко дрожали ноги, она не могла больше двигаться.

Не обращая внимания на дождь, свекровь купила талисман и попросила отслужить службу. То же делали десятки других женщин и мужчин.

Хироко запомнилась молодая женщина, которая, прикрывшись от дождя листом промасленной бумаги, босиком сто раз обходила вокруг храма.

У ветвей больших криптомерий стояло несколько флажков, которые принято дарить уезжающим на фронт: они должны принести солдатам успех в бою. Флажки намокли, полиняли; причудливо и странно выглядели они в тени больших мрачных деревьев.

— Я думала принести сюда флажок для Наодзи, но хорошо сделала, что не принесла,— прошептала свекровь на ухо Хироко. В волосах и на бровях старой женщины сверкали капельки дождя.

Когда Хироко собиралась в Абасири, в ее душе звучала песня. Теперь другие мысли овладели ею.

На следующий день, готовая мужественно преодолеть все трудности, Хироко шагала по поселковой дороге; нужно было выполнить формальности, связанные с переездом, обменять местные продовольственные талоны на дорожные.

IV

В вагоне Хироко посчастливилось найти свободное место. Но встать уже было нельзя, чтобы не потерять его, и Хироко не смогла даже попрощаться с провожавшей ее Коэда.

Как только поезд тронулся, в вагон вошел рослый кондуктор средних лет, в обмотках, и, расталкивая стоявших в проходе пассажиров, объявил: «Приготовьте билеты!»

— Это вагон второго класса, — сказал он кому-то.— Вам придется уплатить стоимость проезда со станции отправления в тройном размере.

Вспыхнула словесная перепалка. Продолжая спор, кондуктор подошел к Хироко. Она предъявила билет. Поставив отметку карандашом на обратной стороне билета, кондуктор хотел пройти дальше, но остановился и, показывая костлявым пальцем на сумочку, которую держала Хироко в руке, спросил:

— Этот использован?

Хироко не поняла, о чем ее спрашивают. С недоумением посмотрела она в сумочку, обшитую изнутри желтой материей, где лежал только что предъявленный билет.

— О чем вы?

— Этот использован?

Кондуктор вынул из ее сумочки старый неиспользованный билет пригородной Токийской железной дороги и, не сказав ни слова растерявшейся Хироко, прошел дальше.

— Прошу предъявить билеты!

В то время местные газеты много писали о возрастающих случаях безбилетного проезда. Отмечалось, что на одной из больших станций ежедневно собирается более двухсот безбилетных пассажиров и число их непрерывно растет.

Поезд тронулся. Кондуктор повеселел.

В своей форменной одежде, свисающей с костлявых плеч, он выглядел очень усталым. Хироко не знала, правильно ли поступает кондуктор, отбирая билеты пригородной Токийской линии, но ей было жаль этого изнуренного раздражительного человека. Железнодорожникам много пришлось поработать в страшных условиях войны. Потом демобилизация, оккупация — ни одной минуты отдыха.

Напротив Хироко сидел мужчина двадцати с небольшим лет, с нервным, неподвижным лицом, в шинели морского офицера; с ним ехал круглолицый юноша, видимо его подчиненный. У них было много вещей. Офицер подал кондуктору какую-то бумажку и при этом что-то грубо ему сказал.

Кондуктор взял бумажку и прошел вперед. В это время из другого конца вагона к нему протиснулся пассажир, с которым он недавно спорил.

— Эй, кондуктор! Что бы ты ни говорил, я не хочу оставлять в твою пользу ни копейки! Что, я не прав? Слышишь?

Пассажир был в одежде полувоенного образца, в обмотках; пуговицы кителя расстегнулись, видна была рубашка; говорил он громким, пронзительным голосом.

— Эй, кондуктор!

Кондуктор резко обернулся, как будто его ударили.

— Ну что вы ко мне придираетесь! Я уже сказал, что никакой личной корысти у меня нет. Нужно выполнять правила!

— Так ведь все на свете перепуталось! Какие там правила? Второй класс даже хуже третьего.

— Именно потому, что все перепуталось, нужно поддерживать порядок. Для чего же издан императорский указ!

Хироко поняла, что поезд, в котором она сейчас едет, не простой, обычный. Поезд беглецов — вот что это такое!

Морской офицер, сидевший напротив, встал, куда-то вышел, потом снова вернулся. Через некоторое время вошел кондуктор. Шагая через вещи, он подошел к молодому офицеру.

— Ну, пожалуйте двести!

Молодой офицер с бледным, обиженным лицом сидел, развалясь и широко расставив ноги. Он раскрыл боль-

шой бумажник, вынул пачку новых десятииеновых билетов и передал кондуктору. В обмен он получил свою бумажку.

— Теперь, когда с этим покончено, позвольте спросить, почему вы так грубо говорили со мной?

Молодой офицер, видимо, совсем не ожидал, что окажется в таком положении. Уничтожающим взглядом он смерил кондуктора и что-то тихо ответил ему.

— Нахальный вы человек! Что вам не понравилось? Разве я сделал что-нибудь неправильное? Ведь это вы едете без билета. Я только выполняю свои обязанности кондуктора. Меня же и обругали! А я только и сделал, что сказал: немедленно оформите билет.— Кондуктор говорил взволнованно, с презрением глядя на молодого офицера.

Офицер взглянул на кондуктора так, будто хотел сказать: «Было бы это месяц тому назад, я бы тебе показал!»

— Потому-то Япония и разбита, что у нас такие военные, как вы!— прозвучали обидные, как плевок в лицо, слова кондуктора.

Хироко не хотелось смотреть ни на офицера, ни на кондуктора.

Рядом с Хироко сидел армейский офицер со следами срезанных петлиц. С другой стороны расположился мужчина в полувоенной форме, видимо управляющий каким-либо военным предприятием на северо-востоке; предприятие, очевидно, было ликвидировано, и он возвращался в Токио. Прямо перед Хироко расположился еще один офицер из кадровых военных; у него тоже были содраны петлицы.

Перебранка прекратилась. Хироко стала оглядывать вагон. Все было забито вещами; корзины и чемоданы лежали на полках, в проходах и даже на сиденьях. Ехали только мужчины. Судя по внешнему виду, все они имели какое-то отношение к армии. Из женщин, кроме Хироко, в вагоне находилась лишь одна мать с детьми.

Поезд двигался к Токио по пустынной равнине Насу. Проходили встречные поезда, обмазанные грязью, заменявшей маскировку. Шли навстречу вагоны и открытые платформы с демобилизованными солдатами и рабочими, возвращающимися с принудительных работ.

Недалеко от полотна железной дороги на полянках виднелись беспорядочные вырубки. В лес рядами уходили большие бараки, построенные из недавно срубленных деревьев. Сейчас в лучах заходящего сентябрьского солнца они стояли совершенно пустые, как молчаливое свидетельство глупости и тупоумия организаторов этого строительства.

— Сооружения пошли на пользу, но только тем, кто все это затеял,— сказал пожилой человек, сидящий напротив Хироко.— Хоть и потерпели поражение, а поживиться все же успели!

Взгляд офицера остановился на этих огромных строениях, на которые зря расходовались деньги. Но взгляд этот ничего не выражал.

Пожилой человек замолчал. Раскачиваясь на стыках и монотонно стуча, поезд приближался к Токио.

В вагоне полным-полно людей, но у них нет общих интересов, как это обычно бывает в пути. Каждый сам по себе. Каждый думает только о себе, о своей так внезапно изменившейся жизни, о своем будущем.

Пассажир, похожий на управляющего, с живостью преуспевающего коммерсанта, временами заговаривает с армейским офицером:

— Район Канда в Токио все-таки уцелел. Там иногда можно найти хорошие книги.

Военный внимательно смотрит на него и неопределенно тянет:

— Вот как?..

На этом разговор обрывается.

Чуть подальше сидит мужчина в белых шерстяных носках, светлых щегольских брюках, в белом пиджаке и с красным галстуком; в нем с первого взгляда легко распознать человека состоятельного, связанного с районами южных морей. Щегольской костюм вполне сочетается с выражением брезгливости на его круглом лице. Он холодно, свысока смотрит на беспорядок в вагоне, как бы удивляясь тому, что пришлось попасть в такое недостойное общество.

Хироко припомнился ночной поезд, в котором в конце июля она уезжала с вокзала Уэно на северо-восток. Теснота была неописуемая; женщины плакали. Человеческая волна подхватила и внесла ее в вагон. Хироко пришлось провести всю ночь, сидя на чьих-то вещах

в проходе. Но в той сумятице всех пассажиров объединял страх перед воздушными налетами и простая, откровенная надежда на то, что, может быть, все обойдется благополучно. Люди разговаривали между собой.

— Хоть бы удалось добраться до гор.

— Какая ясная лунная ночь! Пошел бы полюбоваться луной, но очень уж страшно.

— Ну, что вы! От страха часто опасность кажется больше, чем она есть на самом деле.

Кто-то напевал популярную песенку. Рядом с Хироко какой-то пожилой человек близко придвинулся к молоденькой соседке, отпуская такие шутки, что девушке приходилось то и дело останавливать его:

— Нет, нет! Ведь вы уже немолодой человек. Перестаньте!

Делились жареными бобами; угостили и Хироко.

Теперь же атмосфера в поезде была совершенно другой. Двое военных со споротыми петлицами стояли за Хироко, облокотившись на спинку сиденья, и громко болтали, не обращая внимания на окружающих.

— А с Ямада встречался?

— Он, наверное, остался.

— Не может быть! Этот человек знает, что делать.

Дальше разговор пошел на непонятном Хироко военном жаргоне.

— Я получил около восьми тысяч...

— Вот как!.. Что ж, неплохо.

Поезд подошел к небольшой станции на окраине Токио. Хироко с трудом удалось вылезти через окно. Ей бросилась в глаза нарукавная повязка человека в защитной одежде, который помог ей выбраться из вагона. На белой повязке было написано по-английски: «Военная полиция».

V

Приятно было в столовой семьи Аюдзава снова увидеть абажур, затемняющий электрическую лампу.

Когда, решив ехать в Абасири, Хироко покидала сожженный Токио, оказалось, что вещи везти с собой на северо-восток невозможно. Все же ей очень хотелось взять хотя бы постельные принадлежности и некоторые книги.

Хироко помогали собираться в путь Ацуко Аюдзава и ее муж, которые жили недалеко от Токио.

Теперь она должна ехать не в Абасири, а в противоположном направлении, на родину Дзюкити. Хироко решила остановиться у Аюдзава не только потому, что хотелось сообщить им о своих новых планах, но и потому, что ей, измученной хлопотами, охваченной тревогой о родственниках, не хотелось жить в доме младшего брата, где теперь поселились посторонние люди.

В ту ночь, когда перед отъездом на северо-восток Хироко была в доме Аюдзава, неоднократно раздавался сигнал воздушной тревоги. Электрическая лампа в столовой была тщательно затемнена маскировочным колпаком в виде фонаря. Собравшись под небольшим кружком света, они ужинали и вели беседу.

На этот раз абажур был украшен вырезными узорами, бахрома тщательно расправлена: хозяева постарались, чтобы свет был ярче. Супруги Аюдзава имели хороший вкус и умело обставили свой небольшой домик.

Абажур был предметом их особых забот. Его переделывали и приспосабливали, чтобы, маскируя свет, он в то же время давал хорошее освещение.

Это, конечно, мелочь, но Хироко за последний месяц видела так много ненужных людям, навязанных им бессмысленных действий, что ей приятно было отметить эти изменения в семье Аюдзава.

Много было разговоров о событиях в Токио до и после 15 августа. Находясь в провинциальном городке, Хироко ничего не знала о жизни в столице.

— За два-три дня сожгли, видимо, все документы, какие только были в Токио. Посмотрели бы вы, что тут творилось!

Хироко рассказали, что в те напряженные дни на мостовых и тротуарах повсюду валялись клочки горелой бумаги. Пепел устилал землю. Молодые женщины поспешно переоделись в европейское платье и разгуливали на высоких каблуках по грудам бумажного мусора.

— Ну, а дальше что?

— В общем, все идет так, как намечено в Потсдамской декларации,— уверенно сказал Юдзи.

— Будем надеяться... — ответила Ацуко. — У нас, в экономическом институте, многое изменилось. Пересмотрены все планы. Теперь каждый наметил себе тему.

Больше всего говорили о несчастье, которое обрушилось на младшего брата Дзюкити.

После ужина пришли знакомые, жившие поблизости. Одного из них Хироко слушала с особенным интересом.

— Яманоути-сан! Вы и теперь будете обрабатывать землю?

Некоторые друзья Хироко в последние годы уехали из Токио в пригород или в другие префектуры и начали работать там на полях. Главной причиной был, конечно, недостаток продовольствия. Но движение в деревню объяснялось также и тем, что, лишенные возможности заниматься настоящим делом, они старались найти хоть какое-нибудь применение своим силам. Будут ли и дальше продолжать обрабатывать землю эти люди, способные по-настоящему понять значение капитуляции? Неужели они так и останутся всего-навсего земледельцами?

— Что касается меня, то все уже кончено. У меня больше нет времени для моих овощей.

— У всех то же самое. После пятнадцатого августа мой огород сразу захирел.

— А я во что бы то ни стало обеспечу себя картошкой,— поправляя очки легкими движениями пальцев, рассуждал Кавамото.— Я высеял много рассады, урожай будет большой!

— Да, неплохой урожай!

— Предположим, что тридцать процентов украдут, но и тогда чистый сбор составит около шестидесяти кан. Вот сколько я соберу!

— Ого!

Рассказав о предполагаемом урожае батата, Кавамото стал развивать еще более грандиозные планы.

— Ну, теперь у вас будет столько помидоров, что и не съесть!— смеясь, заметила Ацуко.

В оживленной беседе собравшихся, в дружном смехе людей, не стесняющихся друг друга, чувствовалось ожидание нового; так дрожит стрелка компаса, прежде чем указать направление.

Впечатлительная Хироко остро это почувствовала. Люди верили, что кончилась жизнь, которую все они принуждены были против воли вести еще полмесяца тому назад. И в то же время каждый знал, что он пока не

совсем готов к новой жизни. Так по крайней мере казалось Хироко.

— Было бы только правильное направление, работа пойдет быстро и целеустремленно. Между прочим, когда же заключенные возвратятся из тюрем в Токио?

— Когда отменят закон об охране общественного спокойствия? Вот в чем вопрос.

— Во всяком случае, в этом году. Не позднее! Иначе и быть не может.

— Скорей бы уж возвращались. Правда, Хироко?

Прислушиваясь к разговору, Хироко чувствовала, как всю ее заливает горячая волна нетерпения.

— Лучше не говорить об этом. — Она сказала это тихо, так, чтобы слышала только Ацуко.

Все эти двенадцать лет Хироко крепко держала себя в руках. Иногда ей думалось: хорошо бы жить с Дзюкити так, как живут все люди. Как бы радовалась она, если бы они были вместе! Но усилием воли Хироко обрывала эти мечты.

На седьмой год тюремного заключения Дзюкити заболел туберкулезом кишечника; состояние его было тяжелым.

— Вопрос времени,— предупредил Хироко тюремный врач.

Он сообщил в прокуратуру, что больному, доживающему последние дни, необходим госпитальный режим. Об этом узнала Хироко. Сколько лечебниц она объездила, сколько советовалась с врачами, сколько денег истратила!

В прокуратуре отвергли ходатайство врача. Отказ был мотивирован тем, что Дзюкити не изменил своих политических убеждений. Хироко вместе с адвокатом пошла к прокурору просить разрешения перевести Дзюкити в госпиталь.

— «Товарищ» Исида с самого начала был готов жертвовать своей жизнью. Стоит ли вам сейчас беспокоиться? — посмеиваясь, ответил ей прокурор.

Красное кирпичное здание тюрьмы Сугамо несколько лет тому назад было снесено; на его месте образовался обширный луг. Когда-то здесь были, видимо, чайные плантации. Через луг, где и теперь еще можно было видеть чайные кусты, тянулась тропинка; оттуда, чуть в стороне от места старой постройки, можно было видеть

бетонный четырехугольник новой тюрьмы. С недавно проложенной дороги виднелись серые здания; на первый взгляд в них не было ничего необычного, но стоило приблизиться, и стены тюрьмы поражали своей высотой. В огромной стене на уровне глаз человека открывалась узкая щель. Когда, бывало, разрешение на свидание уже получено, подходил сторож, нажимал кнопку рядом со щелью — и тяжелые ворота медленно раздвигались, уходя в стены. Ворота были в несколько раз выше человеческого роста. Когда Хироко стояла в ожидании перед щелью, она казалась себе такой же маленькой и бессильной, как трава, растущая у подножья стены. Необычной была не только высота стен. Пугали ворота, исчезающие в стенах. Казалось, они не откроются, сколько ни старайся сдвинуть их с места, упираясь плечом и теряя сознание.

Когда состояние Дзюкити ухудшилось, Хироко не раз стояла перед плотно закрытыми воротами. В щели можно было увидеть глаза и усы тюремщика, который сообщал:

— Сегодня свидание не состоится из-за плохого самочувствия заключенного.

— Ему очень плохо? Что же мне делать?— в отчаянии восклицала Хироко.

— Да нет! Ничего. Жив еще пока...— посмеивался тюремщик, и щель закрывалась с внутренней стороны.

Нелегко было Хироко оторваться от высокой стены. На следующее утро она опять приходила сюда и снова стояла под оградой. Ей казалось, что ее вчерашняя тень все еще остается на шершавой стене.

Дзюкити не умер. Он выжил чудом. И вот, когда душа и тело Дзюкити были полны желания снова вернуться к жизни, председатель суда через защитника сделал Дзюкити неожиданное предложение. Дзюкити рассказал об этом Хироко, когда она, наконец, увидела его лицо через окошко в комнате для свиданий. Председатель предложил при условии публичного отказа от своих убеждений отсрочить рассмотрение дела и даже разрешить лечиться на воле.

— Всякими способами хотят купить меня,— сказал тогда Дзюкити.

Рассказал он жене об этом очень сдержанно и осторожно. И все-таки этих слов было достаточно, чтобы

Хироко не могла уснуть несколько ночей. Дзюкити, передавая слова председателя суда, вдруг вплотную приник к окошку и показался Хироко очень большим. Это впечатление сохранилось у нее надолго.

Хироко напряженно ждала; ожидание становилось невыносимым. Но однажды Дзюкити просто, как бы между прочим, сообщил, что из разговора с председателем ничего не получилось.

— Странно было бы ждать чего-либо другого,— сказал он улыбаясь.— Ты не беспокойся, Хироко.

На этот раз мотивировка отказа осталась такой же, как прежде: политические взгляды заключенного не изменились.

Эта вторая жестокость по отношению к Дзюкити потрясла Хироко еще больше, чем отказ положить его в госпиталь. Сколько низости нужно было иметь, чтобы чуть-чуть приоткрыть двери тюрьмы перед человеком, едва не умершим, и делать вид, что они могут открыться! Все это происходило в разгар мая, после семи лет строгого заключения.

Хироко решила, что больше она не прольет ни одной слезы. Она была переполнена негодованием.

С того времени Хироко всем сердцем чувствовала силу и несгибаемость воли Дзюкити. Вдвоем они прожили совсем немного времени; она не участвовала в политической деятельности Дзюкити, поэтому, когда ей пришлось расстаться с мужем, она все-таки еще недостаточно знала характер Дзюкити. Она продолжала сохранять какое-то детское почтение к нему. Когда Дзюкити спокойно и осторожно, чтобы не расстраивать жену, рассказал о намерении подкупить его, он показался ей из тюремного окошка великаном. И это вовсе не потому, что Хироко смотрела на него глазами любящей жены. Весь строй мыслей Дзюкити был исполнен отваги. Несмотря на жестокость тюремщиков, Дзюкити спокойно накапливал силы и выстоял при новом испытании. Он был намного сильнее Хироко. Никогда раньше она не чувствовала такой душевной близости с Дзюкити. Вся она, целиком, всеми своими помыслами была связана с Дзюкити. Открылся новый источник взаимного понимания и самоотверженности. Они как бы переживали вторую свадьбу. Для Хироко это был жизненный перелом, обогативший ее.

Двенадцать лет жила Хироко с этими мыслями. И теперь наконец-то Дзюкити вернется! А вдруг опять что-нибудь помешает? Вдруг что-нибудь случится с Дзюкити или изменятся условия, в которых он находится...

Хироко должна ждать. Все это время она жила, стиснув зубы, ждала, что когда-нибудь да встретится с Дзюкити. Теперь она, напротив, старалась не слишком обольщаться надеждой, чтобы разочарование не оказалось слишком горьким.

Беседуя с друзьями, Хироко прислушивалась к стуку гэта прохожих на вечерней праздничной улице. Вот проехал велосипедист, подавая сигналы звонком. Приятно было после длительного перерыва снова слушать шумы летнего вечера в городе. Хироко сидела, облокотившись на книжную полку, опустив на колени веер. Появлялись и снова исчезали мысли о Дзюкити, о свекрови, потерявшей опору семьи — сына...

VI

«Где мы?» — подумала Хироко, вытирая платком лицо после сна.

Поезд только что отошел от большой станции; по обеим сторонам железной дороги тянулись развалины. Освещенные осенним солнцем руины были подавляюще однообразны; невольно думалось: с какой безжалостностью проводились налеты авиации!

Вскоре поезд миновал пустынные места и вошел в густую сентябрьскую зелень района Токайдо.

С тех пор как скорый поезд Токио — Симоносеки вышел из-под овальных сводов токийского вокзала, от которого остались только железные балки, за окнами вагона проплывали такие картины, что их вряд ли можно было назвать картинами природы. Не говоря уже о районе Токио — Иокогама, почти полностью были разрушены все города, где останавливался скорый поезд; уцелел, пожалуй, только курорт Атами. Поезд шел по зеленым полям, пересекая горы и равнины, большие реки с металлическими мостами, но вокруг не было ничего похожего на то, что обычно видит путешественник,— снова и снова появлялись однообразные руины.

Сначала пассажиры вскакивали и толпились у окон:

— Нет, это ужасно! А я-то думал, что пострадал лишь Токио... Зачем, зачем это?

Но прошло полдня, поезд продолжал идти по опустошенным районам, пассажиры постепенно привыкли к необычному виду местности и перестали возмущаться. Чувствовалась усталость.

Хироко проснулась с таким ощущением, что спала она очень долго. Было почему-то неприятно смотреть, как пассажиры рядом и напротив стали развертывать свои завтраки. Часов у Хироко не было. Неизвестно, сколько теперь времени; однообразно повторяющиеся виды за окном наводили на мысль, что, может быть, они еще не выехали из района Токио.

Напротив Хироко сидел плотный, коренастый мужчина в белой шелковой рубашке и обмотках. Жестом человека, занимавшегося всю свою жизнь физическим трудом, он вынул из бамбуковой корзинки пузырек из-под лекарства, налил в маленький стаканчик какую-то жидкость и предложил соседу-военному:

— Выпьем по одной? Гарантирую, что это не древесный спирт.

Офицер, снявший китель и сидевший в одной белой рубашке, вежливо отказался:

— Нет, спасибо. Очень признателен, но я не пью.

— Ну, прошу извинить!

Мужчина в белой рубашке ловко, в один прием опорожнил стаканчик, выпил второй и принялся закусывать. В бамбуковой корзинке находилась различная снедь, завернутая в маленькие свертки. Он ел скромно и с достоинством, наслаждаясь едой и стараясь не особенно показывать свои сверточки. На первый взгляд его можно было принять за строительного подрядчика, но что-то опровергало это предположение. Внимание Хироко привлекли его острый быстрый взгляд и добродушная общительность.

Военный также развернул завтрак. Здесь были три колобка риса, вареная в сое рыбка и сливы. Молодой денщик, сидевший в проходе на вещах, налил из фляжки чаю и передал чашку офицеру. Эта белая фарфоровая чашка, очевидно, принадлежала раньше какому-то официальному учреждению: на ней были иероглифы: «просвещение» и «генеральный»,— в армии это, по-видимому,

должно было означать: «Генеральная инспекция боевой подготовки». Наверное, офицер на службе каждый день пил чай из этой чашки.

В голове Хироко мелькнула мысль о срезанных петлицах и погонах, которые должны были быть на кителе военного образца, который сейчас снял офицер. На кителе оставались только разноцветные орденские планки. Не было и сабли,— офицер вошел в вагон без оружия. Молодой круглолицый денщик, который пришел раньше, чтобы занять место, при появлении офицера вскочил, уступил ему место, хотя и не отдал чести. В сутолоке токийского вокзала эта сцена привлекла внимание Хироко.

Три больших колобка риса,— каждый согласится, что это солидный завтрак! Надпись на чашке и предполагаемое по этой надписи служебное положение офицера вполне естественно сочетались с хорошим завтраком.

Три дня тому назад Хироко ехала в Токио из маленького северо-восточного городка. Ей и тогда пришлось ехать вместе с молодым офицером. С отвращением слушала она, как офицер спорил с кондуктором, как они оскорбляли друг друга. Побледневший от раздражения молодой офицер после ссоры развернул завтрак, протянул что-то и своему подчиненному, буркнув: «Ешь!..»

Еда была настолько изысканной и такой необычной в эти дни, что все удивились. Обильный завтрак привлек внимание пассажиров. Это еще больше смутило солдата. Офицер несомненно понял настроение окружающих, но пожал плечами, как бы говоря: «В конце концов что в этом плохого?» — и продолжал торопливо, неряшливо поглощать пищу.

Сейчас, когда Хироко ехала на родину Дзюкити, в поезде было так же мало женщин, как и на пути с северо-востока в Токио.

В поезде с северо-востока, который шел до Токио всего семь-восемь часов, была ужасная теснота; среди пассажиров царило подавленное настроение. Тот поезд нельзя было назвать иначе как поездом беглецов. Демобилизованные военные и люди, связанные с армией, беспорядочными толпами, отталкивая друг друга, врывались в поезд. Они несли на себе все, что могли унести, старались увезти все, что удалось награбить. Не стесняясь

друг друга и окружающих, они болтали о преимуществах, которые появляются в такие критические моменты.

Прошло всего три дня, но поезд, идущий из Токио вдоль района Токайдо, уже никак нельзя было назвать поездом беглецов. Пассажиры производили впечатление людей, уже переживших капитуляцию и вступивших в иной, новый этап своей жизни. Эти люди не бежали с захваченным имуществом, стараясь как можно скорее уйти подальше от места грабежа; они ехали по домам, чтобы, окончив путешествие, решать задачи, которые ставила перед ними новая обстановка в Японии.

Рядом с Хироко сидел раненый в белом госпитальном халате. У него была ампутирована левая нога выше колена. Какой-то мужчина, по виду грузчик, помог ему внести в вагон большой деревянный ящик с выданным на казенный счет протезом. В вагоне, в разных местах, ехало еще несколько человек раненых. Никого из них не сопровождали ни сестры, ни санитары. Еще не свыкшиеся со своим увечьем, инвалиды иногда обращались к соседям то с одной, то с другой просьбой и всякий раз вежливо просили извинения.

Сосед Хироко вместо завтрака грыз сухарь. Этот раненый и офицер из генеральной инспекции боевой подготовки сидели как раз друг против друга. Как выяснилось из разговора, этот человек, в расцвете лет лишившийся ноги, окончил в свое время факультет Киотоского университета и служил в горнорудной компании на Кюсю. Сейчас он жевал сухари и оживленно рассказывал о том, как его ранили в Северном Китае, как он пролежал полтора года в военном госпитале; говорил также о теперешней послевоенной неразберихе.

— Санитары даже не догадывались, как мы подшучивали над ними,— сказал он, смеясь, и похлопал по здоровой ноге свернутым в трубку американским журналом.

— Самое главное — это не терять уверенности,— говорил мужчина в белой шелковой рубашке.— И без ноги можно быть счастливым. Вот что нужно помнить! Ни в коем случае не вешайте головы. Я многое испытал, пока дожил до своих лет. Поверьте, это самое главное. И к жене будьте по-прежнему внимательны. Если вы будете

вести себя, как человек, потерпевший крушение в жизни, все пропало. И жена тоже по-иному начнет относиться к вам. Это я знаю по своему опыту!

Хироко была в синих шароварах и в старых, сохранившихся еще со студенческих времен, ботинках на шнурках. Она покончила со своим завтраком и спросила у человека в белой рубашке:

— Чем вы занимались в Маньчжурии? Имели отношение к армии?

— Да, но лишь косвенное.

Но когда офицер из инспекции боевой подготовки упоминал имена общих знакомых-военных, человек в белой рубашке восклицал: «А, вы его тоже знаете? Вот как!»— давая понять, что в Маньчжурии у него был широкий круг знакомых.

Офицер вынул брошюру «О наследниках императора Японии», но читать не стал. Глаза у него закатывались, голова запрокидывалась, веки смыкались. На смуглом лице этого немолодого уже человека, словно на продолговатой маске, застыло жесткое выражение. Губы напоминали узкую выцветшую полоску ткани, приклеенную к маске. Вероятно, он был замкнутым человеком, и душевные переживания его проявлялись очень скупо. По неподвижной маске нельзя было узнать, о чем думает этот человек.

Когда миновали город Нагоя, все проходы в вагоне оказались забиты потными, пыльными демобилизованными солдатами и их пожитками.

Одноногий военный, который вначале весело шутил, забеспокоился. Жена и дети у него жили в эвакуации в Киото. Он рассчитывал после двухлетнего отсутствия прежде всего немного отдохнуть дома.

— Только бы вовремя пришла телеграмма! — Он повернулся к Хироко: — Теперь, пожалуй, за два дня телеграмма не дойдет, как вы думаете?

— Да, с телеграммами сейчас плохо.

Телеграмма, отправленная в Токио из городка на северо-востоке, так и не была доставлена, пока Хироко жила в доме Аюдзава.

— Что же делать? Не будь у меня вещей, я как-нибудь справился бы сам, но с этим...

Он взглянул на деревянный ящик с протезом, лежавший на полке.

— Когда будет ваша станция, мы все вам поможем, а там подойдет кто-нибудь из станционных служащих. Вещи можно временно отдать на хранение, а потом прислать за ними.

— Большое вам спасибо! Придется так и сделать.

Он на секунду приложил руку к голове и нервно засмеялся.

— Впервые выхожу в свет. В самом деле, пока лежал в госпитале, вокруг меня были такие же инвалиды. Страшно было смотреть на этих раненых... А тут одной ноги только не хватает — пустяк!

Немножко успокоившись, он закурил.

— А теперь я понимаю, как мне будет неудобно. С одной-то ногой даже сынишку по-настоящему не обнимешь, на руки не возьмешь,— ему уже пять лет!

Хироко поняла, что за этими словами скрываются раздумья о жене, и ей от всего сердца захотелось ободрить спутника.

— Если вы, хотя бы сидя, подбросите его на руках, он будет на верху блаженства, можете быть уверены. Матери, наверное, уже не под силу поднимать пятилетнего мальчика.

Немного помолчав, она добавила:

— Право, не беспокойтесь! Все будет хорошо!

— Любовь непостоянна. Неизвестно еще, как сложится дальнейшая жизнь...

Если бы в любви все шло раз навсегда установленным путем, разве Дзюкити и Хироко сохранили бы свое чувство в течение двенадцати лет разлуки? Хироко хотелось как-нибудь утешить этого несчастного, приунывшего человека. Думая о нем, Хироко не могла не вспомнить и свою невестку. Может быть, для молодой Цуяко, потерявшей Наодзи и оставшейся с двумя малыми детьми, было бы лучше совсем забыть погибшего мужа? Но как тяжело изуродованному на войне человеку потерять в довершение всего еще и веру в то, что он любим! Больше твердости, больше стойкости! Если бы источник бодрости существовал не только в сказках, но и в жизни, Хироко собственными руками зачерпнула бы из него воды, чтобы напоить этого безногого инвалида.

До прибытия в Киото оставался какой-нибудь час. Одноногий солдат снова заговорил, обращаясь к сидевшему напротив офицеру из инспекции боевой подготовки:

— Я выхожу в Киото. Что вы пожелаете мне на прощанье?

Офицер, сидевший со скрещенными руками, слегка покраснел. Теперь лицо его уже не напоминало маску,— на нем появилось доброжелательное и даже смущенное выражение.

— Старайтесь жить, не теряя собственного достоинства,— сказал он, подумав.— И будьте усердны. Усердие превыше всего!

— Благодарю вас!..

В это время поезд огибал небольшой холм. Видно было, как под ветром, идущим от поезда, клонились полевые травы и цветы.

Одноногий вдруг сказал:

— Не думаете ли вы, что теперь, пожалуй, нужно спрятать все книги о национальной самобытности императорской Японии?

Хироко удивилась. Неужели нужно обязательно до мелочей регламентировать действия людей? Неужели надо говорить: раньше вы прятали те книги, теперь прячьте эти?

Вопрос, видимо, озадачил офицера из инспекции боевой подготовки. Недоумевая, он посмотрел на собеседника и после краткого молчания резко ответил:

— Мы всегда отстаивали и будем отстаивать до конца свою национальную самобытность.

Одноногий ограничился неопределенным восклицанием и замолчал. Очевидно, ему хотелось услышать другой ответ. В то же время что мог он противопоставить этим словам, сказанным с таким убеждением, с ударением на слове «мы»? На этом обмен мнениями прекратился. Казалось, два человека, принадлежавшие к совершенно различным эпохам, волею случая встретились в переломный момент истории и так и разошлись, отчужденные, ничего не имея сказать друг другу.

Одноногий солдат сидел молча, опустив голову. С каждой минутой приближался час встречи с семьей, и его все больше и больше охватывало беспокойство. Наконец, когда поезд остановился на киотоском вокзале, он спустился на костылях на платформу, беспокойно оглядываясь по сторонам в поисках встречающих.

Прибыли в Осака. Здесь вышли офицер из инспекции боевой подготовки и его молодой денщик. Человек в

белой рубашке, высунув голову из окна вагона, смотрел, как офицер шел по уцелевшей, несмотря на пожары, платформе. Потом сказал, опускаясь на свое место:

— Сколько народу пришло его встречать! Наверное, важная персона. Может, генерал какой-нибудь?..— И, понизив голос, добавил: — Видимо, большой пост занимал. Сам, по своему усмотрению, все дела решал.

Стало понятно, почему так предупредительно относился он к этому военному.

— Ну, до сих пор ехали благополучно. Как-то дальше пойдет? Говорят, что на дороге Санъё происходит нечто невообразимое. Не было случая, чтобы поезд не опаздывал.

Он вынул из кармана брюк часы, не спеша посмотрел, который час, и бесцеремонно потянулся; после ухода военного он чувствовал себя гораздо свободнее.

В отделении, где ехала Хироко, перегорела лампочка; как только поезд отошел от осакского вокзала, все погрузилось в полную тьму.

Временами огни небольших станций, мимо которых проходил поезд, скользили по темному вагону, и тогда видны были сидящие люди и наваленные в беспорядке вещи.

Городок, где жила Тонори, мать Дзюкити, находился на берегу Внутреннего Японского моря. Раньше, описывая полукруг, сюда подходила железнодорожная магистраль Санъё. Теперь магистраль выпрямили, и она протянулась к северу, до города Токуяма.

В справочном бюро на токийском вокзале Хироко сказали, что скорый поезд на Симоносэки прибывает на станцию Ивакуни в четыре часа утра. Здесь нужно сделать пересадку.

Раньше Хироко несколько раз приходилось бывать на родине Дзюкити, и обычно она делала пересадку в Хиросима. Сохранилось воспоминание о запахе устриц, которые она ела в привокзальном ресторане, о свежести желтых лимонов, которыми славился город. В памяти остался также вид города с его узкими улицами и оживленным движением и мосты через реку, впадающую в море. А теперь в этом городе погиб Наодзи...

Хироко то погружалась в сон, то вновь просыпалась в совершенно темном вагоне; через разбитое окно проникал ветер. Почему-то ей захотелось снова побывать в Хиросима.

Попутчик в белой рубашке также должен был сойти в Хиросима, чтобы пересесть на другой поезд.

— Что ж... Раз вы тоже выходите, давайте не спеша двигаться...

Перешагивая через людей, спящих в проходе, наталкиваясь на вещи и спотыкаясь, Хироко с рюкзаком за спиной добралась до выходной двери. И в уборной, и в тамбуре, и даже на подножках сидели люди; среди них были и женщины; все они дремали, скорчившись возле своих вещей.

Начинало светать. Шел дождь. В серой влажной дымке совсем рядом с поездом проносились сосновые рощи и поросшие травой насыпи. Похоже было, что дождь зарядил надолго.

Поезд замедлил ход; видимо, начался подъем. Потом поезд вдруг остановился.

— Странно, остановился на самом подъеме,— сказал человек в белой рубашке, беспокойно осматриваясь.

— Много ли осталось до Хиросима?

— Еще порядочно. Сейчас мы в районе Мимотомацу. Осталось больше часа.

— Слишком быстро ехали, что ли...

Вздрогнув, поезд тронулся. Шел он медленно, потом быстрее, но, набрав нормальную скорость, паровоз вдруг шумно вздохнул, резко замедлил ход и опять остановился.

— Что там еще? Авария, что ли? Вот повезло!

Мужчина лет тридцати, с широким поясом, в военной фуражке, сдвинутой на затылок, высунул из окна голову и посмотрел вперед вдоль полотна железной дороги.

— Да, это Мимотомацу. Сзади прицепили еще один паровоз. Так всегда делают.

Поезд остановился возле низкой, покрытой густой травой насыпи, на которой росли сосны. Несмотря на мелкий моросящий дождик, некоторые пассажиры соскочили с подножек.

Казалось, что поезд больше никогда не сдвинется с места. Хироко сняла с плеч рюкзак и кое-как пристроила

его в ногах. Опустил на пол вещи и ее спутник в белой рубашке. Он посмотрел на часы.

— Что тут будешь делать! Уже опоздали на два часа.

Никто не отозвался на эти слова. Молодой кореец с жесткими прямыми волосами, расчесанными на прямой пробор, спал стоя, наваливаясь всем телом то на свои вещи, то на Хироко. За ним, свернувшись в клубок и прикрыв лицо руками, сидел еще один молодой человек, тоже кореец. В этой части вагона ехали почти исключительно корейцы.

В соседнем отделении тоже не было освещения. Туманный рассвет за окнами, казалось, еще больше сгущал мрак внутри вагона. И все же, несмотря на духоту и темноту, люди были оживлены. Доносились радостные голоса мужчин и женщин. Говорили на корейском языке: слышались характерные придыхательные и гортанные звуки. Со всем своим домашним скарбом эти люди возвращались на родину, в Корею, которая сейчас становилась независимой.

В другом отделении, наоборот, пассажиры сидели усталые, сонные, тихие, подавленные темнотой. Для Хироко эта разница была особенно заметной: она стояла между отделениями и почти физически ощущала разное настроение людей. Не близким был путь в Корею. Предстояли трудности. И все-таки в том оживлении, которое наполняло темное отделение, чувствовалось дыхание свободной, полной жизни. Эти люди все время что-то жевали, все время разговаривали, видимо им нравилось ехать именно так: ночью, в переполненном вагоне. Хироко всем сердцем тянулась к ним, прислушиваясь к оживленному беспорядочному шуму.

Заметив, как неподвижно стоит Хироко, и решив, что она засыпает, спутник в белой рубашке предупредил ее:

— Не спите! Это опасно.

— Спасибо. Не беспокойтесь.

Человек в белой рубашке ехал в деревню, находившуюся где-то на железнодорожной ветке Гэйби. Там жила семья его младшего брата. У брата были две дочки, почти взрослые девушки.

— Мне повезло,— говорил он,— я благополучно выбрался... Теперь думаю заехать к брату, дам ему немножко денег.

— Деньги, нажитые на войне... Сколько человеческих жизней унесли они!— прямо сказала Хироко.

— Пустяки! У меня был всего лишь небольшой заводик. За год я заработал какие-нибудь триста тысяч. Какие глупости!

Спутник в белой рубашке повторял эти слова совершенно серьезно, без малейшей иронии.

Стоявший перед Хироко кореец потеснил соседей, выглянул из вагона и одним прыжком спустился на полотно дороги. Вдруг, совершенно неожиданно, поезд сделал рывок и пошел. Раздались испуганные голоса.

— Скорее! Скорее садись!— кричали по-корейски.

Человек бросился к вагону, вскочил на подножку, но поезд тут же со скрежетом и лязгом опять остановился. Все засмеялись.

Из темного соседнего купе, где царило оживление, раздался чистый голос девушки. Она запела песню о горе Ариран:

Ариран, Ариран, Ариран!
Мы пройдем через горы...

Легко лилась эта свободная песня. Люди невольно покачивались в такт напеву. Из купе продолжали раздаваться голоса мужчин и женщин, слышался смех и кашель пожилых людей.

Девушка пела песню, рассказывая о своей радости, которую невозможно было выразить иначе чем в песне,— радость вырывалась из темного, душного вагона.

Хироко внимательно слушала песню, а перед ее широко открытыми глазами высились сосны, растущие на насыпи, возле которой остановился поезд. Темные тонкие иглы сосен угадывались в свинцово-тусклой дымке дождя.

Под дождем Хироко добежала до подземного перехода. На всем хиросимском вокзале в прежнем виде сохранился, пожалуй, только этот подземный переход. Рассказы об обширных, полностью выжженных участках не были преувеличением. Не существовало больше ни города Хиросима, ни здания вокзала. Начальник вокзала разместил свою канцелярию в товарном вагоне, в тупике. Люди старались исправить повреждения, восстановить жизнь.

Не имея никакого представления о том, где теперь размещаются кассы, Хироко брела с рюкзаком за спиной, пока не увидела молодого железнодорожника, который стоял на ступеньках лестницы.

— Когда отходит поезд в Ивата? — спросила его Хироко.

— В шесть часов сорок минут.

— В шесть сорок? — переспросила она, думая, что ослышалась.

Поезд, простоявший в Мимотомацу около трех часов, прибыл сюда в восьмом часу. Невозможно было предположить, что железнодорожник умышленно называет тот поезд, который уже ушел. Не веря своим ушам, Хироко спросила еще раз:

— В шесть сорок — это утром?

— Раз говорю в шесть часов, значит, утром. Это и дураку понятно!

У железнодорожника, — на вид ему нельзя было дать больше четырнадцати — пятнадцати лет,— не было левой руки. Короткий рукав синей куртки свисал с костлявого плеча. Этот безрукий подросток стоял на лестнице, широко расставив ноги; ему приходилось отвечать на глупые вопросы пассажиров, заблудившихся на вокзале, которого по существу уже и не было. И он отводил душу, бросая в ответ грубые, злые слова.

Хироко не хотелось ждать следующего поезда здесь, в совершенно разрушенном городе, на несуществующем вокзале, с этим похожим на чертенка мальчишкой-железнодорожником. Под дождем она снова побежала к еще стоявшему поезду и поднялась в вагон.

— Как, вы едете дальше?

— Да, до Ивакуни.

Выйдя из вагона на станции Ивакуни, Хироко осмотрелась по сторонам. За линиями железнодорожных путей высилась будка, построенная из сырых, недавно срубленных деревьев. Около будки видны были фигуры железнодорожников. Обернувшись, Хироко взглянула в сторону моря. Здесь, на фоне сверкающего голубизной Внутреннего моря, когда-то возвышались огромные здания. Теперь не было ни фабрики искусственного шелка, ни белых построек авиационного завода, ни армейского склада

горючего. Виднелись лишь бесчисленные большие и маленькие воронки, груды земли и беспорядочные нагромождения изогнутых железных конструкций. В воронках гнила грязная вода.

Стоя на высоких деревянных мостках, какие бывают у водокачек, Хироко и несколько других пассажиров ждали поезда. Прямо перед ними валялись перевернутые паровозы, товарные и пассажирские вагоны, задравшие вверх колеса, с обнаженными внутренностями, ободранные и обгоревшие; от некоторых из них остались только железные остовы. Один автомобиль, видимо, был подброшен в воздух, потом упал и остался стоять в причудливом положении, словно поднявшись на дыбы, обгоревший и теперь ржавеющий.

Дождь переставал. На рюкзак падали только редкие капли.

Вот уже и ночь прошла в пути на запад, а окружающая местность выглядела все так же безрадостно, уныло.

VII

Покинув поезд на маленькой станции, скрытой в зарослях бамбука, за которыми виднелись невысокие горы, Хироко вышла на площадь.

Направо стоял знакомый склад. Улица спускалась вниз. Все было, как прежде: и пожарный сарай на углу и мануфактурный магазин в конце улицы. Хироко почувствовала облегчение, и вместе с тем ей стало грустно. Она приезжала в этот маленький городок, когда Наодзи должен был во второй раз идти на сбор. Хироко вспомнила, как она шла со станции и возле пожарного сарая столкнулась с крепкими, здоровыми парнями, которые толпились вокруг красного ручного насоса. Среди них был и Наодзи. Увидев Хироко, он оборвал разговор с товарищами и, смеясь, подбежал к ней. Теперь перед пожарным сараем было пусто; кругом ни души.

Хироко шла по узкой безлюдной улице. Парикмахерская с полуоткрытой стеклянной дверью, бакалейная лавка, рисоочистительная мельница, давно закрытый кондитерский магазин, гостиница — все это мелькало перед ее глазами. Хироко шла и чувствовала, что, хотя на улице нет ни одного человека, за ней откуда-то пристально

наблюдают и уже приметили все: и ее синие шаровары, и тупоносые студенческие ботинки, и кусочек красного бархата на рюкзаке, пришитый, чтобы легче было отличить свой рюкзак от чужих.

Улица кончилась. Впереди уже показался амбар во дворе дома Дзюкити. Белые стены амбара облупились.

Хироко стало трудно дышать. Когда-то перед этим амбаром и перед домом на улице стояла толпа народа, развевались флаги. Тогда, в первый раз, провожали Наодзи на фронт. Он стоял, энергично расправив плечи. Вот здесь, на дороге, сфотографировался рядом с братом и матерью.

Окно, откуда выставлялся лоток с табачными изделиями, теперь закрыто и занавешено грязной занавеской. Открыта только застекленная дверь. Над входом прикреплена деревянная дощечка с надписью: «Дом воина-фронтовика».

— Здравствуйте... Есть кто-нибудь?— спросила Хироко, тихо входя в лавку.

На деревянном настиле, где раньше лежали мешки с углем, жмыхами, зерном, теперь ничего не было. Видны только грязные столбы; большие весы сдвинуты в угол. Так же пусто и на другой стороне, где когда-то находились москательные товары. Стоит только плетеный стул без ножки. На письменном столе, за который теперь, как видно, не часто садятся, — детская фуражка. В лавке ни души. Хироко всем существом почувствовала заброшенность дома, где раньше так бурно кипела жизнь.

Она открыла плохо установленные сёдзи, отделявшие длинную узкую прихожую от других частей дома. Вошла в кухню, но и здесь ни души. Цепляясь шароварами за стол, за которым наспех, с шумом и смехом завтракал и обедал, бывало, Наодзи, Хироко крикнула в глубину дома:

— Есть кто-нибудь? Дома вы?— И еще громче:— Здравствуйте!

Неожиданно откуда-то появилась Цуяко.

— Вот это кто!— воскликнула она.

Цуяко совсем не изменилась со времени их последней встречи.

— Ты дома? Не слышала, как я вошла?

Не отвечая на вопросы, Цуяко метнулась в глубину дома:

— Бабушка! Бабушка! К нам гостья из Токио!

Тут же, восклицая и охая, появилась Тонори.

— Только что приехала?

— Поезд опоздал на три часа.

— Молодец! Хорошо, что приехала. Ну, входи же!

Хироко сразу заметила, как осунулась свекровь. Совсем другим стало ее когда-то оживленное, жизнерадостное лицо. Плечи под кимоно заострились.

— О Наодзи ты уже знаешь... Как нам теперь жить?!

— Пришла моя телеграмма? Я отправила ее на другой же день после получения вашего письма.

— Нет, телеграммы не было. Так ведь, Цуяко?

— Нет, мы ничего не получали.

Цуяко сказала это так определенно, как будто такой телеграммы и не могло быть.

Разговаривая со свекровью и Цуяко, Хироко испытывала глубокую печаль. Прошло больше месяца с тех пор, как стало известно о несчастье с Наодзи, но никто не знал, где он и жив ли он. Сейчас и мать и жена уже перестали надеяться.

После лихорадочных поисков, после горьких слез у охваченных ужасом женщин потянулись унылые дни. Теперь свекровь и Цуяко занимались только детьми. Прекратилась торговля, из посторонних никто не бывал в доме.

При виде Хироко родные потянулись к ней, вновь переживая чувство утраты, но в этом чувстве уже не было прежней остроты.

Цуяко, плача, стала рассказывать о своих впечатлениях от поездки на поиски мужа. Ей пришлось пережить страшное горе. Хироко с болью в душе почувствовала, что она ничем не может им помочь.

Свекровь и Цуяко снова и снова вспоминали о том, каким умным, работящим, деловым человеком был Наодзи, как хорошо относился он к окружающим.

— В самом деле, не много найдется таких людей...

— Наодзи хорошо зарабатывал,— сказала Тонори,— поэтому даже теперь, после его смерти, мы сможем вырастить детей, если будем жить экономно.

Немножко помолчав, Тонори продолжала, как бы вспомнив что-то далекое:

— И Дзюкити наконец-то прислал письмо. Как я волновалась! Хорошо, что хоть письмо пришло. Трудно в таком месте... Какие жестокие порядки!..

Родным сообщили, что по закону об охране общественного спокойствия Дзюкити будет находиться в заключении бессрочно. В тюрьму Абасири его перевели в июне этого года. Матери объяснили, что тюрьма Сугамо сгорела, а ее сына эвакуировали. Хироко, насколько это было возможно, всегда старалась успокоить родных: и тогда, когда тревожась о старшем сыне, слег разбитый параличом отец, и при уходе в армию Наодзи и Синдзо, и в любом другом несчастье.

Матери Дзюкити, которая помнила Токио оживленным, шумным городом, рассказы Хироко о пожарах и разрушениях казались странными, недостоверными.

А то, что Хироко как писательница в течение пяти лет лишена была возможности работать, публиковать своих произведения, воспринималось только как доказательство ее беспомощности, в чем родные были убеждены и раньше.

Сыновья Цуяко, четырех и двух лет, принялись играть на полу, ползая около бумажного кораблика и некрашеных кубиков. Кубики — вот единственная детская игрушка, которую смогла купить Хироко в начале сентября этого года в столичном магазине. Рядом с играющими детьми на подушках лежали два отреза материи на юбку и пояс — подарки, которые везла Хироко в своем рюкзаке из городка на северо-западе.

К вечеру вернулась из школы Сигэно, младшая сестра Цуяко. В белой бумажной кофточке, освещенная лучами заходящего солнца, Сигэно мелкими шажками прошла по дороге позади дома и вошла через кухню. Не успела она поздороваться, как Цуяко грубо крикнула:

— Сигэно! Займись ванной!

Игравшая с детьми Хироко очень удивилась такому обращению, но, видно, оно было обычным. Сигонэ молча положила книги и вышла во двор.

На ветках криптомерий, густо растущих на склонах горы за домом, плавились косые лучи солнца; со станции слышалось постукивание товарных вагонов на стрелках станционных путей. Эти звуки далеко разносились в прозрачном воздухе маленького приморского городка. С кухни тянуло запахом горящего хвороста. Все это бы-

ло знакомо по прошлым годам. И все-таки Хироко чувствовала, что жизнь в доме Исида резко изменилась.

Перед отъездом из Токио Хироко пошла на проспект Гинза, в магазин Мицукоси, чтобы купить подарки. Торговали только в части обгоревшего здания. Оно было отделено фанерой и наспех сколоченными стеллажами, на которых лежали завернутые в бумажки румяна и пудра в коробочках. В углу, специально для американцев, были выставлены образцы национальных изделий, еще более скудные, чем в любой лавочке сувениров на курортах. Здесь были грубо размалеванные на березовых дощечках картинки с изображением танцующих гейш, пейзаж с горой Фудзи на переднем плане, дешевые веера кричащих расцветок. В витринах лежали где-то собранные уцелевшие от пожаров, напечатанные на шелковой бумаге репродукции с картин Котё, которые раньше предназначались для туристов. На открытках изображены были сцены из сказок, вроде трехглазого монаха, выглядывавшего из-за сундука. Здесь же были какие-то металлические изделия непонятного назначения, которые не всякий решился бы назвать товарами, лежали веревки, тесемки, безопасные бритвы. Витрины плохо освещенного магазина, пахнущего сырыми досками, оставляли впечатление скопившегося у берега реки мусора, выброшенного большим городом.

Американские солдаты, всего несколько дней находившиеся в Токио, толпами входили и тут же выходили из этого темного, как пещера, магазина, в котором нечего было купить.

Хироко стояла у одной из витрин, когда вошли два молодых американских офицера. Как и все остальные, они зашли сюда просто из любопытства. Один из офицеров стал внимательно разглядывать разложенные товары. Он взял железку неизвестного назначения, покрутил ее в руках, покачал головой и положил обратно. Видно было, что он очень удивлен. Проходя мимо Хироко, он тихо, но явственно пробормотал:

— Да, японцы, кажется, действительно разбиты в пух и прах!..

Хироко запомнились эти случайно услышанные слова иностранца.

С тех пор как Хироко приехала сюда, в дом своих родных, ей все время приходила на ум когда-то виден-

ная ею сцена. Взъерошенный, измученный воробей попал в лужу и, напрягая все силы, хлопая крыльями, вытягивая голову, старался выбраться из воды.

Несчастье лишило семью главной ее опоры — Наодзи. Жизнь оставшихся в доме женщин стала пустой — ушло даже напряжение первых дней горя. «Да, большое несчастье... — думала Хироко. — Они настолько придавлены этой утратой, что теряют способность что-либо переживать и чувствовать».

VIII

Хироко довелось впервые побывать в этом городке двенадцать лет назад, в первых числах января. Она выехала из Токио, не дождавшись окончания новогодних праздников. Дзюкити был арестован, прожив с Хироко лишь двадцать с небольшим дней. Сколько ни обивала пороги молодая жена, тайная полиция не разрешила ей передать для Дзюкити теплые вещи. А в феврале 1933 года в одном из полицейских участков был замучен и убит писатель Такидзи Кобаяси, которого в те времена Хироко знала только по имени. Убиты были и некоторые другие арестованные.

Даже в морозы ей не разрешили передать одежду для Дзюкити. Уже по одному этому можно судить, как обращались с ним в заключении. Прижимая к себе возвращенный сверток с вещами, Хироко медленно спускалась по темной, холодной бетонной лестнице полицейского управления. Ее тревожила одна мысль: жив ли Дзюкити? Может быть, матери заключенного полицейский инспектор вынужден будет сказать правду: находится ли Дзюкити в тюрьме, или его уже нет на свете?.. И Хироко решила немедленно ехать к свекрови.

В те годы ей еще ни разу не приходилось бывать западнее Киото, и она впервые с интересом смотрела на развертывающийся вдоль железной дороги ландшафт. Синева Внутреннего моря, зелень гор, отражающаяся в перевернутом виде на ровной поверхности спокойных вод, лес мачт в бухте, суда с раздувшимися парусами, похожие на китайские корабли на картинках, — все это привлекало ее внимание. Казались удивительными и белизна каменистой почвы, и плотно прижавшиеся друг к другу крыши домов, и узкие улицы, каких не увидишь

на северо-востоке. В памяти Хироко остались эти характерные особенности родины Дзюкити.

Когда Хироко с маленьким чемоданчиком в руках вышла из вагона, сыпался мелкий, как пыль, январский снег. Белые снежинки падали на волосы Хироко и коричневый шарф. Родители мужа сообщили ей только название станции, и Хироко попросила станционного служащего показать дорогу к дому Исида.

Дела семьи в то время еще шли успешно. Торговали рисом, маслом, цементом, москательными товарами, дровами, древесным углем, табаком, солью. Наодзи и Синдзо работали на грузовике, перевозили товары. Больной отец еще не потерял способности двигаться. Когда из Токио неожиданно приехала Хироко и, назвавшись невесткой, стала говорить родителям Дзюкити «отец» и «мать», им это казалось странным. Сама Хироко была удивлена тем, что мать ее мужа выглядит так молодо. А Дзюкити так и не успел съездить с женой на родину: перед арестом он вынужден был скрываться от полиции.

По улице, по которой шла Хироко в свой первый приезд на родину мужа, иногда проезжали автобусы. Как это часто бывает в провинции, они проносились с такой стремительностью, что на стеклянных дверях лавки Исида, так же как и на дверях их соседа Савада, оставались комья грязи. Эти автобусы проходили по улице по нескольку раз в день, чуть не задевая низких, крытых жестью крыш.

Вскоре Наодзи ушел на действительную военную службу, затем, отслужив свой срок, вернулся, но через некоторое время снова был призван и отправлен в Северный Китай. По всей Японии в то время вышивали талисманы с пожеланием удачи в боях; на станциях и на улицах развевались маленькие бумажные флажки.

Отец умер без Наодзи. Разорившаяся в период экономического кризиса 1920 года семья Дзюкити к тому времени постепенно расплатилась с долгами и снова встала на ноги.

Пришла очередь идти на военную службу и Синдзо. На третий год домой, где уже не было ни старшего брата Дзюкити, ни младшего брата Синдзо, вернулся Наодзи и женился на Цуяко, которую присмотрела для него мать.

Захватническая война в Китае и Маньчжурии в тот период все более и более расширялась; жизнь стала резко меняться. Контроль над ценами и товарами затруднял торговлю. Расположенный вдоль большой дороги между низкими горами, лесом и полями, разделенный на верхнюю и нижнюю части, поселок был объединен с находящимся примерно в двух ри другим селением на приморской равнине и объявлен городом. Это превращение отличалось от обычного, естественного, самой жизнью подсказанного развертывания маленького поселка в город; объединение полей и огородов и внезапное объявление поселка городом было подчинено чисто военным целям. Собирались проложить новую военную дорогу на расстоянии пяти ри от Токуяма к этому вновь созданному городу. Дорога, предназначенная исключительно для движения военных грузов, должна была пройти обязательно по линии, прочерченной на карте военными.

Когда четыре года тому назад Хироко навестила семью мужа, мать Дзюкити горько жаловалась на эту новую дорогу.

— Прямо житья от нее нет! Посмотри-ка, проложили дорогу так высоко, что машины почти касаются крыш!

Но за всеми этими жалобами чувствовалось беспокойство о Наодзи. Однако, вторично призванный на военную службу, Наодзи как раз накануне отправки с японских островов заболел аппендицитом; его пришлось оставить. А сформированная тогда резервная часть, в которой должен был служить Наодзи, целиком погибла где-то на островах южных морей.

Непрерывное дневное и ночное движение автобусов, грузовиков и других тяжелых машин по узкой улице с утра до поздней ночи сотрясало неустойчивый дом, где жила семья Дзюкити. Из окна второго этажа можно было видеть, как на железнодорожном пути подолгу стоят военные эшелоны и женщины из местного патриотического общества раздают солдатам чай и рис.

Во вновь созданном военном городке центральное место занял огромный арсенал; на работу сюда были мобилизованы молодые люди, девушки и подростки из соседних деревень. В определенные часы утром и вечером улица перед домом Дзюкити заполнялась велосипедистами. В автобусах постоянно можно было встретить

жандармов в сапогах и с длинными саблями. На их нарукавных повязках красными иероглифами было написано: «Жандармерия». Никто не знал, куда они едут, откуда возвращаются, но в каждом автобусе обязательно ехал жандарм. В ту зиму началась война с Америкой.

Когда в свой теперешний приезд Хироко впервые открыла окно в комнате второго этажа, она увидела, что военная дорога, на которую прежде так жаловалась свекровь, уже закончена. Проложена она была действительно настолько высоко, что с дороги можно дотянуться до верхних ветвей фруктовых деревьев, растущих за домом. Отделенный от дороги большим рвом, дом Дзюкити, к счастью, уцелел, но окрестные огороды и расположенные за ними поля все были изрыты, а дома их владельцев перенесены дальше к горам. Новую дорогу проложили совершенно прямо, в точном соответствии с линией, прочерченной военными на карте.

Всем распоряжались военные. Наодзи должен был обязательно явиться на сбор. И он явился.

Теперь автобусы уже не ходили по старой узкой улице. Они не ходили и по новой дороге, проложенной за поселком. Бурно растущий военный городок оттеснил на задний план прежний поселок, который утратил свое былое значение и стал лишь местом, около которого проходит военная магистраль. Поселок из пятидесяти домов называли теперь «старым городком».

По новой дороге со стороны арсенала часто проходили грузовики. Некоторые из них везли железные бочки с горючим, другие — лесоматериалы; иногда в сторону гор направлялись машины с домашними вещами эвакуированных. Но все это не имело непосредственного отношения к «старому городку». В неразберихе и сумятице самых последних дней войны горючее и лесоматериалы сплавляли куда-то на сторону, но занимались этим не жители поселка, а люди, имеющие отношение к арсеналу. Не этих людей имели в виду, когда называли поселок «старым».

Оплакивая Наодзи, свекровь и Цуяко думали также и о том, что если бы он был сейчас с ними, то мимо ворот их дома не прошло бы добро, которое так легко раздобыть в теперешней сумятице.

В семье Исида сложился такой порядок, что работали в ней одни мужчины: трое сыновей и отец. Тем не

менее главой семьи была Тонори: ее практическая сметка помогла пережить банкротство, разделаться с долгами. Все кругом дивились целеустремленности и усердию этой женщины. Замыслы матери, ее хорошо продуманные планы выполняли мужчины с их сильными руками и крепкими плечами. Правда, среди мужчин в семье уже давно не было Дзюкити. А теперь, когда погиб Наодзи и не вернулся с военной службы Синдзо, когда сошла на нет торговля, направляемая расчетами Тонори и осуществляемая сыновьями, способности Тонори стали ни к чему.

Хироко отдыхала на втором этаже, в комнате, где в юности жил Дзюкити. Окно комнаты, возле которого она лежала, было обращено на восток. На эту же сторону выходили окна кухни. Оттуда послышался раздраженный крик четырехлетнего Акио:

— Не хочу, не хочу! Сказал: не хочу — и не хочу!

Одновременно раздались звуки шагов взрослого человека в гэта.

— Ну что ты все выдумываешь, Аки-тян? Говорил — жесткая, я сделала помягче. Не капризничай, ешь!

Дети все время ели лепешки из рисовых и пшеничных высевок. Лепешки получались то жесткими, то слишком мягкими. Сразу же после приезда Хироко услышала жалобы маленького Акио:

— Не буду!

Послышался стук, что-то упало.

— Аки-тян! — Судя по голосу, Цуяко рассердилась. — Почему ты не слушаешь, что тебе говорят? Вот скажу...— Она, видимо, хотела пригрозить: «Вот скажу папе», но умолкла и вздохнула. Затем продолжала вялым, безжизненным тоном: — Не знаю, право, что с тобой делать...

Послышался шум шагов: она куда-то ушла. На кухне все стихло. Акио остался один. Он разбрасывал что-то по полу и жевал лепешки.

За едой маленький Акио обычно начинал вертеться, смотреть по сторонам. «Не буду есть!» — часто заявлял он и бросал на стол палочки, которые держал в руке.

— Что такое? Ты и обедать не хочешь?

Тонори сердилась, хмурилась, укоризненно глядя на непослушного внука.

— Посмотри на Дзиро. Как он хорошо кушает! Ты же старший брат, Акио! Ты должен быть примером для него. Смотри, а то тетя из Токио больше не привезет тебе подарка.

Акио улыбался, глядя на Хироко.

— Эта кашка невкусная...

Он еще раз осматривал стоящую перед ним чашку с жидким варевом из бобов и снова повторял:

— Не буду есть! Лучше картошку.

Бабушка и мать облегченно переглядывались.

— Ну что ж!.. Так бы сразу и сказал.

И ставили перед ним тарелку дымящейся картошки.

Когда Хироко приезжала сюда в последний раз, Акио был младенцем, ему исполнилось немногим больше трех месяцев. Живой смуглый ребенок был похож лицом на покойного деда. Хироко сфотографировалась с ребенком на руках и послала снимок Дзюкити. Не имея своих детей, она очень любила племянников и проводила с ними все свободное время.

В кухне, над шкафчиком, висела фотография Наодзи. Он сидел в купальном костюме, скрестив ноги, обнимая свернувшегося в клубок Акио, который тогда был гораздо меньше, чем теперь. Отец ласково смотрел на сморщившееся личико сына. Фотограф хорошо сумел передать отношение отца к сынишке. У Цуяко, видимо, не хватало духа показать сыну эту фотографию, рассказать об отце, попытаться таким образом утихомирить Акио.

Цуяко еще при жизни Наодзи не раз говорила по разным поводам, что сынишка долго не проживет. Ей замечали: «Если кормить его понемногу в течение дня, он, конечно, не захочет обедать. Потому-то, наверное, и цвет лица плохой. Надо, чтобы и завтракал и обедал всегда в определенные часы».

Теперь, когда с продовольствием стало плохо, нужно было тем более соблюдать порядок. Однако Цуяко не прислушивалась к таким замечаниям.

— Пустяки все это... — ворчливо отвечала она.

Капризы Акио усиливались, так как воспитывали его одни женщины; не было мужской настойчивости, которая незаметно умеряла бы раздражительность ребенка, не было порядка в семье. Свекровь и невестка раньше ходили вокруг единственного мужчины в семье —

Наодзи; теперь обе они не надышатся на Акио: то нянчатся с ним, то отталкивают от себя; побранят и сразу же начинают ласкать.

Лежа в своей комнате, Хироко прислушивалась к шуму на кухне и думала о том, в каких сложных формах проявляется несчастье семьи, как нарушается весь ход жизни, когда семья лишена главной опоры. Бедствия войны сказались здесь, в «старом городке», наглядно и непосредственно в том, что семья Исида потеряла опору в жизни. Пока поезд мчался на запад, Хироко насмотрелась в пути на лишения людей, у которых сгорело все имущество. Горькие следы войны можно было видеть повсюду. Эти следы были и в глазах одноногого солдата, который с беспокойством спрашивал, не лучше ли спрятать книги о самобытности Японии. Были эти следы и здесь, в «старом городке», и по всей Японии, в сотнях тысяч поселков, где люди молча переживали утрату.

Хироко прижала руки к вискам; на плетеное изголовье упали холодные, горькие слезы. Когда впервые в Потсдамской декларации она прочитала слова «военные преступники», она не знала, что это выражение наполнится для нее лично таким непосредственным содержанием. «Военные преступники, — думала она теперь, — должны быть наказаны сурово и беспощадно; этого требует справедливость».

IX

— Бабушка! Бабушка! — окликнула Цуяко и что-то сказала свекрови. В этом обращении, обычно ласковом и приятном для той, кому оно адресовано, теперь звучала не столько теплота, сколько требовательность и злость. В свой теперешний приезд Хироко сразу же заметила это. Цуяко и раньше то и дело называла свекровь бабушкой. Хироко шутила, что своими ласковыми словами Цуяко легко заставит работать каждого. Тонори обычно объясняла это молодостью и беспомощностью невестки. Обращение осталось тем же, но теперь чувствовалась в нем какая-то неискренность, думалось, что говорится это только для того, чтобы подладиться к свекрови.

Хироко жалела и невестку, которая, не испытывая добрых чувств, обращается к свекрови с ласковыми словами, и саму Тонори, к которой обращены эти слова.

В тот вечер, когда праздновали свадьбу Цуяко, Хироко сидела рядом со свекровью в зале ресторана здесь же, в провинциальном городке.

Сват за руку ввел невесту с высокой пышной прической, в длинной черной зимней юбке, хотя было начало июня. Свадебное одеяние поразило Хироко. При взгляде на одежду невесты ей стало жарко даже в легком летнем кимоно. Перед невестой, склонившей голову под тяжестью прически, почтительно везли свадебную тележку, на которой громоздились ящики. Это было приданое невесты. Хироко испытала страх перед силой обычаев и задумалась над судьбой этой разряженной молодой женщины, которая сейчас с приданым входит в чужую семью.

В соседней комнате завели патефон, поставили старую пластинку с народной мелодией. Под звуки песни поднимали бокалы. Здесь же фотографировались на память. Возвратившийся всего лишь двадцать дней назад из Северного Китая Наодзи также был в черном кимоно на вате; он обливался потом. Когда начали фотографироваться, у Наодзи затекла нога, и он, прихрамывая, с трудом передвигался с места на место. Хироко тут же пододвинула ему стул. На стул села невеста; фотограф — он же сват — поправил складки ее одежды. Свадьба Наодзи проходила со всей серьезностью, но был во всем этом своеобразный провинциальный юмор.

А через год Наодзи снова по второму призыву был взят в армию...

Когда Хироко приехала на проводы, уже родился Акио, и невестка называла свекровь не мамой, а бабушкой. Пополневшая Цуяко со смехом рассказала, что когда Наодзи на свадьбе вдруг захромал, она подумала: наверное, у него неладно с ногами.

— Оказалось, я ошиблась, он не только ходит, но и бегает! — смеялась Цуяко.

Засмеялась и Хироко, но ей показалось странным, что Цуяко в такой исключительный для нее момент обратила внимание на эту мелочь. Понятен стал склад ее характера.

Старуха, как думалось Хироко, не заслуживала того, чтобы Цуяко, сидящая на ее шее, обращалась с ней грубо и взваливала на нее все заботы о внуках. Свекровь, видимо, все понимала, но не подавала виду, заботясь о спокойствии болезненной Цуяко, матери ее двух внуков.

Как рассказать обо всем этом Дзюкити, чтобы он понял мелочи этого быта, этой жизни?

Из окна Хироко видела, как свекровь с маленьким Дзиро за спиной поднялась по насыпи и вышла на новое шоссе. Прошло много лет с тех пор, как эта старая женщина нянчила своих собственных детей, — ребенку было неудобно сидеть на ее худых плечах. Хироко заметила это и снова пожалела свекровь.

Как передать это чувство Дзюкити? Он все должен знать, так казалось Хироко. Дзюкити все должен понять, чтобы снова наладить жизнь матери и Цуяко с двумя детьми, чтобы вернуть семье счастье. Нужно было слово мужчины, которое внесло бы порядок в семью. Женщины не могли обходиться без этого. Надо было изменить привычки, научиться жить одним без мужчин. Никто, кроме Дзюкити, не мог сказать необходимых слов, которые убедили бы мать и Цуяко, помогли бы им наладить жизнь по-новому.

Жидкими, почти потерявшими цвет чернилами Хироко писала письмо в Абасири и думала, кто вернется раньше: Дзюкити или Синдзо, прослуживший семь лет на передовых позициях? Прошел уже месяц со дня капитуляции, газеты и радио сообщали наименования японских воинских частей, которые одна за другой складывали оружие на островах южных морей. Хироко надеялась на то, что командир части, где служит Синдзо, окажется здравомыслящим человеком и не уведет своих подчиненных в горы, в звериные норы, где и есть-то нечего, как это делали некоторые офицеры, узнав о поражении. Синдзо иначе, чем Дзюкити, но тоже мог наладить отношения в семье.

Свекровь, осторожно ступая, стараясь никого не потревожить, поднялась по лестнице. Посмотрев на сидящую за столом Хироко, она сказала:

— О, да ты не спишь, оказывается?

— Нет, не сплю. Хочешь отдохнуть, мама? Вынуть подушки?

— Не надо! Не надо! — сказала свекровь и сообщила тихо, как бы по секрету, всматриваясь в лицо Хироко: — Нуико пришла.

Хироко с удивлением посмотрела на свекровь. Нуико, двоюродная сестра Дзюкити, года полтора жила вместе с ней в маленькой комнате в Токио; у них сложились

хорошие отношения, — вполне естественно, что, узнав о приезде Хироко, Нуико пришла повидать ее.

— Как хорошо, что она пришла! — сказала Хироко и поспешила вниз. Она уже забыла о странном впечатлении, какое произвели осторожные слова свекрови, сообщившей о приходе Нуико.

Хироко спустилась в столовую. Здесь у застекленной перегородки в одиночестве сидела Нуико. Видимо, она уже давно была тут одна. Хироко опять испытала какое-то неясное чувство тревоги.

— Как живешь, Нуико? Давно пришла?

Нуико посмотрела на Хироко снизу вверх и спокойно, как это было ей свойственно, ответила:

— Да... Уже час, как здесь...—Она приветливо улыбнулась.

— Тебе сказали, что я приехала?

— Нет, я совсем не знала об этом. Ночью видела во сне Наодзи, и так меня это растревожило, что захотелось зайти сюда, рассказать о моем сне.

Нуико пришлось идти пешком полтора ри.

Она рассказала, что видела во сне, будто Наодзи находится в местечке Миеси. Ей твердо запомнилось это название. Проснувшись, она побежала к соседям, попросила справочник, посмотрела по карте.

— Как странно! — Хмуря густые брови, Нуико посмотрела на Хироко, как бы не веря такому совпадению. — Оказывается, действительно есть такое место: Миёси. Это в двух часах езды от Хиросима по железнодорожной ветке Гэйби.

— Ну, можно ли говорить такое! Что это за место, твое Миёси?

— Говорят, там есть больница.

— Военный госпиталь?

— Нет, кажется, не военный. Во всяком случае, туда нужно было бы съездить мне и Цуяко.

Тонори слушала этот разговор молча, ловя каждое слово.

— Это Миёси находится, кажется, в совершенно другой стороне, чем Тоёда, куда ездила на поиски Цуяко, не так ли? — спросила она.

— Тоёда расположено на железнодорожной ветке Намбу.

— Цуяко! Цуяко! Подойди сюда на минутку!

Из прихожей вышла Цуяко с засыпающим Дзиро за спиной.

— Как называется деревня, куда ты недавно ездила? Тоёда, кажется?

— Да.

— А тебе ничего не говорили в штабе про местечко Миёси?

— Не помню.

— Нуико рассказывает, что видела это место во сне. Не поехать ли туда поискать? Как думаешь?

Цуяко подняла голову, ввалившимися глазами посмотрела на Нуико, потом на Хироко и свекровь.

— Говорили и в штабе... Отправляли людей для лечения в разные места до самого Сисаса в префектуре Тоттори. Чтобы установить, где кто находится, потребуется, говорят, больше года.

В штабе, который переехал теперь из Тоёда в здание начальной школы, находившееся в двух ри, у самых гор, регистратор личного состава открыл книгу и показал Цуяко запись, из которой следовало, что Наодзи Исида легко ранен. Но в другой книге значилось, что Наодзи Исида пропал без вести.

«Никто ничего не знает», — подумала Хироко и решила сама съездить в Тоёда. Решение о поездке, собственно говоря, сложилось еще вчера, когда сразу же по приезде она узнала, как обстоят дела.

— Нужно съездить еще раз! Поеду сама, узнаю все в Тоёда. Поедешь со мной завтра, Нуико? Расспросим и о Миёси. Если нужно, заедем и туда. Хорошо?

— Молодец ты! Какой труд берешь на себя, — тихо прошептала взволнованная свекровь.

— Какой там труд! Лишь бы польза была. В Токио я уже достаточно всего насмотрелась... Да и сюда ехала...

У Хироко не хватало мужества написать Дзюкити о том, как беспомощны Цуяко и свекровь, о том, что они уже потеряли надежду увидеть Наодзи живым.

— Ну как? Может быть, и ты хочешь поехать, Цуяко?

— Сама не знаю...

— Цуяко будет тяжело.

— Тогда пускай отправляется Хироко. О чем тут долго говорить... А, Цуяко?

— Хорошо, пусть будет так.

На том и порешили. Тонори взяла на спину Дзиро, — он не засыпал и плакал,— и пошла на станцию доставать билеты.

К тому времени, когда свекровь должна была возвратиться, пошел дождь.

— Ну вот, дождь! Наверно, и завтра будет лить. Вот некстати!

Нуико тоже подошла к окну. С низкого навеса, под которым сушилось белье, текли струйки воды.

— Да, дождь усиливается,— сказала она с уверенностью местного жителя.

— Бабушка-то пошла без зонта.

— Да.

Хироко поискала в прихожей, но не нашла ни одного дождевого зонта.

— Цуяко! Где зонтик?

X

Цуяко куда-то исчезла, и Нуико сняла с полки старый зонт и пошла с ним навстречу Тонори.

Сильный ветер с юга гнал серые дождевые тучи вдоль горных вершин. Движение туч становилось быстрее, они сгущались, и на землю обрушился ливень. На железных крышах появилась белая пена. Ливень все усиливался. Дождевой дымкой подернулись отроги ближних гор. Движение по улицам прекратилось еще с утра.

Хироко, приехавшей из Токио, где развалины пылали зноем последних дней лета, даже приятно было смотреть на летний проливной дождь. Радовали и широкие озера, образовавшиеся у гор, и обильное безудержное падение воды.

Хироко и Нуико должны были уехать на следующий день рано утром с четырехчасовым поездом. Но лил такой дождь, что они начали совещаться: что же делать, можно ли ехать? На кухне было слышно, как журчит вода в желобе. Ливень как будто усиливался.

— Как быть? Такой дождь...

Из столовой донесся голос свекрови, укачивавшей Дзиро:

— Стояла такая жаркая погода, так давно не было дождя!

Вышла Цуяко, расчесывая волосы.

— От станции вам придется идти пешком около двух ри. Стоит ли идти в такой дождь?

Думали, что, может быть, удастся уехать с дневным поездом, но уже десять часов, двенадцать часов, а дождь все усиливался.

Нуико штопала шаровары Хироко, делала передники детям, но то и дело с беспокойством посматривала на улицу, затянутую пеленой дождя.

— Может быть, нам все-таки пойти?

— Что ты! А если не сможем уехать? Придется под таким дождем возвращаться обратно.

— Лучше уж идти!

— Почему лучше?

— Не думалось бы...

Ни свекрови, ни Цуяко поблизости не было; Хироко с Нуико тихо обменивались короткими фразами. Потом Нуико с горечью рассказала, что всякий раз, когда она приезжает в дом Исида, Цуяко, не успев поздороваться, спрашивает ее, с каким поездом она намерена возвращаться. То ли потому, что Цуяко была действительно нездорова, то ли потому, что была мнительной, но она не любила гостей даже в те времена, когда Наодзи жил дома. Без посторонних можно было не готовить обед и обойтись тем, что есть.

Ливень не утихал. Приближался вечер.

— Вот беда! Льет как из ведра... Цуяко, давай поужинаем, пока не выключили электричество.

Прошла ночь; даже сквозь сон Хироко слышала, как льет дождь.

И деревья, посвежевшие вчера во время большого дождя, и разбросанные домишки выглядели сегодня промокшими, бессильными и бесцветными.

На втором этаже Хироко смотрела из окна на полотно железной дороги. К ней поднялась свекровь, стала рядом, окинула взглядом железнодорожные пути, бамбуковые заросли перед ними, подножье гор. С беспокойством и тревогой рассматривала она те места, где под бамбуковыми зарослями скрывалось старое русло реки Суймусэгава.

Шесть-семь лет тому назад Хироко приезжала сюда

в период дождей. Из окна дома видно было тогда, как почернели колоски неубранного овса, как вода выходит из старого русла, заливает поля; несколько дней стояла на полях вода, и только гниющие, почерневшие колосья поднимались над ее тусклой поверхностью.

— Большое несчастье... Помнишь, в горах валило деревья, вода размывала корни. Все было тогда во власти наводнения.

— Будем надеяться, что на этот раз вода не зальет поля.

— Было бы очень хорошо...

Дом Исида строился и расширялся на небольшом треугольном участке земли, примыкающем к шоссе. Над коридором был навес. Но во время сильных ливней вода попадала даже на полку, где стояло изображение Будды, и с шумом стекала вниз. По всему дому расставляли лохани и ведра. Вокруг них крутились Акио и Дзиро.

Крики детей и шум ливня напомнили Хироко ее детство. Во время сильных дождей в их доме становилось темно. Лило сквозь неплотно закрытые окна и двери; на галерее стояла вода. Хироко и два ее брата высовывали головы из окон и спорили, кто дольше всех продержит лицо под струями. Потом скакали на одной ноге по лужам на галерее. Непривычный полумрак днем, шум ливня, летняя духота — все это будоражило маленькую Хироко, вызывало желание прыгать и вертеться. Рядом с постелью детей по ночам горел ночник, скупо освещавший доски, приделанные к окнам на случай землетрясения,— чтобы легче было выбежать из дома.

При электрическом свете, который с минуты на минуту могли выключить, торопливо поужинали.

В девятом часу прибежала Цуяко, которая ходила к соседям Савада, и, складывая у входа зонтик, крикнула:

— Бабушка! Вода поднимается!

Тонори всполошилась:

— Что ты говоришь! Наводнения не было уже много лет!

— А помнишь, как беспокоились в прошлом году?

— Вода прибывает! Пока я ходила, уровень повысился.

— Что же делать? Если придется убирать вещи, лучше сделать это сейчас, пока есть время. Хуже всего возиться ночью...

Свекровь, все еще не доверяя ее словам, прислушивалась к шуму дождя.

— Как будто не стихает...

— Да, льет и льет!

Хироко никогда еще не приходилось переживать наводнение. Что такое тайфун, она знала. Помнится, както раз она всю ночь не могла уснуть в маленькой, как ящик, комнате с закрытыми окнами, когда, казалось, что еще немножко — и ветер снесет второй этаж домика. Но быть застигнутой наводнением ей еще не случалось. Как-то не верилось, что вода может проникнуть сюда, в дом, хотя Хироко понимала, что такая уверенность ни на чем не основана.

Хироко и обе молодые женщины сидели в задней комнате на полу вокруг свекрови. Цуяко первая приступила к делу.

— Может быть, перенести детей, пока они спят?

Тонори тяжело поднялась на ноги.

Перенесли на второй этаж детей; захватили и постельные принадлежности. Спустившись вниз, Цуяко молча принялась скатывать циновки. Всем своим видом она давала понять, что недовольна помощницами.

В жилых комнатах женщины положили циновки на стол, в лавке свалили циновки на доски, под которые подставили бочки.

— Бабушка! Где-то здесь была кадка с маслом.

Убрали и кадку, перенесли на высокие полки корзины с платьем.

Теперь внизу в лавке уже не осталось неубранных вещей. Хироко внимательно осмотрела помещение; шум дождя, о котором они забыли за работой, стал еще сильнее. Вдруг находившаяся на кухне Сигэно испуганно крикнула:

— Ой! Бабушка!

— В чем дело? — Тонори быстро направилась в кухню.

— Вода уже подошла!

В тусклом свете электрической лампочки видно было, как постепенно прибывает вода. Казалось, что она всей своей массой с разных сторон заливает дом. Всматриваясь в темную блестящую поверхность воды, Хироко вдруг заметила, как плывет маленький гэта Акио. За ним поплыли все гэта, что находились в при-

хожей. Через каких-нибудь пять минут вода в прихожей поднялась до колен; еще немножко — и она зальет всю комнату.

Женщины следили только за уровнем воды; вдруг они обратили внимание на то, что дождь шумит уже не так сильно, как раньше.

— Ну, этим дело и кончится! — радостно воскликнула Хироко.

— Если так, мы легко отделались.

В самом деле, вода больше не поднималась. Пройдя по воде через дорогу, в прихожую вошел Савада, из дома напротив; он был в одной рубашке и трусах.

— Ну и дела! Убрали циновки? Хорошо! Пришел вам помочь. Беспокоиться особенно нечего.

Савада занимался кузнечным ремеслом. Его сыновья служили в резервных воинских частях и недавно вернулись домой.

— Что случилось? Плотину прорвало?

— В этом году творится что-то непонятное.

Хироко втащила на второй этаж маленькую переносную печку, котелок, поднос с чашками.

— Отдохните немножко! — сказала она и стала готовить еду.

— А где же у нас фитиль?

— Должно быть, в шкафу, на верхней полке.

— Сейчас выключат электричество.

Нуико сходила вниз и принесла фитиль, масло и тарелку.

— Вода поднялась еще выше!

— Мама, ты бы прилегла, — сказала Хироко.

— Ничего, ничего. Надо смотреть, что дальше будет.

— Да и всем лучше бы отдохнуть.

Свекровь, не раздеваясь, легла с краю на расстеленный тюфяк.

— Нехорошие здесь места.

Рядом с детьми прилегла и Цуяко: она тоже не раздевалась.

В этот момент погасло электричество.

Зажгли свечу, которую где-то отыскала и принесла Нуико. На стене появились большие тени лежащих людей. «Хорошо, что здесь Нуико,— подумала Хироко,—

и помощница, и настроение как-то лучше, когда больше народу».

Дождь продолжался. Хироко переоделась на ночь, легла в постель, вытянув ноги. В это время вдруг послышался шум: кто-то шагал по воде. Снизу раздался женский голос:

— Сестрица! Вы уже легли?

— Это бабушка Савада! — Нуико открыла дверь и выглянула.

— А, это ты, Нуико! Вода опять прибывает...

Услышав эти слова, свекровь и Цуяко сразу вскочили.

— Что? Неужели опять прибывает?

Цуико начала переносить на второй этаж корзины с одеждой, которые раньше лежали внизу на полках. Отец и сын Савада помогали ей. Затем, не передохнув, стали носить наверх чемоданы, коробки, ящики комода. Тем временем из дома Савада принесли большие кувшины с рисом и мукой.

— Простите за беспокойство, можно положить это у вас на время?

Глядя на ящики и чемоданы, нагроможденные посередине комнаты, Хироко вспомнила о рисе и других продуктах. До сих пор все думали только о том, как бы сохранить одежду и ценные вещи; а как же будет с продовольствием? В Токио во время воздушных налетов жители прежде всего беспокоились о продуктах. Насколько Хироко помнила, в семье Исида рис и все продукты хранились на возвышении в переднем углу. Повысится уровень воды — и все пропадет. Хироко хотела напомнить об этом, но промолчала, видя, как под руководством Цуяко переносят с места на место ящики с одеждой. Может быть, в провинции больше продуктов, и о них не так беспокоятся, как в столице? Во всяком случае, все считали естественным волнение Цуяко, которая боялась, как бы не промокло ее приданое и одежда Наодзи, детей.

Пока передвигали ящики, прошло еще минут десять; вода все поднималась и поднималась; снизу доносились шум и крики.

— Ой, сестрица! Помоги! Падает, падает!

Что-то стеклянное упало в воду и разбилось. Перевернулась и поплыла витрина из-под табачных изделий.

— Что же с нами будет? — раздался отчаянный голос свекрови.

Поплыл поднятый водой комод.

Дрожащий свет свечи, укрепленной наверху, на лестнице, освещал тусклую поверхность воды; казалось, вода была совсем близко.

— Вот до каких пор доходит!

Промокший до нитки Савада посмотрел тревожным взглядом вверх на Хироко. Он стоял в воде почти по пояс.

Гонимые водой, поднялись один за другим на второй этаж мужчины — отец и сын Савада.

— Пора подумать о другом убежище. Дом может рухнуть.

— Ну, до этого не дойдет. Хотя, как сказать... Если напор воды усилится, дом действительно не устоит. Фундамент такой слабый.

Семь человек — мужчины и женщины разного роста — стоят здесь в маленькой комнате; им приходится мокрыми ногами наступать на края тюфяка, на котором спят дети.

Хироко открывает окно, выходящее на улицу, и впервые ее охватывает настоящий страх. Улицы уже нет. Под темным небом с неясными просветами в разрывах туч виден мокрый скат крыши — это дом Савада, а под ним, чуть ниже, несется широкий поток мутной воды. Темная вода беззвучна, но напор ее все возрастает. Она устремляется вниз и может снести все, что встретится на ее пути. Надо позаботиться о свекрови и ее маленьких внуках. Хироко чувствует себя ответственной за их жизнь.

— Нет ли поблизости какой-нибудь лодки?

— Какая тут лодка! — сердито отвечает Савада.

— Надо бы вытащить из дома детей и бабушку.

Мужественная Тонори с горечью говорит:

— Обойдется как-нибудь... Если вода будет прибывать, так или иначе переправимся.

Потом вдруг, захлебываясь плачем, кричит:

— Хватит! С меня довольно. Если дом обрушится, умрем здесь!

Людям становится жутко в этой комнате с беспорядочно набросанными вещами, освещенной беспокойным, колеблющимся светом свечи.

Хироко посмотрела из окна на новую дорогу. С этой стороны воды как будто меньше; полотно дороги белой лентой поднимается над водой. Решение приходит сразу:

— Будем выходить на ту сторону. Где лестница, Цуяко?

— Бабушка! Где лестница?

— Повесим веревочную лестницу, — сказала Нуико и стала вынимать ее из ящика.

— Хорошо! Макото, будь добр, закрепи лестницу!

Вскоре отец и сын Савада спустили лестницу из окна и вышли на крышу.

— Цуяко! Положи в рюкзак одежду детей и матери!

Хироко сунула в свой рюкзак маленький портфель с бумагами свекрови; этот рюкзак надела на спину Нуико. Цуяко подняла на руки Акио, Сигэно взяла Дзиро.

— Ну вот и хорошо! Идите медленно! Осторожно Не поскользнитесь!

Через окно вылезла на крышу сначала жена Савада, потом свекровь, за ней Цуяко и Сигэно.

Дом Исида строился постепенно, пристройки были разной высоты; к счастью, крыша над кухней с восточной стороны была невысока. С крыши по лестнице можно было попасть на огород за домом.

— Сестрица, все вышли?

Когда Хироко выбралась на крышу, Нуико потушила свечу и, опустив ставни, покинула комнату. Нужно было ползти по крыше, с которой свисала лестница; на лестнице стоял Макото. Вместе с отцом, который был внизу, на огороде, они помогали женщинам спускаться.

— Осторожнее, здесь глубоко. Не бойтесь, не бойтесь!

Опираясь на руку молодого Макото, который промок и дрожал от холода, Хироко сошла с лестницы. Ноги погрузились в грязь.

— Бабушка, где ты?

— Я здесь. Наверху на дороге воды нет.

На новой дороге стояли только дождевые лужи. Ступая по гравию, больно вонзавшемуся в подошвы ног, поднялись на откос и вошли в ограду храма.

В храме горел свет; виднелись тени людей. Здесь уже собралось много корейских семей. Корейцы жили

и занимались сельским хозяйством на треугольном участке земли, ограниченном двумя рукавами речки, как раз перед домом Исида.

Тонори спросила у них, как дела.

— Теперь у нас нет ни дома, ни хозяйства.

И в этом ответе не было преувеличения.

Все собрались в кружок, сняли промокшую одежду. Макото надел на себя женский купальный костюм, оказавшийся у Нуико. Завернулись в полученные здесь, в храме, одеяла.

XI

Наступило утро — такое ясное и радостное, что не верилось в ужасы прошлой ночи.

Хироко вместе со своими спутниками спустилась с холма, где находился храм, вышла на новую дорогу, пересекла ее и, пройдя по отлогому спуску, очутилась у дома Исида. Последствия наводнения поразили Хироко. На окраине поселка рухнули дома. От некоторых строений остались одни стойки. Там, где раньше была улица, беспорядочно валялась промокшая одежда, грязная утварь, рядом с когда-то нарядными детскими передниками валялись два утонувших белых петуха с желтыми окоченевшими лапами.

Дома корейцев в треугольнике между рукавами реки были почти полностью разрушены и завалены грязью. Смывшая их вода уже спáла, но образовались запруды из кольев, циновок и разных других предметов. Несколько стариков старались разобрать эти маленькие плотины.

Вода, казавшаяся ночью совсем черной, теперь светлым потоком бежала у дома Савада. В чьих-то чужих низеньких гэта Хироко шла по дороге, ноги чувствовали под водой твердую почву. Перед домами, позади домов и даже на крышах были разложены всевозможные запасы всего поселка. Под лучами солнца от земли, перемешанной с навозом, поднимался грязноватый пар и неприятный запах. Хироко сравнила вчерашний вид улицы, заполненной водой, и сегодняшнюю улицу, и у нее создалось странное впечатление, что идет она по дну моря или озера, на каждом шагу преодолевая непривычные препятствия.

Улица изменилась до неузнаваемости. Перед лавкой Исида проход загородили деревянные балки; около них скопились самые разнообразные предметы: приплывший неизвестно откуда пустой бидон из-под горючего, старый письменный стол, разбитый буфет, сучья деревьев; наверху этой большой кучи оказался даже велосипед. Здесь же валялись ящики с дохлыми белыми петухами, — их туда сажали на ночь.

В складе Исида хранилось несколько десятков мешков с древесным углем, несколько сот вязанок хвороста — неприкосновенный запас всего поселка. За ночь вода подняла хворост ко входу; вязанки разбухли, и теперь в склад невозможно было войти.

— Унесло около сотни вязанок! — определила на глаз Тонори.

— Может быть, вязанки застряли где-нибудь поблизости?

— Ну что ты! Да разве они могли уцелеть!

Хироко поняла, что главные заботы свекрови были связаны с хозяйством. Они вдвоем — свекровь и Хироко — последними ушли из храма, приведя в порядок помещение, где ночевали. Не дождавшись, когда наступит полный рассвет, еще под дождем, первыми ушли соседи — Савада; они осторожно прошли мимо лежавших на полу детей, спавших и дремавших членов семьи Исида.

Вода в доме поднялась ночью так высоко, что едва не дошла до фотографии покойного отца, стоявшей в рамке на шкафчике.

Пришли помочь подруги Сигэно. Оказалось, что вода размыла фундамент под полом, и большие комья земли громоздились у задней двери. Нужно было снимать и мыть в реке доски пола. Циновки разбухли от воды, покоробились, их следовало просушить. Промок и рис. Оказались под водой и маринованные овощи. Унесло водой соль и приправы. Запыленные связки старых бумаг, много лет лежавшие на полках, корзинки и другое старье — все было залито водой.

Хироко вылезла на крышу и стала развешивать мокрую одежду и отрезы материи. Появились на свет какие-то промокшие, издающие неприятный запах старые тряпки, о которых все давным-давно забыли.

В это утро и женщины и мужчины вышли на кры-

ши своих домов. Небо было по-осеннему ясное, спокойное. На циновках сушились промокшие одеяла, одежда, продукты. Жители поселка работали и на улице. Молча и торопливо ходили они к реке с тяжелой поклажей на спине.

К полудню распространились слухи, что в низовьях реки снесено несколько домов, есть человеческие жертвы. Разрушен тоннель, прекратилось движение на железнодорожной ветке Санъё, вместе со скалой обрушился в море военно-морской санаторий вблизи Миядзима.

— Слез не хватает плакать! — шептала свекровь. Работая, она поправляла свисавшие на лицо волосы.

Причиной наводнения была, конечно, новая военная дорога. Окрестные горы постепенно понижались к югу, делились на несколько отрогов и незаметно соединялись с покрытым белым песком извилистым морским берегом. Вдоль русла реки Суймусэгава, прикрытые с востока и запада отрогами гор, раскинулись верхний и нижний поселки. Новая военная дорога шла на уровне крыш домов вдоль восточного отрога на протяжении нескольких ри, образуя нечто вроде плотины. Раньше между горами и поселком находились суходольные и заливные поля, болота, текли многочисленные ручьи. Все это служило естественным водоотводом. Новая дорога сразу свела на нет эту сложную, естественно сложившуюся систему. Когда дорога строилась, рабочие-корейцы тачками возили землю, возводили насыпь, засыпали ее гравием. Леса хищнически вырубались и уничтожались, ирригационные сооружения обветшали — в последние годы никто не заботился об их ремонте. Все это привело к тому, что достаточно было пойти дождям, как с гор на поселок устремлялись потоки воды. Когда строительство высоко расположенной военной дороги было закончено, поселок неизбежно оказался в низине. До сих пор Суймусэгава, даже выйдя из берегов, заливала окрестные поля, но не причиняла ущерба расположенным несколько выше жилым домам. С появлением новой дороги, которая стала плотиной, поселок оказался под угрозой полного затопления если не с запада, где река могла и не выйти из берегов, то с востока, с гор, откуда неслись потоки воды.

Хироко и Тонори вытащили из дома на дорогу циновки для просушки. Сюда же принесли старый, уже

потрескавшийся домашний алтарь, где стояла статуя Будды. Вбили колья, натянули веревку и принялись развешивать мокрые вещи.

По всему поселку от земли поднимался пар, стоял запах перегноя. На улицу вынесли котелки и начали варить утонувших ночью петухов.

На следующий день Тонори пригласила плотников. Принялись за починку всего, что было разрушено наводнением. Каждый день на дорогу выносили циновки, развешивали вещи, мыли настилы и полы. Позвали штукатура, чтобы привести в порядок осыпавшиеся стены. Сигэно и Нуико работали вместе с женой штукатура.

Хироко казалось, что все эти работы производились с поразительной быстротой. Сказывалась энергия свекрови. Несмотря на хлопоты, она с Дзиро на руках успела сходить к старухе, которая когда-то нянчила ее собственных сыновей, и попросила ее присмотреть за детьми.

Хироко продолжала заниматься на втором этаже просушкой вещей, количество которых все увеличивалось. Среди них было и новогоднее платье Сигэно из простого шелка, которое несколько лет назад сшили ей экономные родители, и подготовленный к свадьбе выходной костюм Нуико. Развертывая эти платья с расплывшимися узорами и размытыми красками, Хироко всякий раз испытывала жалость. А ведь из одежды Наодзи, Цуяко и детей почти ничто не промокло...

Верхнее короткое кимоно свекрови, подарок Хироко, село от воды, почернело и пахло гнилью. Вешая его под крышу, Хироко услышала тяжелые шаги на лестнице. На второй этаж поднялась свекровь. Войдя в комнату, она окинула взором окна с распахнутыми ставнями, крышу за окнами.

— Сколько везде тряпья!..

Свекровь села рядом с Хироко; казалось, она чувствует себя как-то неловко без дела. Она не курила, как другие старые женщины. Помолчав, свекровь сказала:

— Жаль мне тебя, Хироко. Приехала к нам, в такую даль, и попала так неудачно...

— О чем ты говоришь, мама? Наоборот, мне неудобно, что я никак не найду себе дела.

— С тобой и мне лучше. На сердце как-то легче!

Видимо, что-то тяготило Тонори, раз она поднялась на второй этаж к Хироко. Повернув осунувшееся за последние дни лицо к новой дороге, старуха заметила выставленный для просушки домашний алтарь, где раньше были изображения Будды; странно выглядел этот алтарь посреди широкой, уходящей вдаль дороги. Но заговорила свекровь о другом.

— Одна беда идет за другой, — сказала она упавшим голосом. На глаза ее навернулись слезы. — Несчастье с Наодзи... Потом наводнение... Ни одного светлого дня за последнее время.

С той ночи, когда произошло наводнение, ни Тонори, ни Цуяко уже не произносили своих привычных слов: «Если бы был Наодзи». Затопленный дом, промокшие домашние вещи, казалось, не оставляли времени для того, чтобы предаваться печали. Хироко больно было смотреть на усталую, грустную старую женщину, сидящую здесь в лучах заходящего солнца.

— Ума не приложу, как наладить жизнь...

— Как так, мама? — Хироко с удивлением заглянула в глаза свекрови. — До сих пор ты всегда знала, что следует делать. Да и теперь все идет как надо. Даже стены оштукатурила.

— Что бы я ни делала — Цуяко все не по сердцу. Все время сердится. Пригласили работать людей — даже накормить не хочет. И как жить без мужчин? Ведь в семье теперь одни женщины.

Цуяко была против больших работ и больших расходов. «Сделаем, что сможем, своими силами», — говорила она. Но своими силами обойтись было невозможно. Цуяко ходила, не поднимая глаз, с каменным лицом, щеки ее подергивались. Давая указания Сигэно и Нуико, она не прислушивалась к мнению свекрови. Дети бегали босиком, играли на мокрой грязной мостовой. Когда окружающим становилось невмоготу смотреть на это, Цуяко советовали хотя бы обуть детей в гэта, но она не обращала внимания на советы. Она и сама ходила босиком.

Физически слабой Цуяко, конечно, приходилось трудно: гибель мужа, наводнение — все эти несчастья придавили ее. Но чем больше она осознавала свою власть и ответственность хозяйки дома, где нет главы

семьи, тем хуже становилось ее отношение к энергичной, деятельной свекрови. В доме воцарилась тягостная атмосфера.

Достаточно было взглянуть на лицо Цуяко, на ее сверкающие из-под полуопущенных век глаза, как сразу же исчезали свободные, непринужденные отношения. По ночам, когда измученные дневным трудом женщины спали рядом друг с другом, освещенные тусклым светом коптилки, одна Хироко бодрствовала, и на душе у нее было мучительно-тяжело.

Железнодорожные ветки Санъё, Курэ и Санъин были сильно повреждены, и скорого возобновления движения пока не предвиделось. Теперь Хироко была лишена возможности не только вернуться в Токио, но даже отправиться с Нуико на поиски Наодзи.

Каждый день в определенные часы за поселком, расцвеченным сохнущей одеждой, вдоль линии железной дороги тянулись вереницы пешеходов, среди которых были и дети с маленькими корзинками в руках. Не ходили поезда, поэтому нельзя было даже отправить письмо Дзюкити. Не приходили газеты, обычно доставляемые из Осака. Вышла из строя поврежденная наводнением местная радиотрансляционная станция.

С каждым днем все однообразнее становилась жизнь, появилась какая-то беспричинная раздражительность; Хироко чувствовала, что даже она невольно втягивается в семейные раздоры уставших женщин.

В подавленном настроении Хироко подошла к сараю. Там валялась прикрытая ковром большая корзина со старой промокшей и гниющей бумагой. Бросилась в глаза надпись на одном из конвертов. Хироко узнала характерный крупный почерк Дзюкити. Письма были адресованы Рюкити Исида, покойному отцу Дзюкити. Не получая больше двух месяцев писем от мужа, потерявшая с ним всякую связь, Хироко осторожно, любовно взяла письма. В одном из них, написанном на линованой бумаге, Дзюкити просил денег. В другом сообщал, что возвращение на родину откладывается. По третьему письму можно было догадаться, как тяжело Дзюкити, уже поступившему в университет, жить в Токио у чуждых ему по духу родственников. Прочитанное через много лет, это письмо говорило о молодом, полном надежд юноше, который всеми силами сопротивляется

мещанскому окружению. Письмо произвело большое впечатление на Хироко. У двадцатилетнего Дзюкити не было ни гроша денег, зато была молодость, вся жизнь была впереди. Теперь ему тридцать восемь лет, он в заточении, где-то в Абасири. Что осталось от прежнего Дзюкити? Конечно, и сейчас для Хироко Дзюкити был все тем же — человеком, которому многое предстоит сделать.

Перечитывая старые письма, Хироко еще острее почувствовала, что больше не в состоянии жить в этом поселке, куда даже поезда не ходят, без радио, без газет.

После 15 августа в Японии забурлили новые течения. Эти течения собираются в мощный поток, который подступает к стенам тюрем. Уже начинают шататься двери, казалось, наглухо закрытые перед политическими заключенными.

Нуико спускалась с новой дороги, неся ворох выстиранного белья. Увидев, что Хироко рассматривает старые письма, она стала оправдываться:

— А я чуть было вчера не выбросила их...

— Ничего, ничего, — успокаивая девушку, прошептала Хироко.

Когда же откроются двери перед Дзюкити? Этот вопрос снова и снова тревожил Хироко. Хотелось кричать, но она сдерживала себя, сознавая, что Цуяко, гораздо более молодой, чем она, труднее: человек, которого ждет Цуяко, потерян навсегда.

На четвертый день после наводнения почти все вещи были просушены.

— Ну вот, работа в общем окончена, — сказала Нуико, складывая платье Тонори. — Вечером я собираюсь домой.

— Домой?

Пришедшей на день, на два Нуико пришлось не только основательно промокнуть, но и спасаться во время наводнения через окно. Она много поработала, чтобы привести все в порядок. Удерживать ее дольше было нельзя.

— И я с тобой, хорошо? — сказала вдруг Хироко и посмотрела на Нуико взглядом сообщницы. В этом решении ее окончательно укрепила воцарившаяся в доме гнетущая атмосфера.

— Вот и хорошо! Как обрадуется Савако...

— В самом деле, пойдем!

Этот разговор происходил в первой половине дня.

Придя к обеду, Цуяко прежде всего посмотрела на веревки, с которых сняли просохшие вещи.

— Да, просушка окончена.

— Высушили, насколько можно было. Осталось кое-что, но это можно и потом.

После обеда Цуяко спросила:

— Нуико! На этот раз тебе много пришлось поработать. Скажи, когда ты собираешься домой? Здесь ты уже достаточно погостила...

Хироко невольно рассмеялась.

— Достаточно, говоришь?.. Что ж, по крайней мере откровенно, — с упреком сказала она и добавила: — Я тоже думаю вместе с Нуико пойти пешком до Тахара. Как твое мнение, Цуяко?

— Прости нас! Наверное, тебе здесь было плохо. В Тахара и дом чище и питание лучше.

— Не в этом дело. Поезда не ходят, отправиться в путь я все равно не могу. Поэтому загляну на некоторое время в Тахара.

— Что же, пожалуйста!

Хироко замолчала, задетая разговором о доме, о питании; ей и в голову не приходило думать о таких вещах. Единственное, что ее привлекало в доме тетки, — это приветливое, непринужденное отношение.

Часа в три в комнату Хироко, которая все еще не решила, идти ли ей в Тахара, или нет, пришла Цуяко.

— Когда же уходит Нуико? — спросила она с таким видом, будто хотела от нее скорее избавиться. — И ты отправляешься в Тахара?

— Почему ты так спешишь, Цуяко? Прежде чем решить, надо посоветоваться со свекровью.

Хироко спустилась вниз, где еще не была закончена настилка полов, и рассказала свекрови о своих намерениях.

— Что ж, иди!.. Может быть, это и лучше. В такой обстановке здесь жить трудно.

Когда они вместе с Нуико выходили из дому, Цуяко была на кухне.

— Ну, мы пошли! — громко крикнула из коридора Хироко.

Цуяко промолчала, даже не повернув головы.

XII

Быстро шагая, они прошли всего какую-нибудь сотню метров, а настроение Хироко заметно улучшилось. И вот она уже смеется и идет медленнее; она говорит с юмором:

— Забавно, право!.. Мы с тобой, словно две тыквы, выброшенные из дома на дорогу.

Нуико останавливается и тоже хохочет. Этот смех — реакция на долго сдерживаемые чувства.

— Довольно, Нуико, перестань! Нельзя так смеяться, не сможешь идти! И голова заболит...

Они идут по новой военной дороге — дороге, которая стала символом горя и бедствий для всех жителей поселка.

Хорошо утрамбованная на участке против дома Исида, эта новая дорога выглядела гораздо хуже за поселком. Вот миновали лесопильный завод, и дорога еще более ухудшилась. Недостаточно укрепленная глинистая почва была до того разъезжена грузовиками, что повсюду образовались глубокие колеи, куда до самых осей уходили колеса. Левая сторона нового тоннеля обрушилась. Огромное дерево, вывернутое с корнем, лежало поперек дороги. Хироко охватил ужас, когда, проходя по тоннелю, она взглянула на его каменную облицовку. Укрепленные на неустойчивом грунте каменные плиты еле держались. А на возвышении каким-то непонятным образом косо торчал из мягкой глины огромный каменный столб.

В долине, куда они вышли из тоннеля, виднелись низкие, наспех построенные, замаскированные здания барачного типа. На краю дороги, съехав боком в канаву, стояло несколько военных грузовиков: их оставили мокнуть под дождем.

С каждой сотней шагов новая дорога выглядела все более запущенной и пустынной.

В стороне на возвышенности, окруженные с трех сторон невысокими горами, стояли совершенно новые, но теперь заброшенные четыре барака со ставнями, но без рам. Наскоро построенные из тут же срубленного леса стены уже облезли и осыпались. Вид этих бараков, стоящих среди гор, куда, видимо, никогда не доходит

летний вечерний ветер, куда и солнечные лучи падают только на закате, вызывал тяжелое чувство даже у случайных прохожих.

— Неужели сюда собирались поместить людей?

— Здесь предполагали устроить общежитие для молодежи, для мобилизованных на работы.

— Чьи же это бараки?

— Арсенала, — ответила Нуико. В ее голосе чувствовалась едва сдерживаемая злость. — В этом районе нет ничего, что не имело бы отношения к арсеналу.

Эти слова прозвучали так, как если бы вместо «нет» она сказала «не может быть».

Они шли, любуясь дальними и близкими, высокими и низкими горами, прохладными сосновыми рощами. Вокруг развертывался типичный ландшафт приморского горного района. Грубо вторгнувшаяся в эти спокойные места военная дорога напоминала завоевателя — наглого, навязчивого пришельца. Старые дороги, издавна проложенные жителями этого района, отвечая их потребностям, были спокойными, узкими, тихими; они обходили подножья гор, шли вдоль рек, между холмов, извивались в низинах.

— Ужасно! — глубоко вздохнула Хироко, насмотревшись на новую дорогу. — Одни только несчастья от нее.

Печальные мысли снова охватили ее; события в доме Исида тоже были непосредственно связаны с военной дорогой.

— Нуико, послушай меня, — проговорила Хироко. — Цуяко ведет себя так, что ею, конечно, будут недовольны в Тахара. Особенно сегодня она была совершенно нестерпимой. А ведь выбирала-то ее в жены своему сыну сама Тонори. Вот кому действительно должно быть горько в такие тяжелые минуты. Правда?

— Конечно. Я понимаю.

— Так мучается свекровь, что смотреть тяжело. Прямо страшно становится, когда слышишь эти окрики Цуяко: «Бабушка! Бабушка!» Какую выдержку надо иметь, чтобы переносить все это! Я решила никому не рассказывать об этом. Понимаешь?

— Мне тоже очень жаль бабушку.

— Уважая ее терпение, давай никому не рассказывать об этом. Ладно?

— Хорошо.

— Да и Цуяко жалко. Как ужасна война! Война надломила ее.

— Да, ты права.

Некоторое время шли молча.

Длительная война вырвала из этих мест и разбросала в разные стороны молодежь, которая здесь родилась и выросла. Вместо нее в поселки вдоль новой дороги привезли откуда-то из других провинций много чужих людей, — их тоже оторвали от родных мест и, не спрашивая согласия, принудили жить здесь. Жены, у которых отняли мужей, матери, потерявшие детей, девушки, оставшиеся без женихов, смотрели на этих мужчин и думали о своих близких. Пришлые люди расхватывали товары; росли цены. Взглядом голодных смотрели все эти мужчины на каждую проходившую мимо женщину. Местные женщины относились к пришельцам настороженно, но многие молодые девушки, боясь упустить случай, выходили замуж. Но были такие, которые не хотели связывать свою судьбу с этими пришельцами. К их числу относилась и Нуико. В узком кругу знакомых Нуико теперь оставались только молоденькие девушки семнадцати — восемнадцати лет. Лишь Нуико в свои двадцать пять лет еще не была замужем. После отправки старшего брата на фронт ей самой приходилось подниматься на крышу и укладывать черепицы, сброшенные взрывной волной во время воздушных налетов.

В том месте, где новая дорога выходила из тоннеля, раскинулся новый корейский поселок. Два старика с длинными трубками сидели на корточках у первого дома и разговаривали на своем гортанном наречии. У обоих головы были как-то странно повязаны тканью, черные шнурки свисали на желтые бумажные куртки. При взгляде на старика Хироко представилась окраина Пхеньяна или другого какого-нибудь корейского города, какие приходилось видеть на картинках.

Проложенная по прямой линии через поля и горы новая дорога соединялась под прямым углом с вновь построенной крупной магистралью, идущей с востока на запад. Грязная, изрезанная колесами грузовиков дорога с этого места вливалась в широкое асфальтированное

полотно, которое вело к воротам многих военных заводов.

— Ну теперь наш путь будет гораздо легче!

Когда они пошли по магистрали, о которой говорила Нуико, перед Хироко открылось много неожиданного.

Между горными отрогами исчезли небольшие озера, на которые прежде было так приятно смотреть. Раньше на горе стояли домики и, по-видимому, контора; поблизости было сооружено водохранилище, перед ним возвышалась электростанция. Теперь все это разрушено, превращено в руины. Вдоль дороги валялись какие-то машины, покрытые толстым брезентом, видимо моторы с электростанции. Направо высились серые, мрачные стены арсенала; кое-где они обрушились. На всем участке вплоть до пешеходной дорожки видны были выдернутые с корнем сосны. На асфальтированном широком шоссе кое-где скопилась грязь, попадались огромные лужи.

К магистрали фасадом были обращены стоящие рядами гостиницы и рестораны с большими вывесками, далее шло длинное здание барачного типа — местное отделение какого-то строительного учреждения. После 15 августа суетливые и алчные обитатели этих зданий исчезли. Теперь Хироко и ее спутница видели только пустые дома с заколоченными окнами, хотя кое-где еще оставались вывески. Вдоль тротуара лежало множество поваленных платанов; ряды свежих пней обозначали их прежнее место. Трудно было сказать, то ли это последствия урагана, который прошел здесь несколько дней назад, то ли следы воздушных налетов. Листья платанов осыпались в грязь и завяли. Проходили люди с изнуренными лицами.

Когда вышли на площадь, Хироко невольно вскрикнула:

— Как все вокруг изменилось!

— Раньше так не было, — отвечала Нуико.

Ее дом был уже недалеко, но пока не чувствовалось, что здесь живут люди. Местных жителей оттеснили в узкие боковые улицы. Замаскированная от воздушных налетов, асфальтированная магистраль вела прямо к воротам арсенала. На площади выделялось здание с вывеской «Банк Ясуда».

— Закрыт?

— Нет, действует.

Напротив возвышались развалины арсенала, похожие на проволочные корзины для мусора.

Свернув с магистрали в переулок и пройдя несколько шагов, Хироко увидела, как изменились старые места: аллея, по которой десять с лишним лет назад она любила гулять, проселочная дорога, где Дзюкити, еще подростком, участвовал в праздничных шествиях, оказались на окраине городка, будто их за ненадобностью выбросили на свалку.

В центральной части города прежде всего бросалось в глаза здание современного типа с большими окнами и застекленными дверями. Здесь находился банк Мива. Сколько же банков в этом небольшом городке? Арсенал превратился в груду железного лома, а эти банки по-прежнему существуют и незаметно продолжают свою деятельность.

Весь этот изменившийся облик старого провинциального городка невольно рождал мысль о том, что уничтожение воздушными налетами огромного арсенала было в сущности первым шагом к восстановлению городка. Жизнь местного населения была нарушена задолго до этого. Здесь царил безудержный произвол. Это он в клочья развеял привычный жизненный уклад, проложил прямую магистраль, но так и не довел ничего до конца и вдруг рухнул. Было ложное величие, показное могущество, приводившее в отчаяние всех, кто понимал, что происходит. Никому здесь не нужная асфальтированная магистраль, и рядом с ней брошенные в грязь зеленые листья навсегда погубленных платанов, и огромное здание, совершенно пустое, лишь на первом этаже которого скромно приютилась теперь почта.

Здесь жило множество людей, но настоящей жизни не было. Уже с мая на улицах начали петь новую песенку:

Хороша страна Япония — страна цветов;
В июле — августе — страна пепла,
В сентябре — октябре — чужая страна [1].

---

[1] Чужая страна — в смысле «захваченная», «оккупированная».

В каждом автобусе все еще ездил жандарм, а на улицах уже распевали эту песню. Так люди выражали свое недовольство обманом и оскорблениями, которым им приходилось подвергаться; звучала в этой песенке и язвительная горечь.

XIII

На столе, за которым работала молодая, энергичная учительница, все стояло на своем месте. Аккуратно расставлены чернильницы с красными и фиолетовыми чернилами, разложены японско-английский, англо-японский и иероглифический словари, подобраны стопки исписанной бумаги; здесь же книги по педагогике, психологии, естественным наукам. Стол украшает скромная ваза с белыми китайскими астрами.

На другой стороне комнаты обеденный стол без одной ножки, служивший Савако туалетным столиком. На нем скромно разместились пудреница, губная помада. Хироко приятна атмосфера этой комнаты, где все говорит о юности.

Приятно видеть стол, за которым каждый день работают, где всегда поддерживают порядок. В Токио, когда Хироко жила одна в доме младшего брата, с конца января участились воздушные налеты. Приходилось и обедать в укрытии; до письменного ли стола ей было! Лишь иногда, сдвинув в сторону чашки, Хироко писала за столом письма Дзюкити.

В провинции, в Фукусима, письменного стола вообще не было. К чему было заводить его, если Хироко каждый день только и думала о том, когда же, наконец, восстановят переправу из Аомори в Хакодатэ, чтобы можно было поехать в Абасири. Об этом своем желании она писала, положив на колени доску; а не найдись под рукой доски, она писала бы на чем-нибудь еще.

Все в комнате, где стоял старый, облупившийся стол, говорило об уверенности человека, который знает, что сегодняшний день рождается из вчерашнего, а будущее вырастет из настоящего и явится его непременным продолжением.

Жизнь в Токио в эти полгода все время прерывалась резким, неприятным ревом сирены. Хироко страдала оттого, что никак не могла соединить происходя-

щее с тем будущим, мечту о котором не переставала носить в своем сердце.

В Фукусима чувство будущего было неразрывно связано с ожиданием поездки на север. В семье, членом которой была Хироко, все, в том числе и Коэда, знали, что завтрашний день обязательно наступит, но если бы у Коэда спросили, как она представляет себе будущее, она посмотрела бы растерянным, недоумевающим взглядом. Эта семья как бы плыла по течению. Покачиваясь на волнах, она сохраняет равновесие, но лишь до тех пор, пока какой-либо подводный камень не опрокинет ее.

В доме родителей Дзюкити, в доме, позади которого проходила как символ крушения семейного благополучия военная дорога, завтрашний день вторгался в жизнь свекрови и Цуяко различными новыми заботами, совсем на похожими на заботы вчерашнего дня.

Вблизи письменного стола молодой учительницы Савако чувствовалось, как из развалин начинает пробиваться что-то новое, пока еще робкое и слабое, словно цветок одуванчика. Это новое было маленьким и простым, но крепким в своей простоте. Оно ободряло людей, идущих среди сплошных развалин, возрождало в них уверенность.

Савако была мужественной девушкой. Во время воздушных налетов, прислушиваясь к гулу самолетов над головой, она часто говорила: «Мама, сегодня можно остаться дома». В этом сказывалась не только ее молодость, но и растущее в ней сопротивление. Оно накапливалось незаметно, день за днем, и увеличивало радость жизни. Каким представлялось будущее Савако? Хироко ни разу не приходилось говорить с ней об этом. В прежний свой приезд Хироко видела студентку — коротко остриженную, с загорелыми на морском ветру лицом и руками. Рассказывая, как она и ее подруги голодали в общежитии педагогического института, Савако смеялась. Ее фигура, когда-то угловатая, как освобождающаяся от снега весенняя ветка, была полна теперь красотой молодости; голос приобрел глубину. Сдержанность и одухотворенность смуглого лица придавали особое очарование этой молодой, скромно, но со вкусом одетой учительнице. Хироко нравились спокойствие Савако, столь редкое у молодых девушек, ее чувство собственного достоинства.

Ожидание будущего, которое поддерживало душевные силы Хироко, теперь связывалось с такими понятиями, как Потсдамская декларация, уголовный кодекс, отдельные параграфы этих документов и их толкование. Она старалась увидеть завтрашний день через сложное переплетение мелких событий сегодняшнего дня. Как плывущий человек, борясь с волнами, знает, что за каждой набегающей волной открывается безбрежное море, так Хироко преодолевала мелкие повседневные дела, веря в беспредельное будущее, о котором говорил ей Дзюкити, и стремилась в этот широкий простор.

В атмосфере молодости, окружавшей Савако, как бы слышалась музыка, так необходимая Хироко в ее теперешнем состоянии. Душевная уравновешенность девушки была сродни внутренней гармонии ее двоюродного брата Дзюкити.

Впервые после длительного перерыва Хироко прочитала несколько американских романов и теперь писала заметки об этих книгах. В последние годы в Японии не могло появиться ничего похожего на критические обзоры иностранной литературы.

Хироко сидела за письменным столом в комнате, выходящей окнами во двор. «Уже часов пять», — подумала она.

— Здравствуйте,—раздался голос торопливо входившей Савако. — О, это ты, сестрица!

— Вот и увиделись! — приветливо ответила Хироко. — Откуда ты?

— Как хорошо, что ты приехала!

Савако переоделась в домашнюю одежду и теперь более походила на обыкновенную молоденькую девушку, чем на строгую учительницу.

— Ну, здравствуй! — еще раз проговорила она и присела рядом.

— Устала, Савако? Как твои дела?

Савако обернулась. Приятно было видеть ее оживленное загорелое лицо.

— Устала? Ну что ты! — Она сморщила нос и рассмеялась.

Савако вела пятый класс. Это дети в возрасте Синъити, который у себя в провинции Фукусима тоже ходил в пятый класс. После капитуляции никто не представлял себе, как нужно учить детей истории, родному

языку, географии, поэтому Синъити и других ребят водили пока на сельскохозяйственные работы.

Тем же занимались дети и в классе Савако. Теперь они копали картофель.

— Все это прекрасно, и лучшего ничего не придумаешь! — подшучивая над сестрой, сказала Нуико.

— Нет, почему же! Вся картошка идет детям. Это-то и хорошо!

С шестого класса ученики переходили уже в среднюю школу, и преподаватели беспокоились: чему научатся дети при таких занятиях?

— Мне очень нравится работать с детьми. Люблю их. Так внимательно слушают объяснения учителя! Детей учить гораздо приятнее, чем иметь дело с их родителями...

Начальная школа, где работала Савако, была разрушена. Свыше пятидесяти уже довольно больших ребят разместили в тесной комнате, бывшей столовой при общежитии арсенала. Не было ни столов, ни стульев. Ученики сидели, тесно прижавшись друг к другу, на дощатом полу. Писали согнувшись, упираясь головами в спины сидящих впереди.

— Жалко смотреть... Уже через полчаса дети начинают задыхаться, лица краснеют. Нет, на это невозможно смотреть спокойно!

Савако и другие молодые учителя говорили с директором школы, с администрацией арсенала, ходили даже в городское управление. Они просили предоставить детям школьное оборудование, хранившееся на складе, разгородить столовую, сделать помещение хоть сколько-нибудь похожим на школу. Директор сваливал всю ответственность на арсенал, в арсенале говорили, что все их имущество теперь передано городу. В городском управлении учителям советовали обратиться в министерство финансов, а министерство находилось в Токио.

Савако пришлось самой менять распорядок дня. Пока половина учеников занималась арифметикой, другая половина выходила на улицу, делала гимнастику, занималась физическим трудом. Это увеличивало нагрузку преподавателя, но облегчало положение детей. К таким же ухищрениям прибегали и другие учителя.

В Тахара можно было слушать радио. Хотя в семье были одни женщины, они ни разу не пропустили девятичасовую передачу последних известий.

Однажды вечером Савако принесла с собой школьную хрестоматию, показала рассказ под заглавием «Большой Токио» и обратилась к Хироко:

— Здесь многое написано о Токио, но думаю, что теперь столица совсем другая. Не знаю, какие районы остались. Детям нужно говорить правду.

Хироко вынула карту и стала рассказывать, как в действительности выглядел Токио летом 1945 года. Ведь в хрестоматии столица была описана точно так же, как в детской книжке, купленной еще в те времена, когда Савако в красном полотняном платьице гуляла со своей старшей сестрой Нуико.

Начали прибывать газеты из Осака. Доставляли их по железнодорожной ветке Курэ. Движение на линии Санъё еще не восстановилось. Особенно большие затруднения доставлял горный обвал и разрушение тонneля на пути к Хиросима.

— Прямо беда! Но я рано или поздно отправлюсь в Миёси. Я не отказалась от этого! — говорила Хироко.

— Не торопись... — уговаривала ее тетка. — Чтобы ехать, надо набраться мужества. Когда бы ты ни поехала, придется пробыть там три дня.

— Ничего, как-нибудь устроюсь.

Хироко беспокоило положение свекрови. Чем лучше она чувствовала себя в Тахара, тем более хотелось привезти сюда свекровь, чтобы та отдохнула в спокойной обстановке.

С тех пор как возобновилось движение по ветке Курэ (правда, на одном из перегонов приходилось идти пешком), Хироко чувствовала себя неспокойно. Хотелось скорее съездить в Миёси и потом уехать отсюда.

Хироко отправила заказное письмо в Абасири через почтовое отделение у асфальтированной магистрали, прекрасно понимая, что делает это лишь для собственного успокоения. С кошельком в руке она медленно шла по переулку. Было уже более десяти часов утра. На бамбуковом заборе торговца рыбой сушились красивые серебристые рыбки. Дальше, за тем углом, где среди шума и оживления возвышалось недавно построенное

здание банка, ясно виднелись железные конструкции арсенала, похожие на большую обгоревшую корзину. Дул теплый морской ветер конца сентября. За тускло-зелеными стенами арсенала издалека можно было увидеть ряды засохших сосен. С берега в залив выходил мол шириной примерно в три доски. К этому молу, куда обычно причаливали и откуда отходили рыбачьи лодки, еще недавно по ночам тайно собирались военные. Каждую ночь отсюда выпускали управляемые торпеды. Экипажи торпед из отряда смертников никогда не возвращались обратно. Но торпеды не достигали и открытого океана. Большая часть этих управляемых торпед из-за конструктивных недостатков взрывалась в пути и тонула. И все-таки по ночам военные снова и снова собирались у мола. Местные жители догадывались, что там что-то происходит, но крепко закрывали ставни и старались не интересоваться подробностями. Вход посторонним в этот район был воспрещен; все, что здесь делалось, оставалось в тайне.

Власти предполагали создать здесь крупный город с населением в двести тысяч человек. Когда эти необоснованные планы рухнули, стали разъезжаться насильно собранные здесь люди; прежде всего опустели дома администрации арсенала. Оставшееся население едва достигало тридцати тысяч. Жители оставались еще только в домиках, разбросанных вдоль шоссе, которое шло под разрушающейся скалой, доходило до самой середины заросших травами полей и там неожиданно обрывалось. Теперь эти люди проедали полученное выходное пособие.

Когда Хироко свернула на улицу, ведущую к дому, она увидела, что на дороге валяется беловатая длинная, тонкая рыба. Как называется такая рыба, Хироко не знала. По-видимому, она выпала из корзинки продавца и была еще живой. «Интересные находки на приморских улицах!» — подумала Хироко, рассматривая рыбу. Подошел какой-то мужчина в пиджаке, с портфелем в руках. Заметив рыбу, он также остановился и стал ее рассматривать. Потом нагнулся, поднял рыбу за хвост и в нерешительности посмотрел на стоявшую поодаль Хироко.

— Еще шевелится, возьмите ее! — с улыбкой сказала Хироко.

Мужчина в пиджаке не отозвался, он еще выше поднял руку, рассматривая рыбу. Затем, видимо, решившись, пошел дальше со своей неожиданной находкой. До этого мужчины с портфелем здесь же прошел босой старик в короткой куртке. Рыба, очевидно, и тогда лежала на дороге. Заметил ли ее старик? Во всяком случае, поднял ее мужчина в пиджаке, в шляпе, с портфелем в руках. Робко улыбаясь, он искал сочувствия у Хироко.

Из дому вышла Нуико. Она нетерпеливо помахала рукой.

— Что случилось?

— Иди скорее!

XIV

Подталкивая нерешительно переступившую через порог Хироко, Нуико вместе с ней вошла в дом. На циновке лежала газета. Нуико указала на одну из статей.

— Что это?

Волнуясь и торопясь, Хироко прочитала статью. В ней сообщалось, что согласно Потсдамской декларации на днях будет упразднен закон об охране общественного спокойствия и освобождены все осужденные по этому закону политические преступники.

— Вот радость! Значит, и Дзюкити скоро вернется! — Улыбаясь и вытирая руки, из кухни показалась тетка. — На станции газеты берут нарасхват. Все так рады! — рассказывала она.

Хироко даже улыбкой не могла ответить на простодушную радость тетки и тихо проговорила таким тоном, что Нуико удивленно посмотрела на нее:

— Нужно еще посмотреть, как пойдут дела. А пока ничего сказать нельзя.

Пристально, не отрываясь, Хироко смотрела на газетный лист.

— В тюрьме все совсем не так, как здесь, на воле. Дзюкити осужден не только по закону об охране общественного спокойствия — ему приписано и многое другое.

Несколько газетных строк, в которых ясно говорилось, что политические преступники, заключенные в

тюрьму по закону об охране общественного спокойствия, будут освобождены, глубоко взволновали Хироко. Дело Дзюкити было связано с разоблачением провокаторов, которых политическая полиция планомерно, на протяжении нескольких лет, засылала в партийные организации. Случайно один из провокаторов, человек не вполне здоровый, умер при загадочных обстоятельствах. Суд над Дзюкити был фактически местью со стороны судебных органов.

Впервые узнав о содержании дела на судебном процессе, Хироко собственными глазами увидела и своими ушами услышала, насколько жестоки законы господствующего строя. Судьи даже не старались сохранить видимость справедливости. Основания для привлечения к суду оказались в полном противоречии со здравым смыслом. К Дзюкити отнеслись особенно жестоко. Из группы товарищей, обвинявшихся по одному и тому же делу, находившихся в одинаковом положении, именно Дзюкити — наименее опытный — был приговорен к бессрочной каторге. Против одного его имени оказался такой перечень преступлений, какой только мог уместиться на отведенных для этого строчках. Хироко физически чувствовала, как эти обвинения, словно железные оковы, с тяжелым звоном сковывают Дзюкити. Если рассматривать деятельность Дзюкити с другой, правильной, точки зрения, в них не было ничего преступного. Наоборот, именно поступки провокаторов и воспитавших их, руководивших ими представителей власти свидетельствовали о подлых методах политической борьбы, о бесчеловечности и разложении. Хироко тогда трудно было понять, почему объявляют преступниками молодых людей, может быть еще не искушенных в жизни, но старающихся бескорыстно и самоотверженно исправить недостатки общества.

Много слов, много душевных сил за эти десять с лишком лет потратила Хироко, чтобы доказать матери Дзюкити, насколько отвратительны и страшны эти безжалостные законы, по которым можно осудить такого человека, как ее сын. Она делала это для того, чтобы смягчить горе старухи, укрепить веру в сына, поддержать надежду на его освобождение.

Теперь, когда Хироко прочла статью об освобождении политических преступников, осужденных по закону

об охране общественного спокойствия, ее охватило страшное, мучительное смятение. Как только была принята Потсдамская декларация, Хироко обрадовалась. Она лихорадочно думала: «Когда же, когда же возвратится Дзюкити? Как воспримет он эту новость?» Она мечтала о том, чтобы встретить его в Абасири и вместе с ним пересечь пролив.

Но шло время, вот уже месяц минул, и она стала сомневаться. Власть продолжала оставаться в руках правительства, совершенно неспособного осуществить решения Потсдамской конференции. Отменят ли, в самом деле, закон об охране общественного спокойствия? Когда? Каким образом? Одни и те же вопросы волновали различных людей, которых преследовали многие годы. Десятки миллионов глаз с надеждой смотрели в будущее.

В тот момент, когда стало ясно, что двери тюрем откроются, Хироко испытала чувство матери, у которой в огне остался ребенок; она зовет его и никак не может спасти. «Дзюкити, Дзюкити! Все выйдут, а Дзюкити?»

С газетой в руках Хироко медленно подошла и села к столу. Тетка и Нуико молча с печальными лицами разошлись в разные стороны.

Через некоторое время Хироко, не вставая из-за стола, позвала Нуико:

— Ты здесь, Нуико?

— Да, да! Что-нибудь нужно?

— Сделай одолжение, сходи на почту.

Она передала Нуико два письма с пометками красными чернилами на конвертах: заказное, срочное.

— Во всяком случае, я думаю обратиться к Цукамото и Нагата. Попрошу Нагата, если потребуется, съездить туда и сделать все необходимое для Дзюкити.

Цукамото был другом детства Дзюкити, его хорошо знала вся семья. Адвокат Нагата уже многие годы занимался самыми сложными политическими процессами. Этим двум людям Хироко писала о газетной статье, просила установить, что и как нужно сделать для освобождения Дзюкити. Обращаясь к Нагата, Хироко просила его решить, следует ли ему самому поехать в Абасири; если нужно, пусть он немедленно возьмет деньги на дорожные расходы у Цукамото и сразу же выезжает. Она оставила некоторую сумму денег у Цукамото на

случай срочных расходов, если ее почему-либо не будет в Токио.

Нуико сразу же отправилась на почту.

Хироко мучительно думала, правильно ли она делает, оставаясь здесь. В течение нескольких лет, пока шло предварительное следствие, а потом процесс по делу Дзюкити, Хироко, не имея понятия о законах, основываясь только на здравом смысле нормального человека, на проницательности и воображении, которые у нее, как у писательницы, были особенно развиты, пыталась разобраться в деле и предпринимала соответствующие действия. При этом были промахи и ошибки, доставившие неприятности Дзюкити.

Она лежала одна в небольшой комнате. Пройдет несколько дней, и наступит октябрь, а здесь все еще приходится пользоваться москитной сеткой. Взошла поздняя луна. Черные тени бамбука легли на сёдзи галереи.

Когда-то в Табаси был небольшой ресторанчик. Во дворе на белой стене висели картины, исполненные тушью. В этом ресторанчике ежегодно проводились литературные вечера памяти Рюноскэ Акутагава. Первой опубликованной работой Дзюкити было исследование об одном из переломных моментов в истории японской интеллигенции, связанном с творчеством и смертью Рюноскэ Акутагава.

Хироко прочитала журнал с этой первой статьей Дзюкити за столом скромной гостиницы в далекой, чужой стране. Какими настроениями жила тогда Хироко? Думала ли она о том, какое место в ее жизни займет Дзюкити? Предполагал ли сам Дзюкити, когда с юношеским пылом писал статью, что всего лишь через три года ему придется начать жизнь в тюрьме и выслушать приговор о бессрочной каторге? Как бы там ни было, он жил, работал, был готов к любым неожиданностям, мечтал о том, чтобы назвать Хироко своей женой...

В день, когда предполагалось объявление приговора по делу Дзюкити, с десяти часов утра стало известно об угрозе воздушного налета на Токио. Нагата, отправившийся в суд до назначенного часа, позвонил по телефону, но разговор прервали. Тем временем по радио объявили, что воздушный налет отражен, но угрожающее положение остается. И тут же снова раздался

телефонный звонок. Нагата сообщил, что решено сейчас же открыть заседание суда, и надо, чтобы Хироко приезжала как можно скорее.

— Это же нарочно сделано! Знают ведь, что семьи не успеют прибыть на суд, — возмутилась Хироко.

— Я старался как мог оттянуть время. Во всяком случае, скорее приезжайте.

Чтобы добраться от дома до здания суда, требовался час времени. Нужно было идти пешком, потом ехать трамваем, затем опять идти пешком. Не оставалось ничего другого, как по возможности сократить это время. Хироко буквально задыхалась, когда входила по лестнице в зал на третьем этаже.

Заседание уже началось, узколицый председатель суда что-то читал. Дзюкити сидел в самом первом ряду. Двое конвойных, обычно державшихся в некотором отдалении, на этот раз сидели на той же скамье, справа и слева от подсудимого. Хироко заняла место за спиной Нагата. В зале присутствовало всего несколько человек.

Председатель суда читал приговор. Хироко прислушалась, и ее охватило чувство возмущения. Зачем в течение нескольких лет велось предварительное следствие, для чего устраивалось открытое слушание дела? Дзюкити и его товарищи вели борьбу за то, чтобы установить истину, выяснить объективное положение вещей, но ни характеристика самого дела, ни реальные факты не нашли отражения в документе, который читал председатель. Обоснование предъявленного иска осталось таким же, каким оно было сформулировано много лет назад. Изъяли только некоторые слишком резкие эпитеты и признали случайным действием то, что раньше изображалось как преднамеренное, заранее подготовленное убийство. Чувствовалось упорное стремление представить дело так, как оно было задумано с самого начала, независимо от того, какие доказательства и показания давал Дзюкити.

Хироко понимала это, но в тот момент ее охватил ужас. «Как может,— думала она,— этот пятидесятилетний человек, видимо окончивший университет, имеющий жену и детей, читать такой дурацкий приговор? Решился бы он показать его своим родным?»

Председатель суда кончил читать изложение дела,

сделал паузу, повысил голос и четко произнес: «Приговаривается к бессрочным каторжным работам». Затем сразу же деловым тоном скороговоркой добавил, что, если подсудимый не согласен с приговором, он может обжаловать решение суда в недельный срок.

Чиновники суда разом встали со своих мест. Встал и Дзюкити. Поднялась и Хироко, но она уже не сознавала, что делает. Ей только бросилось в глаза, что обычно бледное лицо обернувшегося к ней Нагата стало вдруг багрово-красным.

Вслед за председателем судейские чиновники медленно направились в комнату отдыха.

Дзюкити обернулся, посмотрел на Хироко и улыбнулся. Это была его обычная мимолетная улыбка, при которой в уголках губ собирались иронические складки. В ответ улыбнулась и Хироко. Но улыбка сразу же исчезла. Обходя свою скамью, Хироко направилась прямо к Дзюкити. Конвойные, стоявшие по обеим сторонам осужденного, шагнули вперед, чтобы преградить ей путь. Лицо Хироко, вся ее фигура ясно выражали ее переживания; Дзюкити понял их и, стараясь успокоить жену, снова ободряюще улыбнулся.

— Что ж... До послезавтра,— сказал он так, чтобы услышали и адвокат и Хироко. Потом руками в огромных наручниках надел на голову свой плетеный колпак [1] и пошел. Это происходило в субботу.

Как выглядела в это время сама Хироко, она не знала, но на всю жизнь остались в памяти внезапно покрасневшее лицо На́гата, бледное от многолетней болезни и недостатка солнечного света лицо Дзюкити, его потемневший, но по-прежнему непреклонный взгляд и почти насмешливая улыбка.

Эти глаза, эта улыбка мерещились ей и сейчас, поздно ночью, когда она лежала под широкой москитной сеткой, на которую падала тень бамбука. Глаза Дзюкити мерещились ей на маленькой подушке с белой наволочкой, она притрагивалась к ним ладонями. Когда Дзюкити еще не был так коротко острижен, его длинные волосы всегда беспорядочно свисали на лоб; приглаживая волосы, он легко проводил по ним паль-

---

[1] В японских тюрьмах заключенных издавна перевозят в колпаках.

цами. Сколько лет прошло с тех пор, как Хироко касалась рукой волос мужа?

Есть слово «безжалостный». Есть безжалостная действительность. Если теперь в связи с отменой закона об охране общественного спокойствия отпустят политических заключенных, а Дзюкити и его товарищи останутся в тюрьме, это будет безжалостно, более чем безжалостно!..

Но разве до сих пор не были действия властей такими чудовищно-безжалостными, что трудно было представить себе что-либо более жестокое?

Глубокое, острое чувство тоски по Дзюкити, мысли о произволе и жестокости не давали ей уснуть: постель казалась раскаленной. Хироко встала.

За двенадцать лет, встречаясь с Дзюкити во время минутных свиданий, она ни разу не видела на лице мужа следов растерянности или страдания. Всматриваясь в его лицо, она забывала свои горести, чувствовала себя освеженной. Однажды летом, страдая туберкулезом кишок, Дзюкити едва дошел до комнаты свиданий, у него не хватило сил спокойно опуститься на стул. Он словно упал на сиденье. Хироко видно было, как поредели его волосы, как просвечивала кожа на голове. Именно такими рисуют призраков. Да, это волосы привидения. Хироко смотрела, широко раскрыв глаза. Но даже в этот момент, на краю смерти, Дзюкити улыбался, и эта улыбка поддержала Хироко. Отвечая Дзюкити, она всегда успокаивалась, — казалось, будто она погружается в тихие, спокойные воды.

Иногда Хироко заранее знала, какая страшная бессонная ночь предстоит ей. Но ведь и у Дзюкити будет такая же ночь, а за ней долгий-долгий день... Проходили ночи и дни, ей казалось, что они оба находятся на каком-то странном корабле. Волны бесцельно и безвозвратно катятся вдаль. Корабль двигается вперед; проходит время, которое никогда не вернется, меняется жизнь, а Дзюкити по-прежнему в тюрьме.

Луна склонилась к западу. Тени бамбука на москитной сетке немного переместились. Где-то у дальних гор корейцы шумно праздновали предстоящее возвращение на родину. Ветер доносил слабые звуки песни и хлопанье в ладоши.

XV

Когда Хироко с рюкзаком за спиной, в студенческих ботинках появилась в доме Дзюкити, она была худой, черной, осунувшейся.

В Тахара она стала чаще смеяться и даже немного пополнела. Утром, встав с постели, она смотрела в зеркало и шутливо говорила:

— О, еще немного, и я стану красавицей!

Теперь начались бессонные ночи. Хироко говорила о тех ночах, когда удавалось заснуть, но никому не жаловалась, если всю ночь проводила без сна. Есть ли на свете люди, которые не знают бессонных ночей? Особенно с тех пор, как началась война. Особенно теперь, когда война кончилась, но миллионы людей не вернулись домой, а их матери и жены с мучительной тревогой думают, как им жить дальше.

Когда Дзюкити начинал свою жизнь в тюрьме, немало было жен, оказавшихся в таком же положении, как Хироко. Жены политических заключенных знакомились друг с другом около тюрьмы, где томились их мужья, рассказывали, за что арестованы их близкие, ободряли друг друга.

Одинокая жизнь Хироко, жизнь жены политического заключенного, как-то незаметно стала во многом походить на жизнь десятков миллионов жен в Японии. Мужья этих женщин были насильно взяты в армию. Их грузили на транспортные суда, о пути следования которых они не имели никакого представления, они пересекали проливы, плыли по Тихому океану, достигали экватора. Та же самая грубая сила отторгла от дома и Дзюкити. Никто не говорил солдату, куда направляется машина, на которую его посадили. Его увозили, снабдив винтовкой и нагрузив заплечным мешком. Дзюкити увезли в наручниках, с плетеным колпаком на голове. И ни того, ни другого не спрашивали о желании, никто из них не выбирал своего пути. Сходство было и в том, что, отправившись в путь, они не могли, если бы хотели, вернуться обратно. Ни тот, ни другой не мог рассказать своей жене, о чем они думают, им не разрешалось писать откровенные письма о своей жизни. Как там, так и здесь существовали правила, непонятные посторонним. Тюрьма, как и армия, была

изолирована от внешнего мира, и там и здесь господствовал произвол. Сходство было в жестоких условиях, в которых выжить могли только сильные.

На собственном опыте Хироко убедилась, что женщины Японии вынуждены становиться опорой семьи, независимо от того, есть у них для этого силы или нет. Ей хотелось написать повесть о таких женщинах — эта тема могла быть близкой многим. Но было одно препятствие: такую повесть нельзя было бы напечатать. Хироко правильно воспроизвела бы действительность, переживания героев были бы понятны многим другим женщинам, но тем больше появилось бы оснований запретить повесть. Мешали бы настроения Хироко: она не могла с сочувствием относиться к войне; хотя никогда еще так много не кричали об императоре, патриотизме, о процветании и счастье!.. Наконец она была женой политического заключенного, женой человека, который боролся против захватнической войны, против обнищания народа.

Хироко хотелось правдиво описать судьбы молодых девушек, у которых отняли любовь, жизнь, радость; замужних женщин, лишившихся опоры, но любое ее произведение не разрешили бы печатать. Все литературные замыслы, горячее стремление выразить свои мысли на бумаге — все это находило отражение лишь в письмах к Дзюкити.

В эти дни Хироко остро почувствовала, что она как жена гораздо счастливее миллионов других жен и невест в Японии. Она точно знала, где находится Дзюкити. Она пользовалась свиданиями, конечно, в пределах, установленных правилами. Пока Дзюкити находился под следствием, ему можно было передавать одежду, заботливо подобранную ею самой. И, что важнее всего, Хироко могла писать мужу письма так же, как мог писать ей Дзюкити.

Сотни тысяч женщин жили в более тяжелых условиях. Они даже не знали, где находятся их мужья. Получив письмо, жена не была уверена, жив ли ее муж в тот момент, когда она читает его весточку. Хироко с содроганием думала о страшной действительности, когда близкие находятся так далеко, что не могут послать писем, поделиться своими тревожными думами. Хироко казалось, что ее страдания несравнимы с горем

солдаток, хотя жены солдат оставались в одиночестве два-три года, самое большое четыре-пять лет, а она уже десять с лишком лет.

Да, все женщины Японии знали теперь, что такое бессонные ночи...

Прошло несколько дней, и в газете снова появилась заметка, еще больше взволновавшая Хироко. Это было сообщение о том, что один из иностранных корреспондентов побывал в центральной тюрьме, часть которой приспособили по образцу немецких фашистов для превентивно-арестованных, и беседовал с Кюити Токуда, Ёсио Сига и другими политическими заключенными.

Снова и снова перечитывала Хироко заметку.

В равнодушных газетных строчках чувствовалось лихорадочное биение пульса тюремных узников. Можно было представить себе энергичную речь, порывистые движения этих чудом уцелевших людей. Они столпились у железных решеток, смотрят на улицу и ждут, ждут... Глаза их горят...

Хироко расплакалась и потом долго не могла успокоиться. Вот уже скоро раздадутся голоса этих людей. А где же тот единственный для нее голос? Когда она увидит глаза Дзюкити?

В соседней комнате Нуико тихо занималась шитьем. Позади Хироко стоял большой старомодный комод, рядом висело скромное зеркало. Хироко встала, подошла к зеркалу и, вытирая слезы, принялась внимательно рассматривать свое лицо. Потом крикнула:

— Нуико!

— Что случилось?

— Как странно! Всякий раз, когда хочется быть особенно красивой, выглядишь просто отвратительно.

— Неужели?

— Но не в этом дело. Если бы было определенно известно, что Дзюкити вернется... Если бы определенно...— Она несколько раз повторила эти слова.— Я бы пешком пошла в Токио. Но ведь еще ничего не известно. Последние дни я уже стала сомневаться. Пала духом...

Нуико с видом старшей, все понимающей женщины старалась мягко ободрить ее:

— Нет никаких причин для беспокойства. Скоро пойдут поезда. Все будет хорошо.

Шестого октября, около полудня, как всегда, прибыли газеты. Нуико и тетка что-то стряпали на кухне около небольшой переносной плитки.

Хироко с газетой в руках села за стол. Прежде всего пробежала глазами заголовки, дошла до середины страницы, и вдруг лицо ее изменилось. В газете сообщалось о предстоящем освобождении политических заключенных. Перечислены были фамилии лиц, которые по приказу штаба объединенных войск подлежали освобождению до 10 октября. В списке освобождаемых из центральной тюрьмы на первом месте стояла фамилия Кюити Токуда, у которого недавно брал интервью иностранный корреспондент. Хироко быстро-быстро перевела взгляд на приложенный список фамилий: «Подлежат освобождению: Дзюкити Исида (Абасири)». Освобождение! Освобождение! «Дзюкити Исида из Абасири». Значит, Дзюкити вернется!

— Нуико! Нуико! — громко позвала она.

Не успела Нуико, вытирая руки, войти в комнату, как она схватила девушку за рукав.

— Нуико! Смотри, смотри!

— Ой! Освобождают, освобождают!

— Да, теперь уже определенно. Наконец-то!..— говорила Хироко, смеясь и плача.

На их громкие голоса прибежала тетка; руки ее были в муке.

— Что случилось? Его выпускают, говорите?

— Да, вот смотри! — Нуико показала строчку в газете.

— Где, где?

Тетка внимательно прочитала всю статью.

— Да, на этот раз вполне определенно.

— Не могу я так, без всякого дела, сидеть здесь.— На лице Хироко вдруг отразились беспокойство и беспомощность.— Здесь написано: «Освободить до десятого». Предположим, он выедет из Абасири восьмого или девятого, значит в Токио может быть числа тринадцатого — четырнадцатого. Мне нужно сразу же выезжать.

— Может быть, он заедет сперва в Фукусима?

Были обдуманы и обсуждены все возможности. В любом случае Хироко, если бы она поехала на восток, могла разминуться с мужем.

— Так или иначе нужно вернуться в Токио, — решила, наконец, Хироко. — В Токио, наверное, уже создано бюро связи.

Как-то на днях в газетах было сообщение о том, что контора одного адвоката становится пунктом связи для бывших политических заключенных.

— Сейчас же отправлюсь на станцию. Если удастся, уеду сегодня с вечерним поездом.

— Подожди хотя бы, пока сварится рис, возьмешь с собой. Ведь нет ничего!

— Хорошо, хорошо...

Хироко попросила передать привет Савако и вместе с Нуико вышла из дому.

Уходили тем же путем, которым пришли сюда. Хироко волновалась, она шла молча и спешила изо всех сил.

Временами Нуико замедляла шаг:

— Пойдем немножко медленнее.

Но Хироко, думая, что ее спутница боится, как бы она не устала, успокаивала:

— Ничего, ничего.

— Да ведь прошли чуть ли не треть пути!

Когда они подошли к тоннелю, Нуико заметила:

— Остается идти всего сорок минут.

— Как это долго идти пешком! — с досадой сказала Хироко.

Когда они в первый раз шли по этой дороге, Хироко внимательно смотрела вокруг. Взгляд останавливался и на самой дороге, прямой как стрела, и на разрушениях по обеим ее сторонам. Теперь, на обратном пути, все окружающее: и ближние поля, и бараки, и гряды гор — сливалось в один зеленый ковер. И хотя казалось, что идут они медленно, ландшафт все время менялся, и все вокруг быстро отступало назад.

На небольшом холме у входа в поселок стоял храм Тагасан. Недавние большие дожди и наводнение размыли откос рядом с лестницей, появились оползни. Здесь собрались мальчишки из поселка. Подложив под себя циновки, они с шумом и криками скатывались с горы. Среди них был и Акио. Его тонкое смуглое лицо пылало от возбуждения, он как раз стремительно катился с горы и даже не заметил проходивших мимо Хироко и Нуико.

— В такой грязи! — засмеялась Нуико и на минуту остановилась.

Хироко посмотрела на Акио, на виднеющиеся внизу крыши домов, и невольно к ней вернулись прежние мысли. Это были крыши «старого поселка». Здесь живут люди, тоскующие по близким, которые никогда не вернутся, думающие о своей разрушенной жизни. Как воспримут живущие здесь тяжелой, застывшей жизнью женщины ее разгорающуюся, как пламя, радость? Настроение у Хироко упало. Да, она обязана найти особые слова для выражения своей радости, такие слова, которые не причинили бы боли другой женщине, тоскующей о погибшем муже.

— Сестрица, что с тобой? Устала? Мы слишком быстро шли.

Усталая Хироко медленно вошла в дом Исида с черного хода. Циновками были застланы только дальние комнаты. В магазине еще и досок не было.

Из-за шкафа появилась свекровь.

— Здравствуйте, здравствуйте! Как вы похорошели обе!

Хироко поклонилась и поздоровалась.

— Мама, ты читала сегодняшнюю газету?

— Дзюкити возвращается. Я сразу же хотела позвонить тебе, но телефон не работает. Скоро возвращается!

— Там сказано: до десятого. Может быть, сегодня он уже выезжает?

— Но как он там? Сможет ли добраться один?

Это беспокоило и Хироко. Страшно было подумать, как больной Дзюкити после двенадцати лет тюремной жизни один отправится из Абасири, как он сядет в теперешний ужасный поезд, как поедет без всяких продуктов.

— Кого-нибудь пошлют туда из Токио. Теперь уже я все равно не успею. Ничего не поделаешь... Деньги у него есть.

— Хорошо, если так...

Вошла Цуяко с Дзиро на руках. Она посмотрела на Хироко, сидевшую рядом с Нуико, и сказала:

— Газету уже видели? Какая радость!.. Поздравляю!

— Да, радость! Для всех радость. Спасибо!

Цуяко была уже не босиком, а в гэта, она немного осунулась, но выглядела спокойнее.

— Бабушка! Надо бы достать билет.

— Да, да! Сейчас пойду на станцию.

Свекровь сходила к начальнику станции, рассказала о том, что освобождают Дзюкити, и достала билет на поезд по ветке Курэ, где с восьмого числа по специальному разрешению началось движение поездов. Хироко просила купить на всякий случай билет до Аомори. Оказалось, что 7-го в Курэ прибыли американские войска, и движение поездов было воспрещено.

— Делать нечего. Придется подождать до завтра.

Тонори довольно рассмеялась:

— Начальник станции поздравил меня. Даже посочувствовал: «Сколько пришлось испытать Дзюкити!»

Много времени прошло с тех пор, как имя Дзюкити перестало приносить радость матери. Как и многим другим, ей доставляли большие неприятности страшные слухи, ей угрожали законы.

Когда поужинали, Тонори высказала свою сокровенную думу:

— Как я мечтала, чтобы отец дожил до этого дня! Обрадовался бы и дядя из Тахара. Наодзи тоже часто говорил: вот вернется старший брат, тогда заживем... Верно, Цуяко?

— Да, говорил.

— Хироко! Когда вернется Дзюкити, вы никуда уж не поедете, правда ведь? Приезжайте сюда, — с жаром уговаривала она невестку. — Живите здесь вдвоем сколько захочется. Ты будешь писать свои повести, Дзюкити устроится работать в городскую управу. Хорошо заживем! Здесь у нас неплохо, правда случаются наводнения...

Мысль о том, что Дзюкити, стойко державшийся в тюрьме более десяти лет, теперь пойдет служить в городскую управу, ей самой показалась смешной. Все расхохотались, и вместе со всеми от души смеялась и мать Дзюкити. Она вся светилась от радости.

Посмеялась и Цуяко; потом поднялась и пошла на кухню, чтобы приготовить продукты в дорогу.

Хироко с жалостью думала о ней. Цуяко в сущности была неплохой женщиной, когда жила нормальной, спокойной жизнью. Это невзгоды сделали ее та́кой угрюмой, такой необщительной. Но этому ничем нельзя было помочь, — такова жизнь. Жалость к Цуяко целиком захватила ее.

Оставшись вдвоем со свекровью, Хироко дотронулась рукой до ее колен и сказала:

— Думаю о твоих чувствах, мама, и не нахожу слов. Как странно все меняется. Вместо одного любимого сына возвращается другой.

— Ты права, дочка. — Старуха глубоко вздохнула. Потом посмотрела на поросшие соснами далекие вершины гор и тихо, ласково, как мать, проговорила: — Ведь у меня еще остается Синдзо. Как он там? Может быть, голодает?

XVI

Снова в сетке над головой лежит рюкзак с отметкой — маленькой бархатной ленточкой. В рюкзаке завтрак, два плотно увязанных бумажных свертка и большая круглая банка. В одном свертке рис, взятый в предвидении каких-либо неожиданных осложнений, в другом — только что смолотая мука. Хироко вспомнила, что как-то раз в письме Дзюкити написал, что соскучился по лепешкам, какие пекут на родине, и ей захотелось прежде всего накормить его этими лепешками. Почему-то ей показалось неудобным сказать об этом Цуяко, и она украдкой шепнула Нуико. Та поджарила пшеницу, добавила рису и тщательно перемолола. В круглой банке лежал сахар — подарок возвращающемуся Дзюкити от друзей. Была в рюкзаке также пара ботинок. Их купил где-то в Центральном Китае Синдзо, а свекровь передала теперь для Дзюкити. Вот и все содержимое рюкзака, лежавшего в сетке.

В том же костюме, в каком приехала сюда, — в синих шароварах и студенческих ботинках, Хироко сидела в поезде, идущем на восток.

Хорошо, что она не смогла тогда поехать в Абасири. Дом ее брата в Токио уцелел от пожара, и это было большой удачей для Дзюкити и Хироко. На участке сгорела только ограда с северной стороны, и теперь сквозь редкие деревья на дворе можно было далеко вокруг видеть выжженную равнину. Не работал водопровод, газ, но в доме все-таки можно было жить. Можно было жить вдвоем. Какое непривычное, новое чувство рождают эти слова: жить вдвоем! С тех пор как Хироко стала женой Дзюкити, они и двух месяцев не прожили вместе. Да

и эти два месяца прошли в маленьком домике, где всегда было много народу и все куда-то спешили. Этот домик находился в нескольких сотнях метров от дома брата, куда сейчас ехала Хироко. Теперь этот домик сгорел.

В долгие годы одинокой жизни Хироко приходилось несколько раз переезжать с места на место. Обстоятельства складывались так, что не успевала она свить гнездо, как его разрушали. Все дома, где ей довелось жить, сгорели в 1945 году.

А Дзюкити вернется, наверное, с одним маленьким свертком в руках, в странном халате, похожем на кимоно, и скорее всего в тех самых туфлях, в каких был на суде. У него нет, очевидно, даже гэта.

Из имущества самой Хироко остались только книжный шкаф, содержимое которого во многом изменилось, когда в трудные времена приходилось продавать книги, стол, постель и кое-какие хозяйственные вещи, сохраненные на случай, если придется жить своим домом. Хозяйство весьма скромное.

Но Хироко считала, что не иметь ничего — значит иметь все. Что могла она сохранить от той долгой, более чем десятилетней жизни, когда Дзюкити был в тюрьме? Теперь Дзюкити будет свободен. С прошлым покончено.

Хироко покачивалась в вагоне, мысли ее блуждали, колеса ритмично постукивали на стыках рельсов, — поезд мчался навстречу ее желаниям.

Однако часа в четыре по вагонам начали распространяться тревожные слухи. Говорили, что в направлении Курэ путь размыт, что поезд опаздывает и скорее всего не пойдет дальше Сува. Между Сува и следующей станцией Михара есть большой стальной мост, он будто бы разрушен и нет никаких надежд на восстановление.

— Плохо дело! Какое примерно расстояние от этого места, как там оно называется, до следующей станции?

— Около половины ри.

— Когда прибываем? Наверное, опаздываем?

— Нормально поезд приходит в шесть часов с минутами. Но если будем так тащиться, то приедем не раньше девяти.

Стал накрапывать дождь.

Прислушиваясь к разговорам, Хироко думала про себя: «Что ж, пойдем пешком...»

На родине Дзюкити она видела из окна, как вдоль полотна железной дороги бредут пассажиры. Так же пойдет и она. Переночует на станции Михара.

— Плохо дело... Плохо... — повторял мужчина, сидевший напротив. Не отрываясь, он смотрел в окно, — за окном темнело, шел дождь.

— А вы что думаете делать? — обратился он к Хироко.

— Пойду пешком на станцию Михара. Там устроюсь на ночь где-нибудь на скамье.

— Что вы, что вы! — воскликнул он, словно услышал нечто ужасное. — Неизвестно, сколько там людей соберется. Найдется ли место присесть! А вы как думаете поступить? — спросил он у мужчины, сидевшего рядом с Хироко.

— Как-нибудь устроюсь. Мне по делам службы часто приходится бывать в этих местах, — ответил тот спокойно.

Человек, заговоривший с Хироко,—краснолицый и низкорослый, в котором странным образом сочетались живость и нерешительность, — по мере того как поезд приближался к Сува, все больше проявлял беспокойство.

— Недалеко от Сува у меня есть знакомые. У них, пожалуй, можно устроиться на ночь. Пойдемте туда вместе. Только не думайте чего-либо плохого.

Хироко подумала: «В самом деле, удастся ли переночевать на станции Михара?» Но ей было неясно, почему попутчик так настойчиво уговаривает ее. Может быть, он руководствовался какими-нибудь другими соображениями, а не только желанием помочь одинокой женщине?

— Это недалеко от станции. Если не понравится, сможете сразу же вернуться на станцию. У них есть мальчик, он проводит.

Поезд медленно подошел к станции Сува. Когда недовольные пассажиры начали разбирать свои вещи и беспорядочной толпой вылезать из вагонов в темноту, под дождь, Хироко с облегчением подумала, что у нее есть попутчик.

На станции царил мрак. Единственный фонарь висел очень высоко и отбрасывал лишь маленький кружок

света. Не было ни проводников, ни освещения на дороге. Тусклый свет фонаря на этой темной станции не достигал платформы, где под дождем метались тени пассажиров. Кругом была полная неразбериха.

— Куда идти?

— Ничего не видно.

— Сюда, сюда!

— Сэнъё-тян! Сэнъё-тян! — слышался в темноте испуганный женский голос.

Спотыкаясь в сплошной темноте, Хироко нащупывала ногой ступеньки. Лестница вела на холм; по лестнице, обгоняя друг друга, взбирались люди. Спутник цеплялся за Хироко.

— Видите дорогу? Здесь можно пройти? — спрашивал он. — Беда, когда у человека плохое зрение... Дорога-то есть?

Наконец по скользким высоким ступенькам взобрались на холм.

Здесь оказалась тропа, ведущая, видимо, к поселку. Сбоку слышался шум ручья. Промокшие люди с вещами за спиной шлепали по грязи в полной темноте.

— Где ты?

— Иди прямо!

— Совершенно ничего не видно!

Сердито окликая друг друга, люди обгоняли Хироко и ее спутника. Не было ничего похожего на обычные цепочки пешеходов. Быстро шагавшие сильные мужчины спешили вперед, не обращая внимания на остальных. Оказалось, что у попутчика Хироко больные глаза и он почти ничего не видит. Хироко стало понятно, почему он уговаривал ее идти вместе.

«Забавно, — подумала Хироко, — этот не старый, но с плохим зрением человек подобрал в попутчицы именно меня, слабую женщину».

Темно было и на дороге, идущей по насыпи, где рядами росли вишни, темно и на широком, покрытом асфальтом шоссе. Ставни домов тщательно закрыты, — как видно, жители боятся не только сильного дождя, но и неизвестных, шагающих по лужам ночных пешеходов. И только иногда просочившийся сквозь прорезь ставни свет освещает мокрую дорогу.

Хироко не раз оступалась и попадала в наполненную водой глубокую колею от грузовых автомашин.

— Осторожнее, здесь глубокая лужа! — предупреждала она спутника.

— Спасибо!

Не дорога, а сплошные рытвины...

— По этой стороне не ходите. Здесь все обвалилось.

— Ох, трудно человеку, когда у него плохие глаза. Без вас я бы пропал. Большое спасибо!

Шагая так под дождем, они подошли к длинному мосту. Несколько лет тому назад, вспомнила Хироко, ей случилось возвращаться в Токио по железнодорожной ветке Курэ. Тогда, не доезжая Курэ, поезд проходил по длинному металлическому мосту, а из окна вагона они видели другой, такой же длинный, совершенно прямой мост над устьем реки, недалеко от того места, где река впадает в море. Сейчас они, устало наклонившись вперед, с рюкзаками за спинами, тщетно пытаясь прикрыться зонтом от сильного дождя, проходили именно по этому мосту. Другой мост был разрушен.

Наконец добрались до городка Михара. Здесь было так же темно, как и за городом. На перекрестке спутник остановился и стряхнул с зонтика капли дождя.

— Премного благодарен! Нет ли здесь направо кинобудки?

— Есть что-то похожее.

— Белое строение, да?

Хироко внимательно посмотрела в ту сторону и сказала:

— Возможно, белое. Там виднеется что-то вроде арки.

— Значит, мы пришли. Это где-то здесь. Кажется, здесь...

Стараясь припомнить дорогу, он прошел вперед, повернул за угол и остановился у дома, из окон которого пробивался свет. Тут он попросил Хироко взглянуть на номер дома и прочесть фамилию хозяина.

— Так, так... Спасибо! Теперь сюда.

Они снова вышли на дорогу. По обеим сторонам стояли дома с частыми оконными переплетами. Вода хлюпала в ботинках Хироко. Вся дорога была покрыта водой. С каждым шагом вода становилась глубже, идти дальше было опасно.

В это время спутник остановился перед домом с маленькой дверью.

— Ну, кажется, здесь... Написано: Мики Муракава?

— Табличка есть, но темно, ничего не видно.

— Можно не смотреть. Здесь! — уверенно сказал он и шагнул в переднюю.

— А, господин начальник отделения!

Навстречу поспешно вышла женщина лет пятидесяти в легком кимоно.

— Как же вы?.. В такое время... Благополучно ли добрались? Ну и чудеса!.. Прошу вас, входите.

— Как живете, хозяйка? Простите за беспокойство.

В передней было сухо; вода сюда не проникала. Не обращаясь непосредственно к Хироко, хозяйка с беспокойством поглядывала на нее. Мужчина представил Хироко как свою попутчицу и попросил указать гостиницу, где можно было бы остановиться.

— Ой, что вы!.. Здесь теперь столько ходит народу! К шести часам все переполнено.

Хироко сняла ботинки и шаровары; с них ручейками стекала вода. Хозяйка разрешила им переночевать. «Господин начальник отделения! Господин начальник!» — приговаривала она на каждом слове, просушивая его носки, вешая мокрую рубашку на перекладину в передней. Но хозяйка не сказала Хироко, что и она может развесить свои вещи, с которых капала вода. За нее это сделал попутчик.

В доме было всего две комнаты. Во всем чувствовалась привычная экономия и стремление сохранить приличный вид. Из разговора Хироко поняла, что ее попутчик, по-видимому, начальник отделения какой-то компании, а хозяйка — сборщица взносов. Недавно вернулся из армии ее сын, теперь он работает на заводе. Одной трудно вести хозяйство, и сейчас она подыскивает невесту для сына.

Хироко не стала много рассказывать о себе; сообщила только, что должна как можно скорее попасть в Токио. Хозяйка особенно не церемонилась со скромно одетой, не представленной по всем правилам женщиной. «Все это в порядке вещей», — подумала Хироко и не осуждала ее.

С тех пор как между Сува и Михара началось пешее движение, в небольшом городке Михара ежедневно останавливались от десяти до двадцати тысяч пассажиров. Михара, не подвергавшийся воздушным налетам, был

своего рода перевалочным пунктом для Курэ и других крупных городов. После наводнения приток людей еще более увеличился. Не было дома, где не останавливались бы на ночь несколько человек. Слушая рассказ хозяйки, Хироко вспомнила, что когда они, взобравшись на холм, вышли на дорогу, у ставен, сквозь которые пробивался свет, толпились демобилизованные солдаты и вели настойчивые переговоры с хозяйками.

«Как все-таки хорошо, что я провела прошлую ночь в доме сборщицы взносов», — подумала Хироко, придя пораньше на станцию Михара, чтобы попасть на ближайший поезд.

Маленькая станция провинциального городка была забита пассажирами. Под утренним холодным дождем они месили грязь вокруг станции. В зале ожидания, где Хироко вчера собиралась переночевать, даже стать было негде. За вещами и людьми не видно было скамей.

Но в поезде оказалось свободнее, чем можно было ожидать, судя по скоплению людей на станции. Поезд, который должен был отправиться вчера в двенадцатом часу, все еще стоял, хотя наступило утро. В вагоне четверо демобилизованных, подшучивая друг над другом, ели рис, сваренный в котелке.

Хироко сняла все еще влажные тяжелые шаровары, повесила их на металлическую рейку у окна, сняла разбухшие ботинки и села на скамейку, поджав под себя ноги.

— Здорово промокли. Куда направляетесь? — спросил один из солдат.

— Возвращаюсь в Токио. Тронется ли когда-нибудь этот поезд?

— Один бог знает, — иронически усмехнулся солдат с расстегнутым воротом и небритым лицом. Как можно было понять из разговора, он знал названия европейских вин и умел танцевать.

— Должен был отправиться, как вам известно, вчера вечером. Ничего, ничего... Терпение прежде всего.

Однако в половине седьмого вопреки предположениям поезд вышел со станции Михара.

— Поехали!

Начальник отделения радостно засмеялся и выглянул в окно:

— Теперь все хорошо! Нам замечательно повезло!

Ему нужно было попасть в Осака. Успокоившись, он удобно уселся на скамью и закрыл глаза. Со стороны трудно было заметить, что он почти слепой.

Хироко мысленно уже была в Токио. Все дорожные происшествия — и ночевка в доме незнакомой сборщицы взносов и прочие мелочи — нисколько не огорчали ее. Она находилась в пути, а путешествие в послевоенной Японии и не могло быть легким.

Поезд шел в районе Окаяма. За окном открывался необычайный вид. По обеим сторонам медленно двигающегося поезда простирались огромные затопленные районы. Уже несколько дней поля были залиты водой. Печальное зрелище представляли белые пустые колосья риса. Легкие и бессильные, они поднимались над водой, покачиваясь под ветром и дождем. Кое-где стояли крестьянские дома, окруженные водой. Вода была настолько глубокой, что от дома к дому можно было передвигаться, очевидно, только на лодках. На возвышенных местах, ближе к горам, вокруг домов валялись испачканные в грязи домашние вещи, точно так же, как в поселке, на родине Дзюкити.

С полей не доносилось ни звука. Мутная, грязная вода и — ни души кругом. Видно, глубокое отчаяние охватило жителей.

Крепко сжав руки, Хироко не отрывала глаз от печальных картин, проплывавших за окном вагона. Поезд шел очень медленно, временами останавливался. Полотно дороги было покрыто водой. Из-под колес поезда взлетали крупные брызги. Шум воды сплетался с тяжелыми вздохами паровоза, время от времени выпускавшего отработанный пар.

Кое-как добрались до станции Химэдзи. Пассажиры, высунувшись из окон, взволнованно спрашивали у проходящих железнодорожников, в каком состоянии путь впереди. Распространились слухи, что дальше поезд не пойдет. Все вскочили, поднялся шум. По платформе вдоль вагонов шел молодой станционный служащий в фуражке, сдвинутой на затылок. Безучастным тоном он повторял:

— Выходите из вагонов! Поезд дальше не пойдет!

Сидевший напротив Хироко мужчина вскочил с места и, высунувшись в окно, остановил служащего командирским окриком:

— Эй, приятель! Можно ли так бездушно объявлять? Люди давно в пути, устали. Войди в вагон и объясни как следует.

Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Железнодорожник остановился на платформе, но пассажиры продолжали шуметь. Тогда он вошел в полутемный вагон и сказал:

— Из-за повреждений пути, связанных с наводнением, этот поезд остается на станции Химэдзи. Просьба освободить вагоны.

Пассажиры обступили железнодорожника, посыпались вопросы, но тот сам не знал, когда устранят повреждения и даже в каком месте размыт путь.

— Делать нечего. Придется выходить.

К Хироко и ее спутнику присоединился мужчина с командирским голосом. На нем был хороший костюм, со вкусом подобранное пальто, в руках он держал саквояж и картонную коробку.

На грязной и мокрой от дождя платформе лежали прикрытые брезентом груды почтовых посылок и писем. Хироко подумала, что и ее срочные письма, посланные Дзюкити из Тахара, тоже лежат, наверное, в этих мокрых кучах. Их, видимо, никто и не собирается отправлять.

Платформа выглядела в общем так же, как в Михара. Но бóльшая половина города сгорела, а с ней сгорели и станционные помещения. Полуслепой пассажир, Хироко и новый попутчик присоединились к другим пассажирам и направились к сколоченному из неотесанных досок временному вокзалу. Здесь не было даже объявления, в котором бы говорилось, где поврежден железнодорожный путь. Никто не знал, когда его восстановят. По мнению дежурного, и узнавать не стоило.

— Ведь это ваша обязанность, вы плохо относитесь к делу. Для чего же существует у вас телефон?

— Нет телефона. Сгорел, — спокойно сказал железнодорожник и так посмотрел на нового попутчика Хироко, будто хотел добавить: «Какой же ты дурак!» — Телеграф тоже давно не работает, — продолжал он тем же тоном, бросая окурок на мокрую землю. — Нет и радиоприем-

ника... Прошу вас выйти! Здесь находиться не разрешается.

Новый попутчик предложил обратиться в полицию, чтобы она помогла людям устроиться на ночлег. Сотни пассажиров столпились перед станцией, откуда видны были развалины замка Хакуродзё, и не знали, что делать.

По широкой улице со следами пожарищ пешком пошли к городскому управлению. В нижней части города по улицам проносились, разбрызгивая дождевую воду, «виллисы» и грузовики. У входа в штаб американской военной полиции молодой солдат в белой каске смотрел, хмуря густые рыжие брови, на октябрьский дождь в этом чужом, далеком городе: «Himeji, Japan»[1].

Втроем поднялись по лестнице в полицейское управление. Новый попутчик наклонился к окошечку, над которым висела табличка с надписью по-английски: «Справочное бюро», и стал рассказывать о нуждах пассажиров. Полицейский, человек средних лет, ответил:

— Очень, очень сожалею, но каждый день сюда прибывают десятки тысяч пассажиров.

Оглянувшись, он что-то спросил у другого сотрудника, и тот ответил, что больше размещать людей негде. Все городские гостиницы недавно превращены в пункты помощи пострадавшим от наводнения.

— Прошу вас, устройте нас куда-нибудь, — сказал попутчик.

Продолжая разговор, он достал из жилетного кармана портсигар, вынул сигарету и не спеша закурил. При этом всем своим видом он как бы говорил: «Могу и вас угостить!» Казалось, что он стоит у высокой стойки где-нибудь в баре.

Хироко держалась в стороне; опустив на пол рюкзак, она с любопытством наблюдала за новым попутчиком. Его аккуратный, хорошо сшитый костюм нисколько не соответствовал развязности человека, прошедшего огонь и воду, и в то же время все его поведение казалось вполне естественным. «Интересно, какая у него профессия?»

Видя, что переговоры вряд ли увенчаются успехом, полуслепой начальник отделения засуетился, забеспокоился, потом спросил, ни к кому не обращаясь:

---

[1] «Химэдзи, Япония» *(англ.)*.

— Нет ли в этих местах филиала Первой строительной компании?

— Был раньше здесь поблизости.

— Первой строительной компании?

— Раз компания существует, должно быть, наверное, какое-нибудь временное помещение на прежнем месте,— сказала одна из молоденьких сотрудниц, радуясь, что может чем-то помочь проезжим.

— На прежнем месте? — с облегчением переспросил полуслепой. — Так, говорите, Первой строительной компании?

— Да, и на прежнем месте.

— Филиал открыт?

— Да, работает.

— Спасибо, спасибо, — сказал он и, взвалив на спину рюкзак, обратился к своим спутникам: — Подождите меня здесь. Если я отыщу контору, найдется где переночевать. Никуда не уходите, ждите меня здесь.

Вернулся он довольно скоро.

— Извините, что задержался. Пойдемте в контору! Ничего, как-нибудь устроимся.

В нескольких десятках метров от полицейского управления стоял барак с большой вывеской: «Первая строительная компания».

Трое спутников, так не похожих друг на друга, вошли в канцелярию, один за другим прошли между узкими столами и поздоровались с директором филиала.

— Моя фамилия Исида. Извините, что доставляем вам столько хлопот, — сказала Хироко.

— Ничего, ничего... Готов сделать все возможное.

Оказалось, что попутчик Хироко, человек с плохим зрением, служит начальником отделения той же компании в районе Хиросима.

Какой-то молодой человек повел троих спутников под дождем по безлюдной улице вдоль канала в старую часть города.

Хироко помнила замок Хакуродзё с его высокой башней, устремленной в небо; замок издалека был виден всем, кто проезжал по железной дороге через Химэдзи. Вода в старом канале теперь покрылась зеленоватой ряской. Старые ивы у канала покорно склонялись под дождем. Перешли через мост. Ближайшая к реке улица была затоплена водой. Женщина с зонтиком в руке, вы-

соко подняв полы кимоно, перебиралась по воде через улицу.

Выбирая места посуше, спутники сделали несколько поворотов и вошли в дом, стоявший в узком переулке.

Уже в прихожей по временным перегородкам, установленным прямо на циновках, видно было, что здесь останавливаются на ночлег. Это был обычный жилой, но запущенный дом, и, глядя на него снаружи, нельзя было догадаться, что в нем разместилась гостиница. Трое ранее прибывших демобилизованных солдат снимали у входа ботинки, от них сильно пахло промокшей кожей.

Хироко проводили в маленькую комнату на втором этаже, выходившую окнами во двор. Недавно здесь жила, видимо, молодая девушка. Стоял туалетный столик, покрытый скатертью с бахромой. На нем коробка с пудрой. Старенькая веранда в метр шириной ограждена перилами; с веранды видна гора Сасаяма; на ее круглой вершине какое-то строение, похожее на сторожевую будку.

Узкая внутренняя лестница вела в ванную. Крыша над лестницей протекала; в коридоре стояла вода, и слышно было, как падают капли дождя. В нижнем этаже обитала многочисленная семья — взрослые и дети. Они, видимо, совсем не стеснялись приезжих.

Хироко с интересом оглядывалась вокруг и думала: «Уже девятое октября. Если Дзюкити сегодня выйдет из тюрьмы, то все равно можно успеть вернуться в Токио до его приезда; ведь он пробудет в дороге четыре-пять дней». Хироко можно было не волноваться, ведь железная дорога, ведущая с севера к Токио, не повреждена — в тех местах не было наводнения. Хорошо было и то, что в рюкзаке у Хироко лежали почти три килограмма риса.

Преодолевая все препятствия, она шаг за шагом приближалась к Токио. Препятствия не раздражали ее. Ведь и Дзюкити придется с такими же трудностями добираться до столицы. Они встретятся дома, в Токио. Хироко не могла спокойно думать о встрече. Трудно было спокойно ждать, когда они, наконец, встретятся. Если бы поезд за одну ночь доставил ее в Токио, она не знала бы, как провести время до приезда Дзюкити. Наверное, не усидела

бы на месте, поехала в Аомори и, возможно, разминулась бы с Дзюкити.

Новые препятствия, новые попутчики — все это успокаивало Хироко, отвлекало ее мысли, как отвлекают неотложные заботы. Она как бы поднималась в гору, стремясь к вершине, к встрече в Токио. Все эти преодолеваемые с таким трудом препятствия воспринимались Хироко как вступление к той радостной жизни, которая ожидала ее после десяти с лишним лет страданий, к которой стремилась она телом и душой.

Из соседней комнаты снова послышался шум, утихнувший было, когда в дом вошли Хироко и ее спутники. Там разместилось пятеро демобилизованных, вернувшихся из Кореи. Они быстро завязали знакомство с другими солдатами, которые поселились здесь. Среди них был ворчливый человек с пронзительным голосом, которого все называли «папашей».

Вскоре наверх поднялась хозяйка в фартуке. Она не стала даже записывать имен вновь прибывших.

— Только и уцелело что крыша над головой. Постельные принадлежности и другие вещи вывезены. Все обветшало. Трудно, но живите сколько угодно.

Достали рис, и хозяйка унесла его с собой на кухню. В большой картонной коробке у нового попутчика, к изумлению Хироко, оказались грибы.

— Я рассчитывал уже сегодня быть в Осака. И не взял с собой риса. Прошу одолжить. Завтра где-нибудь раздобуду.

Грибы, привезенные из Окаяма, пригодились как приправа к рису.

Когда внесли обеденный столик, новый попутчик встал и открыл лежавший в нише саквояж.

— Что, если нам пропустить по одной? — спросил он.

— Как вы сказали? А разве есть?

Начальник отделения обрадованно взглянул на говорившего.

— Конечно, есть. Моя профессия — создавать хорошее настроение.

Он вынул бутылку со спиртом, налил в стаканы и разбавил водой.

— Хорошо! Вот это чудесно!

Начальник отделения с недоверчивым видом взял не-

большой стаканчик и стал пить маленькими глотками, как пьют японское сакэ.

— Да как вы пьете! Нужно сразу, залпом! Вот смотрите!

— Разве? Привычка, знаете...

Новый попутчик сразу опрокинул стаканчик в рот, словно это было виноградное вино.

— Госпожа! А вы что же?

— На этот раз я вам не товарищ, — сказала Хироко. — Вина в рот не беру.

Новый знакомый оказался владельцем кабаре, видимо широко известного в Осака. Он рассказывал о себе и о своей профессии, как посторонний, временами посмеиваясь над собой. Человек с университетским образованием, теперь владелец кабаре, он незаметно втянулся в свою веселую профессию и полюбил ее.

В комнатке, выходящей окнами на улицу, еще до их прихода расположилась какая-то женщина. Хироко попросила разрешения переночевать там и крепко проспала до утра под одним одеялом с этой женщиной.

Утром, войдя в соседнюю комнату, она невольно рассмеялась. Мужчины лежали рядом на грязном ватном тюфяке и уныло смотрели в потолок. Их прикрывало одно тоненькое одеяло, расстеленное поперек, чтобы хватило на двоих. Начальник отделения, человек небольшого роста, чувствовал себя под этим покрывалом более или менее сносно. Но длинному владельцу кабаре никак не удавалось спрятать под одеяло свои худые ноги в белых кальсонах.

— Озябли, наверное, под таким одеялом?

— Нет, ничего...

Но видно было, что оба они спали плохо.

Снова достали рис, позавтракали. После завтрака мужчины, несмотря на дождь, который то переставал, то опять принимался лить, отправились один за другим на станцию выяснять обстановку.

Хироко осталась одна в комнате, и настроение у нее сразу улучшилось. «Сегодня десятое октября, — думала она. — Что почувствовал Дзюкити, приговоренный к бессрочной каторге, когда двери тюрьмы открылись перед ним? Впервые после многих лет идет он, свободный, по земле, и каждый шаг отзывается в его сердце». Хироко вспомнила, какое странное ощущение было у нее самой,

когда она неожиданно была освобождена после года тюремного заключения. Необычным было ощущение свободы, позади не шел тюремщик. Вот так же все теперь ново для Дзюкити: новым кажется мир, от которого он был изолирован более десяти лет. Еще понятнее для Хироко его огромная усталость. И ей живо представляется, как Дзюкити с гордо поднятой головой, стараясь скрыть усталость, возвращается в Токио.

Да, он возвращается к Хироко. Это несомненно так. И все же... Она слушает, как солдаты из соседней комнаты, томясь от скуки, один за другим проходят по коридору, смотрят на небо, говорят о плохой погоде; она слушает — и размышляет. Есть разница, причем разница существенная, между ее возвращением в Токио и возвращением Дзюкити. Она думает только о муже. Думать о нем, действовать ради него — самая существенная сторона ее жизни. Дзюкити возвращается в Токио, конечно, к ней, она представляет себе, как он спешит. И все же... Она только часть той огромной жизни, к которой стремится ее Дзюкити. Разве это не ясно, если поразмыслить о его существовании в тюрьме за эти десять с лишним лет? Хироко не могла представить себе, как бы она жила без Дзюкити. А жизнь Дзюкити в общем не изменилась бы, если бы у него не было Хироко. Она не раз с болью в сердце думала об этом в эти долгие, трудные годы.

Ей вспомнилось, как семь лет назад ее судили за участие в Союзе пролетарской культуры и приговорили к трем годам каторги с последующим пятилетним сроком условного осуждения. Дзюкити, подготовясь к своему процессу, успел прочесть все материалы и по делу Хироко. Тогда она не смогла до конца отстаивать принцип классовости литературы. В нескольких письмах из тюрьмы Дзюкити осуждал поведение жены, подробно разобрав, в чем она пошла на слишком большие уступки, какие взгляды могла бы отстаивать. Это многому научило Хироко. Она поняла, что уступки, которые казались ей незначительными, являются, с точки зрения Дзюкити, слишком большими для его жены.

Терпимость и снисходительность по отношению к Хироко объяснялись вовсе не тем, что Дзюкити не мог жить без нее. Совсем наоборот. Дзюкити работал бы и без нее. А вот Хироко не могла бы по-настоящему жить без Дзю-

кити. Он хорошо понимал это, потому так и относился к жене. Понять и принять все, связанное с Хироко, как свое собственное, близкое и родное, помогала ему любовь.

Кто-то из солдат в соседней комнате, не находя себе места от скуки, потянулся, громко зевнул и сказал, прищелкнув языком:

— Эх, выпить бы сейчас как следует!

— Возвращаемся бог знает откуда, из самой Кореи. Думали, вот приедем домой, хоть выпьем. И застряли здесь перед Осака! Уже два дня!

Слушая голос «папаши», звучавший на этот раз серьезно, Хироко продолжала думать о своем. Что вселяло в нее бодрость, что помогло пережить долгие трудные годы и дало возможность сейчас с радостью думать о жизни вдвоем? Конечно, любовь к Дзюкити. Она воодушевляла, поддерживала, позволяла мечтать о будущем. Дзюкити как бы вел ее за руку, помогал преодолевать препятствия.

Когда Хироко встретится с Дзюкити в Токио, ее первыми словами будут слова сердечной благодарности за то, что он сделал для нее.

В соседней комнате что-то с шумом упало на циновки.

— Не знаю даже, где теперь моя семья. На войне растерял и привязанности и все...

Собеседники промолчали.

— Что, неверно говорю? Именно так!

— Да... действительно...

— Вы еще молодые, у вас жизнь наладится! А мне под пятьдесят. Подумайте только! Пусть хоть убивают, а на войну больше не пойду.

— Войны больше не будет.

— Верно... Больше не будет!

«Папаша» фыркнул, как бы выражая свое презрение к людям, которые слишком поздно пришли к правильному выводу.

Думая о своей жизни и краем уха прислушиваясь к разговору в соседней комнате, Хироко не замечала, как проходит время.

В комнату вошел молодой человек, посыльный из Первой строительной компании, и передал, что хозяин кабаре решил вернуться в Окаяма, пользуясь тем, что

есть поезд. Он просит передать саквояж; грибы они могут оставить себе.

После ухода посыльного Хироко осталась одна в полуразрушенной гостинице. Она раздвинула сёдзи и посмотрела вокруг. На горе Сасаяма сверкали неясные огоньки, откуда-то из-за крыши доносился крик коршуна. Струйки дождя становились все тоньше, вот уже и коршун взвился высоко в небо. «Наверное, установится хорошая погода», — думает Хироко. Но неожиданно снова поднимается ветер, шум дождя усиливается, и все вокруг резко меняется.

Стало холодно. Хироко вынула из рюкзака хаори и надела поверх тонкого кимоно. Вскоре возвратился, уже без попутчика, начальник отделения; вид у него был разочарованный.

— Затруднительное положение. Весьма и весьма...— сказал он, входя в комнату. — Пока нет никаких надежд на восстановление пути. От Акаси и дальше дорога исправна, но до Акаси — никуда не годится. На то, что раньше делали за одну ночь, теперь уходит несколько дней. Нечем заинтересовать людей: нет ни риса, ни сакэ. Нет материала для ремонта. Короче говоря, надеяться пока не на что. Дело плохо!

Начальник отделения, несколько дней назад получив телеграмму от семьи из Осака, направлялся к родным. Но теперь он не сможет даже вернуться в Хиросима: поезд в Окаяма, с которым уехал владелец кабаре, был последним.

— Надо как-нибудь добраться до Акаси.

— Да. Завтра утром постараюсь раздобыть грузовик. На всякий случай можно захватить наших соседей солдат, мало ли что случится в пути? Но дойдет ли грузовик до Акаси? Говорят, в районе Какогава большое наводнение.

Действительно, не оставалось ничего другого, как ехать в Акаси. Погода оставалась неустойчивой. То прояснялось, то снова начинал идти дождь; к ночи он превратился в настоящий ливень. Тем временем явился посыльный из дома директора филиала и передал приглашение прийти в гости.

— Если вы не возражаете, то я, может быть, там и переночую, — сказал спутник Хироко и ушел.

Вскоре выключили электричество. Хироко сидела

в полной темноте и прислушивалась к вою ветра, доносившемуся с горы Сасаяма, к шуму косого ливня, который стучал в стекла. Дождь начал проникать в комнату. На циновку мягко падали тяжелые капли.

Вдруг на стене отразилась огромная тень человека, поднимающегося по лестнице. Это хозяйка несла светильник. Она поставила светильник на полку в коридоре так, чтобы он хоть немного освещал комнаты. В комнату Хироко поставили огромную лохань.

Хироко опять пошла к соседке, где спала прошлую ночь. Ощущая запах незнакомой пудры, залезла под одеяло, задремала было, но и здесь с потолка стала капать вода.

— Что? Что это такое? Так не уснешь.

— В такой дождь мой сосед, пожалуй, не придет ночевать. Можно возвращаться в свою комнату. Усну где-нибудь у стенки под одеялом.

— Неужели там настолько мокро?

— Мокро, конечно, но ничего, как-нибудь усну.

Косой, хлещущий ливень несколько утих. Но в темной комнате отчетливо слышался шум капель, падающих в лохань. Пробуя ногой на ощупь, Хироко выбрала уголок, где циновки еще не намокли. Потом вышла в коридор, принесла оттуда одеяло и расстелила его.

В соседней комнате солдаты не спали; раздвинув перегородку, отделяющую их от коридора, в тусклом свете светильника они лежали и разговаривали. Потом один из них начал петь. Видимо, он лежал на спине, подложив руки под голову, скрестив ноги, и пел, как делал это на лугу перед казармой где-нибудь в Корее. Под звуки дождя, в темной гостинице, в отрезанном от других частей страны городке Химэдзи он пел одну песню за другой. Это были не те популярные песенки, что запоминаются с патефонных пластинок, — солдат пел народные песни.

Слабая желтоватая полоска от светильника, поставленного в коридоре, пробилась через щель перегородки и легла на край одеяла. Нельзя сказать, чтобы у певца был хороший голос, но пел он от всего сердца, и настроение его передавалось слушателям. «Папаша» временами хлопал в ладоши, чтобы оживить песню, и изображал ртом звуки сямисэна. Вскоре к певцу присоединились все его товарищи.

— Есть еще одна хорошая. Знаете?

И он начинал другую песню. Так продолжалось больше часа. Не спели ни одной грубой солдатской песни. Хироко так и уснула под звуки этих песен.

Одиннадцатого октября Хироко проснулась в седьмом часу утра. «Сегодня во что бы то ни стало нужно уехать»,— подумала она, убирая постель.

С галереи второго этажа видно было, как после вчерашнего ливня ярко синеет над горой Сасаяма утреннее осеннее небо. Однако на западе клубилось серое облачко, погода была неустойчивой.

— Ну, сегодня отправляемся!

В соседней комнате начали увязывать вещи, слышалось щелканье металлических застежек.

— Скажи старухе, чтобы быстрее готовила завтрак.

Умывшись, Хироко отсыпала рису с таким расчетом, чтобы хватило не только на завтрак, но и на дорогу, и спустилась вниз. В длинной узкой кухне работали, чуть ли не впервые пробуя свои силы в кулинарном искусстве, невестка и дочка хозяйки. Они варили рис в отдельных для каждой группы постояльцев котелочках.

Хироко сказала, что сегодня уезжает, попросила поскорее приготовить завтрак и вернулась в свою комнату. Она укладывала рюкзак, когда вернулся начальник отделения. Лицо его сияло.

— Здравствуйте! Прошу прощения. Замечательно поспал на настоящей постели... Что это, неужели здесь так протекало? — Он показал глазами на стоявшую в комнате лохань.

— Да. Вечером выключили электричество. Я было пошла спать в другую комнату. Потом вернулась, здесь показалось лучше. Ну, как с грузовиком?

— А, грузовик... — Начальник отделения почему-то говорил неуверенно. — Дойдем до конторы, а там что-нибудь придумаем.

— Тогда нужно скорее завтракать.

— Я уже позавтракал.

— Тем более мне нужно торопиться. Внизу готовят отдельно для каждого — копаются, очень копаются...

Она спустилась в кухню. Пятеро детей вертелись под ногами, выпрашивая лакомые куски. Пришла торговка с овощами.

— Пока варят рис, давайте все подготовим к отъезду.

Через полчаса молодой человек погрузил на велосипед вещи начальника отделения и рюкзак Хироко и отвез их к конторе.

Хироко принесла наверх котелок с вареным рисом, наскоро поела и, скатав рис в круглые комочки, взяла их с собой.

Когда вышли на улицу, дождя уже не было, но на небе еще клубились тучи. У моста вода успела сойти с улиц. Вдоль канала Хакуродзё было по-утреннему тихо. Просторная, вымытая продолжительным дождем набережная блестела чистыми каменными плитами.

У конторы строительной компании выяснилось, что грузовики не могут пройти до Акаси. В конце концов решили ехать поездом, который должен был выйти из Химэдзи в одиннадцать часов в сторону Какогава. От Какогава до Акаси пришлось бы пройти пешком семь ри.

— Ну как? Сможете пройти целых семь ри? — спросил начальник.

— Да, будет нелегко. Но вам ведь тоже нужно в Осака, так что до Акаси придется идти вместе. За день как-нибудь пройдем эти семь ри. Все-таки лучше, когда идешь вперед. Дойдем!

Поезд шел медленно. Нервничая, они то и дело выглядывали в окно. Заботливый начальник отделения все беспокоился: сможет ли Хироко дойти до Акаси?

— Приятно было бы идти вместе с вами. Но если в дороге будут какие-нибудь задержки, вам трудно придется после такой тяжелой ночи.

— Не стоит думать об этом. До сих пор вы были хорошим попутчиком. А дальше идите, сколько хватит сил, не обращайте на меня внимания. Только так! Самые приятные попутчики в конце концов могут стать обузой. В этом случае не следует особенно церемониться.

На станции Какогава все вышли из вагонов. Тревожно посматривая по сторонам, прошли через перрон и вскоре увидели, что на площади перед станцией стоят два грузовика.

— Вот это хорошо! — раздались радостные возгласы

Хироко тоже радовалась от всей души. Идти одной в Акаси гораздо труднее, чем говорить об этом.

Шоферы построили пассажиров в ряды по десять человек. На каждый грузовик сажали по три ряда. При этом с каждого пассажира брали по две иены. Все были довольны порядком.

— Скоро вернемся и заберем оставшихся! — пообещали шоферы.

Хироко вместе с начальником ехала на второй машине.

В Химэдзи рассказывали, что перед станцией Какогава столько воды, что хоть на лодке переправляйся. Эти опасения не оправдались. Грузовики вскоре миновали поселок на старом почтовом тракте и выехали на шоссе, откуда открывался широкий вид во все стороны. Не успела Хироко подумать, что за поездку до Акаси шофер взял слишком дешево, как грузовик резко замедлил ход и, сойдя с дороги в поле, остановился.

— Мы возим только до этого места. Дальше поедете на других машинах.

— Что такое? — послышались голоса раздраженных людей. — Сколько придется идти пешком?

— Метров триста. Здесь мост обвалился.

Пассажиры быстро, обгоняя друг друга, пошли вперед, чтобы не опоздать на другие машины. Действительно, небольшая, но быстрая река снесла каменный мост. По остаткам свай и положенным на них доскам и мешкам с песком можно было перейти на другой берег. Перескакивая с доски на доску, люди группами переходили речку. Осторожно переправлялся на этот берег почтальон, неся на спине выкрашенный в красный цвет велосипед. На той стороне стояли два «виллиса»; громко разговаривая между собой, американские солдаты наблюдали, как японцы в самой разнообразной одежде, растрепанные и растерянные, неуклюже шли по разрушенному мосту, неся на себе чемоданы, мешки и сумки. Здесь посадка была не так хорошо организована. Люди стали в ряды по четыре и по три человека: видимо, у распорядителя не было опыта.

Хироко воспользовалась пустым ящиком как подставкой и, перекинув ногу через борт, кое-как взобралась в кузов.

По обеим сторонам дороги навстречу шли толпы людей, по-видимому издалека. На грузовике прямо перед Хироко стояли, держась за кабину шофера, молодой человек и девушка. Они тесно прижались друг к другу. Девушка была в светло-голубом свитере и лакированных ботинках на высоких каблуках, очень неудобных для дороги. Ветер трепал ее волосы. Молодой человек, без фуражки, в новом костюме, поставил у ног чемоданчик, в котором, очевидно, были и вещи девушки. Молодая пара держала себя так, как будто они ехали совершенно одни. Сильный встречный ветер заставил юношу снять пиджак и набросить его на плечи девушки. Рукой она придерживала пиджак на груди. Юноша обнял ее. Они покачивались в грузовике, смотрели вперед и, казалось, в целом мире видели только друг друга.

Хироко вынула из рюкзака маленький платок, повязала волосы, растрепавшиеся на ветру.

Не прошло десяти минут, как остановился и этот грузовик. Дорога была разрушена, дальше не проедешь. До следующих машин нужно идти целых два ри. Настроение у всех сразу упало.

— Все это можно было бы привести в порядок в каких-нибудь два дня. Безобразие! Что за отношение! При посадке в машины никогда не скажут, что впереди.

Хироко вполне признавала правоту этих слов. В самом деле, никто и нигде не знал, что будет дальше. Жили интересами только сегодняшнего дня, не очень заботясь о будущем. И не только с этими машинами на дорогах, но и везде: в учреждениях, в армии, в тюрьме. Так незаметно простых японцев втянули в кризис, поставив под угрозу судьбу каждого человека. Возмущение охватило Хироко.

Спутник ее нашел тележку. Хозяин тележки с сыном согласились подвезти вещи, взяв по десяти иен за место. Перевозя вещи пеших пассажиров, местные жители зарабатывали себе на жизнь.

Чем дальше от Химэдзи, тем яснее становилось небо. Только позади, откуда они ехали, темнела большая туча. Поднимаясь на пологие холмы и так же плавно спускаясь вниз, блестело в лучах осеннего солнца шоссе; на нем ярко выделялись белые рубашки прохожих. Пыль смыло дождем, на дорогу густо ложились тени.

Хироко семенила мелкими шажками в своих студенческих ботинках.

— Госпожа! Держитесь руками за тележку, легче будет идти. Иначе отстанете, — говорил ее спутник.

Чем ближе подходили к Акаси, а значит, и к его дому, тем энергичнее он подбодрял Хироко.

Вещи лежали на тележке. Люди шли пешком, окружив тележку со всех сторон. Такие же группы можно было видеть впереди и позади. Поток пешеходов все увеличивался.

— За день много заработают... Такое время! — говорил Хироко ее спутник.

Возчик с головой, повязанной полотенцем, быстро тянул тележку; дорога шла под уклон, он даже не вспотел. На спусках он почти бежал, покрикивая:

— Эй, поберегись!

— Сколько людей на дороге...

Напрягая все силы, Хироко старалась не отстать. Не хватало дыхания. Но когда ей уже казалось, что силы окончательно иссякли и больше она не сможет сделать ни шагу, возчик вдруг подвез тележку к обочине дороги и опустил оглобли. Здесь уже стояло несколько других тележек, толпились люди, снимали и нагружали вещи. Метрах в пятидесяти впереди длинной цепочкой тянулась вереница людей, — они ожидали автомашины.

— Только до этого места? — спросил начальник отделения.

— Дальше пойдут грузовики.

— Вот как! А говорил о трех ри!

Прошли, конечно, вряд ли больше одного ри. Но для Хироко не важно было, на какое расстояние их подвез владелец тележки, — она обрадовалась остановке, так как дальше идти была просто не в состоянии.

— Хорошо бы на этот раз доехать до Акаси без всяких пересадок.

Беспорядочной толпой стояли люди, ждали прихода грузовиков. Никакой очереди, никакого порядка не было. Стояли и по семь и по восемь человек в ряд. Некоторые сидели на вещах и ели груши. Потребовалось бы несколько грузовиков, чтобы отвезти всех этих людей. Ждали уже больше часа, а машины все не появлялись.

Иногда со стороны Акаси проносились большие грузовики с демобилизованными солдатами. Минуя беспорядочную толпу у обочины дороги, молодые солдаты, до отказа заполнившие автомашины, что-то весело кричали. Все эти грузовики шли на большой скорости и быстро исчезали вдали. Ожидавшие провожали их взглядами, некоторые щелкали языками от зависти и досады.

— Это все корейцы едут!

Во время войны молодых корейцев насильно заставляли идти в японскую армию, — правительство заявило, что вступают они добровольно. Родителей тех, кто отказывался, сажали в тюрьму. Хироко не раз слышала об этом. Как же могли они не стремиться на родину? В этот осенний день по дорогам Японии грузовики с корейцами мчались на предельной скорости.

На дорогу косо легли предвечерние тени, а машин все еще не было. Видимо, где-то впереди тоже ожидали люди, — они-то и перехватывали грузовики. При общем беспорядке не приходилось этому удивляться. Кроме неорганизованности, здесь, очевидно, были и махинации шоферов, обычные в таких оживленных районах, как Осака — Кобэ. Но несколько сот человек, упорно ожидавшие здесь машин, не имели ни малейшего представления, почему не приходят обещанные грузовики.

Поглядывая на ручные часы, начальник отделения уже беспокоился, что в Осака ему не удастся успеть на местный поезд. Если до половины десятого он не попадет на осакский вокзал, все сегодняшние усилия теряют всякий смысл.

— Сколько ни жди, здесь, видимо, ничего не дождешься. Прошу вас, присмотрите за моими вещами.

Он вышел из очереди и отправился назад, к тому месту, где стояли повозки и тележки. В это время Хироко увидела странное шествие. Шел отряд подростков лет двенадцати — пятнадцати. На всех форменная одежда, лица преисполнены сознания выполняемого долга. Они появились как-то незаметно вблизи очереди, будто выросли из-под земли. Тяжелые тюки лежали на спинах, касаясь головы, поклажу придерживали грубые веревки, скрещенные на впалой детской груди, руки висели как плети. Наклонившись вперед, они еле-еле передвигали ноги. Как несли они такой непосильный груз? Видимо,

эти маленькие солдаты шли со своими тюками от самого Акаси. На их лицах была смертельная усталость. Все они одеты в военную форму. Это больше всего поразило людей, ожидающих автомашины.

— Что это такое? Посмотрите!

Некоторые вышли из очереди, подошли ближе. С Хироко поравнялся здоровый мужчина лет тридцати в белой рубашке с расстегнутым воротом, в брюках цвета хаки и гетрах. Он громко прокричал несколько отрывистых непонятных команд. Потом поднял бамбуковый стек и начал ударять по тюкам, которые несли маленькие солдаты. Те ускорили шаг, как ослята, услышавшие звук бича, и почти побежали, низко склоняясь под тяжестью ноши. Непомерный груз пригибал их к земле. Хироко заметила: дети стали сильнее размахивать руками и вытянули головы вперед. На их грязных шеях вздулись вены.

Сотни глаз наблюдали за этой страшной процессией подростков. Ряд за рядом они проходили мимо очереди, и когда прошел последний ряд, кто-то тихо сказал:

— Маленькие солдаты...

Хироко дрожала всем телом. «Маленькие солдаты! Дай бог, чтобы никто из вас не умер дорогой!»

Не успели пройти подростки в военной форме, как прибежал взволнованный спутник Хироко; он, очевидно, даже не обратил внимания на маленьких солдат.

— Госпожа! Скорее, скорее! Я достал повозку. Доедем до самого Акаси!

Хироко взяла свой рюкзак и поспешила за ним. На повозке уже лежали вещи и сидели люди. Она стала ногой на ось, кое-как вскарабкалась на повозку и присела на какой-то узел. Рядом оказались старуха лет шестидесяти и ее молодая дочь. Начальник отделения устроился впереди.

— Все сели? Так нагрузились, что будет чудо, если не опрокинемся.

Все засмеялись. Настроение поднялось. Люди устраивались поудобнее, цепляясь друг за друга.

Перегруженная повозка медленно тронулась с места. Проехали мимо очереди, которая все еще стояла в ожидании машин.

— Эй, смотрите! Поехали!.. А сейчас грузовик должен подойти!

Впереди, на расстоянии нескольких сот метров стояла группа людей, которые, видно, собирались заплатить шоферу вдвое-втрое больше обычного. Небольшая грузовая машина вскоре подошла к ним и отвезла эту группу.

— В очереди стоять, так и ночью не уедешь! — сказал возчик.

Он сделал за день несколько рейсов и теперь возвращался домой. Опустив голову, отмахиваясь хвостом от мух, лошадь едва волочила ноги. Возчик шел рядом, у него не было никакого желания погонять ее. «Все равно к шести часам будем в Акаси», — думали пассажиры и не волновались.

Весь день, с тех пор как выехали из Химэдзи, Хироко приходилось то и дело взбираться на грузовики и слезать с них или идти пешком, держась за тележку. Она очень устала и теперь с удовольствием покачивалась на повозке, по-детски свесив нывшие от усталости ноги.

По обеим сторонам дороги в лучах осеннего заката раскинулась просторная равнина Бансю. Далеко на западе виднелась цепь гор. В небе плыло легкое облачко. Покачиваясь на повозке, Хироко умиротворенно смотрела на горы и на это облако.

Неожиданно для себя она оказалась на равнине Бансю в этот осенний день. Она ехала на восток. Ехала к Дзюкити. Ей нравилась даже медлительная повозка. У равнины Бансю было какое-то особое своеобразие, отличавшее ее и от равнины Канто, где жила Хироко, и от полей Насуно, которые она видела, проезжая в поезде. Это своеобразие создавалось и мягкой легкостью распаханных полей и далекими горами, которые устремляли вверх свои острые вершины, четко вырисовывавшиеся на вечернем небе. Кое-где ярко поблескивали мелкие озера.

Два молодых корейца, положив вещи на повозку, шли за ней следом. Они сняли пиджаки, закатали рукава рубашек и легко шли, посвистывая. Очевидно, они были друзьями, — оба жизнерадостные, с красивыми белыми зубами. Все время они шутили и смеялись, разговаривая по-корейски.

Все корейцы, которых Хироко видела во время своего путешествия, двигались на запад, только на запад,

к проливу. А эти шли на восток. Казалось, их ждет впереди что-то радостное. Они пели песни, то уходя вперед, то отставая.

Осеннее солнце под легким ветром окрашивало золотистым светом горы, поля, поселки и деревья равнины Бансю. Повозка, раскачиваясь на каждом ухабе, медленно двигалась вперед. Скрип повозки как-то удивительно сочетался с веселым оживлением корейцев. И все это гармонически сливалось с мыслями Хироко. Чувства ее были обострены. Она смотрела на дома маленького поселка, через который они проезжали, на красные развалины большого завода на фоне соснового бора Акаси и запоминала их на всю жизнь. «Так движется вперед, к новому будущему, вся Япония», — думала она.

1946

ФУТИСО

I

В центре лаборатории большой стол. И чего только нет на нем! Бесчисленное множество всяких пробирок, мензурки с опущенными в них стеклянными палочками, колбы и еще какие-то стеклянные сосуды с крышками, расставленные строго по порядку. С полки свешиваются изогнутые стеклянные трубки неизвестного назначения.

Лучи послеполуденного октябрьского солнца падают на всю эту массу стекла, разбрасывающего вокруг легкие радужные тени.

Клиника находится среди рощи в долине Мусаси. Здесь, в лаборатории, — глубокая торжественная тишина, нарушаемая лишь шипением газа. Это шипение доносится из ниши в углу, где сейчас варится какой-то настой.

На краю стола — маленькая электроплитка. На ней кусок металлической сетки с тонко нарезанными ломтиками батата. Тут же чайные чашки, початая банка консервов, хлеб домашней выпечки. В прозрачном неподвижном воздухе разносится слабый аромат жареного батата.

— По-моему, уже готово.

— Нет, надо еще немного поджарить...

— Посмотри, здесь, кажется, пригорает.

— Где?

Придвинув вплотную к столу обитый материей стул, Дзюкити внимательно следит за приготовлением батата.

На нем не по росту большой поношенный костюм из дешевой материи, подаренной кем-то из близких друзей, на ногах ботинки, которые Хироко привезла с собой в рюкзаке, возвращаясь в Токио после поездки на родину мужа. Осужденный на пожизненную каторгу, Дзюкити только 10 октября был освобожден из тюрьмы Абасири после двенадцати лет заключения. Его бритая голова еще не успела обрасти волосами.

Хироко одета в хаори с короткими рукавами и в коричневые шаровары. Примостившись на круглом табурете, она наблюдает, как жарится батат.

— Вот теперь уже готово.

— Какой сладкий! Ты только попробуй, Хироко!

— Скажи, а там, в Абасири, тебе доводилось пробовать батат?

— Там — нет, мы ели картофель. Ведь при тюрьме был огород, на нем работали заключенные.

— А картофеля-то хоть вдоволь хватало, когда ты стал заниматься портняжничеством?

— В Абасири было, пожалуй, получше. Ведь в Токио, когда я сидел в тюрьме в Сугамо, под конец нас кормили очень плохо. Не успеешь притронуться к еде, глядишь, а тарелка уже пустая.

В камере-одиночке Дзюкити занимался портновским ремеслом. На его обязанности лежало чинить пришедшие в ветхость куртки, носки и рукавицы заключенных. Работа продолжалась с утренней раздачи пищи вплоть до вечерней, с небольшим перерывом в течение дня. Нормы задавались огромные. По воскресеньям и в праздники заключенные освобождались от работы, им разрешалось читать те немногие книги, которые были в тюрьме. Но зато в воскресенье продовольственный паек сокращался. За право читать приходилось расплачиваться пустым желудком. Голод считался достаточно сильным средством, чтобы омрачить радость отдыха. По законам тюрьмы это считалось одной из мер исправления.

Хироко тоже попробовала батат.

— О, в самом деле, удивительно вкусно.

— Я же говорил!

В этот день они обошлись без завтрака, торопясь в

клинику, где их друг — врач Ёсиока — должен был осмотреть Дзюкити. Они захватили с собой консервы и хлеб, а бататом снабдил их Ёсиока, тут же покинувший их, сославшись на неотложные дела.

С тех пор как семья эвакуировалась, Ёсиока переселился в лабораторию. Он сам вел свое хозяйство. Рядом в комнате стояла его койка, из-под которой торчали головки редьки и еще какие-то овощи, покрытые комьями земли. Казалось, и сам Ёсиока стал как будто живой принадлежностью своей лаборатории.

— Что-то Ёсиока-кун задерживается.

— Да ведь у них, кажется, какие-то проводы. Наверно, он вернется через полчаса, а может быть, через час.

В этот момент раздался стук в дверь, и в комнату вошел ассистент в белом халате. Взглянув на кипевший в углу настой, он тут же вышел. Как видно, приготовление этого лекарства требовало внимательного наблюдения через определенные промежутки времени.

Ассистент был очень вежлив, он не задерживался ни на одну лишнюю минуту, и все же всякий раз при его появлении Хироко становилось неловко.

Действительно, захватили целый угол стола и так поглощены своим бататом, что, кажется, забыли обо всем на свете! Хироко понимала, что они явно лишние в этой лаборатории, где в лучах октябрьского солнца сверкает стекло и воздух пропитан специфическим запахом лекарств. Это тем более должно бросаться в глаза ассистенту, что он изо дня в день работает в этой комнате, все в ней до мелочей привычно и знакомо ему.

Наконец батат поджарен, и Хироко, подойдя к водопроводу в углу, наполнила и поставила на плитку чайник. Только сейчас по-настоящему она оценила образцовый порядок, царивший в лаборатории, порядок, столь необходимый и в повседневной жизни. Внимательно оглядывая большой стол, она видела, что масса пробирок и склянок только на первый взгляд кажется беспорядочным нагромождением, — на самом деле в их расстановке все продумано, на каждой наклеен ярлычок, а все они удивительно разнообразны по своей форме.

Дзюкити следил за взглядом Хироко, которая с любопытством рассматривала стол.

— А как все же хорошо нам вдвоем! — промолвил он, когда она, наконец, вернулась на свое прежнее место — на круглый табурет.

Хироко взглянула на Дзюкити и, встретив устремленный на нее из-под густых ресниц лучистый взгляд, подняла руку и положила ее на широкое плечо Дзюкити, — ее Дзюкити, одетого в чью-то чужую одежду.

Искренние слова Дзюкити говорили Хироко о многом. В них прозвучала радость, оттого что они снова вместе, вдвоем, а кроме того, — о, она ясно почувствовала это! — Дзюки вспомнилась тюрьма, двенадцать лет тюрьмы, вереница однообразных, монотонных, так похожих один на другой дней.

— А знаешь, может быть, это странно, но, пожалуй, я не назвал бы скучными те годы, что пришлось прожить врозь.

— Да, пожалуй, так...

— Что до меня, так, право, я не помню, чтобы мне когда-нибудь было по-настоящему скучно.

Он снова пристально посмотрел на Хироко, собираясь сказать что-то еще, но в этот момент, извинившись, вошел Ёсиока, человек маленького роста, с густыми бровями.

— Сегодня нас покидают наши воспитанницы — медицинские сестры, вот и пришлось задержаться.

Бросив взгляд на остатки их скромного пиршества, он спросил:

— Ну, как батат? Надеюсь, пришелся по вкусу?

— Замечательно вкусно!

— Очень рад. Ведь он с нашего огорода. Этим огородом у нас тут все занимаются.

В разгар войны, когда положение его сослуживцев стало совсем критическим, Ёсиока, желая во что бы то ни стало сохранить клинику и продолжать исследовательскую работу, предложил взяться за огород. Под его руководством была обработана большая площадь пустовавшей земли.

— А теперь можно приступить к осмотру, — сказал врач.

Дзюкити вскочил и поспешно сбросил пиджак.

— Не торопитесь, мы пройдем в кабинет.

— Ах да, ведь рентген — там...

Хироко взглянула на Дзюкити.

— Можно и мне с вами?

— Не надо, не надо! — запротестовал он в замешательстве.

— Хорошо, хорошо, она не пойдет, — улыбнулся врач.

Хироко понимала, что переживал в эту минуту Дзюкити. За все эти годы ему ни разу не приходилось видеть врача, диагнозу которого можно было бы верить. Прежде чем заглянуть в камеру так называемых «политических преступников», тюремный врач обычно задавал надзирателю один и тот же вопрос:

— А этот — из каких? Из раскаявшихся?

Дзюкити не оставалось ничего иного как бороться с болезнью только усилием собственной воли. Естественно, он не мог знать, как далеко зашел туберкулез легких, который он получил в тюрьме. Возможно, дело обстояло серьезнее, чем он предполагал. В таком случае ему хотелось бы избавить Хироко от лишних волнений. Тревога за нее и вызывала в нем желание остаться наедине с врачом.

— Я подожду здесь, идите, идите...

Маленький Ёсиока зашагал по коридору, шаркая домашними туфлями. Полы его халата развевались. Рядом с доктором медленно, большими шагами, слегка волоча ноги, следовал Дзюкити. Стоя в дверях, Хироко провожала его взглядом.

У Дзюкити характерная походка: широкий медленный шаг, корпус слегка покачивается. К тому же во время ходьбы он слегка поводит плечами, это своеобразная, только ему присущая манера. А в общем это типичная походка тех, кто провел много лет в камере-одиночке.

Ведь и Хироко, раньше отличавшаяся легкой походкой, в тюрьме обрела эту новую привычку. Когда в сопровождении надзирательницы она выходила на прогулку, нахлобучив широкополую соломенную арестантскую шляпу, она шагала точно такой же медленной, тяжелой поступью. Шляпа сама по себе невольно сковывала движения, острые узелки соломы запутывались в волосах, причиняя боль, широкие поля заслоняли свет, мешали видеть, но главное было в другом: своеобраз-

ная походка вырабатывалась под влиянием бессознательного желания продлить как можно дольше пребывание за стенами камеры. Ведь приходилось идти всегда по одному и тому же маршруту, к определенному месту, в определенное время, с определенной целью и всегда только по определенной стороне тюремного двора. Поэтому-то заключенные, особенно те, кто находился в камерах-одиночках, ценили каждый шаг, стараясь всем своим существом впитать ту новизну, ту свежесть ощущений, которую могла дать прогулка.

И это желание так глубоко впиталось в их плоть и кровь, что даже оказавшись на свободе, они продолжали ходить этой особой, медленной и тяжелой поступью.

Так шел Дзюкити, возвратившись в Токио из тюрьмы Абасири, с обритой головой, без шапки, в кимоно из дешёвой темно-синей материи, в накинутом сверху хаори, в зеленых таби, что были сшиты Хироко еще в прошлом году, с газетным свертком в руках, в котором хранились продукты, полученные по дорожному талону.

Четыре месяца прошло с тех пор, как по той же дороге его увозили на север. С наручниками на руках, в синей спецовке, в матерчатых туфлях, с чемоданом за плечами, он ехал в сопровождении двух полицейских. Голодал, — ведь приходилось довольствоваться только жареными бобами, что давали полицейские, — страдал желудком из-за плохой воды; наручники никогда не снимались с него.

Утром 14 октября впервые за двенадцать лет Дзюкити вступил на улицы Токио. Его окружали руины, и он заблудился среди них. Прежде чем попасть к брату Хироко, где она теперь жила, он два часа блуждал по городу. Сразу же с вокзала Дзюкити отправился на розыски того маленького двухэтажного домика, в котором они поселились в первые дни своей совместной жизни. С вокзала этот домик можно было легко найти; приметой служило здание начальной школы на вершине холма. Дзюкити рассказывал потом Хироко, что представление о родном доме ассоциировалось у него почему-то только с прежним их маленьким двухэтажным домиком. Эти слова глубоко растрогали Хироко. В том доме они не прожили и двух месяцев, а за последующие двенадцать лет Хироко успела переменить не одну кварти-

ру. Но всякий раз при переезде на новое место она подробно описывала в письмах и окружающий пейзаж и расположение комнат. Даже посылала подробно нарисованный план. Дзюкити был в курсе всех ее дел. Знал он и о последнем пристанище Хироко у брата. Ведь она сообщила Дзюкити и название улицы и номер дома. Да он и сам бывал в этом доме в те далекие дни, когда еще были живы родители Хироко. И все же в памяти Дзюкити сохранился лишь прежний их двухэтажный домик, его-то он и разыскивал так настойчиво, оказавшись в Токио среди руин. Но поиски были напрасны, дом сгорел, от него давно не осталось никаких следов.

За эти несколько дней, которые Дзюкити прожил на свободе, Хироко успела заметить в нем одну черту, доставившую ей немало волнений. Дзюкити буквально рвался к людям, стремясь возобновить старые и завести новые знакомства. Это началось сразу же после его возвращения, когда они едва успели перемолвиться несколькими словами.

— Может быть, мне сразу представиться всем нашим соседям? — советовался с ней Дзюкити.

В доме, где жила Хироко, было еще три семьи, в том числе один знакомый Хироко, переселившийся сюда после пожара. Он вместе с другим соседом, художником, сопровождал Хироко на вокзал. 13 октября они напрасно простояли у платформы до полуночи в надежде, что Дзюкити, может быть, все же приедет в этот день.

Хироко решила, что лучше представить Дзюкити сразу всем.

Знакомый Хироко занимал комнату рядом с прихожей.

— Я очень благодарна вам за вчерашние услуги,— проговорила Хироко, входя к нему. — Подумайте, когда я потеряла всякую надежду, он явился... Познакомьтесь, вот он, Исида... — С этими словами она представила стоявшего позади Дзюкити.

Так и не успев переодеться с дороги, он неловко склонился в традиционном глубоком поклоне, касаясь руками пола.

— Здравствуйте! Разрешите от всей души поблагодарить вас за все заботы, которые вы проявляли в столь долгое мое отсутствие.

И это говорил человек, не просто уезжавший куда-то далеко по делам, — в свою семью, в водоворот общественной жизни возвращался тот, кто на долгие годы был вычеркнут из списков живых, брошен туда, откуда далеко не всегда есть дорога назад. Сколько отцов и мужей, кому посчастливилось вернуться после войны к своим очагам, вот так же склонялось сейчас в низком поклоне перед своими близкими?

Глядя сбоку на фигуру Дзюкити, Хироко почувствовала, как к горлу ее подступает комок. Собрав последние силы, она помогла Дзюкити подняться, и, сказав: «Ну пока, мы еще увидимся», — увела его.

А ведь совсем недавно, там, в тюрьме, никто, никакая сила не могла заставить Дзюкити так вот преклонить колени. Именно за это он подвергался столь жестоким карам. И этот же Дзюкити, едва переступив порог, простодушно, сердечно и в то же время неумело склоняется перед людьми, которые, может быть, обязаны ему больше, чем он им.

Дзинскэ Ёсиока был скорее другом самой Хироко, чем Дзюкити. К нему, известному специалисту по легочным заболеваниям, она не раз обращалась за советом по поводу здоровья Дзюкити.

По-настоящему их дружба началась в лето 1942 года, на редкость знойное. Говорили, такой жары не бывало уже шестьдесят восемь лет.

На другое утро после нападения на Пирл-Харбор в Японии было арестовано несколько сот человек, подозревавшихся в нежелании сотрудничать в войне. Среди арестованных была и Хироко. Всю зиму и это ужасающе жаркое лето она провела в тюрьме Сугамо.

У Хироко всегда была чувствительная кожа. В камере, где она дни и ночи проводила в страшной духоте, одежда не просыхала от пота, и на ее теле то тут, то там стали появляться кровавые капельки. Врач велел присыпать кровоточащие поры зубным порошком. Но болезнь усиливалась. В конце концов все тело покрылось мелкими кровяными пятнышками, чистыми оставались лишь ладони, ступни ног и губы.

И вот однажды, лишившись сознания, она упала посреди камеры; в таком состоянии ее отправили домой.

Она очнулась дня через два. Вначале сознание вернулось всего лишь на какой-то миг, но этот миг был чудесен. Она увидела склонившееся над ней ласково улыбающееся лицо Ёсиока. Да, он улыбался, густые брови его двигались, и на смугловатом лице блестели белые зубы. Только почему-то лицо казалось удивительно маленьким, не больше утиного яйца. Хироко видела его как будто издалека. Но это точно был Ёсиока — в том не могло быть никакого сомнения.

Хироко улыбнулась и пыталась что-то сказать. В мозгу шевельнулась одна мысль: ведь это же произошло в тюрьме, в камере!.. Все закружилось перед глазами, в ушах поднялся звон... Как же она могла очутиться здесь, у себя дома, почему тут Ёсиока? Но вот он перед ней, и ей так хорошо... Не сон ли это?..

Сознание снова затуманилось, и тогда последним усилием воли она заставила себя поверить, что это сон. Да, это просто сон и не нужно радоваться. Не может быть тут никакого Ёсиока...

Она не знала, сколько прошло времени, когда перед ней снова возникло его лицо. Теперь оно было обычной величины. До Хироко дошел его голос:

— Ну как? Это я, Ёсиока! Узнаете?

Видимо, жар и прилив крови повлияли на зрение, потому-то лицо Ёсиока и показалось ей таким крохотным.

Только этому человеку Хироко была обязана своим выздоровлением. Дзюкити знал обо всем этом, знал и о том, что Хироко обязательно хочет показать его врачу Ёсиока.

Вернувшийся из тюрьмы Дзюкити не мог похвастаться крепким здоровьем, но тем не менее в первый же день отправился с товарищами, пришедшими его навестить, в один из загородных районов, где они начинали опять свою общественную деятельность. Дзюкити надолго задержался там, а на обратном пути снова сбился с дороги и вернулся, падая от усталости.

— Ты должен показаться врачу,— говорила ему Хироко. — Нужно выяснить, насколько серьезна твоя болезнь. Как же иначе! — Строго сдвинув брови, она настойчиво твердила: — Пойдем к Ёсиока. Ведь от твоего здоровья зависит, как мы будем строить свою жизнь дальше. Ты понимаешь это?

— Ладно, пойдем, — ответил Дзюкити и вдруг, словно что-то вспомнив, пробормотал: — Этот негодяй Кикурэ...

Кикурэ — тюремный врач, в свое время переведенный на работу в Сугамо из какой-то другой тюрьмы. Случилось так, что Дзюкити поспорил с ним. Впоследствии Кикурэ выместил злобу, заявив на суде, что Дзюкити — сумасшедший.

— Но ведь я поведу тебя к человеку, искренне расположенному к тебе. Ты пойдешь? — настаивала Хироко.

За двенадцать тюремных лет все условия были созданы для того, чтобы убить в нем жизнь, и Дзюкити не раз вступал в поединок со смертью. Там, в тюрьме, он успел перенести и лихорадку, и туберкулез кишечника, и тиф. Чужие глаза издали наблюдали за его молчаливой борьбой: как вывернется он на этот раз? Но Дзюкити сумел преодолеть все, победить неминуемую смерть.

Вот и сейчас этот жест, когда он поспешно сбросил пиджак при появлении Ёсиока, готового начать осмотр, выдал его внутреннее волнение. О, Хироко без слов прекрасно понимала все!

С тех пор как вернулся Дзюкити, Хироко, не в меньшей степени, чем он сам, испытывала радость и удовлетворение от одного сознания того, что и она не складывала оружия все эти годы и стремилась выполнить долг, подсказанный ей разумом и сердцем. Она вознаграждалась сейчас за трудности прошлого. Вокруг оказалось немало благодарных ей людей.

Япония вырвалась из оков варварства, жизнь предъявляла свои требования. Голос жизни звучал в сердце Дзюкити. Этот голос был так созвучен с той простотой и необыкновенной безыскусственностью, которая свойственна Дзюкити, что это волновало Хироко почти до слез. Дзюкити обладал бесконечным запасом оптимизма, простодушия и удивительного бескорыстия — они проявлялись на каждом шагу. И только теперь Хироко начинала понимать, как должна была изголодаться, истосковаться живая, общительная, полная любви к людям душа Дзюкити за те двенадцать лет, во время которых успела уйти молодость и наступила зрелость.

Дзюкити не любил рассказывать о прошлом. Хироко узнавала об этом от других. Товарищи по заключению, освобожденные, как и Дзюкити, 10 октября, обоснова-

лись в одном из пригородных районов Токио, где для них началась новая жизнь. Однажды в этот район вместе с Дзюкити отправилась и Хироко. Там она встретила одну из деятельниц женского движения, знакомую ей по прошлым годам. От нее она узнала, как гибли в тюрьмах товарищи. В тюрьме Миясиро медленно угас Масаити Исикава. У него постепенно разрушались зубы, но помощи ждать не приходилось. Он боролся за жизнь, стараясь пальцами растирать грубую пищу, но таял на глазах. Под конец он весил всего лишь тридцать шесть килограммов. Потом наступила смерть. Так же погиб и Дзюн Тосака, у которого от дистрофии все тело покрылось нарывами.

Эти рассказы невольно омрачали радость, выпавшую на их с Дзюкити долю. Хироко плакала, слушая эти рассказы...

Поднявшись, она подошла к водопроводу и принялась мыть посуду. Из окна виднелись стены здания, еще не отстроенного внутри. Пустые проемы окон печально чернели в осенних сумерках.

Внезапно в коридоре послышался голос Ёсиока, и тут же в дверях появился Дзюкити. Наспех завязанный галстук съехал набок, но лицо его сияло.

— Ну что? — бросилась к ним Хироко.

— Сверх всякого ожидания, — сказал доктор.

— Неужели так хорошо?

— К счастью, болезнь прекратилась сама собой, — говорил Ёсиока, закуривая сигарету. — Сейчас все зарубцевалось и, если только Исида-сан будет благоразумен, можно считать, что все в порядке...

— Увы! Благоразумно ли требовать благоразумия от таких, как Исида, — засмеялась Хироко. — А впрочем, все теперь хорошо. Как я рада! Спасибо, спасибо вам большое!

Хироко взяла со спинки стула пиджак Дзюкити и спросила:

— Ты что, не собираешься одеваться?

— Разве мы уже уходим?

— Правда, верхушки легких мне не удалось как следует просмотреть: мешали ключицы, но это мы сделаем в следующий раз, — продолжал доктор. — Стенки сосу-

дов там несколько утолщены, очевидно не все в идеальном состоянии, но Исида-сан настолько хорошо разбирается в собственном здоровье, что можно не беспокоиться. Мы с вами этому свидетели.

Объяснив, что означает утолщение стенок сосудов и как с этим бороться, врач приказал обязательно еще раз явиться на осмотр в марте.

II

Они возвращались назад по тропинке через рощу, над которой поднималась дымка вечернего тумана. Шли медленно, рука об руку.

— Ты устал?

— О нет!

— Хорошо, что побывали здесь...

— Конечно, теперь все ясно.

С тех пор как вернулся Дзюкити, они старались никуда не ходить порознь, и не только потому, что Дзюкити плохо ориентировался на улицах.

В пригородном трамвае было не слишком тесно, возможно потому, что время близилось к вечеру. Крепко держась за ременные поручни, Дзюкити жадно, не отрывая глаз, всматривался в мелькавшие за окном леса и поля. Иди куда хочешь — никто не задержит! Любуйся природой, а рядом Хироко... Что ж, другим все это, наверное, казалось обыденным, но для них обоих обыденное было еще слишком новым и необычным. Такие чувства волновали сердце Дзюкити, когда он смотрел в окно на просторы расстилавшихся полей.

Не обращая внимания на окружающих, он опустил руку на плечо Хироко.

— Как чудесно быть вдвоем! — услышала она шепот Дзюкити.

Хироко вспыхнула и посмотрела на него. Но он никого и ничего не видел, кроме полей за окном, не замечал, казалось, даже и Хироко. И только голос и рука Дзюкити выдавали то глубокое волнение, которое наполняло в эту минуту все его существо: ведь этот человек возвращался к жизни!

Потом они снова шли через лес. Сгущались сумерки.

— Как-то у нас получится на этот раз?

— Тебя беспокоит, как мы сядем?

— Хорошо, если бы и на этот раз обошлось без давки.

— Едва ли. Время не то. Наверно, тяжеловато придется.

На остановке людей было не так много. Но подошедший трамвай оказался переполненным.

— Как же нам быть? — тревожно спросила Хироко, дотрагиваясь до спины Дзюкити, который стоял в очереди впереди нее. — Что же делать? Если ждать, пока схлынет народ, проторчишь целый час.

Дзюкити молчал, не зная, как поступить.

— Попробуем сесть, а то будет слишком поздно. — С этими словами Хироко всей своей тяжестью навалилась на Дзюкити и протолкнула его в вагон.

Он остановился растерянный, боясь, как бы не наступить кому-нибудь на ноги. В этот момент трамвай тронулся, и его сильно качнуло. Дзюкити не успел привыкнуть к переполненным трамваям, к неизбежным грубостям в толпе пассажиров. Было больно смотреть, как этот рослый человек боится сдвинуться с места, в то время как его толкают и давят со всех сторон. Дзюкити видел, что в этой давке Хироко приходится не легче, чем ему, и он всеми силами старался оградить ее от толчков. Но все эти попытки были напрасны, и Хироко оставалось только уверять его, что ей совсем не плохо.

На остановке Икэбукуро, выстояв в длинной очереди, они купили билеты на электричку. Неожиданно в вагоне оказалось свободное место, и Хироко заставила Дзюкити сесть.

— Ты еще не успел привыкнуть и устаешь быстрее меня.

Действительно, Дзюкити выглядел очень утомленным.

— Я ужасно проголодался, — проговорил он, улыбнувшись.

— Проголодался? А впрочем, давно пора.

— Впредь придется брать с собой не только завтрак, но и ужин.

— Выходит так...

Наступило молчание, Дзюкити первый прервал его.

— Хироко!

— Что?

Она наклонилась к нему, придерживаясь кончиками пальцев за высоко висевшие ремни.

— Скажи, был такой рассказ «Ком земли»?

— Да.

Он вспомнил один из рассказов писателя Рюноскэ Акутагава — произведение натуралистической школы.

— Помнишь его?

— Очень смутно. А почему ты спрашиваешь?

И с чего вдруг здесь, в переполненном вагоне, ему вспомнился этот рассказ?..

— Там говорилось об одной вдове: как она трудится не покладая рук, а беды и несчастья продолжают сыпаться на ее голову.

— Да, кажется, так.

Он на минуту смолк, а потом, продолжая смотреть на Хироко, сказал самым обычным тоном:

— Пожалуй, и в твоем характере есть теперь что-то такое, что напоминает это вдовье упорство. Ты не находишь?

Хироко с изумлением взглянула на мужа.

— Во мне? «Вдовье упорство»... «Вдовье упорство»...— Эти слова показались ей такими безжалостными, обидными, что на глазах невольно навернулись слезы. Стараясь подавить дрожь в голосе, Хироко спросила: — Это проявлялось в моем отношении к тебе?

— Нет, вовсе не по отношению ко мне, а вообще...

— Значит, во всем?..

— Да.

Хироко задумалась. Взять хоть сегодняшнее их путешествие в лечебницу, этот первый день, что они провели с утра до вечера вдвоем. Об этом счастье она не переставала мечтать со дня возвращения Дзюкити. Что же такое допустила она, чтобы муж мог заметить в ней «вдовье упорство»? И что именно имел он в виду? Хироко перебирала в памяти все события этого дня, начиная с утра, и никак не могла понять, что послужило поводом для Дзюкити сказать ей эти слова. «Вдовье упорство»... Что общего у нее с обездоленной, несчастной, выбитой из жизненной колеи женщиной? Таких ли слов она ждала от Дзюкити, едва переступившего порог их дома? Это было обиднее, чем если бы он просто выругал ее. Хироко была не в силах сдержать слезы. К тому же ее то и дело толкал в спину какой-то мужчина с большим рюкзаком за плечами.

— Что с тобой? — спросил вдруг Дзюкити, заметив, что Хироко смолкла и прячет лицо за широким рукавом, спадавшим складками по ее руке, поднятой к поручням. — Ты никак приуныла?

Хироко утвердительно кивнула головой.

— Ну что ты? Из-за чего?

— А я-то изо всех сил старалась жить так, чтобы не быть похожей ни на ходячую добродетель, ни на какую-то подвижницу!..

Она заметила, что к их разговору прислушивается человек, сидевший рядом с Дзюкити. В то же время она чувствовала, что не сможет сдержать слез, если разговор будет продолжаться.

«И зачем только здесь, в такой давке, Дзюкити вздумалось говорить об этом?» Она постаралась взять себя в руки и, взглянув из-под рукава, шепнула ему:

— Здесь неудобно говорить о таких вещах. Понимаешь? После, когда выйдем.

— Ах, вот как...

Только сейчас Дзюкити понял, что происходит с Хироко, и виновато улыбнулся.

— Однако почему вдруг это взбрело тебе на ум? — спросила она.

— Вовсе не вдруг, мне и прежде приходило это в голову. И зачем вообще я затеял такой разговор?

— Да, пожалуй, мало кому вздумается философствовать в поезде на подобную тему, — с трудом улыбнулась Хироко. — К тому же мы оба проголодались, правда? Вот из-за этого у меня и началось. — И она движением руки шутливо показала, будто вытирает слезы.

Они вышли на асфальтированное шоссе, убегавшее на запад. Справа и слева высились огромные откосы, облицованные камнем. На фоне вечернего неба резко чернел силуэт железнодорожного моста, соединявшего откосы. По всему чувствовалось, что здесь начинается большой город.

Эта местность сохранила следы древнего строения земли, следы той седой старины, когда Токийский залив глубоко вдавался в окрестности Асакуса, а это плато возвышалось над морем, составляя оконечность равнины Мусаси. Теперь и расположенный в низине район Оку и само плато представляли сплошное пепелище. По обеим сторонам дороги тянулись обуглившиеся телеграфные

столбы, болтались обгорелые провода, то тут, то там встречались глыбы расплавленного, а затем затвердевшего асфальта. Громоздились кучи горелого железа. Оказавшись в темную пору на этой дороге, пешеходы едва не налетали друг на друга.

— Ну и тьма! — воскликнул с удивлением Дзюкити, поняв вдруг, что спешить по такой дороге — напрасная затея. — Как ты себя чувствуешь?

— Я-то ничего. Хоть и темно, но эта дорога еще сносная.

И как только Хироко умудрялась бродить тут одна?

Да, теперь они шли вместе, рядом слышен заботливый голос Дзюкити. А сколько раз вот так же ночью пробиралась она здесь одна-одинешенька?.. За спиной рюкзак, шаровары заправлены в ботинки, сильный взмах руки: как-то спокойнее, когда размахиваешь руками.

Хироко вдруг отчетливо увидела себя, шагающую по этой дороге, и только в этот миг ей стало вдруг понятно, почему там, в электричке, у Дзюкити вырвались слова о вдовьем упорстве.

— А этот наш разговор... Ты помнишь, о чем мы говорили только что в поезде? — спросила она.

— А-а!.. Все насчет вдовьего упорства?

Он как будто нарочно повторил эти слова.

— Понимаешь, я никак не могла догадаться, почему такое сравнение пришло тебе в голову. Что послужило поводом? А вот сейчас я начинаю понимать тебя. Право, во мне есть что-то такое...

Чтобы объяснить, Хироко привела пример все с той же дорогой. Вот сейчас, когда они идут вместе, у нее и походка другая, и настроение, и нет ничего общего с тем, что переживала она прежде, когда была одинокой. Тогда она брела, подгоняемая одной мыслью — поскорее добраться до дома.

— Я никак не могла уловить, в чем ты видишь это вдовье упорство.

— Право же, ты напрасно приняла все это так близко к сердцу. До сих пор ты была одна, постоянно одна, и это неизбежно отразилось на тебе. Собственно, только благодаря этому так и получилось. Но теперь все у нас пойдет по-другому, правда?

— Что ж, ты прав.

Да, их жизнь пошла по-другому, она изменилась

к лучшему всего лишь две недели назад. А до тех пор?.. До тех пор, все эти долгие годы, все менялось только к худшему.

— Видишь ли, я не знаю, как это выразить словами, но я всегда стремилась к одному: быть ближе к тебе, быть достойной тебя, ради этого я и была такой, как ты говоришь, упорной...

— Тогда было такое время, иначе и нельзя было. Все рушилось, сами основы жизни, и чтобы устоять, нужно было выработать в себе это упорство.

Так, незаметно за разговорами, они взобрались по крутому холму почти до середины подъема. Дзюкити вдруг остановился.

— Скажи, это и есть тот самый холм?

— Что ты имеешь в виду?

— Да тот холм, что вел к нашему прежнему дому? Помнишь, мы всегда ходили здесь. Подожди, а там что?

— Вот тот как раз и есть наш холм.

— Да неужели? Неужели это и есть он? Но раньше там было так много лавок...

— Было... Теперь от всего этого и следа не осталось. И спуск с него тогда был как будто круче.

— Да так ли? — недоверчиво оглянулся Дзюкити, но потом, словно удостоверившись в чем-то, сказал: — Наконец-то я понял, в чем дело! В то утро, в день моего возвращения в Токио, дошел я до этого холма. Мне казалось, что я иду правильно, но тут все так изменилось, что в конце концов я сбился с дороги.

Поужинали в этот вечер поздно. После ужина, удобно устроившись на подушке для сиденья, оказавшейся в их комнате (когда-то бывшей гостиной, а теперь служившей для них и столовой и комнатой для гостей), Дзюкити принялся с аппетитом лакомиться деревенскими гостинцами хаттайко[1]. Хироко сидела рядом и, не отрывая глаз, наблюдала за ним. Не только сегодня, но всякий раз, оказавшись вместе с мужем, она неизбежно испытывала чувство нового и необычного. Вот он перед ней, ее Дзюкити, такой же человек, как и все, простодушный, от души радующийся и обеду и обществу жены и друзей!.. Как же могло случиться, что этого, такого обык-

---

[1] Хаттайко — пережаренная пшеничная мука с сахаром.

новенного человека, вдруг объявили страшным преступником и бросили в одиночку на целых двенадцать лет? Какие основания имелись на то? Только потому, что так пожелали власти? Тогда тем более нетерпимо подобное безрассудное самоуправство.

— Может быть, хочешь еще?

— Нет, я уже сыт.

Все эти годы разлуки они жили только письмами. Эти письма были всегда искренними, но разве можно было передать в них все, о чем хотелось бы рассказать? И Хироко казалось, что чувства и настроения, поверяемые ею Дзюкити, в письмах как-то невольно приукрашивались.

— Ведь я не люблю ничего показного, стараюсь всегда быть такой, какая есть. Если тебе что-то не понравится, я прошу тебя, говори все, хоть бы это было и обидно. И пусть у тебя никогда не будет ни одной затаенной мысли обо мне...

— Откуда у тебя такие мысли? Ты об этом думала раньше?

— До сих пор нет. Но ведь, согласись, ты скоро будешь очень занят. Вряд ли нам удастся поговорить спокойно на досуге. Так вот, пока это еще не пришло, мне и хотелось бы, чтобы все между нами было начистоту.

— Понял, я все понял.

Дзюкити пересел в глубокое старое кресло, а Хироко принесла низенькую скамеечку и, пристроившись у его ног, взялась за починку мешочка, в котором мыши успели прогрызть дыру. Наложив латку, она начала было обшивать края, как вдруг наблюдавший за ней Дзюкити заметил:

— А ведь заплатку ставят с изнанки.

Его тон был таким уверенным, что Хироко невольно улыбнулась.

— Откуда ты это знаешь?

— Разве зря я портняжил? Вряд ли ты сумела бы заработать иглой пять иен восемьдесят сэн. Дай-ка я попробую. Смотри, как ловко у меня получается!

Он взял мешочек, вывернул его наизнанку и приставил латку. Придерживая на груди большим и указательным пальцами левой руки кусочек материи, он принялся шить, сильно, по-мужски нажимая на иголку. Получалось, может быть, не совсем красиво, но быстро.

Губы Хироко, только что улыбавшиеся, вдруг дрогнули, и она крепко закусила их. Дзюкити с головой ушел в свое занятие, не поднимая глаз, прикрытых густыми ресницами, а Хироко все продолжала стоять позади него. Она видела перед собой маленькие, высоко расположенные окна тюрьмы, окна с решетками, сквозь которые видны лишь тучи да слышно завывание ветра, дующего с Охотского моря; она видела под одним из таких окошек склонившегося над шитьем бритоголового Дзюкити в бурой тюремной одежде. Никому никакого нет дела до того, что происходит на душе у этого человека! Каждое утро его ждет новая куча тряпья. Такова воля закона! А кругом мертвая тишина... И так каждый день: все одно и то же, одно и то же... Какая жестокость!

Хироко с трудом дождалась, пока весело настроенный Дзюкити, не догадываясь ни о чем, сделал последний стежок.

— Покажи!

Она взяла в руки мешочек. Стежки ровные, конечно, видно, что не машинные, но сделано добротно.

— Что, здорово?

— Даже чересчур. Но я не хочу, чтобы еще когда-нибудь в жизни в твоих руках оказалась игла.

Хироко встала и принесла тушечницу.

— А с этим мы вот так поступим!

Она взяла мешочек, поставила на заплатке дату и надписала: «На память о портном Дзюкити Исида».

Потом она поднялась на второй этаж, чтобы постелить постель, и снова припомнила все события сегодняшнего дня. Ей вновь пришли на ум эти два слова — «вдовье упорство», но теперь они предстали перед ней в новом свете. Ведь их произнес ее муж, ее Дзюкити, а кто так же тепло, по-дружески скажет их миллионам японских женщин, действительно оставшимся вдовами? Что ж, женское упорство воспитывается самой жизнью, этим качеством нужно дорожить, гордиться, да только, может быть, оно не всегда красит женщину. Но кто же скажет этим закаленным жизнью вдовам, что нужно сделать свое упорство более мягким, более женственным, чтобы ярче оно их украшало?

Подавая мужу ночное кимоно, Хироко с нежностью окликнула его по фамилии:

— Исида! А знаешь ли, когда я вспоминаю об этих твоих словах «вдовье упорство», мне становится стыдно перед той, которая действительно осталась вдовой. Ты знаешь, о ком я говорю? О Цуя-тян.

Цуяко была женой брата Дзюкити, пропавшего без вести в Хиросима.

III

Теперь Дзюкити все чаще отлучался в пригородный район Токио, и число гостей в доме все увеличивалось.

Этой осенью стало явным то, что до сих пор составляло тайну. Правда истории вышла на поверхность подобно бурному пенистому потоку, вырвавшемуся из недр земли.

Газета «Акахата», выпущенная в виде брошюры за подписью Сига[1] и Токуда[2], вскоре после возвращения Дзюкити стала предметом обсуждений в самых широких кругах. Люди относились к этому событию по-разному, каждый связывал с ним свои надежды, предъявлял свои требования: у одних газета вызывала чувство удовлетворения, у других — недовольство. Но никто из тех, кому довелось прочитать газету, не остался равнодушным, — о ней говорили, и по словам, по тону разговоров можно было судить, как прожил человек эти десять лет, какой урок извлек для себя.

Темп жизни все нарастал и нарастал, не считаясь с тем, что Дзюкити еще не успел привыкнуть ни к путанице токийских улиц, ни к переполненным трамваям. Он слишком долго жил без движения и теперь по вечерам, сняв обувь, ощущал такую боль в ногах, что еле удерживался от стона.

— Или я уже совсем выдыхаюсь?

— Еще бы! А знаешь ли ты, сколько часов ушло на все наши встречи с тобой за эти годы? Я ведь подсчитала: всего сто восемьдесят девять часов, меньше восьми суток. Вот и представь, как мало ты мог находиться в движении за сутки...

---

[1] Сига — один из видных деятелей КПЯ.

[2] Кюити Токуда — бывший генеральный секретарь КПЯ. Умер в 1954 году.

Как-то раз, утром, Хироко поднялась позже обычного — накануне у них были гости.

Дзюкити занялся газетами, делая какие-то пометки в блокноте.

Не успела Хироко завернуть завтрак, как Дзюкити, взглянув на часы, спросил:

— Хироко, часы идут верно?

— По-моему, да.

— Включи-ка радио!

Но как ни старательно вертела Хироко ручку приемника, радио молчало — был перерыв.

Дзюкити быстро собрал бумаги и стал переодеваться. Хироко засуетилась.

— Подожди минутку, у меня еще не готово... — проговорила она, поспешно укладывая завтрак в коробку.

В этот день их путь лежал в одном направлении. Хироко еще хлопотала около обеденного стола, когда Дзюкити вдруг снова окликнул ее:

— Посмотри, что-то у меня не ладится тут.

Оказалось, он никак не мог застегнуть запонку на манжете. Дзюкити за эти годы совсем разучился носить европейский костюм и теперь не умел ни завязать галстук, ни приладить запонки, без которых, на его беду, никак нельзя было обойтись. В этих случаях он становился совсем беспомощным. К тому же манжеты были слишком узки, как видно ошиблись при шитье, обычные запонки к ним не подходили.

Хироко пришлось воспользоваться изящными маленькими запонками — подарком друзей, хотя они и не совсем подходили к дешевой рубашке. А тут оказалось, что и запонка у ворота прикреплена неправильно и воротничок топорщится.

Пока Хироко суетилась вокруг Дзюкити, он, взглянув через голову жены на часы, воскликнул:

— Но у меня же совсем не осталось времени! Я должен был обязательно выйти до половины десятого.

— Как, значит тебе надо на дорогу целых два часа? Как же так? Ты должен был заранее предупредить меня! Ведь я же думала, что сегодня у тебя обычный день.

Хироко торопилась и полушутя, полусерьезно заставляла рослого, коренастого Дзюкити поворачиваться то в одну, то в другую сторону.

— Повернись-ка сюда, — командовала она, прикрепляя воротничок. — А теперь сюда, — и завязывала галстук. — Подумать только, с запонкой справиться не может! Ну и никудышный у меня муж!

Наконец все было в порядке, и Дзюкити, которому эта сложная процедура порядком надоела, поспешил к выходу.

— А как же я? — бросила ему вслед Хироко.

Однако Дзюкити продолжал идти, не обратив никакого внимания на ее слова.

Тогда она снова окликнула его:

— А когда ты вернешься? Как всегда?

Сдвинув на лоб кепку, тоже подарок кого-то из друзей, Дзюкити шел молча, большими шагами и вот исчез из виду, завернув за угол бамбуковой изгороди.

Хироко продолжала стоять и все смотрела туда, где скрылся Дзюкити, где шелестело листвой дерево. Итак, он ушел, не промолвив и слова в ответ. Только тут Хироко поняла, как грубо обошлась с ним; ей казалось, что от резких прикосновений у нее горят ладони рук. Все угасло в ее душе...

Хироко вернулась из города лишь после пяти часов.

— Исида уже дома? — первым делом спросила она соседку Отоё, помогавшую ей по хозяйству.

— Нет еще.

— Вот как?

— Обед стоит на жаровне... А у вас гость!

Действительно, в комнате сидел молодой человек, доводившийся Хироко троюродным братом. Накрывая на стол, она расспрашивала юношу о его отце, служившем на Сахалине в одной из компаний по производству бумаги, о репатриированной матери, о братьях и сестрах.

Вскоре послышались шаги Дзюкити, поднимавшегося по ступенькам.

Хироко побежала ему навстречу.

— Добрый вечер!

Дзюкити молча разулся, нажимая носком одной ноги на пятку другой, затем снял кепку и положил ее на полочку для головных уборов. Обычно он передавал в руки встречавшей его Хироко и папку с бумагами и кепку, а

когда очень уставал, то отдавал ей и пиджак, который успевал за день оттянуть плечи.

— Ты, наверно, очень опоздал сегодня утром?

— Да, почти на час.

Дзюкити прошел в комнату и, коротко поздоровавшись с гостем, занялся только что полученными журналами.

— Ты бы переоделся...

Дзюкити как будто и не слышал ее. Вынув из портфеля остатки завтрака, он начал есть.

— В чем дело? Садись с нами.

— Ничего, и так сойдет...

Хироко собрала все силы, чтобы не выдать волнения, и продолжала ужин, поддерживая разговор с родственником.

— Я поднимусь к себе, — проговорил Дзюкити и, захватив папку, пошел на второй этаж.

Хироко охватило отчаяние.

Как только представилась возможность, она тоже поднялась на второй этаж. Дзюкити сидел за столом, на котором рядом с раскрытой книгой валялись брошенные им рубашка и пиджак.

Хироко развесила одежду на вешалки.

— Послушай, что с тобой?

— Ничего.

— Но так еще не бывало. Ты никогда не был таким. Что с тобой?

Он сидел, отвернувшись в сторону, словно не желая замечать ее.

— Со мной — ровно ничего. Просто я решил с сегодняшнего дня все делать для себя сам.

— А что случилось?

— Мне пришлось многое взвесить. До сих пор я, не задумываясь, принимал все твои услуги, но, как видно, избаловался. Мне в голову не приходило, что в твоих глазах я всего-навсего «никудышный».

Хироко стало страшно. Ведь она же говорила шутя, не подразумевая ничего дурного, а, оказалось, он так обиделся!

— Прости меня! Поверь, это же было сказано в шутку.

— Нет, мне это вовсе не показалось шуткой. Что ж, на свете есть жены, вполне довольные своими мужья-

ми... Ну, а что до меня, так мне не привыкать все делать самому. Это же пустяки. Тюрьма всему научила...

Хироко в волнении обняла его за плечи.

— Что с тобой? При чем тут тюрьма? Я ничего не понимаю. — Она расплакалась, чувствуя, что ей становится по-настоящему страшно.

Как, откуда могло возникнуть у Дзюкити это глубокое и совершенно неожиданное чувство разочарования в их совместной жизни? Хироко охватило такое отчаяние, что у нее подкосились ноги и она опустилась на циновку, припав головой к коленям Дзюкити.

— Да подумай сам! Как при таком отношении друг к другу могли бы мы пройти через эти долгие годы? — спрашивала Хироко.

Какой же смысл в ее любви, если в глазах Дзюкити она такой черствый человек, что он отказывается принимать от нее какие-либо услуги? Значит, настоящей любви нет, а есть просто мелкие чувства, обрекающие его на союз с нелюбимой женщиной. Это же никогда не даст ему удовлетворения, а ее заставит испытывать только унижение.

— Все это слишком банально, — перебил Дзюкити.

Обливаясь слезами, Хироко отрицательно покачала головой.

— Что? Это я-то, я банальна?

Она отказывалась понимать. Слишком долго они были связаны, чтобы так вдруг у Дзюкити могло родиться столь глубокое чувство разочарования, словно с его глаз спала пелена. Но на это должна быть причина. Оба они слишком прямодушны, непосредственны, чтобы согласиться на искусственный, уродливый супружеский союз, когда один разрушает то, что старается сохранить другой. Если разочарование оказалось бы у Дзюкити настолько глубоким, жизнь рядом с ним стала бы невозможной и для нее.

Но вот Хироко плачет, голова ее покоится на коленях Дзюкити, и он не пытается оттолкнуть ее. Разве в этом не чувствуется одной из тех нитей, что связывает их? И страдание Хироко не что иное, как отражение этих двенадцати лет разлуки. Но разве печальные думы, охватившие сейчас Дзюкити, разве и они не отражение тех тяжелых испытаний, что пережиты им за те же двенадцать лет?

Подобно молнии, в ее сознании мелькнула одна мысль, и как-то сразу утихли смятение и тревога. Взяв Дзюкити за руку, она спросила:

— Ты разрешишь мне сказать?

— Пожалуйста.

— Поверь, мне очень больно, что я обидела тебя. Но постарайся простить меня... И скажи: ты ведь долго, очень долго пробыл в тюрьме, и ты знаешь, что там нечего рассчитывать на настоящую поддержку, поддержку всегда и во всем? Ты не раз сталкивался с двуличием, коварством под маской добродетели или с прямым предательством.

Дзюкити молчал.

— Ты понимаешь, что значит поддержка всегда и во всем? Что ж, человек может сказать глупость, сделать глупость, но все равно он из тех, на кого можно положиться всегда и во всем. Ты понимаешь? Всегда и во всем!

Дзюкити продолжал молчать.

— Постарайся же понять, что твоя Хироко и хотела быть для тебя такой поддержкой всегда и во всем, — говорила она со слезами.

Дзюкити вдруг обернулся и посмотрел ей прямо в глаза. О, наконец-то он снова хочет видеть ее! Хироко охватила ладонями его лицо.

— Значит, ты понял?

— Но если ты любишь меня, то как могла бросить мне такие слова?

— Какие? Никудышный муж?

— Именно.

— Но послушай, разве мать, обожая своего ребенка, не говорит ему иногда: ну и никудышный же ты у нас ребенок! Разве нет?

— Прости, но это было сказано совсем другим тоном.

Хироко внимательно посмотрела на него. Угрюмые морщинки на лице Дзюкити начали разглаживаться, и в глазах заискрился тот мягкий свет, что всегда отличал его взгляд. Теперь Хироко готова была рыдать от радости.

— Оживаем, оживаем... — прошептала она.

— Кто?

— Мы.

Дзюкити все понял, но продолжал с недоверием:

— И все же в твоем тоне, Хироко, не было и намека на шутку.

— Неужели? — ответила она, не то извиняясь, не то шутливо соглашаясь.— Очевидно, и в моих словах тебе почудилось то обидное, что и мне в твоих об этом самом вдовьем упорстве. Наверное, так... Ничего, немножко терпения — и все пройдет, — проговорила она и, чтобы как-то приободрить Дзюкити, добавила: — Только ты куда искуснее умеешь нападать.

Хироко вдруг почувствовала страшную слабость, которая обычно наступает после сильного волнения. Нежно гладя колено Дзюкити, она говорила:

— Жаль только, что ты понапрасну мучился целый день.

— Вовсе нет,— простодушно сказал Дзюкити.— Мне сделалось как-то не по себе лишь по дороге к дому. Пораздумал, ну и стало казаться, что, может быть, нет у меня ни дома настоящего, ни семьи.

Нет дома... Эти слова заставили Хироко многое вспомнить. Почти все семейные товарищи Дзюкити успели за время заключения лишиться и жен и детей. Все разметала, разрушила война. Гуманность, человеческие чувства — все было попрано. О, разве Хироко не испытала на собственном опыте все это? Всякий раз, когда ее арестовывали, ей приходилось слышать даже от надзирательниц один и тот же совет: «Брось Дзюкити...»

Она крепче прижалась головой к коленям мужа.

— Давай помиримся! — Хироко протянула ему согнутый мизинец, чтобы соединить его с мизинцем Дзюкити. — Даю слово больше не обижать тебя, но и ты обещай никогда не повторять сказанного тобою, — промолвила она.

«Нет, враждебные силы, отравлявшие жизнь, а при случае готовые разрушить ее, все еще не исчезли», — подумала Хироко, прижимаясь к Дзюкити.

Правда, теперь никто не решится нападать на них прямо, в лоб, но ведь старые раны остались, они дают себя знать. Ее рука, лежавшая на колене мужа, нащупывала что-то твердое — это был рубец, Хироко хорошо чувствовала его сквозь материю. Вот он, неизгладимый след пыток, след бамбуковой палки, которой избивали Дзюкити...

IV

Дзюкити работал за письменным столом, а Хироко, примостившись тут же за низеньким столиком, переписывала его рукопись.

— Что-то ноги у меня замерзли, — проговорил Дзюкити, словно недоумевая, почему ему холодно, когда солнышко еще так тепло греет.

Стояли погожие дни начала ноября, и Дзюкити невольно залюбовался солнечными лучами, проникавшими в комнату через веранду.

— Да ведь сейчас еще в полном цвету хризантемы, — ответила Хироко, набрасывая ему на ноги шерстяное одеяло.

— А у нас тут все выгорело. На нашем пепелище ни одного цветочка!

Вокруг них простирались теперь одни пустыри, и потому такими небывало тихими и прозрачными казались им эти дни поздней осени. По ночам свистки паровозов со стороны Табата доносились так отчетливо, словно это было совсем рядом.

— Эх, угля бы побольше, давно об этом мечтаю, да только пока нет никакой надежды!

— Ничего, когда настанут холода, мы потеплее оденемся — только и всего! — промолвил Дзюкити, не выпуская из рук пера, и снова принялся за работу.

Долгие годы он был лишен тепла и горячей пищи. Теперь это сказывалось: Дзюкити никогда не принимался за еду, предварительно не подогрев ее. Даже овощные блюда, которые обычно употребляются в холодном виде, и те он ставил на плитку, уверяя, что так гораздо вкуснее.

Да, он любил, чтобы рядом всегда что-то кипело, подогревалось, словно радость жизни ощущалась им с особой остротой именно в такие минуты.

Хироко были понятны причуды Дзюкити.

— А знаешь, я ужасно пристрастилась к чаю за последнее время, — говорила она, ставя чайник на плитку.

— Я тоже раньше не находил в нем ничего хорошего, — ответил Дзюкити.

— Теперь все так, ведь ничего другого у нас и нет. Когда-то раньше спитой чай выплескивали в помои на корм скоту, а потом решили: нет, это и людям годится.

— Я тоже ел чай в тюрьме. Бывало, до того есть хочется, что, кажется, нет больше сил терпеть.

Они снова углубились в работу, но тут оказалось, что Хироко никак не может разобраться в рукописи.

— А где продолжение этой фразы? — спросила она, протягивая Дзюкити во многих местах перечеркнутый лист.

— «Основываясь на принципах Потсдамской декларации...» Так, а дальше... — Дзюкити пробегал строку за строкой. — Ага, вот здесь: «Отныне самым решительным образом...» — И он поставил около этих слов жирную пометку.

— А это все пропустить? Ну и размахнулся же ты!

Снова наступило молчание.

Хироко легко справлялась с перепиской. Когда у нее выпадали свободные минуты, она шла вниз позаботиться об ужине, приготовляла чай и снова принималась за работу. Казалось, Дзюкити даже и не замечал, как уходила и приходила Хироко. Он работал с увлечением, спокойно и сосредоточенно, что-то зачеркивал, исправлял, дописывал.

Хироко глубоко задумалась. А доводилось ли ей когда-нибудь испытывать это чувство радостного и такого плодотворного труда, когда мысли так же легко ложатся на бумагу, как легко спадает кожура с созревшего зерна?

Прямо перед ней настежь раскрытая комнатка в три циновки. Хироко пристально оглядывает ее. У северной стены, на которую падают лучи послеполуденного солнца, поставлена складная койка. Хироко хорошо видна эта сложенная втрое железная койка с ее причудливо переплетенными поржавевшими и потерявшими блеск пружинами. Хироко поставила ее туда, в угол, еще в те времена, когда собиралась ехать в Абасири к Дзюкити. С тех пор она и стояла тут, покрываясь пылью.

Однажды, заметив койку, Дзюкити сказал:

— А ведь, наверно, удобная штука. Надо будет воспользоваться, когда захочется прилечь.

Однако у Хироко не было никакого желания вносить койку. Всякий раз при виде ее перед Хироко вставала одна и та же картина: низенькая комната на втором этаже. На восточной стороне окно с решеткой, южная же раздвижная стена выходит прямо к перилам балкона.

Рядом с окном койка, на ней покрывало в клетку, бледно-голубого цвета, и тоненькая подушка. Направо от входа письменный стол, между столом и койкой узкий проход. С полудня и до вечера нет никакого спасенья от солнца. Не помогают и бамбуковые шторы, — солнечные лучи падают на почерневшие от ветхости циновки, на стол, на постель. Мельчайшая, невидимая глазу пыль носится кру́гом, и кажется, что пахнет чем-то горелым. Воздух сперт и накален, а солнце продолжает нещадно палить.

Таким было в течение четырех лет ее жилище в квартале Мэдзиро. Хироко работала всегда с мокрым полотенцем на голове. Часто казалось, что еще немного — она не выдержит и задохнется.

На перекладине с наружной стороны была устроена подставка для сушки одежды, на ней стоял большой горшок с травой футисо [1].

Был самый разгар лета 1941 года.

Еще с января того же года Хироко лишили права заниматься литературной работой, и жизнь ее стала нестерпимой. Дзюкити, находившийся тогда в тюрьме Сугамо, считал неразумным, что Хироко упорно продолжает вести эту одинокую, непосильно тяжелую для нее жизнь. Он полагал, что сейчас ей лучше всего переселиться к своему брату Юкио. Но пойти на такой шаг было совсем не так просто. Вот уже двадцать лет, как Хироко порвала с родными. Рассчитывать на их сочувствие не приходилось, ведь в их глазах Хироко сама была виновницей всех своих бед. Легко ли было снова возвращаться к ним после того, как она лишилась всех средств к существованию? А в своих письмах Дзюкити продолжал доказывать, что Хироко ведет себя по-обывательски, придавая слишком большое значение условностям, в то время как брат неоднократно приглашал ее к себе.

Хироко уже не раз запрещали публиковать свои произведения. Однажды запрет продолжался больше года. Но в те времена в подобном положении находились мно-

---

[1] Футисо — трава, часто растущая по обочинам дорог. Пересаженная в горшок, она украшает японские дома. Иногда футисо называют кадзэсиригуса — ветер-трава, так как тонкие острые листья растения чувствительны к малейшему дуновению ветра.

гие писатели. Не лучше жилось и ее близким друзьям. Дух сопротивления тогда еще горел во многих писателях, и Хироко знала, что она не одинока в своих страданиях. Да, тогда было с кем разделить свое горе.

Но с тех пор прошло три года, многое успело измениться. Между писателями «запрещенными» и теми, кто пользовался полной свободой, разверзлась пропасть.

Их разделил закон об охране общественного спокойствия, создавший между ними непроходимую зону пустоты. По одну сторону ее были те, кто захлебывался от восторга, описывая события на фронтах Китая и Маньчжурии, кто «процветал» в материальном отношении. По другую сторону стояла она, сопротивлявшаяся в одиночку. Так выдерживает бешеный натиск разбушевавшейся стихии одинокий утес на пустынном берегу.

Но куда мучительнее материальных бед были муки душевные. Что ж, тяжелые думы можно было бы разделить с Дзюкити. Но зачем? Чем он мог помочь ей? В минуты коротких встреч, только в эти минуты, Хироко оживала, смеялась. Видя, как непринужденно болтает жена, веселел и Дзюкити. Но вот она покидала тюрьму, и снова вставал вопрос: куда же идти?

Товарищи, которых хотелось бы навестить, жили слишком далеко. Поселиться у Юкио?.. Но там совсем другой мир, другая жизнь. И Хироко снова возвращалась к себе, в квартал Мэдзиро. Как-никак, это был ее дом.

И все же какая жара, какая нестерпимая духота царила в той комнате второго этажа! Право печататься отнято, письменный стол казался чем-то громоздким и ненужным...

Однажды вечером, изнывая от тоски, Хироко вышла побродить по улице. По дороге ей встретился плотно затемненный бамбуковыми шторами цветочный магазин, около него прямо на тротуаре стояли горшки с футисо. Обильно политая травка густо зеленела под электрическим светом своими свежими листочками, на которых застыли капли воды. Почему-то Хироко ужасно захотелось купить хоть один горшок. Она так и сделала. Поздно вечером, после закрытия магазина, растение было доставлено ей на дом. Хироко поставила его за окном на подставке для сушки одежды. Подставка пустовала,— ведь давно ушли в прошлое те мирные дни, когда

Хироко занимали житейские заботы. Несколько дней подряд Хироко усердно поливала растение. Но жизнь становилась все тяжелее, и по мере того как росли тревоги и печали, Хироко все меньше беспокоила судьба футисо, отданного во власть испепеляющего летнего зноя. У растения засыхали листья. Хироко с болью смотрела на него и все же больше не поливала.

Сейчас Хироко не могла вспомнить, чем питалась она в то лето, как поддерживала свое существование. Но зато в памяти осталось другое: цветущие ветки хаги [1] возле остановки у тюрьмы Сугамо. Бывало, пронесется электричка, поднимая вихрь, и вмиг заколышутся, затрепещут цветы хаги, густо покрывающие дамбу. Болезненно обостренное воображение отзывается на все, и Хироко кажется, что так же дрогнуло, затрепетало и ее полное печали и смятения сердце. Вот на этой складной койке и проводила Хироко большую часть своего времени. Потому-то при виде ее сразу же вспоминалось лето 1941 года, зной, одиночество...

Однажды, рано утром, еще лежа в постели, Хироко заметила, что сквозь раздвижную ширму, отделявшую комнату от лестницы, за ней наблюдает человек в фетровой шляпе. Это был агент тайной полиции. Он проник в квартиру, взломав дверь ванной комнаты. Он пришел, чтобы увести ее в тюрьму. Хироко покинула дом, попросив друзей присмотреть за жильем, а травка футисо так и осталась стоять на перекладине, погибая от зноя.

Но у Хироко навсегда сохранилось воспоминание о другом таком же растении. Это было совсем невидное, скромное растеньице. Оно росло у окна камеры № 10 женского отделения тюрьмы Сугамо. Горшочек с футисо поставили к самому окну, ближе уж и нельзя было его придвинуть, и все же даже кончики листиков ни разу не колыхнулись на нем. Хироко много дней наблюдала за растением, не спуская глаз, но даже по ночам ни один листик его не шелохнулся.

Наступила такая жара, какой не было уже много-много лет. Казалось, что здание тюрьмы со стеклянной, как в оранжерее, крышей накалилось так, что вот-вот вспыхнет.

---

[1] Хаги — кустарник, похожий на мирт.

Хироко почувствовала, что при этих воспоминаниях комок подступает к горлу. Но как обо всем этом расскажешь Дзюкити?

С тех пор как он вернулся, Хироко стало легче дышать, ослабло достигшее крайней степени напряжение, не оставлявшее ее все эти годы и грозившее раздавить ее. Только теперь впервые осознала она страдания и ужасы, выпавшие на ее долю.

Хироко поднялась и, подойдя к Дзюкити, порывисто схватила его руку.

— Что с тобой?

— Я должна писать! Нужно сделать так, чтобы я снова могла писать... прошу тебя!..

Лицо Хироко выражало такое волнение, что Дзюкити не смог сдержать улыбки.

— Да успокойся, успокойся же!..

Не выпуская пера из руки, он начал мягкими, словно гипнотизирующими движениями гладить ее лоб.

— Но ведь об этом говорил тебе не кто иной, как я сам! Смотри не спутай! На этот раз пойми меня правильно!

За последние дни одна за другой начали появляться новые литературные группы. Вновь собирались писатели, поэты, критики, которые когда-то, десять лет назад, работали вместе. Зазвучал подлинный голос Японии.

V

Хироко шла, глядя под ноги, на дорогу. Деревянные, грубо сколоченные сандалии дали трещину у носка, хотя она едва успела обновить их. Приходилось быть осторожной. Дорога, пролегавшая по неровному склону пологого холма, была выложена булыжником, сейчас скрытым под густым слоем мягкой пыли. Налево расстилалась небольшая равнина, окруженная уже начинавшим желтеть кустарником.

Походка Хироко стала сдержанной, осторожной. Это объяснялось не только тем, что мешали сандалии. Само сегодняшнее путешествие было необычным, потому-то Хироко держалась иначе, чем всегда.

Сейчас у нее было такое чувство, как в давно минувшие дни, когда ей приходилось идти по дороге к

Коисигава, где жил Дзюкити. Хироко прекрасно знала цель своего путешествия, больше того, в такие минуты она ни о чем ином и думать не могла и все же старалась идти так, чтобы со стороны никому не бросилось в глаза, куда она держит путь.

Вот и сейчас что-то похожее на то полузабытое чувство шевельнулось в ее душе, только теперь оно было вызвано совсем другими причинами. Путь, ведущий к Обществу независимости, отнюдь не считался обычной проселочной дорогой. Те, кому довелось услышать, что здесь, в Обществе независимости, поселились только что выпущенные на свободу коммунисты, невольно как-то по-особому относились и к самой дороге, по-иному оглядывали и встречных пешеходов. По их лицам сразу было видно, что люди спешат не в лавку. Каждый понимал, что здесь возникают истоки тех новых сил, которые имеют отношение к судьбе каждого человека. С таким же чувством в душе шла и Хироко по дороге, которая, миновав мрачные своды железнодорожной арки, вилась вдоль холмов. Хироко хорошо знала, куда она идет, но ей совсем не хотелось нарочито подчеркивать это, потому-то и чувствовалась некоторая скованность во всех ее движениях и походке.

Она была уже близка к цели, уже сквозь деревья виднелись очертания нового здания, как вдруг кто-то громко окликнул ее. Женский голос раздался откуда-то слева, из густых зарослей травы. Хироко остановилась, оглянулась вокруг.

— Я здесь! Ждала-ждала и принялась завтракать, — оживленно говорила Макико Сэгава, поднимаясь навстречу из зарослей травы. Одной рукой она держала маленького мальчика, другой прижимала к груди сверток с едой, который не успела как следует завернуть при неожиданном появлении Хироко.

— О, да тут, я вижу, целая засада? — улыбнулась Хироко.

Макико жила уже несколько лет в поселке Сайтама, и подруги виделись очень редко.

— Вот уж никак не ожидала тебя здесь встретить.

— Ну и прекрасно! Наконец-то удалось тебя поймать! Дзюн-тян, это и есть та тетя с подушечкой, помнишь? — весело обратилась Макико к сыну.

Хироко всякий раз, когда Макико навещала ее, играла с малышом, бросая в него подушечку. Это очень нравилось Дзюн-тян, и с тех пор он прозвал ее «тетя с подушечкой».

— А я узнала от друзей, что сегодня ты будешь здесь. Ну и подумала: домой к тебе все равно не выберусь, дай-ка попробую подстеречь тебя у дороги. И мне удобно, отсюда трамвай идет прямо до остановки Кокубундзи. И как хорошо получилось, что мы все-таки встретились!

Они зашагали по пустынной дороге, приноравливаясь к мелким шагам малыша.

— А ты, Хироко, хорошо выглядишь...

— Ну, а Макико, кажется, выглядит еще лучше! — засмеялась в ответ Хироко, намекая на заметно располневший стан подруги.

Последний раз им довелось встретиться в начале лета в разгар воздушных налетов. Макико выглядела тогда плохо, глаза смотрели тревожно. Ведь в Сайтама тоже было далеко не безопасно, к тому же с продовольствием приходилось очень туго. Но не только житейские заботы тревожили тогда Макико. Ее муж Тайдзи Сэгава как-то раз сказал ей, что война явно приближается к концу. С тех пор он стал каким-то задумчивым и начал поздно возвращаться домой, пропадая неизвестно где.

— Если с мужем повторится прежнее, я просто думать боюсь, что будет с ним на этот раз! — говорила Макико в их последнюю встречу, и загорелое, покрытое веснушками лицо ее становилось печальным. — Может быть, он и знает, что делает, да только...

В свое время Сэгава был близок с некиим Сиро Тамаи, своим однокашником по университету. Руководитель студенческого движения Тамаи казался личностью незаурядной во всех отношениях. И вот однажды его арестовали. Конечно, могло показаться странным, что его вообще не трогали все эти годы. Сэгава был уверен, что Тамаи ждет камера-одиночка, куда его запрячут на добрых пять—семь лет. Однако оказалось, что дядя этого Тамаи— министр юстиции. Вскоре Тамаи вышел на свободу, но зато все, с кем он был так или иначе связан, понесли наказание. Сэгава только что отбыл полуторагодичное заключение, он едва поступил на завод и даже не успел

освоиться на новом месте, как вдруг его снова арестовали. Все его жалели, признавая, что особой вины за ним нет; тем не менее его все-таки отдали под суд и засадили на три года. Макико оставалось только ждать возвращения Сэгава и воспитывать сына, крепясь из последних сил. Несладко жилось ей в большой семье, состоявшей из матери и двух сестер мужа. У младшей сестры была своя семья, причем как она сама, так и ее муж не разделяли взглядов брата.

Прошлой зимой Сэгава, наконец, вернулся и поступил на службу в Сайтама.

Последний раз Макико и Хироко встретились на разрушенных улицах Токио несколько месяцев назад и точно так же, как сейчас, шли рядом, обсуждая свои дела.

— Что тебе тяжело, это и так понятно, — говорила ей тогда Хироко. — И все же, Макико, представь себе, что твой славный Сэгава в один прекрасный день скажет, что он знать ничего не знает и желает быть только добродетельным отцом и верным супругом и на твоих глазах начнет превращаться в опустившегося обывателя. Смотри, не придется ли тебе тогда горько раскаиваться?..

— Может быть, — отвечала Макико, тяжело вздохнув. Что ж, она хорошо понимала настроения мужа, признавала благородство его стремлений, и все же ей казалось, что у нее не хватит сил выдержать новый удар, если его опять арестуют.

— К концу года я, наверно, совсем засяду дома, и мы опять долго не увидимся, поэтому я и надумала сегодня... А вот это мы подарим нашей тете. — И она протянула Хироко букетик мелких хризантем, достав его из сумки.

— Как чудесно они пахнут! Вот спасибо! Я отдам их Исида, ведь он болеет.

— А что с ним? Что-нибудь серьезное?

— Да с ногами что-то неладное. Болят! Он и без того сильно устает, да еще то и дело с дороги сбивается, кружит по переулкам, пока доберется до дому.

Они подошли к развилке дороги, где стоял столбик с надписью: «Общество независимости»; стрелка показывала направление, по которому следовало идти дальше.

Глубокие следы автомобильных шин бороздили мягкую поверхность дороги, они были видны и дальше — на заросшей травой тропе, что, извиваясь, вела к входу в

здание. Здесь стоял грузовик; несколько молодых рабочих в джемперах и с повязками на головах выгружали из кузова столы. На вид столы были грубоваты, но зато совершенно новенькие, — от них еще пахло смолой. Собственно, новым здесь было все: не только мебель, но и сама постройка. Дом едва успел подняться над землей, и вокруг него на всем пространстве, огороженном бамбуковой изгородью, валялись остатки щепы, пахло опилками.

Первоначально это здание строилось храмом Хонгэндзи. Предполагалось, что здесь будет производиться «идейное перевоспитание» тех «политических преступников», которые поселятся в этом доме после отбытия срока наказания.

Расположенный среди полей и холмов, этот дом находился довольно далеко от остановки Кокубундзи. Сюда-то и перебирались освобожденные коммунисты, предварительно реквизировав в тюрьмах, упраздненных в связи с отменой закона об охране общественного спокойствия, и постельные принадлежности, и продовольствие, и другие предметы первой необходимости. Все это грузилось на машины и переправлялось прямо сюда.

Дзюкити вышел из тюрьмы с одним узелком в руках. В нем лежали мыльница с изображением герба Японии, бумажный пакетик с зубной щеткой, полуистлевшая карта железных дорог и тщательно перевязанная стопка документов. В этой же стопке хранилась аккуратно сложенная телеграмма, подписанная двумя товарищами: «После освобождения немедленно приезжай сюда. Жилье обеспечено». При виде этой телеграммы Хироко живо представила себе состояние Дзюкити, когда он получил ее. Такие же телеграммы были посланы во все концы: и в Абасири и в Миясиро. Под словом «жилье» и подразумевалось это Общество независимости.

Небольшое двухэтажное здание с едва просохшими стенами, со всех сторон озаренное осенним солнцем, одиноко возвышалось среди полей. Между воротами и входом — площадка. Прямо на земле здесь сложены бревна и доски. Около них столпилось человек пятнадцать женщин, одетых по-разному, но почти у каждой в руках были узелки или свертки. Многие — с детьми. Женщины о чем-то оживленно беседуют; те, у которых дети постарше, приглядывают за ребятишками, чтобы не убежали далеко, другие, по японскому обычаю, держат малышей за

спинами, хотя сами одеты в платье европейского покроя. Казалось, что это собрались матери и старшие сестры в ожидании возвращающихся с экскурсии школьников.

— Да здесь, кажется, собрание? — тихо проговорила Макико, замедляя шаг. — Ведь я пришла только для того, чтобы встретиться с тобой, а вовсе не на собрание!

— Нет, сегодня ничего особенного не предполагается. Пожалуйста, не беспокойся! Идем со мной. — Хироко слышала от Дзюкити, что сегодня предстоит всего лишь предварительная встреча женщин, включающихся в общественную деятельность.

— А ведь это, кажется, Исида-сан?! — И к Хироко подошла одна из тех молодых женщин, что стояли в кружке.

— А как ваши глаза? Все в порядке?—подошла другая, очевидно знавшая, что одно время у Хироко болели глаза после теплового удара.

Теперь и сама Хироко уже различала знакомые лица. Услыхав ее восклицание: «А-а, и вы здесь!» — к ней поспешно подходили все новые и новые женщины.

Различной была одежда у этих женщин, и различными были их жизненные пути, но все же все эти годы их связывала какая-то нить; они никогда не выпускали ее из рук, эта нить и привела их сюда сегодня.

Чем-то торжественным и взволнованным веяло от этой группы, собравшейся у бревен. Лица женщин дышали простодушием, и в то же время чувствовалось, что они полны напряженного ожидания чего-то нового, что вот-вот должно было свершиться. Это настроение как нельзя больше гармонировало с окружающей обстановкой, с новой жизнью, зарождавшейся в этом новом доме.

— В чем же дело? Ведь уже скоро два, — вдруг проговорила одна из женщин, взглянув на ручные часики.

Действительно, собрание, назначенное на час, еще не начиналось.

— Пожалуй пойду узнаю. — С этими словами женщина направилась ко входу.

Вскоре она появилась с маленьким усатым мужчиной. Слегка подбоченившись, он обратился к собравшимся:

— Токуда-сан сейчас беседует с товарищами, прибывшими из районов. После этого он сразу же встретится с вами. Понятно? — И снова повторил: — Значит, собрание начнем сразу же, как только Токуда-сан освободится.

Голос у него звонкий, отметила про себя Хироко, лицо гладкое, без морщин. С чего это ему вздумалось отращивать такие усы? Что-то забавное во всем облике этого человека неопределенного возраста, и держится он с подчеркнутым достоинством. Ведь заключенным строго запрещалось носить даже самые короткие усы. Тот, кто вздумал бы их отпускать, должен был подать соответствующее прошение. Какое же прошение пришлось писать этому человеку, чтобы получить разрешение на столь большие усы? Наверно, не легкую борьбу выдержал он, чтобы отстоять право человека по своему усмотрению распоряжаться хотя бы собственными усами. Усы... «Что ж, да ведь они, пожалуй, его первый трофей!»—подумала Хироко и не удержалась, чтобы не засмеяться.

Видимо, усатый был ответственным за сегодняшнее собрание, потому что вскоре опять появился у входа, приглашая всех войти в дом. Заметив, что Макико с малышом стоит в нерешительности, он обратился к ней:

— Пожалуйста, не стесняйтесь!

Все прошли на второй этаж, в конец коридора, где находилась комната, освещенная с двух сторон большими окнами. Женщины заняли места вдоль стен, трое мужчин сели около возвышения, свободным оставалось лишь небольшое пространство возле входа.

— Добро пожаловать! Не все тут у нас еще налажено, не успели пока, — обратился к женщинам Кюити Токуда, произнося слова в нос, что характерно для южан, и сел за маленький столик спиной к открытому окну: — Простите, что заставил ждать вас!

Женщины все как одна склонились в низком поклоне, а потом, подняв головы, впились глазами в лицо этого лысоватого человека в полувоенной одежде, имя которого было овеяно славой.

— Все эти годы, — продолжал Токуда, — я был вынужден то скитаться за границей, то сидеть в тюрьмах. Семейной жизнью удалось пожить всего каких-нибудь семь месяцев. Поэтому нельзя сказать, чтобы я достаточно хорошо представлял себе женскую долю. Но ведь оно и так видно: тяжела ваша жизнь, жизнь японских женщин! Измучились, устали вы так, что дальше некуда. Ведь правда?

Женщины молчали, но красноречивее слов были их глаза. «Да, тяжела, очень тяжела!» — говорили взгляды

и тех, кто, сняв ребенка со спины, держал его на коленях, и тех, кто подобно Макико усадили его рядом, и тех, кто ощущал биение новой жизни у себя под сердцем.

— Думается мне, больше любви, больше заботы должны проявлять к вам мы, мужчины. Каких бы усилий это ни стоило, ваша жизнь должна быть изменена, она должна стать разумнее, легче.

Он говорил еще о том, как складывались судьбы женщин в исторических условиях Японии, говорил о разных этапах демократии, о роли женщин на каждом из них.

Из распахнутых настежь окон в маленькую комнату вливалось много воздуха и света, как будто сюда с полей проникала прозрачная предвечерняя дымка осеннего дня. За окном далеко-далеко, насколько хватает глаз, раскинулись холмы и рощи, а над ними небо.

«Именно на таком фоне изобразил бы художник портрет этого рослого, коренастого человека, — размышляла Хироко, глядя на Токуда. — Крутой лоб, широкая лысина, речь быстрая, порывистая, характерный жест правой руки с вытянутым указательным пальцем, будто рука хочет дотянуться до того, к кому обращены его слова; голос звонкий и чистый, разрез глаз продолговатый, характерный для южанина. Чем темпераментнее речь, тем ярче блеск глаз; черты лица твердые, резко очерченные».

Широта знаний, острота сатиры придают блеск и краски его речи. Временами выражение лица становится удивительно простодушным, и тогда большой рот складывается в широкую добродушную улыбку.

«Как, какими приемами изобразила бы я портрет этого неповторимо своеобразного и законченного в каждом своем движении человека, если бы я была художником? — думала Хироко. — Для Токуда нужен старинный прочный лак, который, раз застыв, уже остается навеки. Лицо следует рисовать в коричневых тонах с красноватым отливом, разрезы глаз — густо-черные, чтобы ярче оттенялись светлые белки, нос — крупными линиями. Он будет покрыт лаком, этот портрет, вечным старинным лаком. Символом воли будет служить этот образ, символом умной, несгибаемой воли. Как резко выделится он среди портретов знаменитых людей Японии, на лицах которых вечно блуждает что-то неясное, неопределенное!»

Неисчерпаемо богат и многообразен был этот человек, потому-то он с такой силой овладел вниманием окружаю-

щих. Порой его речь была резка, груба, но это не ранило природную сдержанность женщин, а воспринималось ими как нечто естественное, встречало сочувствие. И за этой внешней грубостью чувствовалась сердечность, простодушие. Вспышки его несдержанного гнева чем-то напоминали Хироко раскаленное, только что выброшенное из огня железо. Пламенные, проникнутые непоколебимым убеждением слова его обжигали душу и тут же успокаивали ее — ранили и исцеляли! «Да, только лак, старинный, выдержанный лак годится для портрета этого человека, старинный лак, по которому стекут капли дождя, не увлажнив его», — думала Хироко.

В комнате по-прежнему царила тишина. Никто из женщин не нарушил вековой привычки: воспринимать все сдержанно, спокойно, не выдав ни словом, ни движением своих чувств. В этом все они походили друг на друга. Но стоило взглянуть на их лица, чтобы понять, какая неповторимая, какая особенная судьба была у каждой из сидящих здесь, что каждая по-своему прошла свой трудный, горестный жизненный путь.

Иногда, наклонившись к малышу, матери шептали: «Тише, сынок, ты ведь у меня большой», — и, положив руку на маленькое плечо, с удвоенным вниманием продолжали слушать оратора. Что ж, они стремились понять себя, свою жизнь — страстное желание разобраться во всем было написано на их лицах.

Токуда кончил, теперь очередь была за женщинами. С первого взгляда было видно, что все они на собрании не впервые. Об этом говорила их спокойная манера держаться, внимание, с которым они слушали. Но выступать самим — к этому они не привыкли. Сказывалось время — целых десять лет! — когда они жили порознь, каждая со своей бедой.

Начало положила одна из присутствующих, рассказав о положении женщин Китая, откуда она недавно вернулась.

Затем назвали имя Хироко. Хироко говорила о положении японских женщин, коротко рассказала о состоянии культуры после 1932 года. «Вероятно, вы лучше меня знаете обо всем этом, но неизвестно, знает ли об этом Токуда-сан, восемнадцать лет томившийся в неволе?» — с этой-то оговорки Хироко и начала свое выступление.

Постепенно тишина сменилась оживлением, зазвучали голоса.

Выбрали двух секретарей. Одной из них, миловидной толстушке, едва исполнилось двадцать, другой, знавшей стенографию и уже успевшей включиться в общественную деятельность, было лет двадцать пять. Под конец назначили день для следующей встречи.

Так было положено начало работе среди женщин.

Участницы собрания большей частью были женами коммунистов, освобожденных из тюрем. Они поселились в том же здании вместе со своими семьями. Спускаясь толпой по лестнице, женщины оживленно обсуждали события дня.

— Эй, Нагаэ-сан, нечего отсиживаться в своей комнатке, пора выходить на простор! — раздался чей-то голос.

— Я тоже подумала, да вот... — отвечала, видимо, сама Нагаэ-сан.

После собрания многие из женщин вернулись на кухню, к своей повседневной работе. В недавно отстроенной кухне цементный пол сверкал чистотой, и только проход в центре был заслежен. Теперь здесь вовсю закипела работа, слышно было, как качают насосом воду, колют щепу.

На улице стемнело, и только около входа горела электрическая лампочка. Не успела Хироко выйти, как из группы молодежи, что собралась тут, отделился какой-то человек и, улыбаясь, подошел к ней. На миг Хироко растерялась, но пристально вглядевшись в его лицо, воскликнула, протягивая руку:

— О, кого я вижу!

Давным-давно, еще до начала войны на Тихом океане, Хироко пользовалась абонементами Общества любителей музыки и посещала устраиваемые им концерты. На концертах ей часто встречался молодой человек по фамилии Яманума. Бывало, что после концерта он заходил к ней на чашку чаю. Уже и тогда что-то выделяло его среди других молодых людей, — в нем чувствовался будущий ученый. А потом, когда они познакомились ближе, оказалось, что Яманума приходится однокашником и другом сыну одного из близких товарищей Хироко. Казалось, сама судьба свела их тогда на этих концертах.

«Так, значит, и такие люди, как Яманума, бывают здесь!» — подумала Хироко. По всей видимости, столпившаяся у входа молодежь жила где-то неподалеку, очевидно к их числу относился и Яманума.

— О, сколько же лет мы с вами не виделись? — говорила Хироко. — Как ваши дела? Надеюсь, все в порядке?

— А как Исида-сан? Как его здоровье? — Яманума оставался прежним, милым и в то же время очень сдержанным человеком. — Надеюсь, мы еще увидимся?

— Да, да! Желаю вам доброго здоровья, — ответила Хироко и поспешила к ожидавшей ее подруге.

Было уже поздно, маленький Дзюн-тян так устал, что теперь дремал у матери за спиной.

— Прости, но скажи, ты хорошо знаешь этого человека? — спросила Макико, когда они пошли по дороге, вдыхая аромат скошенного сена.

— Да как тебе сказать... Знаю. А что?

— Видишь ли, мне кажется, что он дружил с Сэгава. Впрочем, я не уверена.

Сегодня был явно необыкновенный день, словно праздник устроили в честь матерей и детей. Хироко казалось, будто весь этот день где-то в воздухе разносились звуки кадрили, а перед ее глазами проплывали в старинном танце одна пара за другой. Хоровод друзей... Да, пожалуй, только с праздником и можно было сравнить царившее здесь оживление.

— А знаешь, у нас тут вроде Ноева ковчега! — улыбнулась Хироко. — Нет, серьезно, есть что-то общее. И этот с усищами! Ты заметила его?

— А пожалуй, и правда похоже,—засмеялась в ответ Макико, и обмякший во сне Дзюн-тян качнулся за ее спиной.

Кто-то впереди нес электрический фонарь, и косые лучи света падали то на стволы деревьев, то на покрытые травой склоны дамбы.

VI

Растяжение связок на левой ноге продолжалось у Дзюкити с неделю, но потом он стал выздоравливать. Перестилая постель больного в его залитой солнцем комнате, Хироко заметила:

— Конечно, жаль, что ты у меня прихворнул, но в конце концов все это не так уж плохо. По крайней мере ты успел отдохнуть за эти дни. Ведь правда?

— Пожалуй, ты права.

— Теперь есть кому поухаживать за тобой. Почувствовал себя плохо — ложись, отдыхай! Ведь так еще не бывало в твоей жизни.

Хироко хотелось, чтобы Дзюкити мог хоть несколько дней провести дома, не выходя на улицу.

Прошло три дня после того, как Хироко побывала в Обществе независимости. Подаренные Макико хризантемы стояли в вазе, и Хироко только что собиралась переменить воду, как ее окликнул Дзюкити и попросил разыскать старые документы, касавшиеся его судебного процесса.

— Да есть ли они у нас?

— Ну, конечно, я же привез их с собой! — уверял Дзюкити.

Когда Хироко разыскивала в соседней комнате неизвестно куда засунутую пачку бумаг и один за другим развязывала перевязанные шнурком пакеты, ее внимание привлек большой конверт. На обратной стороне его виднелись четкие следы лиловой печати: «Литературное патриотическое общество». Внутри была вложена копия рукописи одного из ее рассказов.

Наконец документы были найдены, и, возвращаясь в комнату к Дзюкити, она захватила и этот большой конверт и, улучив минуту, протянула его мужу.

— А я вот что еще нашла.

— Что это? «Литературное патриотическое общество»? — спросил он, подозрительно рассматривая печать.

— Ты посмотри, что внутри.

Дзюкити пробежал глазами рукопись, на которой рукой Хироко было написано лишь заглавие «Снег того дня».

— Ты кого-нибудь просила снимать копию?

— Видишь ли, это общество во время войны задумало выпустить сборник рассказов. Поскольку я была его членом, то попросили и меня отобрать что-нибудь. Я послала, а мне потом вернули, сославшись на какие-то обстоятельства.

— Значит, ты сама посылала рассказ?

— Да.

— И специально для этого снимала копию?

— А как же иначе?

На лице Дзюкити промелькнуло что-то вроде усмешки; он снова склонился над рукописью.

— Вспомни, ведь все это происходило в то время, когда я опубликовала в женских журналах несколько рассказов, если их вообще можно назвать рассказами... Ну и этот из числа таких же...

— Н-да-а...

Резким движением он отодвинул от себя рукопись.

— А как поступили остальные? Тоже послали свои произведения?

— Вероятно.

— Ну, а сборник-то вышел?

— Не знаю... Во всяком случае, я лично его не видала.

Дзюкити молчал, пристально вглядываясь в лицо Хироко. Хироко не опустила глаза и выдержала этот пристальный и какой-то необычный для Дзюкити колючий, жесткий взгляд.

— Хироко, а ты помнишь? Помнишь, как упрямилась, когда я настаивал, чтобы ты вышла из этого самого патриотического общества? Еще пыталась доказывать мне, что я, мол, «не представляю себе реальной обстановки»... — Последние слова он произнес тоном самой Хироко, как бы передразнивая ее. Видимо, до сих пор в нем жило воспоминание об этих неприятных минутах.

— Помню, конечно! Поэтому и решила принести тебе этот конверт!

— И почему ты не слушалась меня? Разве я не был прав? По крайней мере хоть взносы-то перестала платить?

— Перестала! Наверное, и все остальные бросили платить.

Когда-то Хироко входила в Ассоциацию деятелей литературы и искусства, которую всю скопом превратили в Литературное патриотическое общество. Хироко механически стала его членом.

— Ну, а если бы тебе не отказали, ты, очевидно, радовалась бы, что рассказ твой принят к печати? — спросил снова Дзюкити, и на лице его появилось насмешливо-презрительное выражение.

— Не могу сказать, чтобы я очень стремилась к этому, но не видела бы и ничего плохого, если б рассказ мой был опубликован. В конце концов в то время...

Да, вот о тех временах ей и хотелось поговорить сейчас, для того-то она и принесла Дзюкити конверт с печатью.

Война разгоралась, разведка из Комитета информации [1] установила контроль над всеми областями просвещения и культуры, стремясь подчинить интересам войны все: и самих писателей и их произведения. Для Хироко и ее собратьев по перу наступили тревожные времена. В январе 1941 года ее окончательно лишили права публикования, хотя такая мера имела обратный результат: это заставило Хироко еще более утвердиться в своих взглядах. Не пугали ее и материальные затруднения: в конце концов она была одна. Пугало другое. И без того все вокруг жили в постоянном страхе и тревогах, покинуть в такой момент Литературное патриотическое общество означало обречь себя на еще большее одиночество. Хироко на это не решалась.

Как ни страшен воздушный налет, но его легче переносить, когда в бомбоубежище вместе с тобой есть другие люди. Именно с такими варварскими налетами можно было сравнить действия военщины, которые проводились в литературе от имени так называемого Комитета информации. У Хироко не хватало духу восстать в одиночку. Она любила людей и хотела быть как можно ближе к ним. Но, наверно, также полупрезрительно, полунасмешливо, как смотрит на нее сейчас Дзюкити, смотрели на ее рассказ и чиновники из «патриотического общества», тем более что он никак не отвечал их требованиям. А ведь заправляли работой общества отнюдь не писатели,— этих людей нельзя было даже назвать просто чиновниками: военщина, шпики — вот кем были они!

— Знаешь, меня в то время ужасно удивляло, как ты, Хироко, могла с такой беззаботностью относиться к подобным вопросам? Ведь все было яснее ясного! И я отказывался понимать, почему ты продолжала тащиться за теми, кто затягивал петлю на шее твоего собственного мужа...

---

[1] Комитет информации — орган полицейского надзора над печатью. Был создан в 1936 году.

— Ты совершенно прав. И я дивилась впоследствии, почему ты говорил со мной так мягко?

Действительно, всякий раз, когда во время свиданий речь заходила об этом Литературном патриотическом обществе, Дзюкити по-прежнему спокойно, но на редкость настойчиво продолжал отстаивать свои требования. Это происходило буквально каждое свидание. В конце концов Хироко не оставалось ничего другого, как снова и снова повторять прежние доводы и оправдания.

— Знаешь, а ведь по-настоящему я все это поняла только после того, когда нам пришлось встретиться на твоем судебном процессе, после того как он кончился. Ведь я потом писала тебе об этом...

— Да.

— А помнишь, о чем ты мне всегда говорил? Ты говорил: «Ничего нет чудеснее, как быть уверенным, что курс, взятый твоим кораблем, — правильный курс! Пусть манят огни на берегу, но ты не дашь завести твой корабль в бухту. Нет, ты направишь его в открытое море — прямо туда, куда лежит твой курс». Таким хотел ты видеть свой корабль... Тогда, после твоего процесса, мне приходилось бывать в Эхадо. И вот там я поняла все до конца. Я увидела, что незаметно для себя выплыла в открытое море и что есть у меня свой курс. Как благодарна была я тебе за твою науку, за твои советы!

В те дни сестра Хироко находилась в эвакуации в Исумикава. Она жила в маленькой комнатке, в которой не было ни раздвижных стен, ни циновок, — словом, жила она, как в сказке о принцессе за рогожной занавеской. Здесь Хироко провела несколько дней. Наслаждалась ароматами раннего утра, ужинала при свете коптилки, слушала шум морского прибоя, мыла посуду около колодца, любуясь на цветы горошка и молодые поросли сосен.

За эти несколько дней прошлое вновь ожило в ее душе, но ожило по-новому, будто самое главное из пережитого, выстраданного за все эти годы, отливалось в пахнущие молодой сосновой смолой, затвердевшие капельки росы и эти капельки одна за другой падали в самое ее сердце.

— Послушай, а ты читал письма Чехова к жене? — вдруг спросила Хироко.

— Что-то не припоминаю.

— Человеком изумительной души был Чехов. В своих письмах он всегда напоминал жене, что, как художник, как актриса, она должна держаться своей линии, она должна найти эту свою линию. Я часто задумывалась над этими словами... Возможно, Книппер понимала их по-своему, понимала под этим лишь то индивидуальное, неповторимое, что таит в себе каждый художник. Но ведь эта самая линия художника — ведь она не сама по себе, она определяется ходом истории, связана с ней. Не правда ли? И создается такая линия не просто: здесь много различных элементов. И чтобы они сложились воедино, в эту линию, нужен тонкий, деликатный единомышленник. Здесь нельзя обойтись только доводами, только разумом. Тут должны быть в единстве чувства и разум, да, подлинные чувства и разум.

Так с жаром рассуждала Хироко, занимаясь починкой одежды около постели Дзюкити. Но Дзюкити уже не перебивал ее, — он успел заснуть, положив возле подушки свои бумаги.

VII

За те десять дней, что Дзюкити пролежал в постели, к затерянному среди холмов дому Общества независимости продолжали приходить все новые и новые люди. Жизнь бурно кипела, и постепенно деятельность общества распространилась и на город.

Как-то утром, прежде чем уйти на работу, Дзюкити протянул Хироко листочек бумаги.

— Мы теперь работаем на новом месте. Ты не смогла бы сегодня занести мне туда завтрак?

— Куда? По новому адресу?

— Да.

— Конечно, смогу!

На листочке был нарисован незамысловатый план расположения нового места работы Дзюкити. Здание бывшего электросварочного техникума значилось на нем как редакция газеты «Акахата».

— Ты можешь оставить мне этот листочек? Доберешься без него?

— Доберусь. Это же совсем рядом с остановкой Ёёги.

— Тут будут две дороги, так ты иди по левой.

В назначенное время Хироко, держа пакет с завтраком, сходила с трамвая на остановке Ёеги. Ей приходилось бывать здесь всего два-три раза, и она имела весьма смутное представление об этом районе. Теперь она разыскивала глазами ту развилку дорог, что была обозначена на чертеже. Немного постояв и поразмыслив, она решила, что Дзюкити имел в виду широкое асфальтированное шоссе, которое пролегало прямо перед ней, и пошла по левой его стороне. Дзюкити уверял, что редакция совсем рядом, однако Хироко не замечала ничего похожего на то, о чем говорил Дзюкити. Вот жилые дома остались позади, а впереди мелькнула садовая ограда храма. Хироко остановилась в нерешительности и спросила женщину в длинном переднике, по всей видимости домашнюю хозяйку, которая беседовала у дороги с уличным торговцем. Хироко получила подробнейшее объяснение: ей следовало обогнуть ограду и свернуть налево, дойти до полицейской будки и опять повернуть налево, затем идти по пустырю, пока не увидит на левой стороне остов сгоревшего дома. Миновав его, надо повернуть направо, где стоит небольшое двухэтажное здание, — это и есть бывший электросварочный техникум.

Но ведь Дзюкити говорил, что он будет по левой стороне, а оказывается — по правой! Хироко брали сомнения, но она продолжала идти, пока вдруг, еще издали, не увидела вывеску — длинную полосу бумаги с иероглифами: «Редакция газеты «Акахата». Вывеска красовалась над двустворчатыми входными дверями, которые были сейчас закрыты.

«Редакция «Акахата»! Редакция «Акахата»!»—мысленно твердила Хироко до тех пор, пока не оказалась у самого входа.

Ведь в Японии еще не бывало такого случая, чтобы прохожему довелось увидеть подобную вывеску. В прошлом даже те, кто знал о существовании газеты «Акахата», не имели представления, где расположены ее редакция и типография. Правда, лет десять назад некоторые догадывались, что типография скрывалась где-то в подвале одного из городских складов: какому-то шпику удалось обнаружить ее местонахождение. Тогда-то и был сфабрикован клеветнический, не имев-

ший ничего общего с действительным положением дел, донос на Дзюкити и его товарищей.

Среди друзей Хироко был один поэт, участвовавший в работе типографии. Его тоже арестовали, и он увидел свободу лишь после одиннадцати лет тюремной неволи. Что ж, о Дзюкити и его товарищах не приходилось и говорить, но какую бурю чувств пережили при виде этой вывески такие люди, как этот поэт? Да, они несомненно ликовали, торжествовали! Хироко чудились их глаза, в которых блестели слезы радости.

А ведь еще совсем недавно стоило полиции захватить кого-нибудь из женщин, распространявших «Акахата», как они подвергались ужасным пыткам: им выжигали волосы на половых органах; но все равно, вернувшись на волю, они снова распространяли газету «Акахата».

Хироко осторожно приоткрыла входную дверь, словно ожидая увидеть что-то необычайное. Рядом с входом — каморка, потом сразу начинается большой полутемный вестибюль с колоннами. Кругом ни души.

Стараясь ступать бесшумно, Хироко повернула налево и поднялась по лестнице на второй этаж. Это был давно заброшенный дом, когда-то здесь помещался небольшой кинотеатр, затем его приспособили под учебное заведение. Стены на втором этаже грязные, все в царапинах, краска облезла. Сама постройка странная: окон мало, и они выходят в узкий коридор; в центре — зал; направо от лестницы — небольшая комната.

Остановившись посреди коридора, Хироко раздумывала, где же ей искать Дзюкити. Видимо, людей в этом доме почти нет. Из зала так и пахнуло на нее спертым, сырым воздухом нежилого помещения. В углу зала несколько человек писали плакаты, чтобы украсить трибуну в связи с назначенной на сегодня гражданской панихидой в память о жертвах освободительного движения.

Дзюкити среди них не было.

По лестнице тихо поднялись два парня. Бросив взгляд на Хироко, они обошли ее и вошли в дверь направо от лестницы. Очевидно, там были и другие лю-

ди, но Хироко не решалась войти в эту незнакомую комнату.

Когда-то давно, еще в дни ее детства, отец Хироко — архитектор по профессии — открыл свою собственную контору в одном из старых кирпичных домов. Какие только чувства не обуревали душу маленькой Хироко перед дверью этого дома! И уважение, и восхищение, и любопытство. Стоило только потянуть вниз ручку звонка, как появлялся слуга, и в сопровождении его Хироко шествовала к столу, за которым сидел отец. В конторе все пропахло каким-то странным запахом, как будто клеем. Без разрешения отца Хироко не осмеливалась даже заглянуть в подвал, чтобы полюбоваться на чудеса — цветные фотографии, плавающие в ведре.

И вот почему-то здание, где впервые в истории Японии увидела свет редакция коммунистической газеты, здание с грязными стенами, неудобными комнатами, спертым воздухом вызвало в душе Хироко чувство трепета, близкое к тому, которое она испытывала девочкой в конторе отца. С каким-то детски восторженным выражением она продолжала стоять посреди коридора.

Вдруг из-за поворота в конце коридора неожиданно появился Дзюкити. Хироко бросилась к нему:

— Знаешь, как ни грязновато у вас тут, а все-таки удивительно хорошо!

Дзюкити рассмеялся и ввел ее в комнату, куда только что вошли двое молодых людей. Здесь тоже было пусто, как и во всем доме. На голом полу стояли грубо сколоченные столы и стулья. На одном из них сидел какой-то незнакомый человек, Хироко видела лишь его худой затылок и воротник черного пальто. Рядом за столом сидел другой человек. Это был один из товарищей Дзюкити, освобожденный из тюрьмы Миясиро немного позже. Хироко поздоровалась с ним за руку. Казалось, он похудел еще больше с тех пор, как она видела его тогда на судебном процессе. Скулы настолько обострились, что лицо казалось скорее квадратным, чем овальным.

Дзюкити спросил, принесла ли она завтрак.

— Закуси вместе с нами, — обратился он к приятелю.

— Да у меня есть с собой, — ответил тот.

Они сели за стол, и Хироко, открыв коробки с завтраком, разделила жареную рыбу на три порции.

Не успели они позавтракать, как на пороге появился новый посетитель. Это был корреспондент одной газеты. Видимо, они заранее договорились с Дзюкити об этой встрече, и между ними начался деловой разговор. Окончив его, они закурили.

— На днях я успел повидаться и с Токуда-сан и Сига-сан, — сказал корреспондент, — но у вас тут есть еще некто Сатоми Хакамада-сан. Что это за человек? К сожалению, я никак не могу с ним встретиться...

Хироко бросила лукавый взгляд на Дзюкити. Он рассмеялся и, еще раз взглянув на собеседника, промолвил:

— А он здесь, рядом.

— Вот как, значит, я могу повидать его?

— Да, перед вами и сидит тот самый товарищ Хакамада...

Тут захохотал и приятель Дзюкити, — он сидел напротив корреспондента, уплетая рыбу.

— Простите... Значит...

Корреспондент явно растерялся и, не считая удобным тут же подняться и познакомиться, ограничился тем, что подобрал ноги под стул.

— Видите ли, руководство в вашей партии построено на каких-то иных принципах, чем в других. Там мне понятно все с первого взгляда, а вот с коммунистами... Ну что ж, до свиданья! — И с этими словами он раскланялся с Дзюкити, вручив на прощанье свою визитную карточку.

В начале декабря впервые созывался легальный съезд. Четвертый по счету, он был первым съездом в истории Японской коммунистической партии, проходившим на глазах у всего народа, как на глазах у всего народа красовалась отныне вывеска: «Редакция газеты «Акахата».

Перед съездом оживилась деятельность всех массовых организаций. В эту зиму 1945 года демократическое движение Японии переживало весну своего возрождения.

Был поздний вечер, холодный ветер завывал на

улице, когда Хироко вошла в зал, заполненный молодыми женщинами с заводов, учреждений. Шел фильм «Вы получили право говорить». Он рассказывал о тех, кто вновь обрел свободу, рассказывал о законе об охране общественного спокойствия, о его трагических для народа последствиях, о том дне, когда закон был отменен.

Закон, позволивший убить Сэндзи Ямамото[1], зверски замучить Такидзи Кобаяси, закон, которому были принесены в жертву Масаноскэ Ватанабэ и множество других людей...

И вдруг на экране большим планом лицо мертвого Кобаяси. Мороз пробегает по телу Хироко, она не может сдержать слезы. Близкое, родное лицо... Еще миг, и перед ней мать Кобаяси, — она бросается к телу сына. «Родной мой! Да что же сделали с тобой!» — рыдает она, нежно касаясь пальцами раны на его виске.

Кадры следуют один за другим. Вот они, узники, брошенные в тюрьмы на основании этого закона; зрители видят их сквозь маленькие тусклые окошечки камер.

Но он, этот закон, не будет торжествовать вечно! На экране — сильная рука; она срывает вывеску: «Особая полиция», а следом за ней на землю летит другая: «Отдел контроля за опасными мыслями».

Перед зрителями снова мрачные ворота тюрьмы.

«Вот пришел, наконец, желанный день, открылись двери камер», — раздался голос диктора, и тихо открылись настежь тюремные ворота. Миг — и из них хлынула толпа людей во главе с освобожденными, с развевающимися флагами в руках. В центре — Токуда, рядом Сига и еще много-много других, чьи лица Хироко не может различить. Веселые, смеющиеся, они машут поднятыми руками и идут прямо сюда, в зрительный зал, к ней, к Хироко. Все энергичнее их поступь, а рядом, около шеренги, видно, как несут кого-то из освобожденных, кто не в силах идти сам. Пленка запечатлела спины людей, куда-то бегущих изо всех сил. Флаги так и реют над рядами, могучий, ликующий возглас «вассё, вассё»[2] подобен раскату грома. Уверенная,

---

[1] Сэндзи Ямамото — видный японский марксист.
[2] Вассё — раз-два, раз-два.

четкая поступь колонны напоминает грохот бушующего морского прибоя. Но как морская волна, достигнув берега, вдруг отхлынет назад, так и эти ряды, волна за волной, постепенно уходят туда вдаль, в прошлое истории.

Когда вместе с боем барабанов раздалось это подхваченное тысячами голосов «вассё, вассё» и земля задрожала под ногами тысяч людей, Хироко зарыдала, и ничто не могло заставить ее сдержать слезы. Но не одна она плакала — плакали все вокруг. Хироко впивалась взглядом в экран, провожая глазами эти удаляющиеся ряды с их могучим возгласом, который потряс все ее существо.

Вдруг на экране появилось двойное изображение. Хироко успела заметить, как на фоне удалявшейся колонны появился силуэт какого-то человека в национальной одежде. В руках у него узелок, на ногах соломенные сандалии. Силуэт постепенно увеличивался, человек шел один, не спеша, надвигаясь прямо на Хироко. А вокруг все еще раздавалось эхо ликующих возгласов, отзвук мерной поступи. Теперь уже Хироко могла различить узор его одежды, и только тогда она узнала в этом смеющемся, бритоголовом человеке Дзюкити, своего Дзюкити, выходящего на волю.

А фильм «Вы получили право говорить» уводил зрителя все дальше и дальше, в самую гущу жизни: вот выступают на митинге японские рабочие, вот говорят японские женщины. Дзюкити все идет и идет сквозь оживленные толпы людей.

На экране наплывом мелькнуло что-то очень знакомое, да это, кажется, те самые иероглифы, что Хироко видела вчера на здании редакции. Но вот покосившиеся, неуклюжие иероглифы начинают выстраиваться в ряд. Ах, вот оно что! «Японская коммунистическая партия». Кто-то из рабочих-строителей обтесал большую доску и старательно вывел на ней эту надпись. Видно, рука его дрожала, иероглифы получились неуклюжие, смотрят они в разные стороны. Но она, эта надпись, красуется во всю ширь на самом видном месте и словно улыбается. Будто на прохожих смотрит немножко грубоватое лицо коренастого усатого человека, озаренное сердечной, веселой улыбкой. И Хироко тоже смеется, но, спохватившись, прикрывает ли-

цо рукавом кимоно, как это делали в старину японские женщины, стараясь скрыть улыбку от чужих взоров.

Еще вчера в подъездах здания, над которым прикреплена эта вывеска, трудились люди. Среди них было немало и таких, что отрастили занятные усы. На эти усы пошла мода. А у Дзюкити бритая голова успела покрыться волосами, они еще очень коротки, но когда Хироко гладит их, они уже топорщатся ежиком под ее ладонью.

Вчера целый день народ сновал возле этого здания. Шли последние приготовления к четвертому съезду Коммунистической партии Японии.

1946

СОДЕРЖАНИЕ

Юрико Миямото

ПОВЕСТИ

Редакторы
Т. Редько и А. Стругацкий
Художеств. редактор Г. Клодт
Технический редактор В. Овсеенко
Корректор Н. Манушина

*

Сдано в набор 13-II-1958 г.
Подписано к печати 21-VI-1958 г. А 03839.
Бумага 84 × 108 1/32 — 13,5 печ. л. = 22,14 усл.
печ. л. 22,76. уч.-изд. +1 вклейка = 22,81 л.
Тираж 30 000. Цена 8 р. 45 к. Зак. 3442

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа,
г. Минск, Красная, 23

8 р. 45 к.

ЮРИКО
МИЯМОТО